

Мир литературы. Новое поколение

Этот сборник в некотором роде картина словесности ближайшего десятилетия: естественное следствие поколенческих художественных тревог и вопрошаний. Авторы — молодые писатели от 18 до 35 лет, по преимуществу из российских провинций, участники Всероссийской литературной мастерской (проводилась в апреле 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) проекта «Мир литературы. Новое поколение». В сборнике — действительное, без фильтров, отражение тех страстей, тягот и надежд, которыми сегодня живёт молодёжь. И герои, и авторы мучительно пытаются найти точку опоры — и житейскую, и мировоззренческую, и эстетическую. И находят её, как правило, с разным успехом, но всегда — сами и всегда — свою.

Мир литературы. Новое поколение

Мир литературы Новое поколение

Сборник



АСЕПИ



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРЕЗИДЕНТСКОГО ФОНДА
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Мир литературы

Новое поколение

Сборник

Москва
АСПИ
2022

УДК 821.161.1–3
ББК 84(2=411.2)6–44
М63

*Издано при поддержке
Президентского фонда культурных инициатив*

Мир литературы. Новое поколение: Сборник — М.:
М63 АСПИ, 2022. — 658 с.

ISBN 978-5-517-09282-3

Этот сборник в некотором роде картина словесности ближайшего десятилетия: естественное следствие поколенческих художественных тревог и вопрошаний. Авторы — молодые писатели от 18 до 35 лет, по преимуществу — из российских провинций, участники Всероссийской литературной мастерской (проводилась в апреле 2022 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив) проекта «Мир литературы. Новое поколение».

В сборнике — действительное, без фильтров, отражение тех страстей, тягот и надежд, которыми сегодня живет молодежь. И герои, и авторы мучительно пытаются найти точку опоры — и житейскую, и мировоззренческую, и эстетическую. И находят её, как правило, с разным успехом, но всегда — сами и всегда — свою.

УДК 821.161.1–3
ББК 84(2=411.2)6–44

*В тексте неоднократно упоминаются
названия социальных сетей, принадлежащих
Meta Platforms Inc., признанной экстремистской
организацией на территории РФ.*

ISBN 978-5-517-09282-3

© Аксёнова К., Алексеева Н.,
Асадова С., Баранова Е. Д., 2022

Ксения Аксёнова
Надя Алексеева
Самира Асадова
Евгения Джен Баранова
Дмитрий Вилков
Маргарита Гетман
Дина Дабришюте
Александр Егоров
Анастасия Кальян
Максим Кашеваров
Надежда Келарева
Анна Ковалёва
Людмила Ковалёва
Надежда Куротченко
Дмитрий Лагутин
Мария Лебедева
Александра Максимова

Антонина Малышева
Ирина Михайлова
Лариса Мореева
Александр Москвин
Андрей Мягков
Софья Оршатник
Ольга Павлова
Борис Пейгин
Ирина Родионова
Маргарита Ронжина
Сергей Скуратовский
Виктория Татур
Эльвира Токарева
Вадим Шевяков
Маргарита Шилкина
Татьяна Шипилова

ОТ ТРЕВОГИ ДО НАДЕЖДЫ

Россию по инерции еще именуют «самой читающей страной», а национальному сознанию, как и прежде, вменяют особую «литературоцентричность». Но это, увы, долгое время было не так: тиражи книг падают год от года, роль писателя сведена к чему-то среднему между рассказчиком баек и производителем текстов для диктантов. Творческая среда расколота и территориально, и по принадлежности к писательским группам. Но вот парадокс: при всем том количество пишущих стихи и прозу — растет.

Правда, растет оно по большей части на бесчисленных интернет-площадках, где талантливые голоса смешиваются с графоманскими и у молодого автора зачастую нет ни наставника, ни объективного критика, ни среды для профессионального роста.

В декабре 2020 года была создана Ассоциация союзов писателей и издателей, объединившая четыре крупнейших писательских союза и Российский книжный союз. Одна из задач Ассоциации — поиск талантливых молодых сил, поддержка новых литературных поколений. Первым шагом на этом пути стала масштабная Всероссийская мастерская «Мир литературы. Новое поколение», проведенная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Весной 2022 года в Москве собрались более 170 начинающих писателей — от Калининграда до Чукотки. Пять дней они учились мастерству у известных российских писателей, спорили, обсуждали тексты, строили планы. Итогом Мастерской стал этот сборник: в нем собраны лучшие тексты участников проекта.

Стихи и рассказы, пьесы и критические очерки написали авторы разного возраста (от 18 до 35 лет) и разных взглядов. Жанры тоже разные: от реалистической прозы — до фантастики, сказки и антиутопии. Общий тон сборника — совсем не удало-оптимистичный: жизнь, особенно в провинции, наполнена проблемами и тревогами. Но эти тревоги — особого рода: в них присутствует несомненная надежда. Надежда на то, что добро сильнее зла, что вера пробьет черствую корку безразличия, а красота однажды действительно спасет — пусть не весь мир, но хотя бы одного человека.

Что еще объединяет авторов? Конечно, честность, с которой они смотрят и на самих себя (что самое трудное), и на мир вокруг. И еще — большое сочувствие к людям, дар сострадания. И пусть многие авторы еще не выбрали свой путь — они уже вышли из кокона собственного «я», в котором застряло немало писателей предыдущих десятилетий. Этот сборник — собрание искренних, честных свидетельств о времени и о себе.

После блестящего московского старта литературные Мастерские АСПИ отправились в регионы, и теперь молодые авторы встречаются с российскими писателями первого ряда в столицах своих или соседних федеральных округов. На наших глазах создаются молодые литературные сообщества, у лучших авторов выходят книги и публикации в толстых журналах, их ценят, о них говорят. Все это тоже дает нам надежду — на то, что все яркое, умное, живое и талантливое в новой отечественной словесности будет услышано и поддержано. Ради этого Ассоциация и работает.

*Яна Сафронова,
литературный критик,
куратор проекта «Мир литературы»*

ПРОЗА

НАДЯ АЛЕКСЕЕВА

ВАЛААМ

Роман (отрывок)

1. ВОЛОНТЕРЫ

В каюте с лежанками из рабицы и тощими матрасами пассажиров рвало друг за другом. «Блюют, — сказала Ася. — Пошли отсюда. Не то втянешься». Седая, серолицая: над увядшими щеками быстрые глаза, из битых молью рукавов — неожиданно молодые руки. Эти руки и вытянули его, Павла, наверх по пляшущей лестнице. На палубе забытый рюкзак перекатывался от борта к борту, за ним ползли лужи зеленоватой ладожской воды. Ася отыскала сухой моток брезента, развернула, плюхнулась на него, скрестив ноги под черной юбкой, похлопала Павлу, чтобы сел рядом, принялась креститься. Обыденно, будто пудрилась. Сквозь очки ветер студил Павлу глаза. Пунктиром на горизонте лежали клочки архипелага. Валаам.

Не верилось, что где-то есть земля и на нее можно ступить. Впервые в жизни Павел увидел себя сверху, как в кино: камера все удалялась, удалялась, пока «Святитель Николай», старая посудина, которой на Валаам переправляли волонтеров, богомольцев да мешки с гречкой, не сделался бумажным, а сам он, перегнувшийся за борт, предстал на палубе тощей кляксой. Он здесь не предполагался, да вот, случился.

Волна кидалась «Николаю» под киль, тот спотыкался, раскачивался, переваливал, кланялся. На этих поклонах голову Павла кто-то сжимал, удерживал меж могучих ладоней, пока его тело падало вниз. Павел чувствовал, что вот сейчас, прямо сейчас, умрет, и хотел, утираясь от брызг, чтобы его смыло за борт, и мысленно огрызался бабе Зое. Всем этим ее протирациям

семейного альбома в красном бархате, на страницах которого его родители навсегда остались тридцатилетними. Теперь они моложе сына. Даже та белая машина, которая, как теперь представлялось Павлу, влетев в бетон, смялась в гармошку, сверкала на одной из страниц. И он, Павел-карапуз, едва доставая до бампера, стоял возле нее. Позавчера он вырвал и смял этот снимок, а номер машины не мог выбросить из головы. Запоминаются же такие вещи! О 145 ГО. Будь он неладен, этот «ОГО», унесший родителей прямо на тот свет.

Рот наполнился лимонной горечью, Павел вскочил, перегнулся через борт, зарывчав, спугнув чайку. Поймал очки, норовившие слететь с носа, протер. Смотрел, как волна подхватила и унесла желтую кашу, пока его не замутило вновь.

— Чего тебе? — обернулся на Асю: та дергала его за штанину.

— Ты, это, сядь, сядь лучше. «Драмины» бы принял. Есть у тебя?

— Нет.

— Блин, ну, сходи к капитану, спроси, не то заблужешь им всю палубу.

— Тебя вообще, что ли, не качает?

— Дык я на Иисусовой молитве. Это тема прям. Знаешь ее?

Павел мотнул головой, сглотнул новый комочек горечи, закрыл глаза, сел рядом с Асей, отяжелел. Меж век проплыло что-то про бабу Зою и икону в пластиковых розовых цветах, черно-белую фотографию солдата, гулкий стук земли по крышкам двух гробов и саму Асю, которая знала всех в хижине на причале Приозерска, где им наливали чаю и просили надеть на себя все теплое, не модничать, потому что «на воде не апрель». Из окошка был виден «Святой Николай», у пришвартованного корабля суетился, что-то спешно ремонтируя, механик. Электрический чайник в хижине без конца кипел и парил, было душно. Ася все шуршала фантиками конфет, улыбалась, говорила «Спаси Господи», и никто не знал, когда они придут

на остров. На все была «воля божия»: на нее ссылались так, как баба Зоя до самой смерти верила газетам. Из ее тумбочки торчали вырезки всех сортов: от рецептов творожного кекса до жухлых, послевоенных сводок о том, где искать пропавших без вести. Последние лежали не по порядку, зато на каждой из них круглым бабушкиным почерком (печатным, старательным) было написано «Петя».

Этот Петя, родной брат бабушки, так и не вернулся ни в срок пятом, ни в пятьдесят третьем, когда приходили те, кто попал в арестантские роты и лагеря. Павел знал, что Петя держал оборону Ленинграда, а когда блокаду прорвали, вести от него перестали приходить. В пятидесятых баба Зоя каждый год ездила в Ленинград, отпуск тратила на добывание архивных справок, из которых было понятно: живым брат уже не вернется. «А могила, должна же она быть? Чем вы тут занимаетесь в своих архивах: десять лет после войны прошло! — дед, пописывая, изображал бабкин темперамент: вынь да положи ей брата. — И глазами, Паш, как сверкнет! Ну как было не влюбиться молодому историку?!» Дед умер от инфаркта, когда Павел учился на первом курсе. Павел помнил его смешливым, глуповатым, несмотря на звание доктора исторических наук.

Новогоднюю ночь на две тысячи первый, последний в жизни деда, Павел отмечал дома: первая, еще школьная любовь, сама собой оборвалась, вузовской компанией не обзавелся. Баба Зоя, послушав, что скажет новый президент, ушла спать, они с дедом без конца переключали телеканалы. Везде пели, пили, надеялись. Вдруг прямо у их окна рассыпались искры салюта. Звякнул хрусталь. Дед встал, убрал бокал, поставленный «для Пети».

— Невская Дубровка.

— Чего? — Павел, у которого голова трещала от пива, проглоченного тайком на балконе, вперемешку с «официальным» шампанским, очнулся.

— Станция на железке. Оборона Ленинграда там проходила, их всех земель засыпало заживо. И не раз.

— Петя?

Дед кивнул.

— Немец не прошел, но и они не встали больше. Ты вот сам рассуди, как я мог ей рассказать такое? Заживо землей?

Покойного мужа баба Зоя вспоминала редко, а с братом, с Петей, разговаривала как с живым. Особенно в последний год, заговариваясь, называла Павла Петей. Иногда день не вставала с постели, вслух путая воспоминания и новости. Павел звонил в скорую (девяносто лет — не шутки), а она, заслышав разговор, встряхивала седым пучочком на макушке, цокала вставной челюстью, взгляд снова обретал живость: «Неотложку? Не надо, обожди. Бабка твоя еще из ума не выжила, Паша. Она еще поживет, Паша».

— Паша, проснись уже! Паша, Никольский! — Ася раскачивала его от плеча.

Маковка церкви торчала над водой, выглядывая, как куница из бурого пуха сосен. За Никольским скитом показался причал, и серое небо над ним было разбито, в трещинах проглядывала голубая весенняя подкладка. Летела навстречу стая ворон. Пахло древесиной, влажной землей. Ладога теперь лишь пощипывала «Николая» за бока, тот увиливал, покачивался.

Осунувшиеся волонтеры и богомольцы поднимались из каюты, стягивая шапки, стряхивая с волос и бород присохшую рвоту. Старушка в красном берете поверх платка уже спрашивала Асю об отце Власии, который хорошо исповедует, крепкий парень с бородой кому-то звонил, смеясь и повторяя: «Ты себе не представляешь! Не представляешь! Але? Слышно?» Девицы из Челябинска утирали друг другу подтеки туши под глазами, фотографировались. Та, что повыше, хотела «удержать» на ладони колокольню, которая в кадре казалась не больше елочной игрушки и желтела над бурым, еще не согретым весной островом.

На колокольне розовел крест. Колокола, крошечные, едва заметные с причала, дремали до заутрени.

Мимо Павла передавали на берег пестрые тюки и огромные чемоданы. Монах, принимая на берегу, называл их «голгофами». Павел поймал взгляд Аси, кивнул в ответ.

К работному дому, старинному зданию из темного кирпича, где поселили волонтеров, ехали на пазике. Снова качало, трясло, но хотя бы на суше. Рядом с Павлом сидела Ася, не переставая перебирать знакомых с Гошей, в распоряжение к которому они поступали. Гоша не готовился в монахи, послушником не был, но отпустил русую бороду, чтобы не выделяться, а вот одежда на нем была армейская, буро-зеленая: брюки с «походными» карманами, ремень с бляхой, тяжелые высокие ботинки. Ася шепнула, что он лет десять тому отслужил в воинской части, которая «там, за картофельным полем, увидишь».

Весна на острове выдалась сырая, снег, как писали в соцсетях, сошел лишь за неделю до прибытия первой группы волонтеров, и еще белел на поленницах, сложенных у старинных домов. Центральная усадьба, Спасо-Преображенский собор с колокольней, были побелены, подкрашены, а кельи монахов, которые обступили храм двойным квадратом-каре, были в строительных лесах. «Это у нас, значит, Зимняя гостиница, там местные, — пояснял Гоша волонтерам, махнув на дальнее здание с разноперыми окнами и детской коляской у входа. — На общагу похоже, да? Само-то здание красивое, там школа внизу была, это, на первом этаже. Тоже бы под ремонт. А, ладно». Ася кивнула.

В работном доме к кельям волонтеров вела лестница с низкими ступенями, за сто с лишним лет промятыми поступью каменщиков, плотников и другого рабочего люда. На третьем этаже мужчин направили на правую половину. Так заведено монастырским уставом: женщины и в храме становились отдельно, слева. В келье с низким потолком, печкой, деревянными скамьями у стола и электрическим чайником (чересчур

современным для обстановки) стояли четыре кровати. На дальней, в углу, всхрапывал и бормотал, ворочаясь, старик в вязаной шапке. Гоша указал Павлу кровать у узкого окошка, выдал полинявшее постельное белье в синих цветах. Рядом развалился на кровати бородатый парень с корабля и еще один, светло-волосый, представившийся «барабанщиком Вовой», занял лежак у печки.

Спали плохо, печка дымила. Барабанщик Вова ковырял в топке кочергой, дул на огонь, размахивал газетой. С женской половины слышался смех и Асин хриплый голос.

— Может, к ним пойдем спать? Вроде, говорили, полгруппы только приехало, — сев на кровати, сказал бородатый.

— Ты че! Это не благословляется, — Вова уже вытащил головешку на пол и гасил угли, поливая из чайника. — Второй раз я тут, такое дело: женщинам с мужчинами нечего общаться.

— А на поле? Завтра же, Гоша говорил...

— Ну, на поле, днем, это послушание, там — можно, но без рук, — смех у Вовы показался Павлу похожим на дедов, простоватый, и он подхватил.

— Тупые правила. Лучше бы потолки повыше сделали в туалете, я задолбался башку расшибать, — бородатый встал, взял ложку со стола, прижал к шишке на лбу.

— Тебя как зовут-то?

— Александр.

— Тут, это, Саш, такое дело: смирение надо.

Бородатый лег, накрылся с головой одеялом и засопел. Павел с Вовой открыли оба окошка в келье и, по очереди размахивая газетами, выгоняли чад и ловили иконы не больше ладони и открытки, наставленные в углах иконостасами и норотившие разлететься по келье. Вова задержал открытку в руке, передал Павлу: «Валаамская». Вроде копия Рафаэлевых мадонн: наивных, сероглазых, с нежным румянцем. Но у того, как вспоминалось Павлу, фигуры всегда изгибались, сходились в арки и круги

и были окружены не то ангелами, не то старцами. Здесь одинокая женщина, на руке которой держался и младенец, и голубой шарик, стояла прямо. Красный наряд, твердая поступь — будто решила идти до конца, как разгоревшаяся во всю силу свеча. Облако — и то окаменело под ее босым шагом.

* * *

Утро пришло ясное, из-за белых стен келья засветилась изнутри. Павел сощурился, вставая, чуть не раздавил очки под кроватью, надел, вспомнил где он, и тут же за стуком в дверь раздалось Асино пение: «Молитвами святых отец наших Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас!» Вова крикнул: «Мы не одеты! Аминь». Ася крикнула что-то про «рухольную» и «благословляется», застучала тяжелыми сапогами прочь по дощатому коридору.

В рухольной-кладовке на левой, женской половине волонтеры, иноки, богомольцы оставляли вещи, больше ненужные в монастырской жизни, а то и вовсе опасные. Со смехом Ася выудила из кучи юбок, платков и брюк кружевные трусики и такую же невесомую сорочку на тонких бретельках.

— Отказалась грешить, — торжественно произнесла Ася.

— И ушла в монастырь, — Вова натягивал в углу сапоги. — Фигурка-то, Паш, глянть — ничего! — Вова приложил ладони к груди.

— Куда же она ушла? В смысле, это же му-мужская обитель, — бородатый сглотнул, Ася расхохоталась и выхватила из ящика, стоящего в самом углу, пару резиновых сапог с меховой подкладкой, протянула Павлу, и теплый луч, добравшись до рухольной, приласкал ее щеку. Затанцевали вокруг Асиной серой шапки пылинки, а ее нос показался Павлу острым, хищным, но милым, как у какого-то лесного зверька.

Сапоги прились Павлу впору. Задумался было о том, кто их носил и какими ногами, но, спохватившись, благодарно

закивал в пол. Еще Ася накинула на его спину черную куртку, почти такую же, как у нее, только большую, с мужского плеча, и без дыр на рукавах.

— Ну ладно, кто облачился — проваливайте, мне еще челябинских одевать, у них вся одежда не по погодке. Так, что я хотела еще... Да, сбор в 9:00, вы хоть не опаздывайте с трапезной, а то Гоше прилетит от отца-эконома.

Павел не успел спросить, кто это, как Ася, отстучав сапогами, вылетела за дверь. Там шаги остановились и застучали вновь. «Что это она застряла за дверью?» — подумал Павел, затем встал и пошел за остальными в трапезную. Ася так легко ориентировалась в этом мире, а он со вчерашнего вечера постоянно кого-то догонял, переспрашивал и сейчас, по дороге к деревянному новому зданию, морщился от того, каким жалким, наверное, казался Асе. Да и всем.

Навстречу Павлу шли четверо мужчин в рабочей одежде и строительных касках. «Извините, пожалуйста, а где...» — проблеял Павел, но мужчины прошли мимо, крайний, который был ниже всех, едва не задел его плечом. Пахнуло перегаром. «Мда. Вот вам и “расспросите местных”. Какие тут могут быть поиски?» — кольнуло изнутри Павла. Обернувшись на яркий блик, словно кто-то дразнил его солнечным зайчиком, Павел увидел колокольню, бело-голубую, и крест на ней поутру был празднично золотым. «Баб Зоя, ты меня видишь? Как я сверху? Получше?» — спросил Павел шепотом и заторопился войти в дверь, за которой исчезла желтая Вовина куртка. Раньше ему, окончившему экономический факультет менеджеру, не приходило в голову вот так беседовать с умершими. Чтобы вернуть себе реальность, нащупал в кармане письмо, не терпелось показать его Асе.

В трапезную мужчины входили без шапок, женщины, наоборот, повязывали платки. На первом этаже висело с десятков курток и расписание трапез между наемными работниками,

волонтерами, трудниками, из которого Павел понял, что есть здесь и наем, и то, что от его завтрака осталось минут десять. Поднявшись на второй этаж, увидел огромный образ все той же Богоматери на облаке, как и в их келье, несколько столов, где сидели волонтеры, и по другую руку — стойку, как в столовой, с хмурой девушкой в белом платке, точно охраняющей чан с кашей. Другой чан, такой же огромный, с вареными яйцами, просто стоял на одном из столов. Чай, хлеб и яйца полагалось брать в любом количестве, кашу девушка накладывала строго одну миску на человека. «Пшенная», — сказала она устало, хотя Павел и не спрашивал. Пахло в трапезной, как за завтраком в детском саду. После гибели родителей Павел больше любил ходить в сад, чем оставаться с дедом и бабой Зоей. Потому что баба Зоя решила, что у него хрупкие кости, и на завтрак всегда давала творог с медом. Павел на дух не переносил ни то, ни другое. Когда жил с Лидой, долго, почти два года, и даже собирался жениться, она вдруг намешала творог с медом прямо в пластиковой магазинной коробке, кефиром залила и, недолго думая, накрошила сверху банана. Принесла это все вместе с чаем на подносе. Завтрак в постель. Павла вытошнило в ванну, едва добежал. Сослался на усталость, ушел на работу. Потом и отношения сами по себе сошли на нет. «Объясни», — просила Лида. Как тут объяснишь, когда двадцать пять лет прошло, а он все не смирился. Баба Зоя расстроилась, когда Павел вернулся с чемоданом. Поняла, что не дождется женитьбы, правнуков, да хотя бы пристроить, передать Павла в заботливые руки: «Паш, мой век долог, да не бесконечен».

— Паш, иди к нам! — и снова приятный хриплый Асин голос вырвал его из прошлого. Она сидела с челябинскими волонтерками в ярких шелковых косынках, одна она была без платка, и ее волосы стали совсем серебряными под лампами дневного света.

— Я хотел тебя спросить, — начал неуверенно Павел.

— Если яйца не будешь, я котам возьму. — Ася его не слушала. — Их там много, можно прямо обложиться и вздремнуть, пока отец-эконом не видит.

— Котов? — спросила челябинская, не то Маша, не то Вика.

— Там ветлечебница во поле, в хижине. Ну, увидишь. — Ася уже собирала свой поднос, рассовывая яйца по карманам черной куртки.

— Как я не люблю быстро есть. Хочется посидеть, как-то красиво, за завтраком.

— Ну, Маш, тогда быстрее красься завтра. Или вовсе не красься и пораньше приходи. С рабочими, — Ася усмехнулась, все промолчали, тогда она порылась в карманах, вытащила пакет. — На вот пакет, печенье хоть возьми с собой.

— Это рабочие шли вчетвером? Чуть меня не сшибли и... — Павел пощелкал пальцами по шее.

— Вряд ли. Наверное, местные. Рабочие тут ого-го специалисты, даже парочку финнов вызвали на электрику. Все здороваются и не пьют, — Ася резко встала и уже бежала куда-то со своим подносом, и черная юбка за ней виляла кошачьим хвостом.

Павел в две ложки закинул в себя кашу и поспешил за ней. Поставив поднос, Ася крестилась на образ, и Павел поднял руку было ко лбу, но осекся, никогда не понимал он этих обрядов.

На крыльце работного дома их ждал Гоша с мешками. Павла отправили переодеться в рабочую куртку, а когда он спустился, Ася молча взяла мешки, позвала Вику (она из двух челябинских была старше и выше) и Машу, которая все еще злилась, поправила серую шапку и свернула за угол. Там открывался путь к монастырскому саду, который звался Верхним. На фотографиях с сайта монастыря сад был густым, цветущим, мирным.

Павел вспомнил фотографию с колокольней, точнее, с ее отражением в пруду. Теперь из-за глухого забора были видны лишь кривые, тощие ветви яблонь. Страхнув снег, они все еще зябли.

Минуя садовую ограду, вышли к полю. Черному, вязкому, отделенному аллеей старинных пихт, переходящих в лиственницы. Аллея тянулась вплоть до старого игуменского кладбища. Протерев очки, Павел понял, что это не клочки снега на черном поле, а мешки, грязно-белые, такие же, как у него в руках, — переданные Асей, а держат их монахи. Они нагибаются, что-то подбирая с земли, а затем вдвоем волокут заполненный на треть мешок к обочине. Гоша, догнавший его на велосипеде, пояснил, что монахи с утра собирают здесь камни, чтобы расчистить поле и вспахать трактором, как станет посуше. А пока трактор свозит камни подальше. «Возьми, это, в пару кого-то из сестер, — Гоша было развернулся, но подъехал назад. — Ты ж первый раз?» Павел кивнул. «К монахам не приставай с вопросами. Сами спросят — отвечай, это, брат, не дичись». И уехал.

Ася уже построила Машу с Викторией в пестрых платках в ряд, позвала еще пару старушек и со словами: «Взмолимся, сестры!» — затянула песню. Хриплый голос звучал так весело, что Павел, только когда к нему сбоку подошел монах и принялся креститься, понял, что это все-таки молитва. Положив поклон, Ася взяла мешок и неторопливо пошла по полю, продолжая что-то напевать. Она легко нагибалась к камням, могла долго их рассматривать, однажды собрала пирамидку наподобие шаманских и долго над ней стояла. Еще у нее было с собой ведро, на которое она садилась перевести дух. Павел шел быстро, весь покраснелся, валуны ему попадались некрупные, не больше двух кулаков, но он старался закончить работу быстрее, чтобы успеть на кладбище. А до того как следует расспросить Асю.

— Сфоткай меня! — Ася протянула камень с дыркой посредине, как огромная бусина, и телефон. — А ты, *брат*, чего такой красный?

— Ну, я думал, побыстрее сделать и завернуть на кладбище, там у меня, понимаешь... Я и тебя хотел спросить. — Павел порывлся в карманах — понял, что письмо осталось в городской куртке. Рука беспомощно крутила вареное яйцо с завтрака.

— На игуменское? О! Это если в обед только успеешь смотаться. Хотя вряд ли силы останутся — так разогнался.

— Я сделаю сколько надо рядов и сбегаяю.

— На Валаае ряды не считанные. Видишь поле? Как все камни уберем, другое послушание будет. Как колокол прозвонит — можно и отдыхать. Ну и обед посерединке будет, хотя я лучше вздремну. — Ася зевнула. — Понял? Спешить нам некуда, и даже вредно.

Павел тяжело сел на Асино ведро. Поймал взгляд двух монахов. Один, совсем молодой, скорее со щетиной, чем с бородой, смотрел на него равнодушно, высокомерно, как на приезжего недотепу. Второй, который держал молодому мешок, походил на старого грека, возле его огромных карих глаз веером разбежались морщины-смешинки. От него пахло ладаном и библиотечными книгами. Он закашлялся, чтобы скрыть смех. Павел, вспомнив Гошу, неуклюже кивнул и чуть не свалился с ведра. Подошел к Асе, придержал ей мешок.

— Ты родню, что ли, искать приехал? Да не удивляйся, я тут пять лет как завязала. И каждый год один такой является. Мне то что, а вот отцу Ефрему, библиотекарю, покою нету, — Ася понизила голос, кивнула на монахов. — Тот, который седой.

— Находят?

— Как бог даст. У меня вот бывший муж живой был, и я была живая, а дорогу друг к другу не нашли.

Помолчали.

— Он просил меня исчезнуть из его жизни, а по программе (я в анонимных алкоголиках), если просят близкие, надо сделать. В смысле, хоть чем-то загладить вину, даже если больше никогда их не увидишь...

— А как ты на Валааме оказалась? — спросил Павел, чтобы хоть что-то спросить.

— Да как развелась — стало нечего по выходным делать. Я из Пскова, тут недалеко, вот и приехала. Легче тут, понимаешь? В магазине был?

— Нет.

— Там сейчас кагор по пять счетчиков продают. Раньше и водка была: жилое поселение, они должны обеспечивать всем, хоть владыко и ругался.

— Не понял, при чем тут магазин.

— Когда он один, магазин то есть, его проще стороной обходить. Смотри, вот даже говорю с тобой про это, и руки почти не трясутся. — Ася сняла перчатку с правой руки, выставила руку вперед: запачканные землей, пальцы и правда держалась ровно. — Чаю хочешь? — Из кармана куртки Ася вытащила термос, плеснула в крышку чая, крепкого до черноты.

Краем глаза Павел уловил движение. Монахи по очереди складывали мешки на краю поля и уходили куда-то в сторону храма. Им вослед слетали с пихт вороны, небо было ясное, от земли шла ледяная сырость: стоишь на одном месте — по голенище вязнут сапоги. Павел оглядел поле: вон желтая куртка Вовы, бородатый в красной шапке, мелькают шелка челябинских, старухи-паломницы что-то говорят — и ощутил тоску, вроде жажды, засосало под ложечкой, опустились плечи. Подняв голову, увидел Гошу: тот, не слезая с велосипеда, показывал скрещенными руками перерыв. «Наверное, я просто голодный», — подумал Павел.

У избушки, где молились до начала работы, вид теперь совершенно изменился. У нее кружили коты. Пушистые, широколапые, игривые и старые, с подбитым глазом и едва-едва способные дергать хвостом, чтобы увернуться от ласк. Маша и Вика, в темных скромных юбках, добытых им Асей в рухольной, тянули себе котов на колени, гладили, фотографировали друг друга

в темных очках и без них. Павел стоял поодаль, к нему подошел и понимающе сел у ног ветеран: кот без уха, с перекошенной физиономией, когда-то рыжий, а теперь скорее серо-желтый, пыльный, как летняя степь. Павел достал вареное яйцо, очистил, разломил пополам. Кот никак не мог яйцо ухватить, белок выскользнул изо рта назад, нарочно, как у клоуна. Сев на корточки, Павел раздавил белок с желтком в кашлицу, погладил кота по спине и сразу отнял руку: спина была тощая, все позвонки на перечет, словно проводишь рукой по чугунному радиатору. Женщина, вышедшая из избушки, села рядом с Павлом: «Петя сегодня ест, ну надо же! Вы идите, идите на обед, а то опоздаете, я сама тут». Подняв голову, Павел увидел, что все уже идут по аллее назад, тяжело переставляя ноги, шумно переговариваясь.

Вечером попасть на кладбище снова не удалось. Ася объявила, что отец-эконом благословил их пойти жечь костер, выделил дров и картошки из монастырского запаса. Костры предполагалось жечь за территорией монастыря, на самом берегу Ладоги. Место называлось «Первая точка», Гоша, нарочито окая, именовал его Петровским мысом. Он принес пакет с картошкой, а сам идти отказался, пообещав, что, может, придет после вечера. Как и старушки-трудницы, которых еще на поле Ася позвала за компанию.

К Первой точке от работного дома шла проезжая дорога, грунтовая, плотная. Вдоль нее росли могучие мрачные сосны, под ними зеленым, серебряным, красным лоскутным одеялом лежал карельский мох. Павлу, нагруженному картошкой и печеньем к чаю, после собирания камней хотелось прилечь на мох, перевернуть этот день. Но вокруг у всех было приподнятое настроение, даже Вика, которая держала строгий пост (для очищения женской энергии), готова была к жареной на постном масле картошке.

Оказалось, что на Первой точке есть и место для костра, и решетка, и сковорода, и масло, и даже соль с перцем — как на лесной кухне. Это туристическая стоянка для тех, кто хочет побыть в тишине, но не тяготеет к религии. «Наш игумен — душка, он всех принимает», — пояснила Ася. Павел задумался: а не лучше ли ему остановиться тут, в палатке, готовить себе на костре, а днем заниматься поисками, без камней и огородных работ? Но женщина, которая приняла его анкету на волонтерском сайте, узнав, что он неверующий, сказала, что туристы не допущены на дальние скиты, а вот волонтеру, глядишь, и выпадет послушание. «Только вы осторожненько ищите своего родственника-то, много не болтайте про это, и не сразу наседайте. Надо же сойтись с людьми. И все же, — запнулась женщина, в трубке послышался тяжелый вздох. — Молитесь, в общем. Как умеете. Просите у икон. Это работает».

Павел смотрел на синие воды Ладоги, все еще качавшие белые льдинки, вдыхал дым костра, слышал обрывки разговора, перебиваемые смешками, как бывает в компаниях малознакомых людей, стыли его щеки и теплело на душе. Ближе к воде камни становились плоскими, с них была смыта почва — тоненький слой, пришитый мхами, укрепленный соснами, приколоченный монастырскими постройками. Местный камень, габбро-диабаз, как говорила Ася, он вроде как фонит по вечерам, отдавая накопленное за день солнце, разгоняя тучи над Валаамом, не хуже правительственных самолетов над Москвой в день парада. Строить из этого камня кельи не вышло — камень отдает назад все, что в себя принимает: не только солнце, но и дождь, и утренний туман. Вот уже несколько десятков лет как остров объявили заповедником, а могучие округлые валуны, укутанные мхами, точно не верили в милость человеческую. Боязливо выглядывали из-за сосен, присматривались к волонтерам. Павел даже пожалел, что не взял камешек с поля — все сбросил в мешок.

В бухте валунам было привольнее — они распластались, приклонились водам, делаясь синими, отражая сразу и небо, и воды Ладоги. Слева виднелся Никольский скит, Павел рассмотрел зеленый шатер и золотую маковку, справа убежали резные бухты, впереди небо гляделось в Ладогу. В этой безграничной синеве, рискуя соскользнуть с мокрого валуна, сидела Маша. Она полоскала ложки, ее руки с длинными, вишневого цвета ногтями покраснели от холода и, видно, начали неметь, но она все намыливала олово и водила им по воде, точно суп размешивала, и хлопала носом. Павел хотел ее окликнуть, но постеснялся: мало ли что привело ее сюда. «Красивые, переухоженные женщины — самые несчастные, не связывайся», — до самой смерти твердила Баба Зоя, в молодости она была лопухая, курносая, но, как говорил дед, бравшая обаянием.

Когда Павел вернулся, у костра осталось лишь одно место — возле Аси. Она сидела ближе всех к огню, ничуть не дорожа своей курткой, и почерневшей деревянной лопаткой переворачивала пласты картошки. Картошка была особого, валаамского сорта, желтая, охряная, в поджарке она становилась оранжевой, пахла сладостью. Ася все рассказывала, как работает в реабилитационном центре для зависимых, у себя, в Пскове. То и дело пробуя картошку, она жестом показывала Вике, сидящей напротив, подсолить. Вова молчал, Бородатый (это прозвище так закрепилось за ним, что Павел, обращаясь к нему, всегда начинал с «э-э»), чтобы оттянуть время, вспомнить, как его зовут) разбивал дрова на щепу, подкладывал в педантично ровный костерок сбоку от углей, над которыми жарилась картошка.

— Он мне: я же не алкоголик, я так, знаете ли, приболел, вот и лежу в больнице. Я ему говорю: вы что, не видите, у вас на окнах решетки? А он мне — дак это, мороз просто, морозные узоры. Нет там никаких решеток. Не вижу.

— Типа он сумасшедший? — Вика, оставившая на мужа и свекровь своих близняшек-шестилеток, больше всех удивлялась Асиным рассказам еще с Приозерской пристани.

— Зависимый. Они верят в то, что хотят. Если алкоголик признает, что пора лечиться, считай, первый шаг пройден. Я вот три года не могла, пока муж со мной не развелся на фиг. — Ася медленно стащила с головы шапку, вытерла пот с лица. — Ну, давайте, что ли, тарелки.

Зазвонили колокола с вечерни, солнце покатилося к закату где-то с обратной стороны острова, и Асина седая стрижка вспыхнула золотом, а потом опять стала седой, замерзшей. Когда к ней со всех сторон потянулись тарелки за картошкой, Павел услышал: «Можно?» К нему подседа Маша. Она снова была подкрашена, от ее шарфа пахло тропическими фруктами, вкусно и чуждо среди дыма и едва согретого солнцем мха. Павел передал Маше свою тарелку, куда Ася уже положила картошки с горкой.

— Спасибо, что-то я и не голодная.

— Так вот можешь есть теперь медленно, как просила. На Ва-лаааме все, что ни просишь, сбывается. Не замечали? — Ася засмеялась, за ней Вова и Вика, Маша сжала губы, медленно ковыряла вилкой поджаристую горку.

— Не знаю, вот сегодня, я... — начала было Маша.

— Кстати, тот мужик, зависимый который, в завязке уже год. Это мало, конечно, он на третьем шаге. Обратился за помощью, то есть звонит мне иногда — выговаривается.

— Тебе это зачем? — спросил Павел.

— Глядя на него, я и сама вспоминаю, как было херово (прости господи), плохо, и пока с ним общаюсь, совсем не тянет выпить. Вот нисколечко.

— А так хочется? — Маша отложила тарелку, посмотрела сквозь длинные ресницы.

— Ладно, у меня еще сегодня дела, — засуетилась Ася. — Вов, тарелки помоете тогда, вон их в ящик, под стол. И кружки,

и ложки. Картошку сырую, хлеб — все назад несите. — Ася, подобрав черную юбку, переступила через бревно, на котором остались Павел с Машей, кивнула Павлу и ушла по тропинке к Центральной усадьбе. Павел сжал в кармане письмо, которое хотел показать Асе после ужина. Резко стемнело, с криком пропали последние чайки, и только Ладога все ластилась к валунам где-то совсем рядом.

2. ИНВАЛИДЫ

Кока Тома — Семён, не выговаривая «тетя», так звал ее с детства, — охала из-за двери палаты, костеря свои ноги: «У, столбы неподвижные». Ей вторило еще несколько голосов, никто не открывал. В свои пятнадцать Семён не вытянулся, но раздался в плечах. И не мудрено, по три раза грести туда и сюда на Красный филиал с лекарствами, пеленками, ножными протезами — металл ободов, болты, ремни — они больше походили на кадки для цветов, чем на замену ноги. Васька, друг отца, примерил: под таким и остаток правой отвалится к чертям. Отцу Семёна протез не предлагали. Безногий, он ездил на тележке отталкиваясь деревяшками-утюгами от пола. И казался выше всех.

Навалившись плечом, потом еще раз, с хриплым гыком, Семён вышиб дверь. По четырем кроватям точно вихрь пролетел, стыдливо натянулись простыни. А вот запах так не прикрыть — окна в Центральном филиале дома инвалидов узкие, с прошлого века остались, от монастыря. Пахло немытыми телами, острым чесночным потом и уж совсем противно — мочой. Семён смотрел, куда поставить сумку с хлебом и присыпкой, переданной матерью. Кругом пеленки, простынки, мохнатые платки, ночнушки в желтых пятнах. Кока Тома первая пришла в себя и рассказала, что Лаврентьева, их санитарка, запила. Как на грех — в женский банный день. Пытались сами

друг друга одеть, Женечка одной своей рукой даже справилась с защелкой замка: «Вдруг зайдет кто, срам же». Потом вместе с кокой Томой они пытались снарядиться в баню, думая, что санитарка просто задержалась. Но прошло два часа, женщины вставали и садились на койки, роняли клюшки, бранили друг друга, плакали от немощи, и остались неприбранными. Мало что неприбранными, так и до бани, это ж через весь поселок — им не пройти. Баня через два часа закроется. «На неделю засядем не мылись», — Женечка откинула сальные пряди мышинового цвета со лба. «Не вой», — кока Тома затянулась папиросой. Она всегда говорила Семёну, что лучше бы ноги ей отпилили вовсе. Чем такие вот слонови, обездвиженные пестовать. «Я бы тоже запила, лишь бы тушу вот эту не ворочать».

Кока Тома и впрямь приходилась Семёну теткой по матери. Его мать, Антонина, которую уважали на острове ничуть не меньше, чем отца-фронтовика, приехала ухаживать за сестрой еще в пятьдесят первом году, здесь вышла замуж. Сестры были вовсе не похожи. Антонину не коснулись увечья, она сохранила молодость, волосы без проседи, но дело было в характере. Мать была строгая, молчаливая. Ледяная. Кока Тома, радистка, хоть и застряла в сорок третьем «ну точно жаба» в ледяном карельском болоте — выковыривали ее оттуда ломами, в медсанбате грели ноги, кололи шприцами, так и осталась парализованной ниже пояса, — была живая. Всегда шутила. Медали, а на ее кителе под орденом они звенели в три ряда, — звала «мой парад». Валаамских инвалидов на парады не звали, на острове не горел вечный огонь. Разве что по радио благодарили всех оптом: живых, мертвых, покоренных — «за подвиг». Мать говорила, что в медкартах не указаны места боевой славы инвалидов. ФИО да увечье. И то не у всех.

— Давай я тебя в баню откачу? На садовой тачке. Вон, во дворе перевернутая лежит. — Семён перехватил теткин взгляд, косящий на соседку. — И Женечку тоже.

Женечка закивала. Семён считал ее не в себе, но диагноза не было, потому она и жила тут, а не на Никольском. Говорили, она была пулеметчицей в войну, и ее оторванная рука погубила немало. Двух старух, которые доживали свой век в Доме инвалидов, но наград не показывали, а может, и не имели, уговаривать не пришлось.

Раньше в Доме инвалидов было аж три бани: своя на каждый филиал. Теперь и с Никольского филиала, что поближе, и с дальнего Красного, свозили всех мыться в Центральную баню, устроенную еще монахами. Семён особенно любил среды — банные дни краснофилиальцев. Он тщательно отмывал руки и курчавые волосы в умывальнике, изводя треть куска маминого мыла, дергал верхнюю губу, чтобы пух, пробившийся над ней, перешел уже в щетину. И тогда смело можно брать отцовскую бритву. Затем надевал рубаху, воротник которой не сильно засалился, и, прыгнув в лодку, начинал гребсти изо всех сил. Горючего давали в обрез — нужно было сэкономить на обратный путь, когда повезет Елку. Ну и врача.

Он долго греб из Центральной бухты в Малую Никоновскую бухту, куда причаливали белые круизные теплоходы. А с недавних пор — еще и туристические лодки. Вообще, на Красном филиале было весело, в бывшей церкви сделали концертный зал с танцплощадкой, туристы, молодые, здоровые, загорелые, приглашали Семёна посидеть с ними у костра, спеть «Генералов песчаных карьеров». Тощий парень с гитарой, косматый и длинный в своей свободной рубахе весной пел Гребенщикова. Питерского. Продираясь сквозь стену тумана, Семён налегал на весла, отсыревшие и застывшие за ночь на дне лодки, и бубнил ту песню: *«Он пришел из туманной дали и ушел в туманную даль»*.

Вот и вчера так было. Туман обтесал берега-шхеры до округлости, качались старые сосны. На камни вышли погреться

нерпы. Толстые, с блестящей черной шкурой в белых кривых полосах, они знали, что после туманного утра придет жаркий день. Семёну было приятно думать, что большеглазые нерпы признают в нем хозяина острова, потому держатся сонно, не соскальзывая в воду со страху. Одну он даже прикармливал рыбой. У нее не было колец — сплошная чернота. Скоро у них начнется сватовство: будут кивать, шлепать по бокам лапами, тереться усатыми мордами. Свистеть. Урчать. К гомону чаек Семён давно привык. Когда природа стихала вокруг, на него нападал страх.

Залежка нерп осталась далеко позади. Обогнув Предтеченский остров, который Семён называл Елкиным, он посмотрел на часы и завел мотор. Чихнув и дернувшись, спугнув рыбу, ушедшую на глубину, лодка с широким кругом направилась в Никоновскую бухту. Гладкую, светло-голубую. Кусок неба на земле.

Обогнув знакомые бакены у трех островов, отрезавших бухту от большой воды, Семён привычно вытянул шею — разглядеть, кто там на причале. Крепкий бетонный причал в форме буквы Т установили после войны, при рыбсовхозе. В классе, где утром обучали малышню, а вечерами за парту сажали выпускников, вроде Семёна, висел бледный плакат, на нем мужик держал пудового налима и заявлял: «Прежних хозяев монахов — догнать и перегнать».

Хотя теплохода еще не было, Семён пришвартовался не у причала, а прямо у пологого берега. Зная, что Елке так нравится. Она сойдет первой и легко сядет в лодку перед ним. В то время как врач Суладзе и санитарка Никитична будут заносить себя долго, одна — оседая, как тесто, другой — задирая длинные ноги и переноса чемодан с лекарствами, точно имперскую корону. Одно слово — Цапля.

На песчаном берегу Семёна встретили двое, он было порадовался, что нет ни Цапли, ни Никитичны, а потом разглядел парня, державшего Елку за руку. На нем был серый пиджак,

из-под кепки торчал черный чуб. На вид ему было лет двадцать пять, как и Елке. Из новых, значит. «Сень, а ты скоро совсем мужиком станешь, поглядеть приятно, не то что...» — Елка осеклась, понимая, что и отец Семёна — такой же обрубок, как и еще сотня инвалидов, на которых смотреть невмоготу. В то воскресенье он с ребятами, она и пара новых санитарок загорали в Петровской бухте. Купались все, кроме Елки. «Ну вас, с ледяной вашей Ладогой. Теплого моря дождусь», — брезгливо, точно родилась не здесь и отец ее не работал в рыбсовхозе, а в Крыму. Впрочем, Семён больше смотрел на Елку, чем слушал. Ее губы трубочкой, когда прикуривала папиросу, ее белые руки. Она вся была как из густого тумана и чуть розовела на солнце. Ее мать была не то шведка, не то норвежка: узколицая, глаза-стая, чахоточная. Вечно куталась в пальто. Дочь, Елена, была крепче, злее. В церкви на Центральном филиале под потолком осталось не замазанным одно женское лицо. В этом году Семён все чаще заходил туда по вечерам и смотрел, задрав голову вверх и глядя ту женщину по щекам лучом фонарика. Фотокарточку у Елки он так и не выпросил: «Размечтался».

Елка, не отрывая руки от парня, которого звала Егором, сегодня была добрая. Сказала, что Цапля и Никитична мыться не поедут, попросила спешить, чтобы вернуться засветло, к танцам. Семён оттолкнул лодку, Егор, подхватив за талию, ловко посадил Елку на скамеечку впереди него. И сам уселся рядом. Семён отвернулся, якобы проследить за мотором, но боковым зрением видел: Егор все еще обнимает Елку и шепчет ей на ухо.

У Семёна самого загорелись уши: хоть водой студи.

— Малой? Слышь, а че ты ушами-то загорелся? — голос у этого Егора был приятный, наглый, но обволакивающий. Семён не повернул головы. Мотор заглох. Семён, не поднимая глаз, сел на весла.

— Отстань от него, — проворковала Елка. — Расскажи лучше про Ялту.

— Ну а чё болтать? Там все как надо. Море, пляж, девки в черных очках в шезлонгах отдыхают. Набережная тянется от одного ресторана до другого. Белые колонны, Леночка. Белые, как ты. Стоп. А это че за корова?

Из воды выглядывали два черных глаза, в каждом — плыла белая лодка. Нерпа, любопытная, сползла с камня, где грелась, нырнула под лодку, оказалась у противоположного берега.

Все еще ждала.

— Ща мы ее!

Семён не успел схватить руку, метнувшую камень со дна лодки. Серый, с белой каймой — хотел Елке подарить. Нерпа взвизгнула, пропала. На воде осталась кровавая клякса.

Попал, значит.

Кока Тома поехала на тележке первой, смотрела прямо на Семёна, и на кочках колыхались ее щеки, бренчали медали. Они не разговаривали. Семёну было тяжело, тетка весила не меньше шести пудов, на ступеньках чуть не свалилась. Хоть привязывай. Везти Женечку и старух было легче, старухи мало что понимали, вид такой, будто на ярмарку едут, Женечка — костлявая, невесомая. Задумался, что у нее хорошая фигура. Поглядеть бы. Но лезть боязно.

Во дворе было душно и тихо, это хорошо, обойдемся без насмешек. А вот как быть с женщинами в бане, Семён не представлял. Одно дело — с мужиками. Отец и Васька первым делом намыливали свой транспорт: костыли и утюги. Поливали из шайки, отставляли сушить. Потом принимались друг за друга. На одних руках, мощных, раскачанных за годы увечья, подтягивались по лавке, рискуя соскочить по мыльной пене, хватали один другого за руку, свободной рукой похлопав мочалкой, принимались обстоятельно тереть спины. В слое пены спины были ладные, но стоило плеснуть из шайки — открывалось

поле боя. Розовые, пухлые шрамы от кое-как наложенных в медсанбатах швов, вот круглые, пулевые, а вот и штыковые, вспоровшие плоть как арбуз. Васька намыливал своего командира первым. «Ну, Семён Петрович, на Лещевое ходил? Нет?! Шуруй, на большой Ладоге нынче комар не клюнет», — подтрунивал над Семёном, как старший брат, и горевал, что на костылях туда не допрыгать.

Война не только оттяпала у Васьки правую ногу, но и курносое лицо его изрядно попортила: такого не женить — говорила мать. Семён все детство думал, что Васька в оспинах, оказалось — это от снарядов, от пороха следы. Мелкие, темно-синие, пробрались под кожу, там и застряли — татуировка войны. Рассказывал о них Васька весело, ждал, когда спросят. «На Невской Дубровке нас с командиром пять раз убило», — Семён и его ровесники рассказам о войне восхищались. Тем, кто воевал, бои осточертели, но говорить больше было не о чем. Инвалиды с каждым годом становились все угрюмее, больше молчали. Прошлой зимой глухой контуженный Виктор повесился, надолго приведя всех в уныние. Даже умалишенные на Никольском филиале что-то почувствовали, распереживались. Двое сбежали, босиком по замерзшей Ладоге. Пока хватились, зачоченели насмерть. Похоронили всех троих в один день, на старом кладбище, в лесу, за полем и пихтами. На памятники не было ни сил, ни денег. Сумасшедшие еще и безымянными ушли. Три холмика тихо заросли травой. Мать иногда ходила туда «прибраться» и возвращалась зареванная. «По кому? — думал Семён. — Мы их не знали толком».

Сегодня мать помогла бы Семёну с помывкой женщин, но она была на собрании с «новыми инвалидами». Зэками. Они приплыли на прошлой неделе в серых одинаковых телогрейках, шумные, курящие, как один. Самоваров, без рук и ног, среди них не было, а некоторые, как вот эта сволочь, Егор, вообще выглядели нормально.

Когда привез старух, кока Тома с Женечкой держали в предбаннике совет, как быть с помывкой. Разнервничавшись, Женечка взялась икать, а кока Тома, решив, что она издевается, едва не хватила ее по спине ее же клюшкой. Старухи устало легли на лавку, отчего предбанник показался Семёну покойницкой. Свет замигал, погас и снова зажегся.

— Ладно, Сеня, вези, что ли, назад. Чего высиживать. Свет отрубят, как вчера, по потемкам все тут сгинем.

— Да как не мымшишь! Вон волосы склизкие сделались.

— А я тебе что? Ступай. Башку расшибешь, похороним. Прецедент будет хоть, чтобы порядок у нас навести.

— Господи, что ж я в войну не подохла...

Кока Тома снова размахнулась клюшкой, на Семёна пахнуло гнилым луком от ее подмышки. Он вскочил, с горящими ушами выпалил, что сам их намылит.

— И... и... старух тоже! — добавил, чтобы закрепить свою решимость.

Кока Тома отнекивалась, но старухи, каким-то ящерным слухом поняли в чем дело, завозились, тощими кривыми пальцами забегали по тужуркам, раздеваясь, ну точно, как у врача. В помывочной, куда Семён все на той же тачке закатил их по очереди, усадив на лавку, было холодно. Мужчины давно помылись, и, боясь, что и впрямь отключат воду, Семён разделся по пояс, скинул ботинки, носки, закатал брюки и отвернулся, наливая первую шайку: пусть приготовятся пока, что ли.

Первой вызвалась кока Тома. Она приспустила юбку, трусы, Семёну пришлось стянуть это все с ее недвижимых ног. «У меня там чистое с собой, потом чистое натянем», — впервые извиняясь перед ним, сказала она. Без кителя она оказалась меньше. Ее белое тело состояло из крупных складок, наплывающих друг на друга, как занавес в концертном зале. Также в стороны расходились и груди, оканчиваясь коричневыми сосками. Живот складкой прикрывал ее промежность, а дальше

с лавочки свешивались ноги. Кока Тома всю жизнь костерила их как старую этажерку — к ним у Семёна не было любопытства. Да и остальные части тела тетки Семён воспринял как мебель, без тягостно-сладких позывов, как возле Елки. Был деловит, уши остыли. Растормошил тетку на шутки. Обливал ее водой из бесконечных шаек, обернул простыней и отвез в предбанник, где Женечка уже кое-как разделась и ждала в простыне наискосок, прикрыв отсутствующую руку. Походила на картинку из учебника истории, музейную статую, найденную при раскопках. Семён и его одноклассники, выросшие среди инвалидов, не понимали, чего такой шум вокруг увечных статуй, когда тут люди живут без рук без ног.

Женечку отнес в помывочную на руках. Сквозь простыню чувствовал, какая она горячая. Правой рукой Женечка обхватила его за шею, его пальцы разместились на ее ребрах, совпадая точно, как на аккордеоне. На часах полседьмого. «До ужина их надо всех домыть, отвезти назад», — думал Семён. Он уже и жалел, что влез в это. Вымыл бы коку Тому. Даже рассказывать бы не пришлось: тетка завернет байку, отец его похвалит.

Принеся сразу несколько шаек воды, поставил их вокруг Женечки, стянул с нее простыню, невольно прищурил левый глаз, чтобы скрыть от себя культю, затянувшуюся розовой, противной и тонкой на вид кожей. В остальном Женечка была как надо. Грудь держалась высоко, живот не отвис, по низу его шел шрам, тонкий, длинный, вогнутый. Его рука невольно потянулась потрогать, он не знал, что такие бывают. Качнувшись, Женечка свободной рукой отбила его руку, та задела волосы на ее лобке и от этого низ Семёнова живота забился, как карась в сетке. Он скорей отвернулся, взял шайку, облил Женечку, успевшую сесть на лавку и прикрыться руками. Стараюсь не встречаться с ней глазами, спросил: «Не горячо?», хотя вода давно остыла. Женечка мотнула головой. Отойдя за ее спину, он намылил ее волосы, огибая уши, как будто они могли

сломаться. «Ниже сама, ты меня только смой потом», — сказала Женечка, и он, наконец выдохнув, протянул ей мочалку. «Уйти мне что ли?» — то ли спросил, то ли подумал Семён. Женечка намыливала себя одной рукой, раскачиваясь, как пьяная. Когда Семён облил из шайки снова, оба молчали, когда обернул простыней на одно плечо — взяла его руку и приложила туда, где шрам. «Кесарили меня, понял? Здесь уже было с одним. Он не выжил».

Смысл до Семёна дошел позже, когда намыливал старух. Дуплетом, как пошутила кока Тома. Старухи благодарно кивали, но тела их уже не смущали. Кожа просвечивала, морщась по-земноводному, не блаженствуя от воды. На спине у одной были черные пролежни, как будто тело уже предали земле. Зато мытье наконец убило запах. Приторный, гнилой и невыносимо стыдный от того, что человеческий.

3. ХОР

Павлу не спалось. Старик, накинув поверх одеяла еще и тулуп, от которого несло овчиной, сегодня не крутился во сне. И даже свет экрана телефона никого не тревожил. За окном было темно, лишь через открытую форточку (чтобы не задохнуться от чада печки) слышны были шуршащие, удаляющиеся от рабочего дома шаги. Половина пятого — старухи-трудницы, видать, вовсе не спят. И как только они работают? Павел попробовал пригреться, натянул подушку на оба уха, закрыл глаза — перед ними поплыл высокомерный взгляд монаха с поля. Рывком поднявшись с кровати и нащупав очки, Павел натянул джинсы и на цыпочках проскочил за дверь. Дверь, сколоченная из грубых досок, обитая клеенкой, простонала ему вслед.

Во дворе рабочего дома никого не было. Павел посмотрел туда, где располагались волонтерки, — темные окна. Аллея

фонарей вела к храму, и по ней шла та старушка с корабля в красном берете. Спокойно шла, будто знала эти места. Павел пошел за ней, прошел внутрь каре — только сейчас он разглядел, что храм был двухцветным. Нижняя часть, подновленная, кирпичного цвета, теплого, даже южного, верхняя с куполами — бело-голубая, в тон колокольне. Колокола молчали. Павел хотел было обойти храм кругом, спуститься к причалу, обследовать, наконец, территорию, но тут скрипнула боковая дверь храма. Оттуда донеслось мерное гудение, похожее и на ветер в трубах, и на шаманский напев. Войдя внутрь, Павел едва не налетел на старушку, сменившую берет на косынку, зажмурился. Не от яркого света. Наоборот, он словно в пещеру залез. У алтаря плавилось по четверке свечей в подсвечниках, чуть дрожали перед образами лампады, несколько верующих держали свечи в руках, отчего их лица и сами предстали фимилями. Вот и все освещение.

Парнишка с едва пробивающимися усами махнул Павлу, чтобы встал ближе к правой стороне, пояснив, что идет полунощница. В первом ряду по армейским ботинкам Павел узнал Гошу. Пахло сосной, будто рядом топится камин. Павел расстегнул куртку, стоял и слушал. Почти закемарил под мерное гундосое чтение на старославянском, как тот напев разгорелся снова. Одни монахи брали мелодию и держали ее где-то на уровне груди, не давая расплескаться, пока другие пропевали слова. Их пение не походило на то, каким отпевали деда, за год до смерти ставшего набожным. Баба Зоя шутила, что его прельщает царство небесное, молочные реки, кисельные берега. Деда отпевал хор женский, здесь в этом мужском мотиве, однообразном и кротком, было смирение. Всему. Этим гранитным плитам, ветрам, приезжим, волнам и чайкам. Чужакам, вроде Павла, которые и креститься не умеют. Мог ли здесь выжить Петя? И чем ему, Павлу, поможет старик девяноста восьми лет? Или его дети? И все же другой семьи у Павла не было.

Павел и не заметил, как, обойдя золотую раку с навершием, подошел вплотную к певчим. Неловко стало. Как старая знакомая, на него глянула Богоматерь в красном с открытки — монахи служили перед большой иконой. Во главе, сняв черный убор, высокий статный парень, одних с Павлом лет. Его легко представить дирижером, и даже скромный свет был выгоден движениям его рук: он поднимал правую кисть, щипком оставливал певчих, снова вскидывал пальцы и спускал их плавно, как падает лист. Левой рукой, едва появлявшейся из тьмы, легко перелистывал ноты. Певчие в ноты не смотрели, только на солиста. Два монаха с зеленоватыми от седины бородами пели, прикрыв глаза. Павел петь не умел, но слух у него был точный — фальши не уловил, хоть и слов не разбирал. Оглянулся — Гоша стоял рядом. Лицо хмурое, тревожное, взгляд бродит где-то внутри.

Когда народ потянулся из храма, Павел заторопился к солисту, но не протиснулся — тот приветственно подняв на Павла брови, так и выплыл из храма в кольцо хористов. Во дворе та старушка набирала воду из источника. Струя, сбиваемая ветром, лилась прямо из креста, стуча по дну бутылки. Глаза у старушки синие, ясные, черты лица правильные — ее легко было представить состарившейся актрисой. Она смотрела на воду, пока ее бутылка не переполнилась и вода не забрызгала рукава. Тогда, утерев сырой рукой в крупных перстнях глаза, она снова пришла в себя. Павел поспешил уйти. За монастырскими воротами было серо. Прошел дождь, вдоль тропинки лужи. Снег, еще вчера клочками лежавший на дворе, унесло в Ладогу.

В надежде раздобыть кофе Павел отправился к причалу. К нему вела трехмаршевая лестница, наверное, летом утопающая в прохладной тени. Сейчас с веток капал на шею дождь. Шмыгнул в сторону мокрый кот. Дойдя до третьего марша, Павел замер. Ладога дремала под туманным одеялом и все было черно-белым, как в старом кино. Павел едва разглядел

пришвартованного у берега «Николая». Вокруг него покачивались несколько суденышек поменьше и моторная лодка. Сзади тяжелые шаги. Павел обернулся. В рыбацких сапогах выше колен, в защитной куртке с поднятым воротником спускался к воде, попыхивая сигаретой, мужчина за пятьдесят. Кудрявый с проседью, он шел уверенно, как на работу, и не бросил сигарету даже у Благовещенской часовни, «встречающей и провожающей», как говорила Ася.

Павел еще вчера заметил, что на Валааме принято поклониться, кивнуть, а то и поболтать со случайным прохожим. Но что-то в спине незнакомца показалось Павлу враждебным. Тот исчез в тумане, и тишину утра взрезал гул моторной лодки. Причал снова опустел, сувенирная лавка с балагуром-продавцом, вчера обещавшим «лучший кофе на дороге» и «волонтерам вполцены» заперта на подвесной замок. С него капала на крыльцо дождевая вода.

Вернувшись в келью, Павел едва прилег, как тут же был разбужен будильником Вовы. До завтрака оставалось десять минут.

На Никольском скиту, куда их отправили прибирать храм к Пасхе, было тихо, уединенно. Вова рассказывал Бородатому, как в прошлом году волонтеры свалились с гриппом — в дождь пололи свеклу. Теперь их берегут. Да и волонтерить в этом году прибыло мало народу, все больше трудники, а «они Гоше не подчиняются, у них свой чин». Монахи не показывались, шаги гулко отдавались эхом под сводами храма. Сам Дюма назвал эту церквушку среди сосен и воды самой красивой в России.

От работного дома спускались к Никольскому четверть часа, позевывая после завтрака. На второй день без горячего душа лоску убавилось даже в челябинских: Маша натянула серый дождевик поверх куртки, Вика вырядилась в черное, оставив

себе лишь розовую шапку, до того пронзительную, что глаз резало. Они то и дело останавливались сфотографировать причал для яхт и длинный помост, ведущий на скит. Никольский храм, с зеленым куполом и золотой луковкой, вписывался в любой кадр. Он то гляделся в воду, то кутался в черные сосны, то кивал проплывающим лодкам. «Скорее терем, чем церковь», — подумал Павел.

Внутри храм показался Павлу огромным, золотой трехъярусный алтарь, росписи на стенах, пахнет краской — его реставрировали художники из Петрозаводска, а электрику финскую сделали. «Столько бригад взяли — местные остались вовсе не у дел», «А что Семён?» — «Он тут не главный, и вообще», — Павел слышал, как шептались Ася и Гоша. Маша с Викторией взяли за ковры, выносили их на крыльцо, выбивали, остальные натерли паркет-елочку. Ася одна мыла окна. Работали молча, у всех застряли мысли, которые хотелось перемолотить. Снова зарядил дождь, свечи вне службы не горели, стемнело.

— Я читала вчера, ну, у нас там путеводитель в келье, что тут сумасшедших держали. — Руки Маши терли пол рядом с Павлом.

— После войны? Прямо в церкви?

— А им что? Церковь, не церковь. То, что были склады в алтарях, тебя не смущает?

— Ну, склады — одно дело, а сумасшедшие...

— Мало того, инвалиды. В войну кто без ног остался, кто без рук. Да еще сюда свезли — Маша поехала. — Неудивительно, так и сойдешь тут.

— Что еще писали про инвалидов?

— Про инвалидов не знаю, а вот тут был филиал для «психохроников». — Маша постучала пальцем по лбу. — Бежали чуть не босиком в Сортавалу, по снегу. Наверное, километров тридцать, а то и больше. Замерзали. Зачем бегут — никто не понимал.

— Там же врачи были? Санитары? Они куда смотрели? — вмешалась Вика.

— Да что вы знаете! Лучше бы полы терли, рассуждают они. В городах тоже сходят, и с руками, и с ногами. И с детьми. — Ася грохнула ведро с мыльной водой возле них.

— Это ты о ком?

— О маме моей: она в окно вышла, все тело у нее горело, говорила, не могу больше жить. Мне было десять, брат постарше. — Ася замолчала, все смотрели на нее, ожидая истерики. — Написала в записке: «Никто не поможет. Ни люди, ни врачи, ни бог».

Все молчали, Ася спокойно взяла свое ведро и ушла мыть окно к левому пределу. Туда, где сама же рассказывала по дороге, из стены, отделяясь от живописного образа, выходил святой Николай и грозил вору, норовившему стянуть пожертвования из оловянной кружки. Бедняга так и простоял до заутрени столбом, пока не пришли карелы, просившие у Николая удачи на рыбалке, как у шамана. Вор взвыл, сбежал неизвестно куда.

За дверью Зимней гостиницы, куда вошла Ася, слышался разговор, а во дворе дождь все стучал по детской коляске. Павел постоял под окнами трехэтажного здания, думая, кому бы могла принадлежать коляска и не занести ли ее хотя бы в подъезд? Услышал позади голос, объемный, при этом негромкий, обращенный только к нему:

— Новичок на спевку? Хорошее дело, — утренний солист в черной рясе, поглаживая красивую бороду, стоял на ступеньку его ниже. — Проходи, брат, что же ты?

— Да я, нет, я с коляской.

— Коляска? Господь с ней, она тут зимой и летом, аки пес цепной. Шурик давно сам ходит, а новые вряд ли будут. Ты из волонтеров, что ли?

— Э, ну да. Я за Асей шел.

— Ася! Ася, брат, уже небось за меня всех распела. Пошли, пошли. Тебя не Фомой зовут, часом? — когда солист улыбался, его усы поднимались, чуть закручиваясь.

— Павлом.

— Ну а я Иосиф, регент хора.

Ступени Зимней гостиницы были в ямах. Подслеповатые лампочки подмигивали и трещали. Каждое слово эхо повторяло раза четыре. «Во, какая акустика! У тебя слух есть?» — Иосиф обращался с Павлом по-свойски, будто спросил закурить. Павел кивнул, стараясь не споткнуться на ступеньках. Пахло жареным мясом и луком, печным угарным, уже ставшим знакомым.

На первом этаже поленицы были сложены прямо возле дверей в коридорах. На двери с надписью «Младшие классы» Иосиф откашлялся, пропел знакомое «Молитвами святых отец наших...», перекрестился и вошел. Павла точно сквозняком затянуло за ним. Обернулась Ася, стоящая к ним спиной. Черная юбка, водолазка. Без куртки она показалась Павлу очень худой, хрупкой и совсем юной.

Протерев запотевшие очки, Павел разглядел собравшихся на спевку. Перед ним, кто с тетрадными листками в руках, кто скрестив руки на груди, стояло человек десять: старики, женщины, подростки и, видимо, тот самый Шурик, выросший из коляски, держался за брюки мужчины, того самого, что чуть расшиб Павлу плечо на ходу. Лица у мужчин недоверчивые, женщины смотрели на Павла с любопытством. Иосиф громко произнес, как конферансье: «Вот и брат Павел споеет с нами. Приступим?» От поднятой руки Иосифа хористы запели в унисон: «Богородице, дево, радуйся». Шурик открывал рот, едва выглядывая из-за штанин отца, рассматривая Павла, отошедшего в угол комнаты, откуда видны были и хористы, и регент. Иосиф кивнул Асе, и она низким-низким голосом загудела мелодию без слов, как бэк-вокал. Звук проходил

через тело насквозь, будто Павел стал колоколом. Отступив назад, едва не сел на парту, сдвинутую к стене. Оглядевшись, понял, что это класс и на доске начертаны ноты с завитушками, похожими на математические корни и просто крюки над ними.

— Братья! Братья! И сестры. Вы так пчел отца Кирилла до срока поднимете!

Хор отвечал Иосифу дружным смешком, точно этой шутки ждали, чтобы снять возникшее при чужаке напряжение. На портретах, что висели над классной доской за спиной Иосифа, прямо на хор глядел моложавый Пушкин.

— Исон может быть только один, его нам Ася поет, подстраивайтесь к ней. Кому не слышно, подойдите ближе к сестре. Прямо ухом над ней, и гудите с усердием.

Застучали под тяжелыми сапогами и грязными кроссовками половицы, хор зашевелился, перемешался. К Асе подтянулась старуха, певшая совсем не в лад, и бритый наголо парнишка, таскающий из кармана семечки, сбрасывая горсти шелухи за радиатор. Когда же наступит та точка и шелуха высыплется наружу? Тут гудение разом умолкло. Дверь распахнулась. Заглянул кудрявый с проседью мужчина — тот самый, которого Павел с утра заметил на причале.

— Брат Семён, — начал было Иосиф, но тот быстро пробежал глазами по хористам, нашел Асю.

— Ася, можно тя? — процедил, почти не раскрыв рот.

Ася, откинув седые пряди, прилипшие ко лбу, сверкнула глазами и, обогнув старушку, которая, очевидно, вовсе ничего не поняла, вышла за дверь.

— Ну что, Павел, подменишь волонтерку? — Иосиф еще выше поднял подбородок. — Ладно, давай ты, Митя, — мне скоро на вечернее правило уходить. Задачу помним? Услышите верно две ноты и пропойте одну.

С новым смешком будто рассеялся чад, влетевший с Семёном.

Хор разбрелся по своим квартирам, Ася так и не вернулась. Павлу показалось, что он слышал ее смех в соседней с классом комнате, прошел по коридору, постоял у двери, постучаться было неловко. Обернулся на выход, там Иосиф все раздавал благословения и советы женщинам из хора. Распахнулась одна из дверей напротив класса хористов. Из нее полился сизый дым, пахнуло водкой. Там на табуретах сидело человек пять мужчин, склонившихся над столом и что-то рисовавших на клочке, оторванном, видимо, только что со стены. Обои в подтеках, у кровати детская лошадка на колесах. Заметив Павла, мужчины разом стихли. Буркнув «извините», он заспешил к выходу и налетел на Иосифа. Со звоном столкнулись лбами.

— О-отец, отец Иосиф!

— Да какой я тебе отец, тебе сколько?

— Тридцать три.

— Ну а мне только тридцать стукнуло, — потирая ушиб, расправляя стрижку под скуфьей, сказал Иосиф.

Пока шли до ворот внешнего каре, за которым монахи разбрёдались по кельям, чтобы творить Иисусову молитву, Иосиф рассказал, как впервые попал на остров со своей девушкой. Из питерской консерватории сюда многие ездили отдыхать с палатками, гитарами. Иосиф, а тогда Сережа, купался в женском внимании: «Наташка из палатки их выгоняла, своих же подруг». Гуляя по острову разговорился с одним грибником. Монах не монах, не поймешь, и лицо вроде знакомое очень, да какое-то не такое. Оказалось, рокер Ефремов на остров ушел от мира: он знал БГ и Кузьмина, сначала в Индии был и музыку его в Союзе психоделикой назвали, а потом вот сюда попал и понял, что эти мотивы, знаменый распев, который по крюкам сегодня учили с хором, тот самый. «Знаешь, Сережа, это как свою женщину встретить. Вот есть много всяких, а есть эта, и она другая, и она аж звенит вся для тебя». Студию свою показал, подарили ему верующие, прямо в келье оборудовал. Он

диски выпускал, в США даже. Старик теперь на материк перебрался, а я вот тут, среди икон и паствы.

— А Наташа твоя?

— Не, брат. С девушками все, меня сам игумен постриг пять лет назад. Я послушался тогда, и одного мужика постригали при мне. Тоже сам игумен. Знаешь, как постригают?

— Не.

— Состригают по чуть-чуть волос спереди, с боков, сзади. Крестом. А тот — лысый. Владыко ему: «Ну, брат, тернистый путь к постригу». Меня смех разобрал, братии неловко, а игумен тоже усмехается. Важно, глазами одними, но ведь шутит. Умел. Хороший мужик.

— Отец, то есть брат Иосиф, я спросить вас хотел. Такой Петр Подосенов, жил тут.

— Подосенов. Вертится что-то. Нет, не вспомню. И пора мне — видишь, запирают ворота. На спевку приходи в четверг, я пока спрошу, может, слышал кто. А ты, гляди, в баню свою не опоздай, потом еще три дня не помоешься.

В водопроводном доме, как его называли местные, свет не горел. Павел, дважды обойдя белое трехэтажное здание, неуверенно взялся за ручку двери. С первого дня на Валааме его не покидало чувство, что он лезет не в свое дело и его вот-вот выставят с острова или, по меньшей мере, не пустят в баню. Помыться хотелось. В туалете ледяная вода бодрила по утрам, а вот на ночь, возвращаясь в кое-как протопленную келью, он хотел перчатки надеть и спать в них. Но стеснялся, что его засмеет Вова или старичок, который называл их «греховодниками». То ли он подслушивал их ночные разговоры, то ли клеймил всех волонтеров без разбору. Как он сам попал на остров, когда собирается уезжать — неизвестно. И кем был он? На волонтерских заданиях была сплошь молодежь, среди

трудниц — бабульки. Туристы, прибывшие вместе с ними на «Николае» жили отдельно. Они с сияющими глазами прогуливались по острову, хваля его красоты, зеленый пух берез на припеке, вылезшие бог весть откуда розовые важные первоцветы. Они жили с удобствами и походили на тех, кто впервые на курорте. Павел не то чтобы страдал от монастырского житья без удобств, нет, баба Зоя с дедом его не избаловали. Но остров этот и был той «переухоженной женщиной», в которую опасно влюбляться. Ее душа в глубоко спрятанных ранах. Разруха припудрена, фасад покрашен, а где еще не успели — там справятся финны в ладных рабочих комбинезонах. Инвалиды войны, неизвестно как тут жившие, забыты. Местные спиваются, их дети, вырастая из колясок, все это видят. Туристы проходят мимо Зимней гостиницы, считая, что там ремонт. Не заглядывают, как в пыльную кладовку. Для них остров — красив, высокодуховен. От безупречной красоты мысли перескочили к Асе. Она ничего не прятала, о том, как год жила с бомжами на свалках, рассказывала с гордостью. И все же тайн в ней было не меньше. Помылась ли уже Ася или придет после мужчин? Павел мысленно снял с нее куртку, и юбку, и водолазку.

— Эй, там, очкарик! Весь пар выпустил, чтоб тебя! — перед ним стоял Семён, крепкий, с густыми черными волосами по всему телу, облепленный березовым листом, как фавн. Его руки не прикрывали естество, уперты в бока. Павел, пока снимал куртку в предбаннике и переобувался в шлепанцы, оставил щелку в двери, а весенний бойкий ветер давно распахнул ее настезь, унося из бани сладкий запах веников вперемешку с земляничным мылом. Собрался было извиниться, но, матюкнувшись, Семён уже прошел мимо него, с силой захлопнул дверь, прошлепал босыми ногами назад.

За предбанником с облупившимися стенами и высокими скамьями, крашенными в густой коричневый, какой-то

медвежий цвет, дверь вела в помывочную. Горело несколько еще советских ламп, но мылись на цокольном этаже, потому с улицы весь водопроводный дом казался темным, заброшенным. В помывочной на широких скамьях сидели и лежали мужчины, с размаху шлепали по груди и ногам мочалками, обливали себя из шаек, со стуком наполняли их снова. Пахло горячей водой, за три дня Павел забыл этот запах. Узнал бритого наголо подростка из хора, спрятавшегося в нише с душем — мелькала лишь его узкая белая спина, двух мужиков со спевки, кивнувших Павлу хоть и неприветливо, но по-своему: «Мол, видно, никуда от тебя не деться». Остальные волонтеры уже помылись — Павел снова опоздал в свои часы. Как сказал ему один из мужиков, подобрешший и словно захмелевший от мытья, трудники вперед, за ними волонтеры, а уж потом «мы, неугодные». Он подсел к Павлу, натиравшемуся мочалкой, принялся пожаловаться на притеснения, как дверь в баню распахнулась, оттуда послышалось хлопанье веником и уханье. Мужик, окаменев, отскочил от Павла и, вылив на себя таз попрохладней, ушел одеваться.

Дорога из водопроводного дома в работный прямая, быстрая, но Павел, шурша пакетом с шампунем и шлепанцами, устало сел на лавку. Луна еще набирала силу, черное небо вызвездило и прямо над ним, подмигивая, расплескался Млечный Путь. Земля подсобралась весенним морозцем, Павел поскреб ботинком шершавости и пожалел розовые первоцветы. Справа в кельях тускло горели окна — монахи разбредались на молитву. Павлу тоже захотелось побыть одному: молиться он не умел, хотя бы обдумать. Он лег спиной на лавку, подложив пакет под голову, сливаясь с ночью. Петляя, летел над ним спутник. Послышался женский разговор, несколько темных фигур с полотенцами на головах прошли к работному дому. Одна из них, возможно, Ася. И, едва размякнув от этой мысли, Павел тут же хмурился. Внутренне собирался. Не за тем

он приехал на остров, чтобы крутить романы. Эти поиски в семьдесят лет длиной надо завершить так или иначе. Павел решил прямо с утра сходить на кладбище, и если Петр Подосенов тут жил, как говорилось в письме, то и умереть тут мог. Между век Павла поплыла скромная, заросшая густой травой могила с красной, яркой звездой. На ней фотокарточка деда, молодого, геройского, того самого «Пети», что праздновал с ними каждый Новый год, только вот годы жизни не разобрать. Павел прищуривается, и вот уже знакомые молодые руки из черных рукавов протирают «1917 —...» И хлопают ему по лицу. Больно, как наждачкой.

Павел открыл глаза. Небо серое: не то день, не то ночь, и все постройки до самых крыш скрывал туман. Гоша, стоящий над ним, стаскивал с себя куртку, укутывал ей Павла, хлопал по спине: «Вставай, давай! Живее, ну». Пока Павел моргал и приходил в себя, Гоша, кудахтая и подталкивая его ближе к дому, рассказал, как было дело. Он, как водится, шел на полуночицу, потом видит, на лавке кто-то лежит. «На Валааме — и алкаши, и наркоманы — обычное дело, правда, они все чаще на ферму стекались, а тут, на те, неизвестно с какого парохода взялся и кемарит, как ни в чем». Гоша, заветами отца-эконома, на которого старался быть похож, подошел усюсювить, отправить спать в подбавяющее место. Когда понял, что это Павел, обрадовался. Потом решил, что Павел умер, уж очень он бледный лежал и ледяной. «Напугал ты меня, короче. Чего разлегся-то? Забыл, что ли, где дом?» — когда шок прошел, Гоша начал злиться, а Павла зазнобило.

Чтобы не будить волонтеров, да и бог знает, топлено у них или нет, Гоша отвел Павла в свою комнату. В четыре руки стащили куртку, ботинки. Гоша уложил его в постель, зашуршал чайник, Гоша в чашку заварки бухнул и мха накрошил, все приговаривая, что это мох-бородач, древесный, монахи лечатся. Недолго думая достал из-под кровати чемодан, выхватил

оттуда флягу, плеснул в кипяток. Запахло дубовой корой. Заставил Павла, который едва закемарил, пить «лекарство», выругался и побежал за врачом.

СИНОПСИС РОМАНА

В романе две параллельные сюжетные линии.

1. «ЛИНИЯ ПАВЛА»: СОВРЕМЕННЫЙ ВАЛААМ

Апрель-май 2016 г.

В ней Павел, 33 лет, менеджер из Москвы, приезжает на Валаам в поисках родственника. Родители Павла погибли в автокатастрофе, когда ему было четыре года, его вырастила бабушка, которая всю жизнь горевала о старшем брате, пропавшем без вести в 1944 году.

После смерти бабушки Павел узнает, что горячо любимый брат бабушки мог не погибнуть, а доживать век в доме инвалидов на Валааме. Но дело такое давнее, что через архивы информации не добыть, и монастырь не дает справок. А волонтеров, особенно мужчин, пускают почти везде. В итоге Павел сам едет на Валаам в поисках.

Каждый день Павел трудится в разных уголках острова и узнает, как монастырь постепенно выживает местных (мирян): переселяет в соседнюю Сортавалу и отнимает работу, приглашая квалифицированных специалистов. Среди «обиженных» местных оказывается и родственник Павла, Семён (сын бабушкиного брата), который не хочет ничего знать о родне, не собирается покидать свой остров и готов, если надо, поднять восстание (Семён знает, где спрятано финское оружие с 1940 года, его вырастили герои войны, хоть и инвалиды). А пока местные промышляют мелкими кражами.

Параллельно Павел заводит дружбу с волонтеркой (в прошлом алкоголичкой) Асей, сближается с регентом монастырского

хора, образованным и светским, беседует со старцем, тоже ветераном войны, замаливающим здесь давний грех.

Павел теряется в догадках о том, что же происходит на острове, кто здесь прав, где грань между провидением и произволом, пока на Пасху старую гостиницу, где живут миряне, не охватывает пожар. Вода в гостинице оказывается отключенной, пожарная бригада на одном из дальних скитов, огонь тушат силами волонтеров и монахов. Ася погибает.

Несколько человек в монастыре знают, кто поджег, но по своим причинам не выдают тайны. Следствие не дает результата. Семён, который любил Асю, решает остановить непрекращающуюся войну за остров. В конце Павел увозит его в Москву.

2. «ЛИНИЯ СЕМЁНА»: ВАЛААМ ВРЕМЕН ГОСПИТАЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (БЕЗ МОНАХОВ)

Апрель-май 1974 г.

Семёну 15 лет, он растёт сыном своего отца, героя Ленинградского фронта Петра, в окружении ветеранов-инвалидов, свезенных на Валаам после 1950 года. Монастырь давно опустел, в скитах и кельях — больничные койки, за инвалидами ухаживают санитарки (из местных), есть врач, выделяются какие-то средства. Многие ветераны женились, завели детей. Власти об их заслугах забыли.

Однако в 1970-х на Валаам свозят уже не только героев войны, но и уголовников. Те грабят, насилуют и, чтобы добраться до запасов больничного спирта, убивают врача. Тогда ветераны, зная, где спрятано финское оружие с 1940 года, разрабатывают военную операцию, убивают уголовников. В разбирательстве, когда власти наконец-то прибывают на остров, Пётр (отец Семёна) берет всю вину на себя и прыгает с колокольни.

Другой ветеран, замаливая расправу, становится валаамским старцем.

Параллельно раскроется линия юной санитарки Тамары, влюбившейся в одного из уголовников (лихого и красивого), они строили планы сбежать с острова в Ялту (к теплomu морю). После его гибели Тамара бежит с острова одна, проживает спокойную жизнь в Москве, выращивает детей, внуков. На пенсии начинает рисовать Ладогу, вспоминать о красивой жизни, которую хотела прожить с тем парнем, начинает ездить на Валаам с экскурсиями. В 2016 году она продает квартиру в Москве, мечтая (испросив благословения старца) прикупить себе жилье на Валааме, и привозит на остров крупную сумму денег. Когда местные, оставшиеся без работы, крадут у нее деньги (и снова — надежду на счастье), она поджигает их общежитие.

ВЕСЕЛЫЕ ПРАЗДНИКИ ЧАУЧУ

КИЛЬВЭЙ

С каждым днем солнце все сильнее пригревало. Большая часть тундры очистилась от снега. Под пригорком, в небольших углублениях скопилась талая вода. Весело журчали ручейки. Мы уже не таскали лед с озера, так как при колке он уже крошился. Да и поверх льда, под снегом, уже была вода. Заканчивался отел. Телята, родившиеся первыми и пережившие пурги, ночные морозы, окрепли. Отелившиеся важенки сбросили рога.

Когда маточное стадо пастухи толкнули в сторону яранг и оно приблизилось к стойбищу, нам — Зауру, Самире и мне — разрешили сходить посмотреть телят.

Мы с Самиром были одеты в меховые комбинезоны — қалгекер. А Зауру бабушка из выделанных пыжиков и окрашенных в красный цвет ольховой корой сшила кухлянку и настоящие мужские штаны. Хоть он и был старше нас всего-то на два с половиной года, но в настоящей кухлянке сразу почувствовал себя взрослым, сложил аркан, как обычно складывают пастухи, и перекинул через плечо.

Бабушка в небольшую котомку положила немного провизии, погрузила на легкую ездовую нарту и перевязала веревкой, чтобы мы по пути не потеряли груз.

Стадо хорошо видно.

— Вон, видите, голубой дымок еле заметный, вверх к небу поднимается? Это Андрей и дядя Тнескин разожгли костер. Подойдете к стаду, не шумите, телят распугаете. Заур, ты старший, отвечаешь за Самира и Самире, — сказала бабушка, передавая ему рьарқы.

Заур взял ръарқы, перекинул через левое плечо и пошел впереди, таща за собой нарту.

Сначала мы шли за старшим братом молча. Потом Самир явно заскучал. На пригорке свистнула евражка, и он побежал туда. А я продолжала идти за нартой. Мы стали переходить на другую сопку и поэтому пошли по снегу. Он был уже рыхлый, идти было тяжело, через каждые два-три шага я проваливалась. Нарта легко скользила, поэтому мне казалось, что Зауру идти намного легче. Я тихонечко села на нарту. А он даже не почувствовал тяжести, шел себе как ни в чем не бывало. Прибежал Самир и заорал:

— Ничего себе, евражка столько ходов нарыла.

Заур обернулся и только заметил, что я сижу на нарте.

— Ну, ты наглая! — возмутился он.

Я виновато улыбнулась и стала подниматься с нарты. Тут вмешался Самир.

— А я даже вас двоих могу до стада дотащить, — потянул руку к ръарқы.

— Я сам. Можешь тоже сесть, — обиженно буркнул Заур.

— Нет. Я помогу тебе. Буду подталкивать нарту сзади, — предложил свою помощь Самир.

— Я сказал, сам. Ты будешь только мешать. Самира, садись удобней, ноги на полозья положи, а то по снегу волочатся, тормозят, — приказал Заур.

Где-то среди кочек закудахтала куропатка. Самир тут же повернул в ту сторону голову.

— Не беги туда, там могут находиться важенки с телятами. Распугаешь, — буркнул на ходу брату Заур.

Самир послушно пошел рядом. Снежная полоса оборвалась, и братья уже вместе тащили нарту по кочкам. Немного еще посидев, я соскочила на землю.

Важенки настороженно таращили на нас свои огромные глаза. Нагнув безрогие головы, расставив широко передние

ноги, они в любую минуту готовы были броситься на защиту своих чад. А телята стояли на длинных, тоненьких ножках недалеко от мам и с любопытством смотрели на нас. Мы старались не делать резких движений, осторожно, не спеша, шли к запаху костра.

Наконец нам стало видно место, где расположились дежурные. Дядя, улыбаясь, шел нам навстречу. Взял рьарқы у Заура и вместо приветствия сказал:

— Ого, сколько помощников! Даже нэвээнқэй пришла.

Подшли к костру. Чайник, подвешенный за цепь к треноге, уже закипел. Дядя снял его с крюка и поставил к краю костра:

— Ну, присаживайтесь поближе к огню, будем пить чай, — пригласил он нас.

Самир подошел к нарте, где спал Андрей, и стал его тормошить.

— Пусть спит. Устал. Ночь не спали, ходили вокруг стада. Лисы вокруг олених крутились. Так и норовят стащить новорожденного теленка. Да и, похоже, воронье гнездо где-то рядом. Несколько раз ворона видели. Вот гад, все-таки одного теленка утащил, прямо перед нашим носом, — разливая чай по кружкам, рассказывал дядя.

Мы с Самиром заглянули в свои кружки. Чай был до того черный, что дна не было видно. Самир отхлебнул немного, сморщился и поставил кружку на землю. Наблюдая за братом, я даже пробовать такой чай не стала. А Заур мужественно выпил свою кружку.

Дядя опять улыбнулся:

— Мы с Андреем вчера гуся подстрелили, общипали. Сегодня утром сварили. Бульон попейте, гусятины отведайте, — сказал дядя и указал на кастрюлю, находящуюся у костра.

Мы подвинули поближе к себе кастрюлю и прямо из нее стали пить бульон.

Заур присоединился к нам. Отхлебнув бульон, поставил кастрюлю на землю и, вытирая тыльной стороной ладони губы, сказал, обращаясь к дяде:

— Мне бабушка сшила настоящую кухлянку. Поэтому я могу уже ходить в стадо как взрослый.

Хитрец. Впрочем, это мечта любого мальчишки, со взрослыми ходить на дежурство в стадо. Ведь в яранге остаются только женщины, немощные старики и малые дети. А настоящий чаучу должен находиться возле оленей. Ведь слово «чаучу» происходит от слова «кчавычъатык», что в переводе на русский язык означает «бежать».

— Вот перекочем на летнюю стоянку после Кильвэя. Соединим рэквыт и пээчвак. С озер и рек уйдет лед, пойдешь с нами на малую летовку, — пообещал Зауру дядя.

Видно было, что ответ дяди не очень-то удовлетворил Заура, но он промолчал, потому что настоящий чаучу должен быть сдержанным. Так нам бабушка Тымҕеквыҕа говорила.

В стаде мы были целый день. Помогали Андрею и дяде. Ну, чуть-чуть, в основном бегали по сопочкам. Ходили по чьей-то старой стоянке, старались угадать, сколько в стойбище было яранг, в какое время года они здесь были.

К вечеру дядя нас отправил в ярангу.

— Ну что ж, а теперь вам пора возвращаться. Повезете в ярангу рога и тушки телят, — перевязывая на нарте груз, сказал он нам.

— А от чего они умерли? — спросили мы, разглядывая телят.

— Да нерадивые мамыши бросили своих телят, вот и затоптали их взрослые олени, — вздохнул дядя.

Идти назад нам было намного легче, солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом, лужицы покрылись тонким льдом, нарты легко катились по подмерзшему снегу.

В яранге еще никто не ложился спать. Бабушка вышла на улицу поправить вход в жилище. Просунула длинную палку между

остовом яранги и рэтэмом, потом подперла палкой покороचे вход с подветренной стороны. С яранги повалил дым.

Перед тем как зайти, бабушка оглянулась по сторонам и заметила нас. Она встретила нас подбадривающими, ласковыми словами:

— Кынэкынэқэгти, нэнэнэқэйымкын. Тымнэқвыңанэн-пастоқымкын.

Мы с Самиром побежали к бабушке. Заур сначала шел серьезный, а потом не выдержал, заулыбался и прибавил шагу. Подойдя к яранге, подтянул нарту. На северо-восточной стороне яранги лежала кучка рогов, ранее собранная и привезенная дядей и Андреем. Там же мы сложили привезенные нами рога.

— Заур, поставь нарту с восточной стороны. Передней частью поверни на юго-восточную сторону. На западной стороне и передней частью полозий на север ставят нарты мертвых, — сказала бабушка ему.

— Почему? — спросили мы.

— Потому что для умершего земной путь уже закончился и ему уже незачем спешить. А с юго-восточной стороны поднимается солнце, начинается новый день. Чаучу всегда должен идти только вперед, навстречу новому дню, — ответила бабушка.

— А почему тогда вновь построенную ярангу мы закрываем сначала с запада, только потом с востока? — спросил Заур.

— Потому что если мы закроем сначала восточную сторону, а потом западную, подует сильный восточный ветер и сдует ярангу, — объяснила бабушка.

— А почему вход в ярангу только с юго-восточной стороны? — не унимались мы.

— Ну, во-первых, с юго-восточной стороны редко дует ветер, а во-вторых, оттуда поднимается солнце. Откуда поднимается солнце, оттуда начинается жизнь, — терпеливо объяснила бабушка.

— А бывает, что с западной стороны делают вход в ярангу, например когда сильный восточный ветер? — опять спросили мы бабушку.

— Нет. С западной стороны лишь тогда открывают вход, когда надо вынести покойного. Ведь запад — это закат солнца. На западе горизонта находится долина усопших, — предвидя наш следующий вопрос, сказала бабушка.

— А теперь давайте я вам отряхну торбаза, қалгэкертэ. Тебе, Заур, воротник кухлянки. Поужинаем — и спать. Завтра рано вставать, будем проводить праздник Кильвэй — рождение телят, — беря небольшой тивичгын из рога оленя, сказала бабушка.

Она сначала стряхнула от инея одежду мальчикам, потом мою.

Мы зашли в ярангу. Прошли к положу, сели на длинный, продолговатый мешок из шкуры оленя весеннего забоя, набитый выделанными камусами и служивший подушкой — чотчот. Весело горел огонь в очаге, на длинной цепи, на крюке, висел чайник. Очаг был тщательно вычищен от пепла и обложен вокруг камнями. Обычно на зимних стоянках очаг камнями не обкладывают, только перед праздником Кильвэй и на летней стоянке.

Мама закончила дробить кости в большом тазу из толстой моржовой кожи. Она вытащила из-под груди толченых костей круглый камень — элгыквын, счистила с него налипший костный жир ножом.

Я так и не поняла, почему этот круглый тяжелый черный камень, хоть и небольшой по форме, назвали элгыквын — белый камень. Большой кожаный таз понятно, почему называют тақаманъёлгын, — посуда для приготовления пищи, потому что там не только кости дробили, но и тщательно измельчали, растирали почти в порошок, мякоть мяса, сваренного вкрутую. Потом этот мясной порошок взбивали с костным жиром — таляпалгын. Из этой смеси лепили небольшие мясные котлеты — прэрэм, выкладывали на большой

қэмэңы — длинное деревянное блюдо. А когда мужчины, дядя Тнескин, дядя Тымнеквын и наш отец, уезжали на поиски отбившихся оленей, мама с сушеным мясом осеннего забоя клала в котомку и эти прэрэм. Мы их тоже пробовали, бабушка давала, и, скажу вам, такой вкуснятины больше никогда не ела. Мы обычно молча сосредоточенно грызли прэрэм, а когда съедали, выжидающе смотрели на бабушку. Но она нам говорила:

— Много нельзя, сильно жирный. Вредно.

А еще на этом таҕаманъёлгын дробили мерзлое мясо — мякоть с зелеными сушеными листьями ивы, собранными летом, кислой кровью, печенью. Потом все это выкладывали на қэмэңы и сверху добавляли мелко нарезанные кусочки нерпичьего жира — мытқымыт.

Мама подняла на нарту для перевозки посуды таҕаманъёлгын и положила на дробленые кости веточку ивы, чтобы злой дух — кэлы — не понюхал. У нас поверх любой пищи — кастрюли с бульоном, кашей, на неразделанные куски мяса — кладут ветки ивы. Ива — сильное растение. Когда зимой снежные сугробы заваливают кусты, ива под тяжестью снега не ломается. Наверное, поэтому она считается символом оленьей удачи.

Чайник вскипел, бабушка сняла его с крюка. Повесила под огнем другой, поменьше, подложила в очаг дров и разлила по термосам кипяток.

После чая мы залезли в полог. В пологе горел жирник, и поэтому было тепло. Жирник стоял на небольшом деревянном ящичке из-под инструментов. Бабушка называла этот ящичек аакатваёлгын. Между аакатваёлгын и задней стенкой лежал большой қэмэңы. Его вытаскивали только перед праздниками. На қэмэңы лежала целая неразрезанная грудинка, снятая с туши важенки зимой в праздник Солнца — Тиркынивлет. Там же лежали мешочек с кашицей из зелени и тушка куропатки.

Все это должно было растаять до утра, чтобы можно было приготовить жертвенную пищу на Кильвэй.

Мальчишки быстро заснули, устали за целый день разворачивать важенок с окрепшими телятами, которые так и норовили разбежаться по освободившейся от снега тундре, за пушицей.

А я постелила пытвайкол — шкуру прошлогоднего теленка на место, где мы спали с бабушкой. Села у жирника и стала ждать, когда бабушка и мама залезут в полог. И все-таки не заметила, как уснула.

Когда проснулась, в пологе мамы и бабушки уже не было, слышно было, как они тихо переговаривались в чоттагине. Доносились шаги и треск огня в очаге.

Я выглянула из полога. Мама снимала с крюка бак, из которого поднимался пар. Она поставила бак на землю и черунэңэтэ переворачивала грудинку. Бабушка травой чистила энанэнтыт-коолгыт — небольшие деревянные мисочки для жертвоприношений. К камням вокруг очага были прислонены милгыт — священные доски для добывания жертвенного огня.

Бабушка обернулась к пологу и увидела меня:

— Ок! Тҕатваль, дочка проснулась, — сказала она маме.

Мама повесила над огнем бак. Подошла к пологу, подняла меня, сунула в свой керкер, плечи прикрыла широким рукавом и вынесла на улицу. Солнце уже поднялось над горизонтом. Мама повернула меня к нему. После сумрачного полога солнце, казалось, светит ярко. Я сощурилась от яркого света. Постояв немного, мама зашла в ярангу и передала меня бабушке. Она сидела на чотчоте и держала мой қалгэкер.

Заур в кухлянке и чижях вышел на улицу. А Самир по пояс вылез из полога и протянул маме руки:

— Мама, мама! Я тоже уже проснулся.

Мама подошла к нему и распахнула ворот своего керкера, улыбнулась и сказала:

— Ну, прыгай.

Самир залез в ее керкер, прикрыл голову и плечи широким рукавом. Мама вышла с ним на улицу, повернула его лицом к солнцу. Самир радостно засмеялся. Он всегда смеялся, когда мама выносила его в своем керкере на улицу. Мама смеялась с ним.

Мы оделись. Мама открыла занавес полога и затушила жирник — ээк. Бабушка поднесла к пологу чаёолгын — столик для чаепития.

На улице слышались шаги, мы выбежали посмотреть, кто пришел.

А это Андрей и дядя принесли охапки ивовых веток, перевязанные арканом. За ярангой они развязали арканы и стали складывать аккуратно в ряд ветки. Один ряд сложили, поверх веток сложили рога важенок, потом опять ивовые ветки и так чередовали, то ивовые ветки, то рога. Получилась небольшая куча.

Зашли в ярангу, дядя спросил у бабушки:

— Где посуда для чистой воды?

Бабушка из мешка, где хранились всевозможные обрядовые вещи, вытащила небольшую кастрюлю и рог барана, сделанный под сосуд. Мама возле очага разминала руками пюре из листьев ивы и щавеля.

Дядя взял посуду и сосуд из рога барана. Возле входа в ярангу из-под нарты взял топор и вышел на улицу. Там он отдал топор Андрею, и они направились к пригорку, где блестели лужицы. Мы побежали вслед за ними.

— А мы что, грязную воду пьем? Почему ты сказал бабушке: «Дай посуду для чистой воды?» — спросил Самир у дяди.

— Эта вода особенная, она пойдет на приготовление жертвенной пищи. Нужна талая вода, к которой не прикасался ни человек, ни какое-либо животное, — ответил дядя.

Недалеко от сухого пригорка дядя набрал из лужи воды, сорвал травинку и бросил в кастрюлю. Потом передал сосуд и посуду с водой Андрею, взял из его рук топор и пошел туда,

где были видны кочки. Выбрал самую большую и лохматую, срубил ее.

— А это зачем? — удивленно спросили мы.

— Говорят, дикие животные называют нас, людей, кочкаголовыми. Вот и мы приглашаем на свой Кильвэй тундрового кочкаголового, — объяснил нам дядя.

— А! Это как бы понарошку, — сделали мы вывод.

Дядя засмеялся. Мы стали возвращаться к яранге. И тут Заур сказал:

— Смотрите, кто-то приехал.

— Гости из пэчвака, к нам Кильвэй приехали, — сказал дядя.

Мы подошли к яранге, Андрей занес посуду с «чистой» водой, а дядя отнес за ярангу кочку и положил ее возле кучки рогов. Мы зашли в ярангу, дядя поздоровался с гостями. Бабушка в миску с пюре из зелени налила из сосуда «чистой» воды и стала взбивать в кашницу зелень. На большом қэмэңы лежала, дымилась грудинка важенки. Ее сварили целиком, не разделанную, с паховой мякотью тыргылпынит. На грудинке лежали тушка вареной куропатки и миска со взбитым костным жиром — таляпалгын. Куропатка — неразлучный и верный друг оленя. Даже в сильный мороз она летает вслед за стадом, бега-ет среди оленей, где они копытят снег в поисках ягеля. Во время Кильвэя из куропатки и оленьего мяса готовят жертвенную пищу, таким образом, не разлучая их. Мама в тақаманъёлгын сложила милгыт, тайңыквыт — семейные обереги. Надела кэмлилюн — камлейку из ровдуги, со всевозможными висюльками. Бабушка уже взбила кашницу из зелени, положила на қэмэңы поверх грудинки, вытерла травой руки. Встала, взяла старый кэмлилюн, подозвала меня и накинула мне его через голову. Я запротестовала:

— Не хочу я надевать этот старый кэмлилюн. Видишь, он уже дырявый и висюльки уже страшные, бусинки оторвались.

— Ты что! Это же кэмлилюн твоей прабабушки Тутъыңэ. Даже если ты уедешь в танңытанские земли, он будет рассказывать тебе о наших обычаях, законах, о нашей оленной жизни. А ты, может быть, обо всём этом своим детям, внукам расскажешь, чтобы знали свои корни. Аққа-мэй, не хочет! И это потомок чаучу, — ворчала бабушка, поправляя на мне старый прабабушкин кэмлилюн.

— А куда я поеду? — спросила я.

— Поедешь учиться, как твоя тетя Ира когда-то. Теперь она учительница. И ты на кого-нибудь выучишься. Хорошо бы на врача, — вздохнула бабушка.

Мама уже вышла с тақамангългын из яранги. Дядя взял қэмэңы с грудинкой и тоже вышел.

Бабушка надела ситцевую камлейку, взяла энанэнтытқоёчгын — мешочек с посудой для жертвоприношений, а мне дала мешочек с корешками. Мы вышли из яранги и прошли на место, где все было подготовлено к празднику. Мама с помощью милгыт уже разожгла жертвенный костер между кучкой рогов и задней стенкой яранги. На кучку рогов положили, тайңык-выт — наши семейные охранители и пыжики телят, туда же были прислонены милгыт — доски для разжигания священного огня.

Бабушка из мешочка вытащила энанэнтытқоолгыт, дала знать рукой, чтобы я тоже вытащила корешки и положила на қэмэңы с грудинкой.

Мама ножом срезала мясо с грудинки, паховой мякоти — тыргылыныт, и с тушки куропатки, мелко нарезала, размешала с таляпалгын.

Бабушка взяла энанэнтытқоолгыт, в каждую из них положила сначала кашицу из зелени, потом мелко нарезанное мясо с таляпалгын. Она каждому по отдельности — дядьям, Андрею, Зауру и Самиду — дала по энанэнтытқоолгыт.

Они пошли тылтыгыёчагты делать жертвоприношения.

Мама брала из қэмэңы мясо с таляпалгын и не спеша, по кругу солнца, подкидывала в костер, оставшиеся в руке кусочки подбрасывала кверху. Потом взяла деревянной ложкой кашицу из зелени, немного положила на середину костра, остатки разбрызгала на кучку рогов.

Подошли дядя, Андрей, Заур и Самир. Бабушка дала им слепленные из таляпалгын и зелени оленей и корешки.

— А почему из таляпалгын и зелени лепят оленей, а рога им делают из ивовых веточек? — спросила я.

— Из таляпалгын — чтобы олени были жирными. Из зелени — чтобы богатые пастбища были. Рога из веточки ивы, потому что это растение оленя. Ее используют во всех жертвоприношениях, чтобы была оленья удача, — разъясняла бабушка.

— А что это за корешки? — снова спросила я.

— Это иикит и лемқут. Их собирают, когда они еще не зацвели. Эти корешки сушат, хранят и возят с собой всю зиму, на оленную удачу. А весной, когда земля просыпается, во время праздника Кильвэй, возвращают природе, — ответила бабушка.

Бабушка набрала в энанэнттыткоолгыт кашицу, кусочки мяса, таляпалгын и сказала мне:

— Ну, нам теперь тоже можно поблагодарить духов.

Капюшон старого кэмлилюн всё время лез на глаза, и я его откинула. Бабушка опять его натянула мне на голову:

— Во время жертвоприношений нельзя обнажать голову.

— Почему? — спросила я.

— Қоо. Так издавна ведется, — ответила бабушка.

Мы пошли на восточную сторону яранги. Опустились на колени. Бабушка прикрыла глаза и что-то начала шептать, потом открыла их и дала знать, что надо делать жертвоприношение. Под конец руками сделала небольшую ямку на земле и выложила туда кусочки пищи. Когда уходили, бабушка сорвала несколько травинок, одну положила мне за пазуху. Когда

пришли и остальные, по травинке положила за пазуху маме, дядьям, Андрею, Зауру, Самиру и всё время приговаривала:

— Гэ, нымэльэв. Гэ, эчвэрагыргын.

Потом мама, бабушка и я помазали костным жиром-таляпалгын милгыт и тайңыквыт.

Бабушка положила в котомку нарезанное пластинами мясо, помазанное таляпалгыном, вымя важеньки и подала дяде Тымнеквыну, сказав при этом:

— Отнеси угощение пастухам, которые дежурят в маточном стаде.

Дядя Тымнеквын — это мамин младший брат. Он взял котомку из рук бабушки и молча, широко шагая, направился в сторону маточного стада — рэквыт. За ним увязались Заур и Самир.

Дядя Тнескин взял қэмэңы с вареной грудинкой и поднес гостям. Гости сидели полукругом недалеко от кучки рогов.

Бабушка подошла к қэмэңы и стала тонкими пластинами нарезать мясо. Потом намазывала их костным жиром — таляпалгын и такие своеобразные бутерброды подавала гостям, при этом приговаривая:

— Угощайтесь, гости дорогие.

Мама поднесла две миски — в одной была просто каша из зелени, а в другой — каша из зелени, взбитой с варёными телячьими мозгами. Началась оживленная беседа. Гости сели поближе к қэмэңы и уже сами себе стали нарезать мясо. Я взяла тушку куропатки, отсоединила от грудки мясо и подала бабушке Айнонтону. Но она отказалась и сказала:

— Мы лучше с Эттык, поедем кашу из зелени, взбитую с телячьими мозгами, так как мясо жевать нам нечем.

Когда трапеза закончилась, бабушка сказала:

— Рэквытүэлвлымнагтатъан («Погоним маточное стадо»).

Мужчины взялись за самые нижние ветки ивы и потянули кучку рогов ближе к яранге. Женщины шли следом

и размахивали широкими рукавами своих керкеров при этом покрикивая:

— Ок! Ок!

Потом гости вереницей пошли ко входу в ярангу. Мама и бабушка сложили в таҕманҕёлгын милгыт и тайҕыквыт. Дядя Түэсҕын взял его и пошёл вслед за гостями. Мама сложила в мешок из камуса энанэнтыткоолгыт, положила его на кэмэңы и пошла вслед за дядей. Бабушка положила на костер плоский камень, взяла кочку и мы пошли за мамой. Когда вошли в ярангу, бабушка сказала мне:

— Ну, теперь можешь снимать кэмллиюн, — помогла мне его снять.

Когда кэмллиюн был снят, я такую легкость почувствовала, как будто с моих плеч сняли тяжелую ношу.

Гости сидели возле полога. Мама поднесла к ним чаёолгын. Пока они ели кровяную похлебку, чайник вскипел. Мама убрала тарелки и поставила на чаёолгын чашки, заварник. Бабушка поднесла стопку лепешек.

После чаепития гости разъехались. Нужно было спешить. На днях должны были объединить рэквыт и пээчвак. Начинались длинные кочевки к летней стоянке. Снег уже интенсивно таял, и поэтому каждый день был дорог.

Бабушка и мама сложили тайҕыквыт и милгыт в ҕыркир — большой мешок из бычьей шкуры, в котором обычно перевозили священные вещи. Этот ҕыркир лежал на нартах, которые всегда стояли с восточной стороны от полога в яранге и зимой, и летом. Даже весной после отела, когда мы спешно кочевали к летней стоянке и ярангу не ставили, а ставили один полог, чтобы было где поспать перед очередной кочевкой, эти нарты стояли с восточной стороны.

Потом бабушка стала чистить энанэнтыткоолгыт, а мама подняла бак с дроблеными костями — таятал и отнесла его на то место, где проводился праздник. Она вывалила дробленые

кости возле потухшего жертвенного костра. Но не все, на дне бака остались бульон и немного дробленых костей.

В десяти шагах от яранги лежали на привязи три собаки. Мама направилась к ним. Отвязала цепь, к которой был привязан старый пес — оленегонка Вытэл, и повела его туда, где вывалила дробленые кости. Подойдя к кострищу, привязала собаку к кочке. Вытэл, поджав хвост, будто боясь, что все это у него отберут, стал с жадностью, торопливо есть. Остальные собаки сели и терпеливо ждали, когда о них вспомнят. Мама обратилась ко мне:

— Доча, принеси у Умки и Айки миски.

Я побежала к собакам. Они встали навстречу мне, радостно завиляли хвостами. Умка — белая лохматая собака, а Айка — черный пес со свалывшейся по бокам шерстью. Я взяла миски, которые лежали подле них. Подбежав к маме, отдала их ей. Она поварешкой со дна бака налила в каждую миску бульон с дроблеными костями. Остаток вылила на кучу и унесла бак в ярангу. А я миски с едой отнесла привязанным собакам.

Так прошел праздник Кильвэй.

Через два дня стадо соединили, отбили мооқор — ездовых. А вечером следующего дня, после отбивки ездовых, мы разобрали ярангу и целую неделю, останавливаясь в дневное время на отдых, кочевали на летнюю стоянку. Кочевали ночами, потому что днем на солнце снег подтаивал, становился рыхлым, и ездовым оленям тяжело было по нему тащить грузовые нарты. Мы спешили дойти до подножия Ейчгиңэгти (Ушканий хребет) до того, как вскрыются мелкие речушки. Там постоянно дуют ветры, а это значит, что гнус и овод не так сильно будут мучить оленей. А летом пастухи погонят стадо к морю, чтобы там олени глотнули морской воды.

Оленеводы со стадом идут туда месяц, у моря задерживаются всего лишь на один день, но оленям и этого достаточно, зато целый год не будут болеть.

УЛЬВЭВ

Земля пробуждалась от долгой зимней спячки. Появилась первая зелень. Тундра полностью освободилась от снега. Только на склонах гор Ейчгиңэпти и под крутым обрывом реки Кчакваам оставался кое-где снег.

Пастухи пасли стадо по берегам речушек, озер. С середины июля и до середины августа в тундре наступала жара, и нужно было до наступления этого времени, чтобы олени пили много воды.

Пастухи редко появлялись в стойбище. Разве что кто-нибудь из них приходил за провизией. Наши старшие братья Андрей и Заур тоже находились в стаде. А мы с Самиром остались в яранге с мамой и бабушкой.

Женщины построили летние яранги. Они были намного выше и шире зимней, и летние рэтэмы были больше зимних покрышек. Если зимний рэтэм был полностью шит из шкур, то летний — понизу был из брезента. Брезент пропускает солнечный свет, и поэтому в яранге намного светлее.

Зимнюю одежду тщательно просушили и с зимними арканами, упряжками и приспособлениями для дрессировки оленей сложили в ңыркир. Сложили нарты друг на друга, поставили в ряд, сложили на них ңыркирыт, зимние рэтэмы и пологи. Сверху все сложенное покрыли сначала моржовой шкурой, а потом старым рэтэмом. Такой своеобразный лабаз называется магны. Хорошо прокопченный старый рэтэм не пропускает влагу, и за сохранность зимних вещей можно не волноваться. Но после продолжительных дождей мама и бабушка разбирали магны и просушивали вещи.

После постройки летних яранг женщины всего стойбища принялись за строительство ледника — улюв. У берега реки они собрали в большую кучу нерастаявший снег под обрывом, тщательно утрамбовали. Несколько дней сдирали небольшие куски дерна винритэ — мотыгой, складывали друг на друга. Женщины помоложе, Кэльэрульгына и наша мама, возили дерн

на рэлџинэң (небольшая нарта для перевозки жердей) к леднику. Земля прилипала к полозьям, и было видно, что женщинам тяжело тащить нарту. Мы с Самиром и остальными детьми стойбища, как могли, помогали взрослым.

Этим дерном в три слоя покрыли ледник. Работу закончили на пятый день поздно вечером. А рано утром мы с бабушкой пошли на то место, где собирали дерн, прихватив с собой сушеный элегъи. Сделав на том месте жертвоприношение, мы поднялись на пригорок, где были евражьи норки. У каждого входа в норку мы положили по кусочку элегъи, как бы извинялись перед евражками за то, что ободрали дерн, где они собирали себе на пропитание корешки, ягоды, семена растений.

Мама энанвэнаңата выскабливала мездру со шкур, а мы с бабушкой ходили за сухим хворостом на берег реки, на склонах сопок собирали кэңъут и матачъыт, для подстилок под шкуры в пологе.

Иногда накрапывал мелкий дождичек. Бабушка говорила:
— Рыльватыркынэннутэнут («Кормит грудью землю»).

Мы сильно хотели подсмотреть, кто это кормит землю грудью, как новорожденного ребенка?

Самир сказал:

— Это женщина, и у нее много сосцов.

А я почему-то представляла себе, что это важенка, и поэтому спросила брата:

— Почему ты так думаешь?

Он наморщил лоб и сказал серьезно:

— Старик Уулин сказал, что этот мир держится на женщине и все в ее власти, либо созидать, либо разрушать.

Я обиделась за женщин и побежала к бабушке, рассказала ей все, что услышала от Самира. Она засмеялась и сказала:

— Ах, эти мужчины, лишь бы всю ответственность свалить на женщин.

Самир обиделся:

— Я больше ничего тебе рассказывать не буду. Вечно бабушке жалуешься.

Мы обиделись друг на друга и целый день не разговаривали. Вечером за ужином мама обратила на это внимание и спросила нас:

— Что случилось?

Мы молчали. Бабушка рассмеялась, рассказала о причине нашей ссоры, потом сказала:

— Ок! Не может этот мир держаться только на одной женщине. Мужчина и женщина вместе его создают. Они дополняют друг друга. Они одно целое, и пока они вместе, этот мир будет существовать. Этого мира просто не может быть без кого-либо из них. И никто не главный. Мужчина и женщина вместе отвечают за этот мир.

Мама улыбнулась:

— Ладно, миритесь, а то кто мне завтра воду принесет. Видите, я тоже от вас завишу.

Обида сразу куда-то исчезла. Мы с Самиром улыбнулись друг другу, а то я уже устала обижаться. Оказывается, совсем неинтересно ссориться.

Утром следующего дня прибыл трактор с пастухами. Отец и дядя Тымнеквын остались в стаде.

После чаепития дядя сказал:

— Вечером пригонят стадо. Нужно принести ивовые кусты и успеть немного отдохнуть. Будем всю ночь работать.

Дядя, Андрей и Заур ушли за кустами. Мама на берегу реки замочила пыпыгыт— небольшие плотные мешки из нерпичьей шкуры для хранения мяса в леднике — умов. А мы с бабушкой пошли за травой и иикит. Когда вернулись, мама уже все лишнее убрала с яранги, а дядя, Андрей и Заур спали.

Вечером, когда спала жара, пригнали стадо. Начался забой. Наша яранга была в стойбище первой, и поэтому к нам привели первого оленя. На пропитание на лето забивают только взрослых

олений. Дядя Тымнеквын и отец держали за аркан оленя, а дядя Тнескин, будучи главой рода, встал лицом к юго-восточной стороне, положил правую руку на ножны ножей. У пастуха на поясе на ремне висят два ножа: один большой — кусты рубить и второй небольшой.

Дядя Тнескин вытащил из ножен небольшой нож, спрятал за спину и тихонько подошел к оленю. Положил левую руку на рог оленя и резким движением, ударил ножом в сердце. Остальные наблюдали, как упадет олень. Он упал на правый бок, все облегченно вздохнули. Значит, летовка пройдет хорошо, такова примета.

Дядя Тнескин сорвал с раны шерсть, пропитанную кровью, бросил на землю в сторону юго-востока пошел вслед за остальными в стадо.

Бабушка набрала воды в большую алюминиевую кружку и полила сначала нос оленя, потом рану и хвост. Мама подложила под голову и под хвост небольшие кустики ивы с распутившимися зелеными листочками.

В каждую ярангу забили по три взрослых оленя. Стадо должны были угнать за сотни километров от стойбища на летние пастбища. В ярангах оставались женщины, малые дети и немощные старики. Пока шел забой, короткая летняя ночь прошла. Небо окрасилось зарей в розовый цвет, из-за гор показался краешек солнца.

Пастухи разошлись по своим ярангам. Заур, отец и дядя Тымнеквын остались у стада. Они собрали оленей в кучу и ждали, когда те улягутся. Дядя Тнескин и Андрей зашли в ярангу. Бабушка подала дяде левую переднюю ногу оленя, которого забили самым первым. Это был личный олень, прошлогодний теленок — пэнвэль важенки-первородки. Бабушка нам объяснила, что на празднике для жертвоприношений забивают только личных оленей, потому что если забить совхозного или чужого, духи не примут жертву.

Дядя очистил от жил и мяса ногу, разломил кость и вытащил костный мозг — қымыл. Они с Андреем помазали костным мозгом маленькие треноги в яранге и большой камень, который был привязан к основной большой треноге — кчечьев. Потом бабушка дала дяде элегѝи и они вышли с яранги, отошли от входа на десять шагов, разожгли небольшой костер. Дядя мелко нарезал кусочки элегѝи, дал Андрею. Отошли от костра, встали на одно колено лицом к солнцу. Дядя что-то прошептал, и они бросили кусочки пищи в сторону тундры. Потом вернулись к костру, накормили огонь и вернулись в ярангу. В яранге дядя Тнескин и Андрей скинули праздничные кухлянки, торопливо поели и стали собираться на дежурство. Дядя уже собрался, обулся, накинул бушлат, а Андрей наматывал портянку на ногу, когда вошла бабушка и сказала:

— Стадо поднялось, уходит.

Подошла к очагу и позвала Андрея и дядю:

— Подойдите сюда.

Взяла уголек и помазала сначала дяде, потом Андрею лоб, макушку, виски, затылок, ладони рук:

— Удачи. Возвращайтесь в родную ярангу, — сказала им бабушка.

Андрей и дядя взяли свои рюкзаки и вышли из яранги. Мы выбежали вслед за ними. Они шли к стаду, не оглядываясь. Бабушка крикнула нам:

— Ну-ка зайдите.

В яранге у нее спокойно объяснила:

— Нельзя смотреть в след уходящим или уезжающим, а то дорогу обратную закроете.

Через два дня остальные пастухи уехали на тракторе на летовку. Вместе с ними уехал на свою первую летовку Заур. Перед отъездом бабушка Заура, отца и дядю Тымнеквына тоже помазала угольком от родного очага.

Давно не была в тундре, интересно, соблюдаются сейчас эти обычаи или нет?

КАК МЫ ВСТРЕЧАЕМ ПАСТУХОВ С ЛЕТОВКИ

Уже ясно было слышно тарактенье трактора и лязг траков. С окна кабины было видно улыбающееся загорелое лицо тракториста. На волокуше стояли пастухи и сдержанно улыбались, а мальчишки, в том числе наши Андрей и Заур, махали руками.

Наша яранга в стойбище стояла первой, поэтому мы должны были летовщиков встретить огнем.

Еще не было видно трактора, слышно было только тарактенье двигателя вдалеке, а мама уже разожгла в яранге огонь в очаге и приготовила кэнзут.

Когда трактор подъехал к ярангам, мама разожгла кэнзут от огня в очаге и с таким своеобразным факелом выбежала из яранги. Побежала навстречу трактору, обежала вокруг него, держа высоко на вытянутой руке огонь. Недогоревшие кэнзут бросила на тракторную колею. Трактор остановился между первой и второй ярангами. Пастухи соскочили с волокуши и разошлись по своим ярангам. Мы ждали своих оленеводов возле своей яранги. Бабушка каждого обмахала горящим кэнзут. Я ей крикнула:

— Я папу сама.

Бабушка засмеялась и сказала отцу:

— Стой, жди.

Я вбежала в ярангу, подожгла от очага кэнзут и выбежала, подбежала к отцу и обмахала его огнем.

Все стояли и ждали у входа в ярангу. Когда я закончила обмахивать отца, дядя Тымнеквын засмеялся:

— Ну, Ризван, дочка всех кэльэт от тебя отогнала. Очистила тебя.

Все зашли в ярангу. Огромный чоттагин показался маленьким и тесным. Все расселись на расстеленные шкуры возле полога и очага. Стали снимать свои сапоги. Бабушка подтолкнула маму к отцу:

— Чего встала?

Мама подошла к отцу и стала стягивать с него сапоги. Я подошла к Андрею и сказала:

— Тебе помочь снять сапоги?

Андрей улыбнулся и ответил:

— Ручки нашей принцессы не для грязных сапог.

И сам снял сапоги, вынес на улицу и бросил на землю. Я подошла к Зауру. Он засмеялся:

— Ну ладно, давай один сапог я вынесу, второй ты.

Бабушка и мама сняли с вешалок новые кухлянки и подали их дяде Тымнеквину, отцу и дяде Боре — маминому двоюродному брату. Бабушка подала мне кухлянку для Андрея. Я подала ее брату. Мужчины скинули потные рубашки, свитера и на голые тела надели кухлянки. Зауру бабушка помогла надеть кухлянку и опоясаться ремнем.

Мама суетилась, подносила еду, чай. Мы с Самиром уселись возле отца и наблюдали, как он ест. Подбородок, щеки у него были покрыты густой бородой. Я дотронулась до щек, борода была жесткой и колючей. Отец улыбнулся:

— Не укололась?

Самир тревожно спросил:

— Волосы вокруг рта не мешают есть? Давай я тебе ножницы принесу.

Все вокруг засмеялись:

— Какой у тебя заботливый сын.

Заур уже поел, чай попил, и мы втроем вышли из яранги. В тот день до самых густых августовских сумерек он был в центре нашего внимания. Мы слушали его рассказы о море, о летовке. Сначала сидели возле яранги, потом пошли к небольшому пригорку, немного поели ягод. А после прилегли на сухое место под пригорком и опять слушали его рассказы. Самир сказал:

— А мне сказали, что я пойду на летовку, когда мне исполнится восемь лет.

— Да ладно. Просто ты младший, и мама не хочет тебя отпускать. Ничего страшного, успеешь оленей попасти — успокоил его Заур.

— Интересно, а мне можно на летовку? — спросила я.

— Что тебе среди мужиков делать? Маме помогай — возмутились братья.

Я сильно и не хотела на эту летовку, мне возле мамы и бабушки как-то комфортней.

К вечеру пошли к яранге. Бабушка подозвала нас. Мы подошли. Мама что-то нарезала на қэмэңы. Заур посмотрел и сказал:

— Это мантак — китовый жир с кожей. У береговых людей обменяли оленьё мясо на моржовые ремни, копалхен и мантак.

Бабушка сложила наши указательные и средние пальцы с Самиром и сказала:

— Берем кусочки жира кончиками этих пальцев и кричим: «К`а — к`а».

Мы опустили перед қэмэңы на корточки. Мама и бабушка тоже сложили средний и указательный пальцы, получилось что-то вроде клюва птицы. С криками «Қа — қа» взяли по кусочку мантака, отправили в рот. Мне почему-то стало смешно, я фыркнула и чуть не подавилась. Бабушка сказала:

— Это для нас незнакомая пища. А чайки едят все и не травятся.

Мама от удивления проглотила целиком кусочек китового жира и спросила:

— Так от него можно отравиться?

— Да нет. Это привычная еда береговых людей. Никто из них не отравился. Да и ничего вроде бы, вкусно. Ты не бойся, ешь, — успокоила бабушка.

— Ой, нет. Слишком жирный, этот ваш мантак. Да и пахнет как-то не так, — вставая с места, сказала мама.

А мы с бабушкой остались дальше лакомиться. Потом заели олениной, попили чай и опять вышли из яранги. Залезли

в волокушу. Заур вытащил свой рюкзак, стал вытаскивать содержимое. Чего там только не было. И все такое интересное. Какой-то небольшой стеклянный зеленоватый шарик. Это я сейчас знаю уже, что это был всего-навсего поплавок от сети. А тогда мы с Самиром по очереди крутили этот шарик в руках, старались разглядеть через стекло горы, сопки, небо, солнце. Потом Заур вытащил моток какой-то капроновой веревки и сказал:

— Когда эта веревка горит, с нее падают капли и ими можно что-нибудь приклеить.

— Давайте попробуем, — предложила я.

— Не надо, мама увидит, будет ругаться. Когда все спали, я за волокушей поджег эту веревку. Капля мне на руку упала, я как заорал. Сильно больно было. Вместе с каплей кожу с мясом отодрал. Взрослые повывегали из палатки. Первым ко мне подбежал Андрей, увидел руку, дал щелчок в лоб, полез в волокушу за аптечкой. Руку перевязали. Папа спички отобрал, а дядя Тнескин сказал:

— Глаз с него не спускать. А то Таня с нас три шкуры за него спустит.

— А вы что, из него кисейную барышню хотите вырастить? Он все должен попробовать. А то настоящим мужиком не станет — заступился за меня дядя Тымнеквын.

— Чушь не болтай. Знал, что ты будешь пробовать, ходил бы за тобой с ремнем, — сказал ему дядя Тнескин, закончил свой рассказ Заур.

— Но веревку не отобрали, — сказал ему Самир.

— А-а, то я другую нашел, та была синенькая, — ответил Заур, вытаскивая из рюкзака пустую небольшую бутылку.

Мы впервые в жизни увидели пустую бутылку из-под пепси-колы. Вертели ее в руках, нюхали, спросили Заура:

— Вкусно?

— Не знаю. Я эту бутылочку подобрал на берегу моря, — ответил он.

— А тогда откуда ты знаешь, что это пепси-кола? Может, это вообще что-то другое, — разочарованно сказал Самир.

— Андрей прочитал этикетку. Он умеет читать по-английски, — важно сказал Заур.

Нас позвала бабушка. Уже темнело. Мы поужинали, залезли в полог и продолжили беседу. Самир спрашивал, Заур отвечал. Под монотонный разговор братьев я не заметила, как уснула.

Когда мы с Самиром проснулись, отца и Андрея уже не было. Они с дядей Тымнеквыном рано утром ушли в стадо на дежурство. Через два дня дядя Тымнеквын и отец с Андреем должны были пригнать стадо на Вылгыҗоранмат. Ведь наша яранга в стойбище стояла первой, а значит, и стадо на праздник должны были пригнать мужчины нашего рода.

КРЫСОЛОВКА

Живут две женщины, они разные. Сидят две женщины на кухне, вечер. За окном — соседний пятиэтажный дом, серо-рыжего оттенка, страшный, когда-нибудь его снесут. Зажгли лампу, налили чай, выставили на стол вазочки с конфетами и печеньем, варенье, мед, все как положено в хорошем доме. Скатерть на столе красная, занавески на окне бордовые, на стенах бледно-бежевые обои с фартуком из белой кафельной плитки. Устаревший ремонт, некрасивый, но привычный, не хуже, чем у всех.

Посмотрим на них. Одна моложе, у нее короткие волосы неясного каштанового цвета, слегка завитые, усталые руки и лицо, глаза цвета слабозаваренного чая, движения неуклюжие и невыразительные. Другая пенсионерка, волосы у нее длинные, черные с проседью, она собирает их в пучок, они все еще густые, как в молодости. Лицо строгое, печальное, выразительное, но та же неловкость в каждом движении, что у молодой женщины.

Они созданы, чтобы над ними издевались. Мир, другие люди, автор рассказа. Сейчас я буду над ними издеваться, а вы станете свидетелями, и мы вместе с вами подумаем в итоге, какие же они мерзкие и как хорошо, что мы не такие, нет-нет, мы другие, но наверняка знаем женщин, которые очень похожи на этих двух. Они работают с вами в одной конторе, или вы заметили их в общественном транспорте или в очереди в поликлинике, в таких вот унылых ситуациях, потому что обе они безнадежно унылы.

Та, что моложе, пьет чай, громко прихлебывая. Она бы предпочла уйти в соседнюю комнату и попить чай одна, но так

не положено. Пожилая тянется за конфетой, а другая говорит ей, что нельзя с её диабетом жрать конфеты. А зачем же она тогда их выставила на стол, сама-то не ест? Не любит сладкое, боится, что тоже заболит.

Одна из них мать, другая — дочь. Для удобства назовем дочь Ольгой, а мать — Алевтиной. Вы сейчас думаете — кого из них я сделаю чудовищем?

Ольга работает учительницей русского языка и литературы, любит отечественную классику и никакого другого чтения не признает. Она считает себя ужасно культурной и образованной, наподобие Эрики Кохут из «Пианистки» (книгу вы вряд ли читали, но про фильм-то знаете?), только не факт, что Эрика считала себя такой, я не помню. Эрика жила в Вене, а Ольга живет в городе К. — это жуткая провинция, несносная и невыносимая. Ольга ненавидит все провинциальное, провинциалов ненавидит особенно, они грязные и замызганные, прочитали, может, от силы три книжки в своей жизни. Жалкие создания. Не то что она, интеллигентная женщина, выросшая в столице. Ольга считает себя москвичкой, потому что родилась-то она в Москве, и когда они с матерью, бабушкой и дедушкой переехали в город К., ей было почти 10 лет. Она хорошо помнит Москву и культурных москвичей.

Учеников своих она не любит тоже — выродки, которых нарожали пролетарские бабы, прости господи. Наглые и невоспитанные, списывают готовые сочинения из интернета, а потом говорят, что другие учителя им разрешают так делать. Ничего не читают, да и читать толком почти не умеют, писать тоже, безграмотные лентяи. Она им так и говорит, а они хохочут и злятся втихушку, презирая ее в ответ. Ольга старается быть правильной, так подобает человеку ее уровня образования и развития: строго одевается, грамотно говорит, внушает школьникам прописные истины. Ее считают занудой, она знает, но источником любого злословия является зависть — и это

тоже хорошо ей известно. Ольга гордилась количеством книг, прочитанных ею. Никто из ее знакомых не прочитал столько же книг, сколько она. Знакомых у нее было немного. Ольга мечтает однажды вернуться в Москву и втайне откладывает деньги с зарплаты, не рассказывает об этом матери, хотя у них нет друг от друга секретов, они не знают, что такое личное пространство.

Кажется, вот то основное, что вам нужно знать про Ольгу. Ах да! Еще она любит выбрать себе жертву среди учениц или молоденьких девочек-учительниц, которые обычно не выдерживают больше двух четвертей в школе и увольняются. Выбирает хорошеньких и неглупых и начинает изводить их, травить, чтоб прям до слез, до нежелания ходить на ее уроки или сталкиваться с ней в коридорах и учительской. Она знает, что никто не пожалуется на нее, да и с чего бы? Это ведь насилие на уровне низких частот, его как бы не слышат, но осознают кожей — каждый раз, когда Ольга и жертва пересекаются, у последней по телу пробегают мурашки и противно сводит живот. Ольга, если бы кто-нибудь сказал ей, что она самоутверждается за счет женщин и девушек, которые моложе и красивее ее, оскорбилась бы. Она всего лишь хочет подсказать и направить, поделиться опытом, уберечь от глупых ошибок. Например, недавно одна ученица 9 класса принесла на областной конкурс свое стихотворение, чтобы Ольга его отправила, и это были очень плохие подростковые стихи, за них не дали бы никакого места. Зачем тратить усилия? Ольга так и сказала девочке: моя дорогая, ты бы лучше к ОГЭ готовилась, тебе русский надо подтянуть, а то не наберешь проходные баллы. У тебя тут в стихотворении, я смотрю, куча ошибок. Давай-ка их разберем... Ученица покраснела и молча вышла из кабинета, потом прогуляла пару Ольгиных уроков. Обиделась, нашла из-за чего! Ну и ладно, все равно Ольга недолюбливала эту девочку. В 15 лет каждый себя поэтом мнит.

Сама Ольга писала стихи лет с восьми или девяти, еще до переезда, записывала их в одну тетрадку, которая закончилась к тому моменту, когда она поступила на филологический факультет ...ского государственного университета. Тогда она завела еще одну тетрадку, серая бумага в клеточку, мутно-малиновый переплет под «кожу», и так далее. К 40 с лишним годам жизни у нее скопилось семь таких тетрадей. Свои стихи она никогда не отправляла на конкурсы и не публиковала, даже не думала об этом, поскольку видела в том нечто плебейское, чуждое ее аристократическому духу. Ольгины стихи слишком сложные для понимания, но они — поэзия высокой пробы. А эта глупая девчонка свои незрелые словечки хочет кому-то отправить и рассчитывает что-то за них получить!

Ольга выглядит немного ненастоящей, преувеличенной, выведенной словно под копирку. Но она так не думает о себе, если нам вообще интересно ее мнение. Ольга считает, что провинциальный город К. плохо ей подходит, буквально убивает ее, что она слишком хороша для окружающего пространства. Она пьет чай и думает об этом. Разговаривать не хочется. Ее мать ждет, когда Ольга расскажет ей что-нибудь. Как там прошел день, что опять натворили ученики. Алевтине очень скучно, она почти не выходит из дома, она инвалид второй группы, недавно перенесла очередную операцию, восстанавливается. Она целыми днями смотрит телевизор, звонит кому-то, чтоб «потрепаться», как она сама выражается, но никто из старых подруг особо не хочет с ней разговаривать. Больше всего Алевтина хотела бы потрепаться с дочкой, но та вечно занята или устала, не уделяет внимания больной матери, не ценит ее, наверное, не очень-то и любит. Алевтина изводится, когда начинает подозревать дочку в нелюбви — неблагодарная! Всю жизнь дует, что ее из Москвы увезли, ну надо же! А ее, Алевтину, разве отец с матерью спрашивали, когда собрались уезжать? А ей разве оставили выбор, потому что ведь невозможно было

одной с ребенком в Москве после недавней смерти мужа, отца Ольги? Распределение, и родителей распределили на самый край света, в Сибирь! Алевтина поплакала и поехала за отцом и матерью. Ольга тоже плакала, но поехала с матерью. Никто уезжать не хотел, но такова жизнь. Думали, поработают немного на новом месте и вернуться в столицу. Не получилось: осели, привыкли, освоились.

Алевтина была красавицей, не очень умной, мужчины ее любили, их у нее было много, а потом все они пропали, и остался один, который стал ее вторым мужем. Но все это неинтересно, какое вообще эти истории имеют отношение к двум женщинам, которые сидят за столом и скучно пьют чай? Муж Алевтины умер три года назад, она вся такая больная и несчастная, Ольга на время переехала к ней из своей квартиры, чтобы ухаживать и помогать. Но каждый раз, как только она собирала вещи, чтоб перебраться к себе, Алевтина что-нибудь устраивала: то упадет со стула и ударится, набьет синяк, надо за ней присмотреть, то приступ какой-то непонятный начнется, то слезы — «как я, доченька, без тебя». Да и удобно: приходишь с работы, а тебя встречают, ужин готов, невкусно, правда, Алевтина готовить не умеет и не умела, но что теперь. Пенсия у нее неплохая, Ольге позволено следить за деньгами матери, и она понемногу — совсем чуть-чуть — берет у матери в свою «московскую» копилку. Нет, это не воровство! Ольга считает, что вправе: это за то, что когда-то ее, десятилетнюю, увезли в глушь. Плюс квартиру свою сдает — тоже деньги, которые ей потом пригодятся.

Надо бы заставить этих женщин поговорить, пускай вступают в диалог. Как бы могла звучать их речь, о чем они будут разговаривать? Мне представляется что-то такое:

— Олечка, а помнишь, как мы с тобой зимой, тебе 26 лет было, по льду шли, а ты еще говоришь мне: мам, хочу под лед провалиться.

Ольга хмурится, Алевтина наблюдает за ее реакцией, осторожноничает, не выдает все сразу. Тут главное не разозлить дочь, так, немножко потрепать.

— Ну помнишь тогда, когда этот твой, не помню, как звали, когда он женился на другой, а ты за ним бегала еще с института. И ты в тот день узнала, что у него свадьба, а тебя не пригласили, от какой-то подружки узнала. И расстроенная такая была, вот, под лед провалиться хотела, а я тебе говорю, ой, брось, дочка, мужики эти, еще под лед из-за них проваливаться...

— Мам, ты зачем все это говоришь?

Алевтина замолчала. Кажется, рассердилась Ольга, вон какой голос недовольный.

— Да просто, вспомнилось. А как звали-то его?

— Какая разница?

— Сама уже вспомнить не можешь, да?

Ольга обычно в таких случаях вставала и уходила из-за стола, а Алевтина начинала извиняться, лепетать, доченька, ну ты что, не хотела тебя обидеть, давай чай пить, не надо так. Ольга вздыхала, смотрела на мать и все равно уходила. Так они избавлялись от общества друг друга. Но сегодня Ольга нарушает привычный ритуал. Нам ведь не очень интересно смотреть их игры, они еще немного должны поговорить, поэтому я заставляю Ольгу поступить иначе, и она не сопротивляется. Она ничего не отвечает матери, а спрашивает ее:

— Ты сколько конфет сегодня съела?

— Одну сейчас.

— Врешь.

— Ну как вру, зачем вру, одну съела.

Ольга поднимается и подходит к мойке, там мусорное ведро. Алевтина не умеет замечать за собой следы, Ольга подсчитывает фантики и приходит в ужас.

— Пять! Ты что творишь, из ума выжила?! — кричит она.

Ольгин крик сразу переходит в визг, такая она женщина.

— Опять хочешь, чтоб скорая приехала? Этого хочешь? Меня специально изводишь, да?

Алевтина молчит и прихлебывает чай. Ольгу раздражает этот звук.

— Специально изводишь? Молчи, молчи, — а сама думает: «карга старая».

— Ну а что ты выставляешь на стол конфеты эти? Покупаешь их, сама не ешь-то, для кого их берешь тогда?

— Не для тебя, для учеников.

К Ольге два раза в неделю приходила заниматься девочка Аня — скромный, тихий мышонок, Ольга поила ее чаем и угощала конфетами, а та, стесняясь, брала по одной, но хотела бы схватить целую горсть, так, чтоб в руки не поместилось. Из бедной семьи, кое-как наскребли на репетитора, Аня троечница, жалко ее, мышечку.

— Девчонку кормишь, а для матери родной конфет жалко?

— Тебе нельзя есть сладкое, дура, нельзя! — вопит Ольга.

— Немного можно!

— Пять конфет, ты глюкозу замеряла?

— Ничего не случится, глупости все это.

— Какие глупости?

— Болезни. Лишь бы мы деньги на лекарства тратили да на врачей, а так половины болезней нет.

— Ты за свою болезнь пенсию получаешь.

— А ты на эту пенсию живешь!

Ольга оторопела. На секунду она растерялась, задышала тяжело, вся покраснела. Захотелось со всей силы ударить Алевтину. Заткнуть ее, чтоб больше не бубнила. Сдержалась. Повернулась спиной, моет тарелки, а они чистые, а она все равно моет, выдавливает побольше жидкости на губку, запах химозного яблока, противный, Ольге не нравится, зачем каждый раз покупает именно это средство? Пенится хорошо, мыло впивается в кожу рук, чтобы бережно защитить их

от вредного воздействия маминых слов, и себя почему-то так жалко.

— Оль, ты обиделась?

Молчит. Открывает еще кран, чтоб полилось воды побольше. Тарелки закончились, нечего мыть, тогда принимается за чашки.

— Оль, ну ты не покупай конфеты-то больше. А то мои любимые батончики берешь, я ж их когда вижу, голову теряю. Так тяжело, когда радостей никаких, а вот съешь конфетку, и хорошо на душе становится.

— Мам, тебе нельзя есть сладкое. Ну нельзя, ты как будто бы специально это делаешь мне назло. А потом я должна с тобой носиться, скорою тебе вызывать, трястись над тобой, выхаживать, потому что ты сожрала одну сраную конфету. А ты их пять сожрала. Хочешь, жри, если подохнуть собралась.

— Оля! Ты почему такая сердитая?

— А ты почему такая вредная и делаешь все назло?

— Ну подохну, тебе квартира достанется, накопления все.

— Мама!

«Подохну, тогда тебе...» — это уже была тяжелая артиллерия, почти что запрещенный прием, один из любимых Алевтины. Она говорила это так, словно бы готова была сделать дочери одолжение. Знала, что Ольга от этих слов распереживается, почувствует себя виноватой, будет извиняться.

Ольга вытирает руки мокрым полотенцем, аккуратно развешивает его над раковиной, подходит сзади к матери, гладит ее жесткие волосы, но так, лишь изображая этот жест нежности. Этого тоже оказывается достаточно, Алевтина начинает шмыгать носом, Ольга говорит, чтоб перестала, не надо, нельзя волноваться, нервы надо беречь.

Обе успокаиваются, допивают чай, Ольга убирает со стола и идет проверять тетрадки с сочинениями, Алевтина уходит смотреть вечерние новости.

Ночью ей становится плохо, Ольга вызывает скорую, ругается, пытается мать — «сколько конфет сожрала?» Алевтина, тяжело дыша, выдавливая, что еще одну за ужином, пока Ольга мыла посуду и не видела. Ольга орет, что с этой бабкой-то делать, со свету изжить ее хочет. Приезжают врачи, осматривают Алевтину, что-то записывают со слов Ольги. Медсестра говорит, что по этому адресу уже третий вызов за месяц, как-то нехорошо, непорядочно. Измеряют глюкозу, вкалывают инсулин, в целом никакой угрозы жизни пока нет, увозить не будут. В те разы тоже — посмотрели, вкололи, оставили дома.

— Вы б за бабушкой последили, — обращается к Ольге молодой фельдшер. — А то в следующий раз мало ли как, вдруг увезем, вдруг хуже станет. А вы, бабуль, прекращайте сладкое есть.

Алевтина что-то невнятное закурлыкала, она всегда стеснялась врачей, зато Ольге стало неприятно замечание фельдшера.

— Да как я за ней услежу, если целый день на работе? Она вот и творит что попало, пока меня дома нет. Что делать-то?

— Ну, на пенсию уходите.

Ольга сначала подумала, что он шутит. Но, видимо, нет.

— На пенсию? Мне до нее еще 15 лет работать, не могу же я с работы уволиться и за матерью следить, в самом деле!

— А, я думал, вам уже скоро... не очень просто выглядите, отдыхайте больше.

Ольга решила, что молодой фельдшер просто издевается над ней, потому что она жалкая и беспомощная, и все это слышали, и все сейчас на нее смотрят и думают, что она уже старуха, и все видят, что да, плохо как-то тетка выглядит, замученная. Ольге хотелось заплакать от бессилия и тревоги.

Врачи скорой уехали, Ольга помогла Алевтине улечься, сама уместилась на тахту рядом с кроватью матери — караулить надо. Свернулась калачиком, лежит, думает о своей жизни, изнывает от жалости к себе, расплакалась. И почему это все

люди, буквально каждый встречный, хочет ее обидеть, как-нибудь задеть, ущипнуть? И в автобусах люди на нее огрызаются и вечно наступают на ноги, и в очередях ей грубят, и дети с ней препираются, и коллеги с начальством за спиной хихикают. Бедная она, ну ничего, еще немного потерпеть, она еще молодая, она вернется в Москву, и уж там-то такого с ней не будет. Там люди другие, культурные, воспитанные, не то что эти. Мать начинает громко храпеть, и Ольга возится в кровати до пяти утра, пока, наконец, не забывается коротким сном. В шесть звонит будильник, ей надо собираться на работу.

Девочка Анечка, тихая и неприметная семиклассница, приходила заниматься к Ольге по вторникам и четвергам в четыре часа дня. Она училась не в той школе, где работала Ольга, и потому они ничего не знали о поведении друг друга вне контекста этих встреч. Что рассказать про Аню? Она бледная, с большими глазами и вечной синевой под ними, отвечает редко и очень тихим голосом, изо всех сил старается делать так, чтоб ее и дальше не замечали. Что-то слушает, что-то смотрит, читает фанфики, в кого-то тайно влюблена, не очень умная, обычная, какая-та неопределенная, размытая. Но Ольге с этой девочкой спокойно: Аня никогда не перечит, каждое слово учительницы ловит, не воспринимает, зато пажески преданна. У Ани такой круглый аккуратный почерк, очень красивый и изящный, но пишет она с диким количеством ошибок и предложения не умеет строить. Ольге жаль ее почерка: вот же красота досталась бестолковой троечнице, и зачем только Аня научилась так красиво писать?

Ольга сочувствовала Ане и умилялась ей, как обычно умиляются хорошему котенку. Помочь чем-то хотелось, но усилий особых прикладывать к этому Ольга не пыталась. Поэтому она подкармливала ученицу конфетами и решила, что этого вклада достаточно. Проводить уроки с Аней — почти то же самое, что разговаривать сама с собой, Ольге это нравилось.

Только Алевтина нарушала эту гармонию между учительницей и ученицей: несколько раз за час она заходила на кухню, громко топая и что-то бормоча себе под нос, звенела посудой, наливала чай или разводила едкий растворимый кофе. Ольга потом ругала Алевтину, не можешь подождать немного, что ли, зачем прешься сюда и мешаешь вести занятие? «Мне теперь в своем доме на кухню нельзя пройти? Никому я не мешаю, не выдумывай». Алевтина ревновала дочь к девочке Анечке, а та, глядя на бабу, только вжималась в стул посильнее и напрягала лицо — слова не вытянешь, стесняется. Алевтине хотелось, чтоб Аня уже исчезла куда-нибудь, и чтоб дочь не тратила время на эти занятия. Она говорила: и так устаешь в школе от бестолочей, чего тебе эти уроки, пятьсот рублей в неделю? Хоть бери с них больше.

Ольга не могла повысить цену на занятие, да и не в деньгах было дело. Какое-то подобие привязанности испытывала бездетная Ольга к девочке-мышке, тоскливую жалость и не то что особую радость, когда была с ней, но подобие морального долга. Слышала бы Анечка, как Ольга ругает за ошибки, еще и не такие грубые, как у нее! Анне доставалось от учителей, одноклассников, родителей и старших сестер, а тут на нее не кричат, уделяют внимание. Аня плохо понимала, что объясняет ей Ольга, — у девочки не было никаких способностей к русскому языку, но если бы ее спросили, нравится ли ей заниматься, она бы, чуть помолчав, сказала: да. А почему? Потому что учительница добрая. Анечке сложно было удержать внимание, но она изо всех сил старалась. Ради учительницы. И разве можно желать зла этому мышонку?

Анечка очень не любила возвращаться домой. Сядет на маршрутку и кружит по городу, выходит на конечной, потом обратно, еще один круг. Бывает, какой-нибудь «неравнодушный» взрослый, как обычно таких людей называют, заметит, что Аня кружит, спросит, мол, девочка, ты не потерялась, все

нормально у тебя? Аня пугалась, с незнакомцами нельзя говорить, мотала головой и упиралась взглядом в пол. Как ей тогда помочь?

Однажды ей совсем невольно было ехать домой, и она до самого вечера кружила по городу на автобусах и трамваях, отключила телефон, чтоб не звонили. А когда вернулась почти в 11 вечера, получила от родителей. «Мы уже хотели в милицию звонить!» — орала мать, давая дочери звонкие пощечины. От ударов в голове начало звенеть, очень больно, сейчас бы не заплакать. «Вообще-то полиция. Так правильно называется», — проговорила Аня и получила еще один подзатыльник. Больше она не каталась на маршрутках до позднего вечера.

Конечно же, Ольга ничего этого не знала, хотя Аня думала иногда, может, рассказать учительнице? А вдруг она откажется тогда вести уроки? Аня почему-то думала, что ее могут принять за ненормальную, своего неблагополучия она очень стыдилась, и что семья у нее такая — тоже стыдно за них. У Ольги Владимировны-то все хорошо. Анечка ведь не задумывалась над тем, как странно, что такая взрослая женщина живет с матерью в одной квартире. Анечка, когда окончит школу, переедет в другой город и больше никогда сюда не вернется, но это будет еще через пять лет.

Ничего она не рассказывала, и хорошо: Ольга и не собиралась вникать в чужие проблемы, ведь у нее слишком много своих. Представляю, как горько бы стало Анечке, почувствуй она полное равнодушие со стороны хорошей доброй учительницы, которая казалась именно такой.

«Ну, Аня, как твои дела? Все хорошо?» — быстро спрашивала Ольга, приветствуя свою мышку, и, не дожидаясь ответа, тут же просила показать домашнее задание. Которое всегда было выполнено, но редко правильно.

Потом взрослая Аня вспомнит еще раз учительницу и ее престарелую мамашу, все сопоставит и подумает: «Вот две

крысы, а я тоже дура была, надо было сразу рассказать, когда меня спрашивали». Что рассказать? А вот это.

Был четверг, Ольга вернулась с работы и к 16 часам ждала Аню. Прошло минут пять, десять, ее не было. Обычно Аня не опаздывала. Алевтина крутилась на кухне, бормотала что-то себе под нос, гремела посудой, Ольга буркнула на нее.

— А что не идет твоя ученица? Опаздывает, да?

— Даже странно, она никогда не опаздывала.

— Ну, всякое бывает у людей. Наверное, она сегодня не придет. И ладно, Оля. Дурочка все равно какая-та.

— Обычная.

— Да дура, глаза бестолковые. И хорошо, что не будет ее сегодня. Не придется тебе хоть время тратить на нее.

Ольгу раздражало, как мать ворчит на ее ученицу, но заступаться она не стала. Алевтина всю жизнь критиковала Олиных подружек, молодых людей, которые за ней ухаживали, редких мужчин в ее жизни, пока все они не растворились бесследно и не осталось никого, кроме Ольги и Алевтины. Так что Ольга привыкла. Но странно, что так долго нет Ани. Ольга набрала номер ее мамы. Та ответила не сразу, говорила усталым и недовольным голосом. Да-да, конечно, забыли вам позвонить, Ольга Владимировна. Аня в больнице с отравлением. Да кто знает, что случилось, инфекция, наверное, в школе. Сейчас выясняют. Ее еще во вторник вечером увезли — очень плохо стало. Как сейчас она? Ну, получше, получше, а то совсем плохо было, переживали, что все... Навестить? Ну, Ольга Владимировна, спасибо, но вы уж сами как решите. Когда ей получше станет, может, через несколько дней, она в детской инфекционной, только не надо ничего! Она и есть-то не может...

Ольга задумалась. Конечно, школьные столовые — рассадники кишечных инфекций, или руки Аня забыла помыть перед едой. Вечно дети травятся. Ольга вроде бы никогда не травилась, она не помнит точно, надо спрашивать у Алевтины.

— Оль, ну что там случилось?

— Отравилась Аня, в больнице.

— Господи!

— Ну да, невесело, мать ее говорит, что опасались за жизнь.

— А чем отравилась-то, неизвестно?

— Да в столовой, наверное, в школе. Мало ли. Она мне не рассказала.

— Не говорит? Может, дома траванулась.

— Откуда я знаю. На неделе съезжу к ней, может, на выходных.

— Ой, Оля, зачем тебе это надо? Что ты попрешься? Ты не родственница, не учительница ее...

— Мам, мне не трудно.

— Не в этом дело. Неуместно как-то.

— Да что такого?

— Я бы на твоём месте не ездила. Вдруг зараза какая-то. Надо бы и у нас тоже все обработать после нее.

— Мам, она была тут два дня назад, уже все давно разнеслось.

— Давай помоем со средством кухню, спокойнее будет.

— Глупости...

— Ольга, я тебе точно говорю, что надо.

Конечно: Алевтина всю жизнь проработала в санэпидемстанции, она знала, как и зачем проводить санитарную обработку помещений.

— А когда, Оля, говоришь, в больницу ее увезли?

— Во вторник вечером плохо стало.

— А симптомы какие?

— Мам, я не стала спрашивать.

Алевтина набрала ведро воды, достала из-под ванной бутылку с каким-то вонючим средством, развела. Ольга забрала ведро у матери, надела перчатки, нашла тряпку — когда-то это было вафельное полотенце для кухни — начала мыть. Пахло будто хлоркой, чем-то невыносимо химическим, запершило

в горле. Зачем это мать придумала полы мыть, недавно же мыли? Инфекция, зараза, да ничего этого нет, Аня же не ела ничего у них. Не ела ведь, хотя обычно Ольга ее чем-то угощает. Вроде бы не было во вторник конфет на столе?

В субботу Ольга поехала в больницу, хотя Алевтина протестовала. Ольга не знала, что можно привезти ребенку с отравлением, купила сок — хороший, дорогой, сама себе такой не покупала. Аня вроде пошла на поправку. Ее мама рассказала, что по анализам выходит, будто Аня отравилась какой-то химией, крысиным ядом или чем-то таким. «Дурдом какой-то, в школе нарушения, в прокуратуру будем писать». Ольге не очень понравилась эта новость. То есть вроде бы ничего, ее-то это не касается, а дурное предчувствие есть.

Аня, и так худенькая и маленькая, совсем отошала, бледная, замученный мышонок. Ольга не скрыла своего изумления, сказала Ане, мол, плохо ты выглядишь, бедная! Что случилось, расскажи?

Аня отвернула лицо, вздохнула, пожала плечами. Не знаю, говорит. Тошнило сильно, температура поднялась, живот болел, вызвали скорую.

— Я тебе сок привезла, сок тебе можно?

— Не знаю.

— Ну, если что, врачи скажут. Ты как себя чувствуешь?

— Нормально.

— Ничего больше не болит?

— Нет.

— А когда тебя выпишут?

— Не знаю.

Ольге стало душно. Аня, и так обычно неразговорчивая, словно бы закрылась от нее совсем. Могла бы и спасибо сказать за то, что Ольга приехала навестить ее. Как будто бы большое удовольствие ей разъезжать по инфекционным больницам! Понятно, что никакого воспитания у Ани нет.

— Как думаешь, где ты отравилась? — спросила Ольга просто так.

Аня молчала.

— В школе, может, что-то испорченное съела?

Аня еще и отвернулась.

— Ань, ты слышишь, я спрашиваю тебя, — не выдержала Ольга.

Аня как-то странно на нее взглянула:

— Ваша мама меня конфетами угостила. Они невкусные были, меня сразу затошнило.

У Ольги спина похолодела. Она уставилась на Аню, перева- ривала ее слова.

— Ты что хочешь сказать, Анна? Что у нас отравилась?

— Не знаю. Вас не было, я вас ждала, ваша мама меня угости- ла конфетами, — повторила Аня с настойчивостью.

— Аня, ты в курсе, что ты отравилась каким-то ядом? Мне твоя мать рассказывала. Как это могло попасть в конфеты-то? Мы только хорошее покупаем, Аня, не надо выдумывать.

— Я не выдумываю.

— А ты рассказывала об этом кому-нибудь? Маме своей го- ворила?

— Нет.

— Вот и не надо болтать разные глупости! — Ольга на самом деле очень испугалась. Перед ее внутренним взором замаячи- ло что-то противное, бюрократическое, проверки, суды, про- блемы. И все из-за того, что бестолковая мышка ее оговорила. И надо же, какая хитрая и наглая: напрямую не обвиняет, а так, намеками. А ей всего 13 лет, что за человек вырастет?

— Аня, ты в следующий раз руки мой перед тем, как есть, и смотри внимательно, что ешь, — выдала Ольга, ей стало неприятно, физически невыносимо тут находиться, она с от- вращением смотрела на Аню. А та вцепилась холодным тяже- лым взглядом в Ольгу. На тумбочке рядом с кроватью девочки

Ольга поставила сок, и на какое-то мгновение, всего лишь на мгновение! — ее рука машинально потянулась за ним. Аня заметила это и, как показалось Ольге, будто бы усмехнулась. Ольга вспыхнула от злости. «Вот мерзавка, дрянь мелкая». Ничего не сказала, кивнула и вышла из палаты, не попрощавшись. Надо будет позвонить ее матери, отказаться от занятий. Причину не объяснять. Конечно, это может показаться подозрительным, особенно если Аня что-то начнет говорить про конфеты. Может, Аня и не имела в виду, что отравилась у них? Возможно, в ее словах не было никакого злого умысла, она всего лишь больной ребенок, но та холодность, с которой ученица ее встретила, настораживает. Когда Ольга вернулась домой, то подробно рассказала Алевтине о разговоре с ученицей. Алевтина выпучила глаза и закричала: что за безобразие, бесстыдство, за такие обвинения и в суд можно подать! Ольга попыталась успокоить мать — не было никаких обвинений, это уже она додумывает.

— Мама, скажи, а пока меня не было, ты и вправду ей конфеты дала?

— Что значит дала? Я предложила, она взяла. Ну да, было так. У нас гостеприимный дом, что я, ребенку конфету пожалую?

— А конфеты хорошие были?

Алевтина сквасила лицо, изобразила плаксивую интонацию.

— Доченька, ты что? Ты девочке какой-то веришь, что ли? Она ерунду сказала, а ты... ты что? Да разве можно так на родную мать, а? Ты извергом меня изображаешь? Я отравительница?

Ольга кинулась обнимать Алевтину, извиняться. Нет-нет, ничего такого она не подразумевала, конечно, девочки Ани больше здесь не будет, все это очень оскорбительно для их семьи. Ольга, разумеется, верит своей маме, конечно, а как же иначе? А внутренний голос тем временем говорит: «Ты же знаешь, что она это сделала. Помнишь, как когда-то она подсыпала отраву

одной своей подруге, смутно помнишь, вы здесь первый год жили? Никто ничего в тот раз не доказал».

— Я ничего никому не расскажу, — тихо говорит Ольга.

— Что?

— Крысоловка ты была, крысоловкой и останешься.

Ольге все так надоело, что она захотела купить билет до Москвы уже в понедельник.

Все сбережения Ольги, которые она несколько лет откладывала для переезда, пришлось потратить на лечение матери. Алевтину положили в больницу, понадобилась срочная операция, которую бесплатно можно было получить только через полгода. Столько времени у них не было. Ольга наняла сиделку. Она покупала дорогостоящие препараты. Анализы тоже оказались дорогими.

Ольга так и не смогла переехать в Москву. Иногда ей в голову приходил вопрос, заслуживает ли ее мать этого и почему Ольге пришлось потратить столько денег на Алевтину? Было обидно, по ночам Ольга плакала. Алевтина была спасена и продолжала тайком от дочери есть конфеты. Она чувствовала себя счастливой.

ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Когда мне было примерно двенадцать лет, я часто летом гостила у бабушки — она жила в частном секторе, дом на самом краю города, а впереди, на линии горизонта, только угольные карьеры и огромные экскаваторы. Люди добывали уголь. Мы с подружкой ходили гулять в сторону горизонта — там есть и зеленая чистая полянка, и свалка, куда на тачках свозят всякий мусор, и деревянный мостик над грязным полуживым ручейком — я всегда боялась провалиться вниз. Но если пройти чуть дальше и поближе к карьерам, то можно увидеть черное жидкое

бурлящее нечто. Наверное, на том месте когда-то было озеро, искусственное, может, но люди, добывающие уголь, сбрасывали туда разные отходы производства. Или вода постепенно покрылась слоем угольной пыли, настолько плотной, что озеро загустело и стало черным. Оно бултыхалось, клокотало волнами, черное угольное озеро. До сих пор не могу выкинуть из головы этого воспоминания: я стою на тропинке, вплотную к черной воде, а она простирается вдаль, до самого горизонта, гигантское черное озеро из угольной пыли. Меня трясет, мне очень страшно, я понимаю, что если подойду чуть ближе, то упаду туда и никто меня не спасет. Но все равно стою, вглядываюсь в черную воду, как будто она сможет мне объяснить, кто сделал ее такой и почему никого в мире не беспокоит, что на окраине маленького шахтерского города есть такое жуткое место. Наконец, я убегаю оттуда, оглядываюсь напоследок, чтобы запомнить, как оно выглядит, и снимок этот впечатался в мою память навсегда. Так я обнаружила в себе страх открытых пространств. Но на самом деле я боюсь черной воды. Какой был бы кошмар, если бы все океаны на Земле, все моря были бы черного цвета! Бурная вода, неуправляемые волны, и все черное. Как хорошо, что вода такого успокаивающего синего цвета. Недавно, когда я не могла уснуть, перед моим внутренним взором предстала такая картина: открытое пространство черного океана. Мне стало не по себе, с трудом прогнала мысленное наваждение.

Эта история вспомнилась мне из-за рисунка Даши. Я дала ей задание: нарисовать любимое животное — в надежде, что рисунком девочка выдаст какое-то свое переживание или страх, но Даша, взяв в руки черный карандаш, которым дети обычно пользовались реже всего, намалевала некое подобие реки или моря. Она даже изобразила завернутые в разные стороны волны, и больше ничего на альбомном листе не было. Я спрашиваю, Даша, почему сегодня тебе захотелось нарисовать не зверюшку,

а море? Даша мотает головой: это не море. И молчит. Даша не смотрит на меня, а вываливает из стаканчика все карандаши, раскладывает их перед собой и начинает составлять обратно, но уже по сочетаниям цветов, которые она сама определила. Все это означает, что Даша не собирается сегодня общаться с тетей-психологом. Оставшееся до конца сессии время мы проведем в полной тишине. Потому что я должна уважать выбор Даши — оставаться безмолвной. На самом деле, я уже немного знаю привычки этой девочки и понимаю, что из ребенка не вытянешь насильно ни одного слова. А когда я начинаю что-то говорить, она принимается шуметь — шуршать бумажками, перебирать карандаши, петь бессмысленные песенки «ля-ля-ля», чтобы только не слышать мой голос. Она делает это не из вредности даже, а потому, что я нарушаю некое правило, которое Даша сама же и установила. Разумеется, она не посвятила меня в правила игры. Справедливо: мы, взрослые, тоже ведь не объясняем детям правил наших игр, ожидая, что они сами как-нибудь во всем разберутся. А еще потом сердимся на них. Или начинаем водить к детскому психологу.

Даше шесть с половиной лет, она хорошенькая девочка с короткими русыми волосами и румяными щечками. Ее красиво и со вкусом одевают. Она не очень разговорчивая, как правило, но порой болтает на сессиях так, будто хочет сообщить мне все новости на год вперед. А потом опять мы играем в молчанку. Я подозреваю, что ей не хватает внимания родителей, и она всячески старается его привлечь. Даша из такой семьи, которую сторонний наблюдатель назвал бы «хорошей, обеспеченной, нормальной». И, в общем-то, оказался бы прав. Только иногда Даша говорит про родителей, что они «дураки». «Мама — дурочка, папа — дурак». И все тут.

Дашу привела мама, красивая, молодая, в стильном наряде. Она работает в салоне красоты визажистом, ведет инстаграм, кажется, чересчур увлекается соцсетями и фотографиями,

но производит неплохое впечатление. Дочку она обожает, но не балует ее, а, наоборот, строжится и одергивает постоянными замечаниями. В голове у женщины есть образ «идеальной дочки Даши», которая должна быть миниатюрной копией мамы. Такой же хорошо одетой, ухоженной, стильной, кокетливой и «правильной». Но Даша регулярно делает что-то такое, что совершенно не вяжется с тем идеалом дочки в представлении мамы. Даша такая маленькая, а ее уже с головы до ног опутывает сеть родительских ожиданий. Все это я установила потом и, как оказалось, это не имело отношения к делу, разве что косвенно. Мама же пришла с жалобой — дочка издевается над живыми существами и растет живодеркой. Я взглянула на это ангелоподобное создание и уточнила, что именно женщина имеет в виду.

— Она издевается над насекомыми! Ловит бабочек, отрывает им крылья, запихивает их в банку и смотрит, как они медленно умирают!

Семья жила за городом в своем доме, и все лето Даша могла играть в большом саду, где, видимо, и происходили экзекуции для бабочек-капустниц. Маму девочки в самом деле это тревожило. Я уточнила, не переходила ли Даша на животных покрупнее. Нет, ничего такого мама не замечала, но она опасается, что ее дочка превращается в какого-то монстра. На мой взгляд, все дети рано или поздно проходят через эту стадию «монстра». Я тоже в раннем детстве отрывала бабочкам крылья, усики и лапки. Мне сейчас, как гуманному взрослому, стыдно за это перед природой, но для ребенка подобное поведение, как я считаю, является способом познания реальности и поиском неких границ — какие его действия влияют на мир, а какие нет. Это соприкосновение с двумя базовыми феноменами — жизнью и смертью. Я, например, когда ловила бабочку, проводила над ней своеобразный эксперимент: смывала пыльцу с тонких крылышек и смотрела, сколько она протянет. Я даже

пробовала «оживить» несчастное насекомое, но весьма непригодными, то есть совершенно неподходящими для этого способами, пытаясь накормить ее цветами, укладывая в спичечный коробок как в постельку, чтоб она там отлежалась, но бабочка умирала. Тогда я хоронила ее. Я видела, как это происходит у людей. Нужно выкопать ямку в земле, уложить бабочку, предварительно поместив во что-то (я брала бабушкины пустые банки из-под крема), потом снова закопать, а сверху оградить это пространство чем-нибудь, ведь люди тоже огораживают места захоронения заборами. Я выкладывала круг из камней, а еще из тех же камней выкладывала крест, не придавая этому, разумеется, никакого религиозного значения. Что я тогда чувствовала? Любопытство. Это была своего рода безопасная игра, чтобы познать жизнь и смерть.

Есть еще одно предположение, почему дети ведут себя подобным образом: они узнают, что такое власть, осуществляя ее над более мелким и незащищенным существом. Собственно, с властью (в лице родителей) мы все сталкиваемся чуть ли не с рождения. Речь идет не только о запретах и ограничениях, но и о заботе. Условно говоря, над нами властвует тот, от чьих действий напрямую зависит наше благополучие, здоровье, вообще сама наша жизнь. Ребенок, совершая некие (вредные или полезные) действия над бабочкой или каким-то другим попавшимся ему насекомым, смотрит, как они отражаются на том, кто в буквальном смысле в его руках. Он видит причинно-следственные связи: бабочка умирает, потому что он так сделал. Или она в порядке, потому что он ее отпустил. Дать ей свободу или мучить. Ребенок, кстати, не понимает, что с точки зрения этики его «исследования» — это «живодерство», как выразилась мама Даши; законы этики становятся известны ребенку, когда о них рассказывает родитель или другой значимый взрослый. Ребенок утверждается через проявление своего любопытства к темам смерти и власти, но относительно безопасным способом. Такая

у меня теория. Понятно, что ребенок взаимодействует со многими предметами, но в том-то и дело, что какое-то время в его распоряжении есть только предметы. А бабочка, пусть и мелкая и с крылышками, похожа на ребенка в одном: она живая. И ребенку интересно посмотреть, что он может сделать с другим живым существом.

Мне кажется, для меня это было верно, а вот имеют ли все эти суждения хоть какое-нибудь отношение к Даше — вопрос. Допускаю, что она отрывает крылья бабочкам совсем по другим причинам.

Когда Дашу привели в мой кабинет в первый раз, я внимательно посмотрела на ее маму. Я всегда прежде всего смотрю на родителей, чтобы оценить, насколько проблемы детей связаны с ними. В большинстве случаев все проблемы детей возникают из-за родителей или других близких родственников. Или из-за какой-то сложной конфигурации отношений в семье — ребенок просто не понимает, по каким правилам тут играют взрослые, чего от него хотят (а от него всегда чего-то хотят, но редко озвучивают вслух, чего именно, надеясь, что сын или дочка уж как-нибудь сами все поймут). Иногда взрослые, воюя с кем-то еще в семье, привлекают ребенка на свою сторону в качестве союзника. Или делают того своим confidentом и вываливают ему на голову всякие подробности, которых ребенок и знать не должен, и уж тем более не должен утешать родителя или давать ему какие-то советы!

Мама Даши выглядела немного усталой, чуть-чуть тревожной, но произвела на меня впечатление в целом счастливой женщины. Она любит свою дочь и просто не понимает, почему она порой ведет себя так жестоко.

— Я говорю ей, что так поступать нехорошо. Бабочки — живые, им больно, что Даша для них как великан. Правда, Дашенька? Представь, что тебя бы поймал великан и начал отрывать тебе ручки и ножки?

Даша ухмыляется, но не по-злому, а так, как будто в открытую ловит взрослого на лжи.

— Не поймает. Великанов не существует.

Мама закатывает глаза: и так каждый раз! Мама хочет, чтоб Дашенька росла доброй и хорошей, разве она многого просит? И главное ведь — откуда что взялось?

— Папа говорит, что убивать бабочек можно. Они вредители и съедают наш урожай, — уверенно заявляет Даша.

— Твоему бы папе ручки оторвать! — возмущается мама.

Даша качает головой. Я бы тоже покачала, но мне нельзя. Потом Даша ждет в коридоре, а я разговариваю с ее мамой наедине: спрашиваю, как давно это появилось у Даши, замечала ли она еще какие-то изменения в поведении дочери, что вообще может рассказать мне про нее. Даша ходит в частный детский сад, она сторонится других детей и предпочитает играть одна. Иногда разговаривает сама с собой, возможно, есть воображаемые друзья. Я уточнила, почему маму так сильно беспокоит, что Даша охотится на бабочек и убивает их? Женщина объяснила: ей бы не хотелось, чтобы дочь росла жестокой и агрессивной. Собственно, скрытой агрессии в дочке она больше всего и боялась. Мол, если сейчас она делает такое, что начнет делать, когда подрастет? Откуда в голове у любимой милой дочки возникли эти идеи? Мама спрашивала у Даши, но ответа, понятно, так и не добились.

Самое ужасное для мамы — это перемены в ребенке, причин которых она не понимает. Я бы хотела утешить Дашину маму, сказав ей, что каждый второй родитель приводит ребенка в этот кабинет как раз потому, что не понимает, отчего тот меняется и почему вообще это происходит. И, как мне кажется, родители не столько хотят, чтобы я помогла избавиться их дочке или сыну от «деструктивного» или «странного» поведения, а сколько желают, чтобы я потом объяснила им, а что это было, зачем их ребенок так поступал? Таким образом родители пытаются

вернуть себе утраченное чувство контроля над ситуацией (считай — над внутренним миром своего ребенка). Или хотят, чтобы я утешила их, сказав, что все это произошло по каким-либо внешним причинам: детский сад, воспитатели, школа, учителя и приятели, мультфильмы, сериалы, что угодно, но только не какая-то ошибка родителя.

Я подумала, что непростые взаимоотношения Даши с бабочками — это только вершина айсберга, дело может оказаться чуть сложнее, чем думает ее мама. Отец Даши, кстати, довольно прохладно отнесся к затее жены отвести дочь к детскому психологу и добавил, что «платить за это не собирается: психологи прочищают мозги и выставляют родителей чудовищами». Мол, ему претит отдавать деньги какой-то женщине, которая во всех проблемах его дочери может обвинить его самого. Ну или его супругу, или их обоих сразу. Так что Дашина мама будет платить за наши сессии сама. Мне, конечно, не очень важно, кто будет их оплачивать, но сам факт наличия разногласий в семье по поводу воспитания ребенка показался мне стоящим внимания. Собственно, по мнению отца, ничего такого в том, что дочка ловит бабочек, нет. Это нормально, все дети ловят бабочек и даже потом убивают их. Он сам так делал. Мама Даши не ловила бабочек, потому что это «дикость». Я пообещала, что мы во всем разберемся.

И вот Даша ходит ко мне уже полтора месяца, а все, чего мы добились, — это рисунок с черной водой и проснувшиеся страхи в голове у психолога. Не провал, но явный ступор, я должна запастись терпением или попробовать зайти с другой стороны. Лето заканчивалось, сезон бабочек тоже, но в процессе работы я обнаружила, что Даше часто снятся кошмары, что с другими детьми ей играть совсем не интересно, а большую часть времени она проводит в своих воображаемых мирах. О деталях их устройства она мне не рассказывает, да и вообще напрямую не говорит о своих фантазиях, но я догадываюсь. Даша немного

напоминает мне саму себя в возрасте пяти-шести лет. Поэтому мне кажется, что я легко могу разгадать эту девочку. Моя когнитивная ловушка: мне следовало бы исключить все эти параллели.

У меня не было друзей в раннем детстве, мне и не хотелось ни с кем дружить. Но в то время никто не водил детей к психологам и, честно говоря, особых причин на то не было. Если бы Даша росла в то же время, что и я, едва ли ее мама беспокоилась бы, что с дочкой что-то «не так». Может, современные родители стали более нервными и хотят воспитывать идеальных детей, может, они волнуются, что все их усилия, направленные на воспитание, пойдут прахом из-за какой-нибудь ерунды вроде бабочек или кошмаров. Даша не самый трудный случай в моей практике, но есть что-то в ней, сильно меня беспокоящее. Такое чувство, будто в Дашу кто-то уже забросил зерна меланхолии и тревоги, зерна вины, которые начинают понемногу прорастать. Может, эти зерна попали туда случайно, по чьему-то недосмотру и малодушию; родители и другие родственники словно не придают никакого значения тем словам, которые произносят при детях, и говорят все, что вздумается, не слова, а сорная трава, которая быстро распространяется и уничтожает беззащитные цветники в душе ребенка. Вся проблема в том, что мы, будучи детьми, в самом деле довольно хрупкие и слишком зависим от заботы взрослых. А взрослые иногда смотрят, как долго мы продержимся, если с наших крыльев стереть всю пыльцу.

Однажды Дашу на сессию привез отец, и я обратила внимание, что каждое его движение было чересчур порывистым, резким. Вот он подгоняет дочку, торопит ее, помогает ей снять куртку, быстро-быстро, говорит ей, что заберет ее, еле заметно кивает мне, как будто бы ему вообще не хотелось приветствовать меня, и все это его угнетает. Даша в тот раз была удивительно разговорчивой: рассказала о делах в детсаду, о том, что не хочет

отправляться в школу на следующий год и что мама ругается на нее за такие мысли (Даша, понятно, не использовала слово «мысли», это моя интерпретация). А еще Даше грустно, потому что в этом году ее не отправили гостить к бабушке и дедушке. Она ездила каждое лето к ним, а это пропустила. Ей было скучно, очень-очень скучно дома, она не знала, чем заняться, спрашивала маму, что ей делать, а мама отвечала какую-то ерунду вроде «снимать штаны и бегать». Даша не понимала, что это означает, — не предлагает же ей мама на самом деле зачем-то снять штанишки и носиться (тем более, Даша обычно ходила в юбках), но Даша догадывалась, что мама просто не знает, что ей ответить и потому отмахивается этой ничего не значащей фразой, в которой, к тому же, было что-то обидное.

С мамой было скучно, с папой было веселее, но Даша редко его видит, с мамой она проводит гораздо больше времени. Я спросила: Даша, почему так получается, что ты видишься с папой нечасто, он много работает, да? Задавая этот вопрос, я полагала, что он безобидный. Даша задумалась, посмотрела на меня, и сказала, что папа недавно лежал в больнице, его туда положили, потому что он много пьет. Это мама так решила — Даша слышала ее разговор по телефону с бабушкой, мамой папы. А бабушка была против, они ругались, Даша это тоже поняла, бабушка думала, что папа пьет не так много, по крайней мере, не настолько, чтоб класть его в больницу.

Я немного растерялась, просто не ожидала, что Даша расскажет о проблемах в семье. Кажется, где-то здесь и кроется ключ к Дашиной растерянности, я бы назвала это так.

Родители, чьи дети ходят к психологу, наивно полагают, что они не станут выдавать семейные «тайны», под которыми обычно подразумевается постыдное и порицаемое в обществе поведение родителей или кого-то из родственников или трудности во взаимоотношениях между мамой и папой. Родители считают, что детей это не касается, но на самом деле именно их это

и касается в первую очередь. Дети действительно могут долго молчать, но рано или поздно произойдет какое-то событие, которое станет спусковым крючком, и тогда им захочется «разболтать» что-то психологу. Понятно, что психолог если и пользуется этой информацией, то с величайшей деликатностью. Я никак не могу изменить поведение родителей, я не могу сказать им, что они ведут себя неправильно. Мне, в общем-то, все равно, что они творят, но если они приводят сюда ребенка и сами же являются для него источником боли и страхов... Единственное, что я могу сделать, так это посоветовать обратиться еще и к семейному психологу, если ситуация покажется мне критической и я увижу долгосрочную угрозу для своего подопечного. Ребенок не может многие годы жить в токсичной атмосфере и оставаться «нормальным». Это проблемы родителей, что они не могут справиться со своими трудностями, но, к сожалению, рано или поздно родительские неурядицы (неважно, в какой сфере) становятся головной болью детей.

Даша рассказала, что мама поругалась с бабушкой (матерью отца, ребенок не знает слова «свекровь»), и поэтому-то и не разрешила Даше поехать к ним этим летом. Вообще-то, они постоянно ругаются, но девочка не знает почему. Может, все дело в ней, она плохая, поэтому взрослые из-за нее и ругаются? Ругаются мама с папой, папа уходит из дома, где-то пропадает и много пьет, мама плачет, но не хочет, чтобы Даша ее жалела — она пыталась, но мама прогоняет ее. Ругаются родители с бабушкой и дедушкой, очень сильно ругаются, Даше всегда страшно, когда они начинают ссориться. Тогда мама с папой быстро собирают вещи, забирают Дашу и уезжают. Даша не понимает, почему взрослые люди злятся и кричат друг на друга. Она понимает, почему злятся она: если что-то сломалось, когда скучно, когда ее обижают другие дети. Но почему сердятся взрослые? Может, все это происходит потому, что Даша плохая и взрослые злятся из-за нее? Наверное, это она во всем

виновата, она не может быть хорошей, она плохая, а почему так вышло, Даша не знает, но взрослые уж точно разбираются. Поэтому она и начала себя вести, как плохая: отрывать бабочкам крылья и мучить их. А зачем ей быть хорошей девочкой, если из-за нее все и так злые и ругаются? Если честно, Даше уже надоело мучить бабочек, это совсем не так интересно, но зато все перестали ругаться. Папа, когда приехал из больницы, стал больше времени проводить с Дашей, но не с мамой, зато они не ссорятся, а просто молчат.

Наверное, мне стоит в следующий раз поговорить с ее мамой. Сессия завершилась, отец девочки быстро ее забрал и чуть не забыл попрощаться со мной. Внешне этот мужчина не похож на хронического алкоголика, но я и не рассматривала его особо. Мой отец тоже много пил, когда я была маленькой, кажется, тогда почти все отцы пили, и никого это не удивляло. Я не видела его неделями, он пил с какими-то странными людьми непонятно где, и часто казалось, что у меня нет папы. Но когда он все же возвращался домой пьяным, то был добрым и веселым, а когда был трезвым, то мрачнел и ругался на меня по всяким причинам. Например, за то, что я играю и могу шуметь, мешаю ему спать. Но порой я думала, он больше никогда не вернется, мы можем остаться с мамой вдвоем. Мама будет грустить, я никак не смогу ей помочь. Но что я могла бы сделать? Наверное, какая-то часть ответственности за пьянство отца и несчастья моих родителей лежала и на мне. Почему я так думала? Хорошо помню один эпизод. Мы с мамой и папой откуда-то возвращались домой, и папа спросил, не хочу ли я что-нибудь в магазине? Он мог бы зайти и купить. Мама резко ответила за меня, что ничего не надо, но я хотела чипсы, и раз уж папа предложил, то решила попросить. Папа ужасно обрадовался, побежал в магазин, сказав нам, мол, поднимайтесь домой, я скоро приду. В тот вечер он не вернулся, а я так и не дождалась своих чипсов. И мама сказала: «Это

все из-за тебя, если бы не ты, он не пошел бы туда и не напился потом».

Я тогда плохо поняла, что именно случилось. Наверное, папа опять купил в магазине водку, потом встретил кого-нибудь или специально с этой бутылкой отправился к своим друзьям. Я не знаю точно. Но главное, что я уяснила в тот раз: это все из-за меня, это моя вина. Получается, мои слова и просьбы, мои решения очень сильно влияют на всех людей вокруг. Напился папа, плачет и горюет мама, а это все из-за меня. Я что-то разрушила, ведь пока я не попросила папу купить мне чипсы, все было хорошо и мы радостные шли домой. Получается, я влияю вообще на все. Если рядом со мной кому-то плохо, то это из-за меня — это я что-то сделала не так. Одной фразой, сказанной в порыве горьких эмоций, моя мама, сама того не желая, заложила в меня целую программу, которую я потом с большим трудом, уже сама став психологом, пыталась отменить. И я не уверена, удалось ли мне до конца. Я все еще беру на себя слишком много ответственности за чувства, эмоции и мысли других людей. Потому что все плохое случается из-за меня. Конечно же, я не была виновата, мне было пять с половиной, как я вообще могла повлиять на поведение взрослого отца-алкоголика? Как я могла повлиять на маму, которая не справилась со своими эмоциями и захлестнувшим ее отчаянием? Но вину за тот случай я пронесла с собой через годы. Или даже так — «вину». Она была мнимой, но чувствовалась, как подлинная. В этом все дело. Может быть, мама ощущала вину, потому что не могла контролировать ситуацию в семье, не могла меня успокоить, ведь рядом не было человека, который бы ее поддержал. Но каким-то странным образом она переложила часть своей вины на меня, будто хотела разделить ответственность. Этот трюк следовало бы проворачивать с мужем, а не со своей пятилетней дочкой. Мама, наверное, подумала, что это просто слова, я не запомню их, ведь я ребенок, а у детей, как

хорошо известно взрослым, события и картинки в голове сменяются стремительно, что было сегодня, они забудут уже на следующий день, а вчера для них — это то же самое, что «год назад».

Через неделю Дашу привезла мама, я попросила женщину остаться ненадолго после завершения сессии и поговорить. Она словно бы испугалась, растерянно кивнула мне и вышла. В этот раз Даша не была такой общительной, она рисовала разноцветные каракули, мурлыкала себе под нос песенку. Я поинтересовалась, чем она занималась на прошлой неделе, готова ли вернуться в детский сад и какие сны Даша видела в последние дни. «Не помню, не знаю, не помню», — ответила девочка и продолжила чиркать карандашами по белому листу.

Если бы мои родители привели меня к психологу, стала бы я рассказывать ему хоть что-то? Может быть — иногда я становилась разговорчивым ребенком. Но, скорее всего, я вела бы себя примерно так же, как Даша сейчас. Единственное, чем она удостоила меня сегодня, так это признанием — она не будет больше мучить бабочек, им больно, она не хочет больше быть монстром.

Ее мама зашла в кабинет, мы несколько секунд молчали, небольшое замешательство, потом я спросила, замечает ли она какие-то перемены в дочери. «Да, спасибо, все хорошо, вы знаете, я как раз хотела сказать, что мы, наверное, больше не будем ходить к вам». Надо же! Я удивилась. Кажется, только-только мы с Дашей добились хоть небольшого, но прогресса, а мама готова все свернуть, в чем дело? «Ну, мой муж против того, чтобы вы как психолог вмешивались в дела нашей семьи». Меня это признание совершенно озадачило. Я уточнила, о каком вмешательстве идет речь? На самом деле, у меня действительно возникла мысль посоветовать родителям Даши обратиться к семейному психотерапевту. Но я ведь еще не озвучила это предложение — хотела посмотреть, как пойдет наша беседа. «Даша рассказала, что вы в прошлый раз спрашивали ее... ну,

разное о нас, о родственниках, задавали вопросы». Я вздохнула. Даша чуть-чуть перевернула ситуацию. Видимо, она почувствовала, что сделала что-то не так, когда начала говорить мне о своей семье. Но по какой-то причине решила поделиться с родителями, что такой разговор между нами был. Она испугалась, что мама с папой будут сердиться на нее, если узнают, что она сама, по своей воле, что-то «разболтала». Самым очевидным способом было выставить меня, постороннюю тетю, в качестве «виноватой». Дашину логику легко можно понять.

«Нам это не нравится, знаете, такое вмешательство, ну, это наше дело. Даша перестала мучить бабочек, но она, по-моему, более грустная после ваших встреч. Наверное, нам это не подходит», — неуверенно произносила женщина. Я спросила, было ли решение о прекращении встреч только ее решением или надавил муж, который изначально был против? «Знаете, мы сами разберемся, и зачем вы спрашиваете вообще? У нас все хорошо, ничего такого, и...» Она замолчала, задумалась, словно взвешивала, стоит ли ей продолжать. «В нашем браке сразу что-то пошло не так. Я не знаю. И я надеялась, что рождение дочери нам поможет. Ну, говорят же, что дети скрепляют брак. Все так говорили, родственники, подруги. Я люблю Дашу, она... она стала смыслом моей жизни. Но иногда я думаю... наверное, мне было бы проще уйти от мужа, если бы она не родилась. Ну, она вроде как единственное, что нас держит вместе, муж тоже ее любит, ее все любят, только... я не знаю, как и что делать. Но мы больше к вам не будем ходить». Что ж, по-моему, исчерпывающая информация. Женщина поблагодарила меня и вышла, чтобы и дальше продолжать притворяться, что она счастлива и в ее семье все в порядке.

Тем вечером я позвонила своей маме. У них все хорошо, как всегда, а даже если не так, мама никогда мне не расскажет. Попросила передать привет папе. Он звонил мне неделю назад, сказал, что любит меня. Он был очень пьян, и в трезвом состоянии обычно мне таких слов не говорит. Наверное, стесняется.

СЛУХ

Если придвинуться к зеркалу близко-близко, прижаться щекой и взглянуть внутрь глаза, можно увидеть то, что внутри.

Это был секрет Арно, который он не рассказывал никому, даже маме, Нине Анатольевне. Серые линии, похожие на паутину, плелась в его голове. Ему казалось, что там живет паук, и именно этот паук — настоящий Арно, который управляет его человеческой оболочкой. Так он часами сидел в углу танцевального зала, прислонившись к запотевшему зеркалу, ждал, когда паук покажется хоть на секундочку.

В зале играла классическая музыка, последовательность композиций Арно мог напеть или настучать сам, без подсказки. Ученицы давно уже не обращали внимания ни на него, ни на его французское имя.

Ближе к вечеру приходила тощая пианистка, кроме приветствия, кажется, никогда не произносившая ни звука, и принималась играть для старших танцовщиц на фортепиано. Тогда Арно бросал свои попытки дождаться паука и садился на подоконник, прямо за плечом пианистки. Он наблюдал, как ее пальцы танцуют по клавишам, и водил руками по воздуху, повторяя их путь.

Когда никого рядом не было, он потихоньку водил пальцами по прохладным черно-белым пластинкам, представлял, что это точеные временем кости мамонтов. Нажимал, прислушиваясь, пробуя клавиши на слух, примеряя разыгранные в воздухе мелодии, а еще — свои придумки. Это был еще один секрет Арно, о котором никто не знал.

Мать его, будучи в то время в очередной раз беременной, перекивая музыку, ругала учениц. Те недостаточно высоко прыгали, тяжело поднимали ноги и обессиленно швыряли их обратно, то и дело заваливались на бок. Иногда она хлопком останавливала музыку (Арно тогда сильно огорчился, пальцы хотели танцевать дальше), подзывала сына и начинала гнуть его как гуттаперчевого мальчика.

— Смотрите, вот как надо! Вот! Видите, какой прогиб? Ему шесть, и балетом он не занимался. А вам сколько? Вам по пятнадцать лет уже! Взрослые дылды! Когда вы сможете так? Когда я дождусь этого от вас?

Закончив с демонстрацией, она отпускала Арно, и он тихонечко убегал обратно к пианино, спиной ощущая полные ненависти взгляды. Копья и стрелы для вымирающего мамонтенка. Может, однажды он тоже станет пианино?

— У него наследственность, — услышал он как-то, когда от скуки шатался возле раздевалки. — Эта мымра нагуляла его от какого-то французского балеруна.

Арно остановился и заглянул в приоткрытую дверь. Высокая ученица с красным после занятий лицом проходила мимо крючков с одеждой, выискивая свою.

— Да ладно? — спросила одна из девчонок, развязывая ленточки на пуантах.

— Ага. Училась там. Вернулась глубоко беременная и несчастная. Какой там балет уже, только пеленки менять и оставалось.

— Ты-то откуда знаешь?

Та нашла, наконец, свою одежду, стащила ее с крючка и комком кинула на лавку.

— А мы живем недалеко. Да и мать моя в детстве с ней сюда на гимнастику ходила.

— Ого! Анатолевна тут сама училась?

— Сто лет назад. Еще до того, как в училище поступила, — девочка села на лавку, прямо на ворох собственной одежды,

и принялась вытягивать шпильки из тугого пучка. От недовольства она качала ногой и вздыхала. — Бесит, что она карапузом своим хвастается. Было бы чем. Мелкий французишко.

От отца Арно досталась природная гибкость и французское имя, которое, скорее всего, мама придумала сама. Отец представлялся Арно таким, как на маминой брошюре: статным и холодным. Арно удивляло, что все затихали, менялись в лице, прятали глаза, стоило лишь упомянуть отца. Почему-то люди думали, что Арно непременно должен тосковать по нему.

Когда-то давно он видел, как мама плачет над этой брошюрой. Она, похоже, полагала, что Арно этого не запомнит. Но он запомнил. Не столько сами слезы, сколько общее ощущение неприязни к брошюре, холодному выражению лица мужчины и иностранным буквам, испещрявшим листок. Поэтому маленький Арно порой хмурился от названий движений, сплошь французских, и ничего не спрашивал об отце.

Арно подхватили теплые руки и понесли прочь.

— Деда! — воскликнул мальчик, прижавшись к его щетинистой щеке. От деда, Анатолия Геннадьевича, пахло табаком, холодом улицы и одеколоном, он выглядел очень деловым в костюме и галстукe, и это заставляло Арно восхищаться и гордиться им.

— Не слушай девок, они злые. Твоя мама лучшая. А ты талантливый, вот они и завидуют. Понял?

Дедушкин голос звучал по-другому, изнутри, потому что Арно уселся поудобнее и прислонился ухом к его плечу. Он покивал, тогда дедушка улыбнулся (Арно почувствовал это), поцеловал внука в макушку и отпустил.

— Ну, рассказывай, — велел дедушка.

Арно обхватил его большую ладонь обеими руками.

— Что рассказывать?

— Ну, чего нафулюганил?

— Я не фулюганил!

— Как это? Совсем?

— Па! — мама вышла из зала, звонко поцеловала деда в щеку и сказала: — Вел себя хорошо. Только таращился сначала в зеркало, потом на пианино. Кажется, ему скучно.

— Не скучно, мне не скучно, совсем! — Арно тараторил и мотал головой. Боялся, что они вдруг запретят ему сидеть в зале, с мамой.

— Ну что с тобой делать! — смеялся дедушка.

Близился апрель. Скоро в зале станут открывать окна — огромные окна, созданные для великанов, — и тогда ветер, заглядывающий в класс, запахнет талой водой, нагретым асфальтом и густеющей зеленью. Расцветом весны. А еще, и это было даже лучше, началась пора репетиций. Теперь время от времени мамины классы пускали на сцену. Тогда с утра и до позднего вечера Арно мог играть в театральном зале, пока мама ругала то одну группу учениц, то другую, то третью. Порционно.

Театральный зал завораживал красными мягкими сиденьями, растущими из пола под наклоном, будто цветы на пригорке. Длинные, спускающиеся чуть ли не с небес кулисы, как и многое другое в этом здании, были созданы великанами. Деревянная сцена, пахнущая светом и отчего-то жженой резиной, гулко отзывалась, если посильнее топнуть. От этого точеные танцовщицы в пышных пачках периодически приобретали сходство с табуном лошадей, о чем мама не забывала им крикнуть. И главное: закулисье. Сказочное, скрытое в тени королевство. Паучок в его голове дрыгал лапками от волнения, и Арно тихонечко хихикал.

Первым делом, как только их пустили, Арно пробежался вдоль кулис. Белое фортепиано, красивое и даже помпезное, несколько сгорбившихся микрофонных стоек, пыльная стопка матов (на которую с разбега обязательно надо прыгнуть), веница корзинок с пластмассовыми цветами, горы стульев,

похожие на огромные уродливые кактусы и железные конструкции, монстры, неизвестно для чего предназначенные. Чуть подалее стояли декорации: картонные елки, облака, солнце и звезды. За одной из звезд Арно заметил шевеление. Он сел на корточки и тихонько подполз. Из-за картонки показалось худенькое лицо.

— Привет, — поздоровалось лицо. — Я Мила.

Мила выглядела старше Арно года на четыре. Он не ожидал, что она с ним заговорит, поэтому продолжал сидеть и смотреть на старшую во все глаза. Девочка нахмурилась:

— Ты дурачок?

— Я Арно, — смутился он.

Она кивнула и отвернулась, кажется, потеряв к нему всякий интерес.

— Почему ты прячешься? — спросил он, переходя на шепот.

— Жду, когда откроется костюмерная, — прошептала она в ответ.

— Зачем?

Она посмотрела на него с удивлением.

— Зачем? Просто хочу туда!

Арно в костюмерной бывал всего несколько раз, да и то, казалось, в другой жизни. Помнилось смутно. И теперь ему жуть как захотелось тоже там побывать.

— А можно мне с тобой?

Мила придирчиво осмотрела его. Арно весь подобрался, в надежде выглядеть повзрослее. Конечно, это ни капли не помогло. Но Мила кивнула.

— Спрячься, — велела она.

Арно сначала не поверил. Обычно он играл один, и зал исследовал один, и пробирался в закоулки здания тоже один. Другие с ним не возились. А тут вдруг настоящее приключение, да еще и со взрослой! Улыбаясь, он подполз ближе и уместился за соседней звездой.

На сцене третий раз подряд репетировали один и тот же танец, было слышно, что у мамы садится голос. Ноги притаившихся онемели, так что оба улеглись под звездами на живот. Арно подумал, что они похожи на охотников в засаде. Или воинов, осаждающих город. Пока он воображал себя в доспехах, чудо, наконец, свершилось.

Великанья дверь распахнулась, громко зевнув. Туда стали цепочкой заходить танцоры, а через пару секунд, толкаясь, выходили уже снаряженные костюмами. Они громко хохотали, возмущались или, напротив, восхищались. В этой толкучке никто и не заметил, как двое маленьких воинов пробрались внутрь.

Они тихонько забрались на одну из полок, прикрывшись пышными юбками персиковых пачек. Когда стук шагов, приглушенные голоса и жалобы пожилой костюмерши «Колени, мои колени!» стихли, дети выбрались из своего укрытия.

— Смотри! — шепотом прокричала Мила. — Это же волк!

— Он же не настоящий, — ответил Арно, потыкав волка в спину. — Видишь?

— Еще как настоящий! — Мила вздернула носик и сложила руки на груди. — Ты не знал? Сейчас он в спячке, но ночью, когда никто не видит, бродит по костюмерной. И не только волк, другие животные тоже!

— Думаешь? — с сомнением спросил он. Мила фыркнула:

— Знаю! Почему, по-твоему, костюмерную запирают?

— Чтобы костюмы не украли?

— Нет! — Мила топнула ногой. — Это придумки. Дверь закрывают, чтобы звери не убежали. Ты просто маленький, вот тебе и не сказали правду.

Арно кивнул. Ему часто чего-нибудь недоговаривали, потому что он был маленький. А Мила была так уверена в своей правоте, так прямо и честно смотрела, что Арно ничего больше не оставалось, кроме как поверить ей. И он поверил. Присмотрелся и увидел, как от дыхания вздымается под шерстью живот волка,

почувствовал, как, стоит лишь отвернуться, моргают зайцы, а олень тихонько трясет тяжелой ветвистой головой.

Мила влезла во все ботинки, даже самые огромные, какие удалось найти, а Арно перемерил все шляпы, к каждой подбирая новое выражение лица в диапазоне от одухотворенного до самого идиотского, какое только придумал. Они хохотали, позабыв об оцепеневших зверях, кидались кружевными перчатками и цветными париками, дрались на тростях, как на мечях. Они не заметили, как дверь отворилась, не услышали ее зев и обернулись, лишь когда вскрикнула костюмерша.

— Хосподи-боже! Бардак-то какой! Что за оболтусы это сотворили!

Оболтусы прижались друг к другу, спрятавшись от старушки за шкафом с обувью. Послышались еще шаги и, сразу их узнав, Арно поднял голову. Мама. Она прошла мимо длинных рядов с пестрыми костюмами и заглянула за шкаф. Увидев их, замерла на пару мгновений и побледнела. Арно виновато опустил голову.

— Тут ваши подопечные постарались? — спросила костюмерша, подбирая с пола парик.

Мама молчала.

— Мы можем все убрать, — сказал Арно, вылезая из укрытия. Мила яростно закивала, но к костюмерше с повинной не пошла. Хитрая.

— Нет уж, — усмехнулась костюмерша с ног до головы разглядывая Арно. Поздно спохватившись, он стянул с головы казенную шапку. — Хватит с меня помощи. Так что, твой это помощник, дорогуша?

— М-мой, — ответила мама. — Извините, Светлана Григорьевна, если нужно я...

Та махнула рукой. Идите, мол. Ничего.

И они ушли. Стоило только вырваться на свободу — Мила сразу убежала за кулисы, спряталась за спинами танцоров,

за роялем и корзинками, притаилась где-то за звездами. Арно знал. Он тоже хотел убежать и веселиться, но мама, расстроенная, молчаливая и бледная так испугала его, что он просто не мог уйти. Он молча шел за ней. Она дошла до коридора и, придерживая живот, села на скрипучую скамейку, лет тридцать назад покрашенную в розовый. Мама накрыла лицо руками и сидела так, не двигаясь.

Арно почти слышал, как жалобно пищит паучок в его голове, как мечется, задыхается от чувства вины. В глазах набухали слезы.

— Прости, — пискнул Арно. — Мы не хотели. Я не думал, что...

Мама подозвала его жестом, а потом положила руки ему на плечи. Глаза у нее были красные. Затем она притянула его и разрыдалась. Он, испуганный, дрожащий, вдруг почувствовал себя еще меньше и беспомощнее. Мама плакала, и звуки эти, пугающие, болезненные, эхом приумножал пустынный холодный коридор. Казалось, у него сотни мам, и все они громко рыдают из-за него одного.

Арно гладил ее по спине трясущейся рукой, не понимая, что такого ужасного успел сотворить. Если в костюмерную нельзя, если разбрасывать вещи — нельзя, если веселиться с другими — нельзя, то он не будет, никогда больше не будет. Если мама скажет, то он даже за кулисы никогда больше не пойдет. Он думал об этом, или, может, говорил, шептал испуганно, потому что мама, чуть успокоившись, стала ему отвечать.

— Ты не виноват, милый. Ни в чем, совершенно ни в чем не виноват. Ты у меня хороший, лучший, знаешь? — она отстранилась и посмотрела в его испуганные глаза. Он кивнул, мол, знаю, потому что мама часто так говорила и ждала, когда он кивнет. Дождавшись, она вновь обняла его, так крепко, что даже стало больно. — Это я, я виновата. Дура, какая же дура! Не переживай, мой милый. Прости меня, свою дуру-мать. Прости!

— За что? Мама, за что?

Она зарыдала еще сильнее, затряслась и он думал, что она больше не ответит. Но потом она вдруг сказала:

— Я испугалась. На секунду я испугалась. Прости. Ненавижу себя за это.

* * *

Арно так и не понял, чего испугалась мама. Он чувствовал, что случилось что-то важное, что-то по-взрослому сложное, но не понимал что. Мир был большим и таинственным, и чем больше Арно старался его понять, тем сильнее мир сопротивлялся. За одной загадкой крылась другая, отворяя одну великанью дверь, Арно обязательно утыкался носом в следующую. Единственное, что Арно знал наверняка, — дверей бесконечно много, и всех их открыть невозможно. Мама и бабушка тоже были загадками, сложными, непостижимыми. У Арно в голове был лишь маленький паучок, никогда не показывающийся в зеркале, а мама с бабушкой были устроены гораздо, гораздо сложнее. Они могли ходить, куда хотели, умели поумному говорить и бросались взрослыми фразами, которые Арно обязан был понять, но не мог. Потому что он взрослым не был.

Когда репетиция закончилась, танцоры пошли переодеваться, а мама с Арно отправились в танцкласс. Перед тем как идти домой, мама всегда крепко обнимала его и не отпускала несколько минут.

— Мама. Я не такой, как другие?

Она не отпустила его, не взглянула ему в глаза, но Арно почувствовал, что на мгновение мама сжала его сильнее и превратилась в каменное изваяние. Затем она отмерла и погладила его по спине.

— Да. Ты лучше.

— Что это значит?

Мама отстранилась и поцеловала его в лоб.

— Что ты особенный.

Арно балансировал на грани осознанности. Он ничего про себя не понимал, но кое-что понимал про окружающих. Он знал, что отличается от мамы и дедушки, да и от всех других людей тоже. Казалось, неведомая сила ведет их, тянет за собой куда-то, помогает открывать двери. И они быстро отворяют одну за другой, там мироздание нашептывает им новые тайны. И эти тайны меняют людей. Арно же всегда оставался Арно. Он над каждой дверью бился мучительно, без подсказок. И медленно полз там, где другие бежали.

Вечером, когда он бродил по коридору, вдруг услышал, как мама кричит на кого-то в своей каморке. Он подошел поближе, как вдруг дверь распахнулась и оттуда выбежал мужчина, большой, как медведь, с неприязненной гримасой на лице. Неожиданно он подлетел к Арно, схватил его за плечи и стал трясти.

— Ты, — процедил он сквозь зубы. — Все из-за тебя!

— Руки. От него. Убрал. Быстро!

Тот отскочил, как ошпаренный. Мамин голос был тихим, но жестким, как наждачка. Мужик, похоже, обрезался. Он зло, даже как-то обиженно обернулся, а потом понес свою злобу куда-то дальше по коридору. Мама обняла Арно:

— Испугался?

Он отрицательно помотал головой. Она улыбнулась и поцеловала его в макушку:

— Храбрец.

* * *

Ночью, когда все уже спали, Нина мешала ложкой остывающий чай. К уху был прижат телефон, но она молчала. Молчал

и собеседник. Слеза капнула на стол и в тишине этот звук показался громким.

— Па. Он задает вопросы. Еще немного, и придется рассказать ему.

Отец молчал.

— Сегодня он увидел Милу.

— Кого?!

— Ты не ослышался.

Он опять курил, она это слышала. Врач запретил ему, она тоже запретила, но это было бесполезно. На очередное замечание у Нины не было сил.

— Ты боишься? — спросил отец.

— Боюсь. Ужасно боюсь.

— За него? Или его?

Она расплакалась, но отец никак не утешал ее, потому что никогда этого не умел. Он ненавидел чужие слезы, но не отключался, пока она не успокоилась. Лишь шумно курил и молчал.

Нина любила всех своих детей, но даже за того, что вот-вот родится, не переживала так, как за Арно. Талантливый и умный не по годам, искренний ребенок, будущее которого могло бы быть многообещающим. Могло бы, но не будет.

* * *

Арно болтал ногами, сидя на лавочке в окружении родителей, что ждали своих детей после занятий.

— В сентябре уже в школу пойдешь, да, Арно? — спросила полная женщина в широкополой шляпе.

Мальчик удивленно посмотрел на нее и пожал плечами.

— А в какую? — спросила другая. — Моей младшей тоже скоро семь, может, в одной школе будете?

— Не знаю, — снова пожал плечами Арно и обернулся, когда мамина рука легла на плечо.

— Нина Анатольевна, чего это вы тянете? — обратилась к ней женщина в шляпе. — Пора бы и школу мальчонке пододать.

— Мы еще ничего не решили, — улыбнулась она.

— Ой, не затягивайте, — покачала головой женщина. — А то, знаете ли, мест не хватает, устроить в хорошую школу сейчас не так-то просто. Я вот с Дианкой так намучилась два года назад...

— Вы уже рассказывали, — вновь улыбнулась мама, а затем потянула Арно за руку, чтобы увести за собой. Он послушно слез с лавочки.

— Правда? — женщина смутилась, а потом рассмеялась. — Что-то не припомню.

Мама вежливо попрощалась и утянула Арно в танцевальный класс.

* * *

Вечером, когда она долго разбирала со взрослыми девочками какое-то движение, а пианистку отпустили домой пораньше, Арно решил поиграть на лестнице. Он прыгал по ней туда-сюда, съезжал по перилам, пару раз нарвался на ворчливую вахтершу, которая была королевой-властительницей первого этажа. Пробежавшись по темным гулким коридорам с запертыми на ключ дверьми (уже почти все закончили рабочий день и разошлись по домам), Арно увидел полоску света под лестницей. Это была дальняя лестница, не охраняемая вахтершей, поэтому здесь было особенно тихо, темно и загадочно. Сглотнув, Арно спустился ниже, осторожно, по одной ступеньке, чтобы не упасть. Под лестницей виднелась железная дверь, которая раньше никогда не открывалась. Однако сейчас она была приоткрыта, и слабый свет дрожащим пятном разливался по каменному полу.

— Привет!

Раздался звонкий голос. Арно вздрогнул и упал, больно стукнувшись копчиком о ступеньку. Послышался смех.

— Трусишка! Арно трусишка!

Из темноты вышла черная плотная тень. Она потянула дверь на себя, открывая ее шире. В блеклом свете Арно, наконец, узнал тень.

— Мила!

— Собственной персоной! — она крутанулась вокруг оси на одной ноге. — Ну что, глупыш, обделался от страха?

— Нет! — буркнул Арно и поднялся на ноги.

— Ты так смешно грохнулся! — она хохотнула, и голос, хулиганский, мальчишеский, прокатился эхом по этажам. Мила зажала рот рукой, согнулась пополам и постучала ладонью по колену, изображая, что ей очень и очень смешно.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Арно, отряхиваясь.

Она перестала гротескно веселиться и выпрямилась.

— Дитя, я была в логове дракона! Там я выкрала величайшее сокровище!

Мила сделала театральную паузу, подняла кулак над головой Арно, заставив его смотреть наверх. Затем разжала пальцы, и, звякнув, с них свесилась связка ключей.

— Так же нельзя... — проговорил Арно, не пытаясь скрыть восхищения.

Она закатила глаза.

— Господи, тебе шесть или сто шесть? Как можно быть мелким и старым пердуном одновременно?

— Я не мелкий! — возразил Арно. Остальное его почему-то не оскорбляло.

— Да-да. Не мелкий. Очень взрослый. Так что, идешь со мной, взрослый? — она кивнула в сторону подвала. — Или боишься?

Арно насупился, обошел ее и первый сделал шаг вперед. Мила подбадривала его, говорила о них как о величайших первооткрывателях, смеялась и ойкала, когда получалось слишком

громко. У Арно потели ладошки, а паучок в голове бегал, быстро перебирая лапками, и выводил все новые сетчатые узоры. Мама бы этого не одобрила, Арно знал. Это было опасно и безрассудно. Но чертовски интересно.

— Кстати, мелкий, — позвала Мила. — Ты такой балбес. Совсем меня не боишься... А стоило бы.

Арно усмехнулся, и вышло как-то слишком по-детски. Не круто, как у нее.

Внизу вновь были сплошные коридоры, темные и тихие, похожие на те, что наверху. Справа тянулась вереница запертых дверей, на некоторых из которых Мила тестировала ключи, в надежде, что какой-нибудь подойдет. В конце они наткнулись на большую дверь. Мила хлопнула в ладоши, что за ней повторили три другие Милы, скрытые во тьме коридоров. Она показала Арно самый большой ключ из связки.

— Молись, трусишка!

— Я не трусишка, — машинально ответил Арно.

Но Мила сосредоточилась на замке. Они оба, кажется, даже не дышали, когда ключ в засове повернулся и щелкнул.

Мила посмотрела на Арно, и в глазах ее прыгали зловещие искры.

— Прощай, мелкий трусишка! — воскликнула она. А затем схватила Арно за шкирку, распахнула дверь и бросила мальчика во тьму. Он испуганно вскрикнул, упал, затем вскочил и кинулся к двери. Но та захлопнулась перед самым его носом.

Он забарабанил в дверь.

— Пусти! Пусти меня! Мила, Мила! Это не смешно!

Сначала он слышал смех за дверью, а потом все стихло. Он остался один в темноте и тишине. Арно сел на пол, прислонившись к двери спиной, и потер мокрые глаза.

Дотронувшись до пола, он понял, что на руках остается не то пыль, не то песок. Каждый шорох порождал шуршащую волну, границы которой были далеко-далеко. Арно почувал затхлый

запах, а когда глаза немного привыкли к темноте, увидел вокруг контуры больших коробок и мешков. Прислушавшись, Арно уловил далекие, смутно знакомые звуки. Он поднялся и осторожно побрел вглубь помещения, слушая и вспоминая. Похоже, кто-то что-то репетировал наверху.

— Я под сценой, — прошептал Арно, пораженный собственной догадкой. Будь он на этаж выше, сейчас стоял бы там, где Жизель любит делать арабски: в центре. Он поднял голову, закрыл глаза, весь обращаясь в слух. Что-то далекое, полужаночное, изнутри рыхлило почву его сознания, силясь выбраться наружу. Ведомый этим ощущением, он полез за коробки, а потом наткнулся на ящик, прикрытый пыльным женским платком. Приподняв краешек, наугад вытащил что-то из ящика. Это оказался старый волчок, полосатый, пыльный, с кое-где облупившейся краской. Арно никогда таких не видел, но почему-то обрадовался. Он почувствовал, что знает, как его запустить. Вытянул ручку на металлическом стержне, затем нажал несколько раз, чтобы тот подольше крутился, и отпустил.

Вместе с волчком закрутились коробки, стены и все-все. Боль, плотная, бордовая, о которой Арно, кажется, всегда подзревал, разрасталась в груди. Он упал, пытался вдохнуть, но не мог. Казалось, еще немного — и он превратится в пыль, рассеется по полу, и навсегда останется лежать тут, между коробок, рядом с ящиком и волчком.

Руки подхватили Арно и понесли куда-то. Сквозь темную пелену он ощущал, что его бьет крупная дрожь. Он слышал, как мама испуганно зовет его по имени, а бабушка повторяет: «Все хорошо, все хорошо, все хорошо». А потом все исчезло.

* * *

Проснулся Арно в темноте. Он вздрогнул, решив, что все еще находится в подвале, но вскоре перед глазами четко очертился

прямоугольник окна. Похлопав глазами, он узнал место: это была каморка для педагогов, где мама часто читала ему книжки о чудесных приключениях в перерыве между уроками и пила ароматный черный кофе, замешивая его со сгущенкой. Мама тоже была тут: за небольшим квадратным столиком она спала, положив голову на руки. Спрыгнув с кушетки, точь-в-точь больничной, он подошел к ней и положил ладонку на плечо.

— Мам, — прошептал он. — Мама.

Она едва заметно дернулась и медленно подняла на него сонные глаза. Сначала взгляд был пустым и пугающе холодным. Арно почудилось, что мама не узнает его. Но вдруг глаза расширились, лицо потеплело и преобразилось узнаванием.

— Арно! — воскликнула она и обняла его. — О господи, Арно! Ты... Как ты? Как ты себя чувствуешь? Тебе лучше?

— Я... в порядке, — выдавил он, пытаясь как-нибудь ослабить удушающую хватку матери.

— Прости! Сильно, да? — она отстранилась, рассмеялась и смахнула с глаз выступившие слезы. — Просто я так испугалась...

Он протянул руку и погладил ее по голове.

— Все хорошо, мама. Все хорошо.

Она прижала его к себе, и он отметил, что она сильно похудела. Живот исчез.

* * *

На занятиях мама была доброй. Не так часто ругалась, как обычно, шутила и даже решила ставить веселый номер с юмористической сценкой. В группах появились новые дети, лица которых Арно были незнакомы. Они тоже его еще не знали, поэтому то и дело косились на него во время занятий, а то и вовсе подходили, пытаясь понять, что он высматривает в зеркале. Мама никогда не запрещала ему общаться с другими

детьми, но отчего-то он ощущал, как она напрягается каждый раз, когда они с ним общаются. Дети это тоже чувствовали, поэтому вскоре отходили и редко кто подходил снова. Зато мама была спокойна.

Репетировать на сцену отчего-то больше не ходили, и это расстраивало Арно. Но дедушка теперь приходил чаще, учил играть в шашки и водил в кино на первый этаж. Для кино на сцену опускался огромный экран. Если сидеть в первом ряду, то нужно сильно запрокинуть голову, чтобы весь его объять взглядом. Сначала Арно не очень нравилось в кино: было настолько громко, что хотелось убежать и спрятаться. Он хватал дедушку за рукав, и тогда тот прижимал большие теплые ладони к ушам Арно. И звуки его больше не пугали. Так они посмотрели все фильмы, какие шли в прокате, а некоторые даже по несколько раз. Иногда, правда, часть фильма он совсем не помнил, и тогда дедушка, путаясь в именах и чертыхаясь, принимался ему все пересказывать.

Как-то после фильма Арно вернулся в класс, но там уже было темно и пусто. Он тихонечко прошел вдоль сцены и заметил, что пианино открыто. Он быстро осмотрелся, несколько раз позвал маму, но было тихо, и тишина никак не отвечала ему. Тогда он прокрался к пианино, осторожно пробежался пальцами по клавишам — не пробовал уже давно, но отчего-то руки помнили. Он заиграл по памяти первую композицию для класса старших у станка, которую всегда пианистка играла в самом начале. Клавиши охотно поддавались, пальцы плясали как надо, даря Арно чувство эйфории. Он улыбнулся, ускорил темп, перепрыгнул вторую композицию, она была слишком монотонной, сыграл кусочек из третьей, а потом момент из конца, из мелодии жесткой и грозной, когда ученицы должны кидать батманы, когда они с красными лицами корчат страдальческие мины. Вдруг — Арно увидел мельком — лапа просунулась откуда-то из темноты и бам! Треснула по басовым клавишам.

Арно вздрогнул, пианино некрасиво крякнуло. Тишина. В воздухе застыл этот последний, жалобный звук.

Хохот.

— Арно, сколько лет, сколько зим!

Из-под пианино выплыла фигура. Лапа протопала по всем клавишам, кляцнув когтями по рукам Арно. Фигура обошла его, пробрела к стене и хлопнула по выключателю. Лампы где-то на недосыгаемой высоте зажужжали, замигали и включились.

— Та-дам! — хохотнула Мила. — Не ожидал, что это я? Опять в штаны наложил?

Он сглотнул и только теперь понял, что все это время не дышал.

— Ожидал, — ответил. И честно добавил: — Но все равно испугался.

Она победно улыбнулась и закивала.

— Ну, один-один. Ты меня в прошлый раз тоже напугал, знаешь ли.

— Я?

— Ага, ты. Дверь захлопнулась и не открывалась! Я хотела только пошутить, а ключ застрял, и ты завыл так страшно! Думала, кони двину.

Арно поразился. Но то, что Мила тоже испугалась тогда, его обрадовало.

— Эй, чего улыбаешься? — она сощурилась. — Гордишься собой, да?

Он захихикал. Мила покачала головой, а затем подошла к пианино и подняла верхнюю крышку, под которой были спрятаны пианиновы внутренности.

— Слышала, ты тут нехило так играешь! — она бренькнула по струнам внутри пианино. Звук был специфический, даже какой-то потусторонний. Затем опустила руку глубже и стала тыкать на что-то. Клавиши заплясали сами собой. — Крутяк, да?

Арно кивнул. Наигравшись, Мила убрала руку и закрыла крышку.

— Малой, сбацай еще чего!

— Я не малой!

— Да-да. Не малой и не трусишка. Просто коротышка и боишься всего на свете.

Она снова захохотала.

— Ну, сыграй.

Арно повел плечами, как это делала тощая пианистка, когда ее просили сыграть. Затем с важным видом поставил пальцы на клавиши и снова заиграл. Сначала, первую. Мила прохаживалась мимо, туда-сюда, глупо потряхивая головой. Иногда она вставляла странные комментарии, вроде «Умора», «Ну пацан дает» и «Кайф ваще». Арно не понимал, в какой момент жизни она успела опрокинуть на себя целую миску этих присказок. Раньше он такого от нее не слышал. Его внимание, потихоньку, все забрала музыка. Он комбинировал фрагменты по-своему, добавлял то, чего там не было, менял так, как будет красивее. Он уже не слышал, что говорит Мила, не помнил, где находится. Он был паучком, что парил в музыкальной ряби, рисуя паутинку узор за узором, слой за слоем. Круг увеличивался, расширялся, затем менял наклон. Он так увлекся, что даже не заметил, когда сбежала Мила. И очнулся, лишь когда мама привалилась бедром к пианино.

— Мама! — он смотрел на нее испуганно, стыд жег уши. У нее были грустные, усталые глаза.

— Прости, я не хотел! Я... Я больше не буду!

Она подошла ближе, погладила его рукой по голове, поцеловала в макушку.

— Все хорошо, — улыбнулась она. — Я не говорила, что тебе нельзя играть.

Она подняла его, усадила себе на колени.

— Сыграешь еще?

* * *

С этих пор всегда, когда тощая пианистка не могла прийти, Арно заменял ее. Сначала он слегка менял мелодию, чтобы было красивее, но это сбивало учениц, поэтому мама попросила играть по-обычному. Теперь люди обращали на Арно больше внимания, и ему это не нравилось. Но мама, вопреки ожиданиям, краснела и гордо улыбалась, когда мамыши учениц принимались расхваливать его.

Как-то вечером Арно бегал по коридору, скользя по полу, как по льду. В один момент ему показалось, что он вот-вот упадет, как вдруг холодная рука подхватила его и потащила куда-то.

— Мила? — поразился он на бегу.

— Приветули, малой! Чо как?

— Куда ты меня тащишь?

— На свободу! — хохотнула она, перемахивая через несколько ступенек. Арно за ней совсем не поспевал и почти падал, но старался как мог. Тут она распахнула дверь и вытолкала его в снег.

— Свобода! — она вздохнула полной грудью и раскинула руки. — Круто?

— Холодно, — Арно поежился. В следующее мгновение за шиворот прилетел снежок. Мила снова засмеялась, а затем вновь схватила его за руку и, не давая опомниться, потащила за собой.

— Куда? — выкрикнул Арно.

— Мы уходим.

— Но куда?

— Да куда угодно, ясно? Не дрейфь, прорвемся.

Арно вдруг стало нечем дышать, в глазах жглось и мутнело. Мама там, в здании, а Мила тащит его куда-то в холодную белобрысую зиму, злую и пугающую.

— Не хочу! Пусти!

Бежать. Надо было бежать обратно. Скорее, скорее. В Дом культуры, в тепло, к уютному эху лестниц, великаньим окнам, книжному запаху второго этажа. К маме.

Туда, туда, туда.

Он вырывался, но Мила продолжала тащить его вперед. Свет потускнел, улица стала раскачиваться, загудела. Арно упал. Мила притормозила и наклонилась к нему, стала бить по щекам и что-то говорить, но Арно ни слова не понимал. Вдруг откуда-то возник мужчина-медведь с красным лицом, и Арно вспомнил, как однажды тот тряс его за плечи. Он подумал, что и теперь медведь нападет на него, но тот лишь поднял Арно на ноги, отряхнул, помахал перчаткой перед лицом. А затем взял Милу за руку и куда-то повел. Они удалялись, Арно видел, как мужчина ругает ее за что-то, а она огрызается и даже показывает язык. Бесстрашная. А ведь раньше Арно думал, что она призрак или демон. Он зажмурился.

* * *

Когда открыл глаза, уже был день. Он оказался в зале, а за окном стояла такая вьюга, что великаньи окна дребезжали. Это немножко пугало, но в то же время восхищало Арно. Такая сила была похожа на настоящее колдовство. В зале все равно было довольно тепло, особенно если облокотиться о батарею. Так он и сидел, когда мама, еще перед уроками, подошла к окну.

— Эх, снег-снежок, белая метелица, — пропела она и улыбнулась Арно.

— Замело так замело, — раздался голос позади. Они обернулись. В зал, шумно шаркая бахилами, зашла грузная дама в шляпе. Арно сразу узнал в ней маму одной из учениц.

— Нина Анатольевна, здравствуйте!

— Здравствуйтесь, — мама быстро приклеила к лицу вежливую, но неестественную улыбку.

— Я к вам насчет Арно, — сказала женщина, тяжело дыша.

Улыбка сползла с маминого лица. Руки на мгновение сжались в кулаки, но затем расслабились. Арно это заметил, а женщина нет. Она продолжила:

— Моя подруга пианистка, я ей про него рассказывала. Не хотите его в музыкалку отдать? Мальчик-то способный не по годам! В общем, я рассказала, она на него посмотреть хочет. Вот, возьмите визитку и...

За дверью послышалась возня, а потом она отворилась и в зал как-то разом засыпалось полтора десятка причесанных глазастиков с ковриками в руках. Арно подумалось, что он, должно быть, тоже выгладит, как эти глазастики. Но почему-то совсем не ощущает себя таким же.

Увидев детей, мама вздохнула с облегчением, приняла визитку и сказала:

— Спасибо, спасибо. Мы... Подумаем. Сейчас урок, так что...

— А школу-то уже выбрали? А то ведь Арно уже шесть. Да, еще полгода, но лучше пораньше... Мы когда Дианку пристраивали...

Женщина пятилась к двери и услужливо улыбалась. Мама, на лице которой пятнами проступало раздражение, наступала на нее.

— Да, об этом тоже подумаем. Спасибо, спасибо. До свидания.

Она захлопнула дверь почти перед самым носом женщины и еще несколько секунд держалась за ручку, будто та могла внезапно ворваться снова.

Арно только понял, что женщина в шляпе маму раздражает, но совершенно не понял почему. Это была непостижимая часть взрослого мира, куда Арно ходу нет.

* * *

В перерыве между занятиями они сидели в маминой каморке. Мама шумно отхлебывала кофе и читала вслух «Гуттаперчевого

мальчика». Арно часто называли так, поэтому он чувствовал в герою родственную душу. И потому же не любил слушать про него. Судьба у того была так себе.

— Мам, я пойду учиться играть на пианино?

Она медленно опустила книгу на колени, затем так же медленно сделала глоток кофе. Он ждал.

— Ты уже умеешь играть.

— Но тетя в шляпе сказала...

— Она ошиблась.

Мама не повышала голоса. Напротив, голос даже стал тише. Но у Арно мурашки зашевелились, растерянно забегали по загривку. Обычно после этого он замолкал и ничего не спрашивал. Он знал, как никто, что мама ненавидит вопросы. Особенно те, что касались его. Но сейчас почему-то отступить не хотелось. Хотелось понять хоть что-нибудь. Открыть хоть одну новую дверь, даже если за ней что-то ужасное. Даже если там пустота и еще одна дверь. Паучок замер в его голове, ожидая.

— А почему я не хожу в школу?

Мама шумно втянула воздух ноздрями.

— Тебе еще рано.

— Но говорили, что в этом году...

— Ошиблись.

— Ты и в том году так говорила.

— Потому что тебе было рано в школу.

Он вскочил с кушетки и гневно воскликнул:

— А когда будет пора? В следующем году? Через два? Когда?

Мама молчала. Он все ждал, когда она что-то ответит, но этого не происходило. Тогда он сел рядом.

— Я не помню, когда наступила зима. Был апрель, а потом... И вообще, все почему-то стало странным. И так быстро меняется. Я не понимаю.

— Ничего, так бывает, — сказала мама якобы беспечно, но ее голос дрогнул. — Я тоже многое забываю, а твой дедушка...

— Где твой живот? — спросил он.

Она застыла на полуслове, книга упала с колен. Прижав дрожащую руку к плоскому животу, она сказала:

— Вот...

Уже чувствовала, что не сработает. Не то, все не то. И она ведь готовилась к тому, что рано или поздно он будет спрашивать. Но все равно оказалась не готова.

— Мама, где мой братик? Я не помню, как он родился...

Она всем говорила, что ему шесть. И, кажется, сама поверила в это. И вот сейчас он, маленький, тощий, совсем птенец, сидел перед ней и смотрел взрослыми глазами. Он все понимал. Как давно он все понимал? Или, может, понимал всегда?

— В апреле. Он родился в апреле.

Арно нахмурился, задумался.

— Мама, но ты же говорила, что летом...

— А получилось в апреле.

Она пожалала плечами, вроде как беспечно, засуетилась, собираясь на следующее занятие. И чувствовала на себе его недоверчивый взгляд, какой всегда боялась увидеть.

* * *

Когда-то, еще в детстве, цыганка нагадала Нине, что у нее будет четверо детей. И что двое из них окажутся в опасности в один и тот же день. И что одного из них она в итоге похоронит.

Нина никогда не верила в предсказания, считая все это чушью. А потом в ее жизни появился Арно. Тогда вспомнились слова цыганки. И почему-то ей казалось, что Арно непременно окажется тем ребенком из пророчества. Восьмого апреля, когда тельце Арно било судорогой, Нина страшно испугалась. «Вот он, тот самый роковой момент», — подумала она. Кричала его имя, звала и звала, но он был недосягаем. А потом боль пронзила тело, ее куда-то потащили, повезли. Врачи толпились

вокруг, что-то кололи, что-то говорили. Боль встряхивала снова и снова, и ей казалось, что липкое кипящее болото затягивает в себя, чтобы ее сожрать, перемолоть, перемешать миксером в единую массу. И вдруг ясная, четкая мысль проступила сквозь тьму. «Может, это вовсе не Арно должен умереть?» Эта мысль была ужасной, кощунственной и непростительной. Но Нина не понимала, что примеряет гроб на другое тельце. Она только почувствовала, что есть еще надежда, что, может, она еще увидит Арно, обнимет его, теплого, живого. И вздохнула с облегчением.

Новорожденный остался в больнице, когда Нину выписали. Врачи боролись за его жизнь, и никто не понимал, почему мать упирается и никак не хочет дать ему имя. Теперь Нина осознала, что в момент страданий чуть не отреклась от него. И все же она старалась не прирастать к малышу душой, интуитивно, неосознанно. Она боялась, что он вот-вот уйдет.

Но ребенок креп день ото дня, а Арно — напротив. Муж, Павел, наблюдал за ее душевными терзаниями и презрительно морщился. Он увидел, нащупал ту эмоцию, едва мелькнувшую, до конца непонятную ей самой. Для него все было просто: она жертвовала его сыном ради своего. И этого он не мог ей простить.

— Надеюсь, ты никогда не забудешь, как предала его, — сказал он однажды Нине. И тут был прав. Она действительно всю жизнь будет помнить, что Лева, так отец назвал его сам, выкарабкался без ее помощи. Тогда, когда он боролся за свою жизнь, она молилась богам, в которых не верила, ради другого ребенка. Того, кто был обречен.

* * *

Вечером пришел дедушка. Он поднял Арно на руки, покачал немного и отпустил. Табаком от него пахло сильнее обычного.

— Чего нафулюганил? — привычно спросил он.

— Не фулюганил!

— Да? А зачем маму расстроил?

Арно молчал. Он молчал не так, как молчат маленькие дети. Это было другое, осознанное молчание. Тяжелое. Анатолий Геннадьевич сразу понял, о чем ему говорила дочь. Арно уже стал достаточно взрослым, и он чувствовал, что все вокруг него не так.

— Я не хотел ее расстраивать, деда. Но...

— Но?

— Но... что со мной не так?

Дедушка сел на лавочку и погладил Арно по голове.

— Все так, все так! Просто ты особенный.

— Не хочу. Деда, я не хочу быть особенным. Я хочу быть таким же, как все!

Взгляд, упрямый, жесткий, наполненный невыплаканными слезами, хлестнул старика по лицу. Воздух резко закончился. Весь. Будто выкачали его из всего здания разом. Анатолий Геннадьевич был грозным начальником на заводе, находил управу на каждого, мог приструнить любого хама, но тут... Он вдруг растерялся. Руки дрогнули, и мальчик точно это почувствовал. Точно понял. Понял, что ни мать, ни дед не были такими всемогущими, какими хотели казаться. Они не могли спасти его, хотя и хотели. Анатолий Геннадьевич видел, что это понимание причиняет боль, но ничего не мог поделать.

Он хотел было отшутиться — мол, все обычные люди хотят быть особенными. Мол, Арно повезло. Но это было бы просто подло. Он не имел права поступать так, ведь Арно все уже понимал. Лицо Анатолия Геннадьевича, обычно дружелюбное и веселое, разом помрачнело.

— Ты не можешь быть таким, как все, Арно. И никогда не будешь.

— Но почему?

— Потому что ты другой. И это никак не изменить.

Подбородок ребенка затрясся, крупные соленые слезы покатились из глаз. Он зло потерся лицом о сгиб локтя, до красноты елозя жесткой тканью свитера по мягкой коже.

— Йо, малец, ревешь опять?

Рядом на лавку плюхнулась Мила.

— Не реву, — машинально ответил Арно.

— Деда Толя, ты че мелкого обижаешь?

— Я не мелкий.

— Мила, иди-ка с мамой посиди, — вздохнул Анатолий Геннадьевич, и потер переносицу. Отчасти он, вопреки словам, был рад ее появлению: концентрация напряжения снизилась.

— Не-а, — Мила сползла по лавке ниже и вытянула ноги, почти достающие до противоположной стены. — Она там вся на иголках, смотреть тошно. Лучше посмотрю, как мелкий ревет.

Она расхохоталась. Старик испытал порыв треснуть ее, как следует, но удержался. Вдох, выдох. В голове проскочила мысль: «Внуки тебе не по зубам».

— С мамой? — Арно нахмурился. Точнее так выглядело его личико, когда он силился что-то понять. Дед подивился: и как только из всего сказанного умудрился выцепить самое важное?

— Ага, — кивнула Мила. — Твоя мама — моя мама. Я сеструха твоя, ты рад?

Арно удивленно вскинул на нее глаза.

— Мила! — прикрикнул дедушка. И по его реакции Арно понял: она не врет.

— Ну что «Мила», вы надоели! Посмотри, он в порядке! Ни припадков, ничего. Сколько можно тянуть kota за яй...

— Мила!

— Хвост! Я хотела сказать, хвост! Деда, деда, опусти руку!

Анатолий Геннадьевич замахнулся для подзатыльника, но не ударил. Только припугнул.

— Так у меня есть старшая сестра? — поразился Арно, не обращающий внимания на перепалку.

— Эм, поправочка. Младшая. Я твоя младшая сестра.

Анатолий Геннадьевич встал.

— Ты! — он указал на Милу пальцем, и его рука затряслась. Мила взвизгнула, затем вскочила и побежала прочь, хохоча. — Эта мерзавка совсем от рук отбилась, — бубнил дедушка себе под нос. И остановился, споткнувшись взглядом о серые внимательные глаза.

— Младшая?

Это был удар под дых.

* * *

Нина пряталась в коморке. Там она то ходила туда-сюда, то садилась, то вскакивала, будто коснувшись оголенного провода. Пропустила даже, когда Мила, уронив под стол журнал посещения и разбив статуэтку, убежала куда-то.

Отец убедил Нину, что поговорит с внуком сам. Что все расскажет мягко, осторожно. Что все у них после будет по-прежнему. Но она чувствовала, будто предает Арно. Все шло совсем не так, как должно.

Неправильно. Все было как-то неправильно.

Хохоча, Мила вбежала в коморку и хлопнула дверью. Она ойкнула, неожиданно встретившись с мрачной тяжелой тишиной, в которой тонула ее мать. Неуютно пожившись, Мила вздохнула.

— Я там ляпнула кое-что. Ну, знаешь, ускорила деда слегонца. А то он птица гордая, без пинка не...

Нина выбежала, не дослушав. Терпеть больше не было сил. Она должна быть там. Она должна сказать сама.

Слухи появились раньше, чем сам Арно. Как черви, они предпочитали чистому грязное, и копошились там с упоением.

— Ну какая же глупость, — думалось ей поначалу.

Но слова людей, сказанные за спиной, или прямо рядом с ней, тихо, но так, чтобы она точно услышала, заставили ее стыдиться. Сама не понимая почему, она вжимала голову в плечи, и ее, как ледяной водой, снова и снова окатывало жгучим, колючим стыдом.

Увидев Арно, она не сомневалась: все это правда, до единственного слова. Молвленная злыми устами, повернутая грязной стороной, но правда. Мальчик был ее сыном, отец его жил во Франции, а звали ребенка Арно. Но это была не единственная истина. Была и другая, о которой никто, кроме нее и ее близких не помнил.

То, как она повредила спину, и то, что поездка во Францию сорвалась. Две операции и полутораговое восстановление. В балет она не вернулась, а потом повстречала своего будущего мужа, Павла. Свадьба, рождение сына Виктора, потом дочери Милы. Теперь она родила третьего, Леву, и ни один из ее детей не являлся французом ни на йоту, не звался Арно и не питал любви к пианино.

Арно всегда было шесть. Он обитал в Доме культуры и близ него, но увести его домой не получалось. Они пытались, вместе с ее отцом. Тот в ребенке души не чаял, всегда приходил повидаться с ним и совершенно не боялся. Он, конечно, любил и баловал всех своих внуков, но Арно любил особенно, даже обожал. Ребенок врос в него душой, пророс там и пустил корни, и выкорчевать его уже было невозможно.

Тогда, в день, когда Нина впервые увидела Арно в зале, мальчик подбежал и обнял ее. Она сразу же позвонила отцу. Анатолий Геннадьевич сорвался с работы и уже через двадцать минут вбежал в танцевальный класс. Она сидела заплаканная,

а на руках ее ютился курносый мальчик, светленький, кудрявый и так похожий на мать, как ни один из ее детей. Дедушка тоже сразу узнал и полюбил его.

Через год Арно не вырос, так и оставшись шестилетним. Что ее совсем не удивляло: это было органично и правильно для Арно. Не изменился он ни через два, ни через три года. Арно всегда было шесть и ни днем больше. Однако разум его все равно вырос. Он быстро схватывал, понимал всегда больше, чем им бы с Анатолием Геннадьевичем хотелось, и с годами все отчетливее ощущал, что не похож на других.

Нина с отцом, переполненные тревогой, ждали, что однажды Арно начнет задавать вопросы. И этот день пришел.

Она села перед Арно на лавочку, обняла его, заплаканного, ясноглазого, такого маленького и такого взрослого. Стала таторить, путаясь в словах, перебивая сама себя. Он притих в ее руках, не двигался, может, не дышал даже. Не мешал ей, слушал, впитывал. Она договорила и почувствовала, что ее сильно знобит, так сильно, что зубы застучали. Арно отстранился.

— Но я ведь помню свое детство. До зала, раньше. Помню дом, помню папино фото на той бумажке...

Нина взяла его за руки и села на корточки. Мягко улыбаясь, она стерла слезы с его покрасневшего лица. Дура. И как только могла позволить кому-то другому говорить с ним?

— Мы тоже помним, милый. Я помню, дедушка помнит. Все это было, правда, было. Так же, как и не было.

— Не понимаю, — он помотал головой.

— Не нужно понимать, — она погладила его по маленьким плечикам. — Просто прими это. Как то, что небо не падает на нас. Или то, что воздух прозрачный.

Она тепло смотрела на него и вспоминала момент, за который уже просила прощения и за который будет просить еще. Тогда, в костюмерной, увидев Арно и Милу рядом, она сразу

все поняла. Давно, когда сама Нина была маленькой и занималась в Доме культуры гимнастикой, она повстречала мальчика. Он выглядел совсем иначе, но у него был тот же взгляд. То, как этот мальчик когда-то смотрел на нее, и то, как Арно смотрел на Милу... Он выбрал ее. Да, Нине могло показаться, она могла напридумывать лишнего. Именно поэтому она никогда не делалась этими соображениями ни с кем, даже с отцом. Но в тот миг она осознала, что потом, через много лет, Мила повторит ее судьбу. Ее сына будут звать иначе, он будет по-другому выглядеть. Но ему всегда будет шесть, и у него будет тот же пронзительный взгляд. Это будет совсем другой мальчик. Но все же это будет Арно.

Догадавшись, она на мгновение ужаснулась. Ее дочь, не кто-то, а именно ее родная дочь была обречена пройти через это. А говорят, что молния не бьет в одно место дважды.

* * *

Арно ослабевал. Она видела это. И понимала, что эта реальность, которую он увидел, губит его. Нина с самого начала подозревала, что так будет. Но вовсе не была рада убедиться в своей правоте.

Он приходил все реже, пропускал дни, потом недели, порой даже месяцы. Знание правды не принесло ему счастья. Он острее ощущал свою обособленность, понимал бессмысленность своей рутинной жизни, наполненной маленькими детскими радостями, замкнутыми в пространстве Дома культуры. В его достижениях, в его таланте не было смысла. Мила, единственный его друг, быстро выросла, а он так и оставался шестилетним. Ему не хотелось просыпаться, и потому показывался он все реже.

Однажды он тихонечко появился в углу зала, никто из танцоров этого даже не заметил. Мама мягко кивнула ему из центра

класса. Она хотела подбежать, расцеловать его, расплакаться, но терпела. Боялась напугать. И его, и учениц.

Арно, как обычно, скорее по привычке, чем из интереса, принялся вглядываться в глубину своего глаза. И вдруг, на секунду, ему почудилось, что там показался паучок на длинных ножках. Он посмотрел через глаз на Арно, на его отражение, вздрогнул и сорвался с паутины вниз.

Арно ушел.

Нина сначала не верила. Надеялась, что он еще вернется, хотя и почувствовала, что его просто нет.

Потом проплакала все глаза. Снова и снова шастала в танцевальный зал, по делу и без. Тщетно. Он умер.

Чтобы попрощаться, она взяла парочку его книжек, несколько мелких игрушек, самодельную открытку. И прикопала их в пустующем зале под сценой, где его покой не будет нарушен.

Когда искала подходящее место, обнаружила еще какие-то припрятанные в ящике детские вещи. Раскраски, карандаши, несколько тетрадок, игрушечный пес с явно изжеванным носом. И старый-старый облезлый волчок. А еще карандашный набросок. Мальчик на нем, ей казалось, походил на того, кого она однажды повстречала в детстве.

* * *

Цыганка оказалась права. Лева рос здоровым, добрым и смешливым. К Нине был привязан как верный пес, ходил хвостиком, никогда ее не боялся и улыбался, даже когда она пыталась его ругать. Поэтому сердиться на него не получалось, что бы тот ни творил (а бедокурил он постоянно). Нина всегда чувствовала перед ним вину.

Виктор, старший сын, был молчаливым и таким медлительным, что Нине все время хотелось его подгонять, но она себя сдерживала: если вторгнуться в размеренный ход его жизни,

он станет делать все еще медленнее, а то и вовсе бросит. Дома он всегда запирался в комнате, поэтому порой она не видела его днями. Поступив в университет, Витя съехал, и увидеться с ним стало еще сложнее.

У дочери не началась менструация в положенный срок. И позже. И сильно позже. Мила выросла бойкой, умной, яркой. Выигрывала олимпиады в школе и конкурсы чтецов, а затем занялась вокалом и стала побеждать еще и в музыкальных конкурсах. Она могла все. Вот только детей иметь не могла. Но, казалось, вовсе по этому поводу не переживала. Характер у нее был сильный. Или матери так хотелось думать.

А потом Нина заболела. Лежала целыми днями без сил, ждала чего-то, сама толком не знала, чего. Как вдруг появился слух, что дочь ее беременна. Подивилась, позвонила дочери.

— Мил, ты что, беременна?

Тридцатидвухлетняя Мила на том конце провода поперхнулась.

— Я? Да! То есть, нет. То есть... Что?

Нина, до того лежавшая оwoщем, села. Вот оно. Вот. Тогда, двадцать с лишним лет назад, она ужаснулась, когда жребий пал на Милу. Но теперь... Теперь ей показалось, что она сама была лишь незначительным звеном в этой цепи. Тогда, давным-давно, сначала возникли слухи. А лишь потом она встретилась с Арно. Ей даже чудилось, что, может, он и родился из самих слухов? Из слов людей, которые верили в то, что говорили. Из магии танцевального зала. Из баек старого Дома культуры.

Она посчитала, поприкидывала и так, и эдак. Нет, никак она шесть лет не протянет. А так хотелось хоть еще раз, хоть издалека, хоть на секунду увидеть его.

Да, Нина покидала поезд на этой остановке, но тот двигался вперед. И шел по кругу. Теперь все, словно время повернулось вспять, повторится вновь. Такова судьба. И слух уже пошел.

ЦВЕТ ФУКСИИ

Сначала может показаться, что это история о гибели длинного французского платья цвета фуксии, но на самом деле это история о любви, и все совпадения в ней не случайны.

Платье родилось лет за 30 до меня, возможно, во времена Великой французской сексуальной революции, как оплот настоящего сопротивления переменам. У него получилась слишком узкая юбка, исключительно гладкая ткань, атлас, который раскроили в неизвестном мне квартале в Париже. Ни один из кварталов в Париже я не знаю, я там никогда не была. В отличие от Крымска, где умер мой дядя, которого я видела пару раз. Но я помню его гладкое лицо в розах, в таком же атласе, как у платья. Только цвет другой — траурный, розовый. Платью повезло чуть меньше, чем моему дяде. У него была преданная жена, у которой от последнего любовного горя отнялась рука. Мое же платье погибло в одиночестве.

Когда я родилась, платье было примерно 30 лет, точно как мне сейчас. Но в отличие от меня, у платья уже тогда была богатая история. Я купила его на гараж-сейл, швы платья были не идеальны, не прооверлочены, но ведь это изнанка, кому она интересна. Думала я.

Когда мама впервые увидела мое платье, она сказала, что такая фуксия точно создана для фестивалей. Я посмеялась, потому что уже два года училась во ВГИКе и думала, что много знаю о кино. Фестивали я не любила, я на них спала от скуки. Платья я туда точно не надевала. Но моя мама немного ведьма, наверное. Она видит самую суть, очень точно. Мне

было двадцать лет, и вес мой был в два раза больше. Уже тогда мама видела, что я худею изо дня в день. Но она не боялась вслух. Спасибо ей за это, как и за платье. Оно было куплено на ее деньги.

Платье было куплено не для фестивалей. Я в нем позировала для студента-кинооператора из Эстонии. Я дрожала в платье, пока высокий студент долго выставлял художественный свет в учебном павильоне ВГИКа, чтобы снять пару черно-белых портретов на пленку для предмета «фотокомпозиция». Он подносил экспонометр к моему белому лицу, чтобы узнать точное количество света. Студент поправлял мне платье на спине, был очень увлеченным, но не мной, а своей камерой. В общем, он делал все, чтобы я влюбилась. Иногда он матерился по-эстонски, говорил, что не любит Россию. Но я любила его, и Россию ему прощала. Прости меня тоже, Россия.

В благодарность за свое чувство я кормила его омлетом, полагая, что это тот самый путь. Через мышечный орган желудка.

Омлет был съеден, черно-белые портреты, где я снята сверху, а юбка узкая, как бутон, лицо грустное — черно-белые портреты готовы, вставлены в паспарту и рамки, развешены по стенам.

Студент показал фотографии преподавателю по фотокомпозиции и получил «четыре». Вероятно, композиция была не очень, тень была не под тем крылом носа, глаз без блика. Но я винила свое грустное лицо без огонька, белое, в окружении черных фонов студии. То, что платье было цвета фуксии, так и осталось тайной черно-белых стандартов.

После того как портреты были готовы, я уже мысленно переехала в Эстонию. Переезда не случилось. А случилось вот что. Я решила с эстонцем переспать, но стала жертвой его темперамента и своего воображения, но больше все же его ранней псевдоимпотенции.

Хорошо, что я отделалась только размазанной тушью вокруг глаз. Она была как разбавленная акварель, как будто ее долго и упорно терли после высыхания. Но никто ее не тер, ни упорно, ни долго. Сама размазалась, растеклась. Гораздо позже эстонец уехал в Америку, и я долго видела его фотку верхом на камере, на рекламе киношколы в «Инстаграме».

Растеклась и я. Омлеты я есть больше не могла, если откушу, то кусочек.

Желудок стал маленьким и раскаленным.

Тогда мы сблизились с однокурсницей. Она водила меня в кофейню «Кофе Бинс» возле ВГИКа. За компанию с однокурсницей я пила сладкий кофе с молоком и съедала орех, которым она меня угощала. Есть мне по-прежнему не хотелось, но с ней было так спокойно, что орех не вставал поперек горла, но заполнял собой весь желудок. У однокурсницы в это время тяжело болел отец, а потом умер. Именно тогда я поняла, что твой желудок размером ровно под один орех — не пуп земли. И даже не его соль.

Весной к платью цвета фуксии у меня появилась голубая просторная рубашка в синих цветах, сама я коротко подстриглась. Кто-то даже сказал мне, что я похожа на парижанку. Другие говорили, что я похожа на мальчика-подростка. К маю эстонец тихонько забылся.

Прошло еще года два, и я наконец поехала на настоящий фестиваль. Платье цвета фуксии я туда не взяла. Мы с моим нежным другом-однокурсником сфотографировались в аэропорту, а потом улетели в Берлин. Он перевел цветную фотку в ч/б, тогда так было модно.

Когда наш самолет, как пчела, медлил над Берлином, я еще не знала, что на фестивале я буду большую часть времени так же спать, как дома, в Москве, в нашем студенческом актовом зале. Что у меня будут дела поважнее, чем смотреть скучные европейские фильмы.

В Берлине был легкий снег, все ходили с пивом и ездили на легких велосипедах. Мы тоже пили пиво в баре и ели утку — с моим другом и парнем, у которого мы остановились на день. Мне надо было ехать в хостел в район Александр-Платц, советской мозаикой он напоминал подмосковный Королев, грустное зрелище. Жить там я не хотела.

Но я влюбилась в нашего знакомого, осталась у него, в Александр-Платц не поехала.

И уже была счастлива, что тогда с эстонцем я отделалась только темными акварельными кругами вокруг глаз.

Парень спрашивал меня, знаю ли я, какая река течет через Берлин. Нет, я не знала. Шпрее.

В Берлине я носила серое шерстяное платье, очень строгое. Чувствовала я себя живой и счастливой. И где-то в базе данных разорившейся позднее авиакомпании остался билет, который я купила по ошибке, Москва — Берлин. Я думала, что такой билет взяла все же не случайно, что вскоре я вернусь в Берлин.

Но вот мне 30, и в Берлине я все еще повторно не побывала. Иногда билет не туда — не знак, а просто ошибка.

Платье цвета фуксии переехало со мной на родину, в Краснодар. Фестивалей в Краснодаре особо не было. Только пара, один я не помню, второй — православный. Платье-оплот, пусть и сопротивления, но все же сексуальной революции, туда не годилось, да и фильмов я не снимала. Я думала, что моя жизнь кончена вместе с Краснодаром и что ее можно повесить в шкафчик пылиться.

У меня не было денег, работу здесь я тоже не находила. Меня кормили родители со своего огорода. И чтобы как-то развеяться, мы с папой поехали в его родной хутор, в степь. На въезде в хутор нас встретила бетонная стена с надписью «Ящур». Это было монументально, как «Декамерон» и чума.

Помню, что мы там пили коньяк и ели домашнюю колбасу. После ВГИКа, парижского платья, берлинских приключений

и прочих эстонцев мне странным образом казалось, что круг жизни замкнулся и грядет что-то новое. Или это ветер сводил меня с ума, продираясь через этанол в молодой крови.

Сразу после возвращения с хутора с ветром, колбасой, папиным детством я нашла работу.

Возможно, человек, который взял меня на работу, пожалел об этом. А может, возненавидел. Но это было позднее, когда он повзрослел и стал отцом. А для начала он стал задирать меня, вытаскивать из прежней прошедшей навсегда жизни с нежными и любимыми друзьями, спаньем на кинопоказах, омлетами и акварелью в общежитии. Это была бы идеальная жизнь — на сто процентов реальная, провинциальная, но родная, очень знакомая. Бы.

Я как-то втихоря влюбилась в самый разгар беременности его жены. Мне нравились его голубые глаза. У меня тоже голубые глаза, но на этот раз никаких знаков я в этом не видела. И если подумать, сделал он для моей влюбленности не больше, чем эстонец. Эстонец сделал для меня фото на оценку «четыре» по фотокomпозиции. А еще его можно было кормить омлетом в поисках путей к его мышечному органу.

С чужим мужем все эти опции были исключены, включая попытки испортить мне макияж. Я всего-навсего превратилась во влюбленный хвостик, которым виляет собака, как положено. Собака все понимала о своем хвосте и дразнила, подходила так близко, что был озноб, пахла так свежо. И сюда же тепло тела чужого мужа и мягкие рукопожатия.

Но как-то раз все же слова из меня вырвались. Глупые и ненужные никому, кроме меня. «Я тебя хочу». Может, не так лаконично, но в целом похоже. И не вполне честные слова, выдававшие одно желание за другое. Похоть за любовь или наоборот. Какая разница. Вся эта ваша любовь вообще что такое? Но слова эти стоили того, чтобы сказать их тысячу раз. Правда, не обязательно вслух.

И снова прошло время, кто-то другой уже что-то говорил мне про акварель вокруг моих глаз. И я поняла, что наконец надо что-то решить с тушью.

А потом время еще раз прошло... Жены, беременности, задиры... Стыдно, но я стала думать о том, что растут чьи-то дети, а я... Удивительно, как сын может не быть похож на отца с голубыми глазами. Темный цвет волос и глаз — доминанта, так ведь? И как же хорошо, что есть в мире крепкие семейные пары. А тепло и тела забываются, как все остальное.

Где-то есть крепкие семейные пары, но я таких знаю немного. Например, моя знакомая семейная пара — брюнетка и блондин — оказались не такие. Что заиграло во мне, когда он повторил мне мои слова почти точь-в-точь, но пять лет спустя? Страх-желание? Не любовь. Любовь я испытала, когда ела орех, пила сладкий кофе, понимая, что мой желудок — не пуп земли. И мое сердце — не пуп земли.

А мое желание не умеет думать. Я уже готова была упасть. За то время, что я живу здесь, я совсем позабыла, что любовь теплая, а твоего падения ей не требуется. Твое сердце не должно становиться пупком, пусть даже Земли. Это все же немного разное.

Но меня никто не ловил, никто не бросал. Все же есть на свете крепкие пары. Пара оказалась крепкой страхом мужа. А что моя любовь? Любовь разошлась на орехи уже давно. И любовницей я не стала.

Платье цвета фуксии все это время висело в шкафу, иногда я надевала его на корпоратив, в другой раз на чью-то свадьбу. Оно меня радовало, как яркий атласный лоскут с историей чьей-то революции. Мне тридцать, и за спиной нет ни одной революции, которую можно озвучить.

Свое платье я решила продать, весь его груз мне нужно было скинуть.

Мне написали из Крымска. Давным-давно там умер мой дядя, я его плохо знала. Мое фестивальное платье заказала

Светлана для своей внучки. Я подумала, что платье должно осесть в месте попроще, как осела сама я. В конце концов, не так уж ему по нутру фестивали.

Но когда божественно французское платье цвета фуксии оказалось у Светланы, оно вдруг показало все свое нутро.

Не божественное, а убогое. Не ручной работы, а сшитое вручную на скорую руку. Не цвета фуксии, а выцветшего. А худшее оно рассказало о своих швах. Непрооверлочены. А я похожа не на француженку, а на мошенницу.

Мне же свою суть ярко проявить не удалось, я просто вернула ей деньги за бомжацкое платье. Что бы с ним ни было дальше, я решила устроить ему тризну.

Вечером я зажгла свечу. Тем же вечером я сожгла Париж, Берлин и даже, как француз, Москву. Моя грусть была исторической, как река Шпрее.

Мое платье цвета фуксии, с узкой юбкой, гладким атласом, созданное для фестивалей, погибло в Крымске.

Я весь вечер пыталась найти смысл в этом событии, но все, к чему я пришла, это то, что содержания в чем-то может быть не больше, чем в билете Москва — Берлин авиакомпании, которой давно нет, в город, куда нам не скоро попасть.

Правда, полчаса позднее, засыпая, я пришла еще к одной мысли. Крымск нисколько не похож на район Александр-Платц, но это тоже не лучшее место для того, чтобы там жить, да и для того, чтобы умирать. Неважно, с любящей женой, как вышло у моего дяди, либо в одиночку, как случилось с моим платьем цвета фуксии.

ДМИТРИЙ ЛАГУТИН

ФРАНЦУЗ ПО ДЛИННОМУ БОРТУ

Заканчивая очередной договор, я с такой яростью колотил по клавиатуре, что бухгалтеры, уже приступившие к обеду, удивленно выглядывали из кухни — а когда закончил, то ткнул пальцем в системный блок, подхватил с вешалки пальто и выбежал из офиса, на ходу застегивая забитый бумагами портфель и подмигивая часам: двенадцать сорок пять.

Я перепрыгнул одну лестницу, вторую, толкнул дверь — в лицо ударил порыв холодного ветра — в три исполинских шага одолел парковку, пикнул ключами, упал на сиденье, завел мотор и, порывивая двигателем, покатился к воротам.

А выкатившись на проезжую часть, поддал газу — и тут уже только ветер засвистел в приоткрытых окнах.

В окна, к слову, то и дело залетали мелкие ледяные капли — кололи шею, врезались в кожаный бок портфеля — с самого утра моросил дождь, небо было плотно затянуто облаками и нависало над городом угрюмое, отяжелевшее.

Как бы в противовес угрюмому небу по лобовому стеклу весело танцевали, смахивая не успевающие упасть капли, дворники, а в тех местах, до которых они не дотягивались, капли ползли снизу вверх и исчезали за пределами видимости.

Я ехал, сдерживая норовящую придавить педаль ногу, изда- лека упрашивал светофоры еще немного посветить зеленым, поглядывал на часы и тыкал пальцем в магнитоу в поисках аукციоновской «Дороги».

На парковку перед кафе я вот уже третий месяц заезжал только под «Дорогу».

«Дорога» нашлась быстро, и я ее почти до конца прослушал, выстукивая такт по рычагу коробки, но потом поставил на паузу, выждал, заворачивая, запустил, открыл окна, выкрутил громкость — и въехал на парковку под оглушительное:

— Сам себе й-я! — пауза. — Па-а-ра-ра-ра ...

Несколько человек, стоящие у крыльца, обернулись, и, как всегда, мне стало одновременно и неловко — я первый ругал последними словами все эти «бум-бум-бум», от которых у пробки стекла дрожат — и все же так по-мальчишески хорошо, я чувствовал, что горы могу свернуть, что я и ловок, и быстр, и широкоплеч, и точен, как никогда, а значит, обед, столь умело мной поделенный на сегменты, рассчитанный по минутам и разложенный по полочкам, обещает доставить море удовольствия и скрасить дождливый, загруженный договорами четверг.

«Дорога» оборвалась на аккорде, я выпрыгнул на серебрищийся мушками асфальт, пикнул ключом, в три шага оказался у крыльца — не закрываясь от дождя, не втягивая голову в плечи, не сахарный! — потянул дверь и шагнул в светлый, пахнущий едой зал. Сразу направился к витринам, пролабировав между столиками, обогнул, придерживав за локоть, какого-то здоровяка, прикинувшего к экрану мобильного, вытянул из стопки поднос, кинул на него вилку, салфетку, прижал поднос к металлической — рельсами — стойке и поволок его слева направо, от салатов через первое ко второму и десертам — но уже за салатами встал в галдящую пробку и завис.

С тоской оглядел я пробку, издали примерился ко второму — чтобы потом не тратить время — бросил взгляд на часы в углу, снова оглядел пробку и мысленно вычеркнул из обеда десерт.

«Пирожное, в принципе, можно взять, — подумал я, щурясь на витрину. — Но что за удовольствие — проглотить, не жуя?»

В этот момент чей-то голос над самым ухом удивленно пробасил мое имя — и чья-то тяжелая ладонь опустилась на мое

плечо. Я обернулся и увидел того самого здоровяка, которого обогнал в проходе между столиками и поднос которого — двойная порция винегрета и полбуханки хлеба — теперь точно на буксире скользил за моим — мой двигался налегке, катая по спине плоску аскетичного капустного салата.

Здоровяк широко улыбался из-за густой рыжей бороды, глаза его блестели сквозь стекла очков. Он снова повторил мое имя, потом еще и фамилию назвал — пробка снялась с места, и очередь поползла вперед.

Я пригляделся к блестящим глазам и ахнул:

— Коваленко!

И вытянул из-за витрины тарелку с отбивными — Коваленки Коваленками, а график никто не отменял. Отбивные вязли в толченой картошке, как в зыбучих песках.

Коваленко раскатисто засмеялся, борода его заколыхалась.

— Вот так встреча! — пробасил он.

Мы обменялись рукопожатиями и даже похлопали друг друга по плечам. Очередь снова притормозила — на кассе кто-то ронял деньги, шарил, согнувшись, по полу и просил прощения за задержку — но потом снова двинулась. Я поставил на поднос стакан сока, протянул было руку к пирожному — но передумал — посмотрел на часы, и только тогда снова повернулся к Коваленко.

С Коваленко мы учились вместе с восьмого по одиннадцатый класс и сидели за соседними партами — через проход. Отношения между нами были приятельскими — если не брать во внимание крохотный эпизод с Катей Синицыной — но другом своим я его никогда назвать не мог, и после выпускного связь, что называется, потерялась. За... восемь? девять лет? я видел его дважды или трижды — и всякий раз узнавал с трудом: сперва рослый, но худощавый, угловатый даже, юноша превратился в великана с круглыми плечами, потом — к следующей встрече — обзавелся золотой гривой, падающей на эти самые

круглые плечи. Теперь гривы не было, но половину лица закрывала рыжая почему-то, совсем «геологическая», борода.

При виде этой бороды в моей памяти всплыли две фамилии: Миклухо-Маклай и Мамин-Сибиряк. Я почувствовал, что должен быть третья, что вот, я почти вспомнил, на языке вертится — но поднос причалил к кассе, и я торжественно вручил кассиру заранее подготовленную купюру.

— Слушай, — сказал я Коваленке, нетерпеливо поглядывая на кассира, звящего сдачей. — Я погнался, а ты, если хочешь, подсаживайся.

Коваленко, не переставая лучезарно улыбаться, кивнул, а я с ловкостью эквилибриста промчался через битком набитый зал, перехватывая поднос то одной, то другой рукой и приземлился за столик в самом углу, под телевизором.

Из телевизора кто-то пел писклявым голосом — а кто, я видеть не мог, потому как неудобно было выворачивать шею. Да и плевать мне было, кто там поет писклявым голосом — я дернул рукав, сверился с графиком и набросился на отбивные.

К тому моменту, как тарелка наполовину опустела, Коваленко водрузил на столик свой поднос и сел напротив.

— Приятного аппетита, — пожелал он, улыбаясь.

Я кивком поблагодарил.

Коваленко аккуратно расставил по подносу тарелки, потер ложку салфеткой и принялся за борщ.

— Вот это скорость, — удивился он, глядя на то, как я расправляюсь с отбивными. — По-армейски прям.

Я смутился, поперхнулся и стал есть медленнее — заручившись поддержкой часов на запястье: из графика не выбиваюсь.

— Как сам? — задал я дежурный, ни к чему не обязывающий вопрос, не переставая жевать.

Коваленко отодвинул от себя борщ и стал рассказывать, а потом остановился и спросил:

— Часто здесь обедаешь? Первый раз тебя вижу.

Я прожевал и объяснил, что обедаю здесь один раз в неделю — и обедаю быстро, не рассиживаясь.

Коваленко кивнул.

— А я чуть ли не каждый день тут, — пояснил он. — Работаю недалеко.

И он стал рассказывать про свою работу, изредка отвлекаясь то на борщ, то на салат. Не договорив про работу, вспомнил школу, залепленные с изнанки жвачками парты, дежурства с метанием тряпок, разборы полетов от классной. Каждое воспоминание сопровождалось раскатистым хохотом, под конец он аж покраснел.

Отдышавшись, он понизил голос и проговорил заговорщически:

— А недавно, представь себе, Катку встретил. Синицыну.

И он снова добродушно засмеялся.

На излете десятого класса нас с ним угораздило влюбиться в Катю Синицыну — гордость класса, волейболистку с ящиком медалей. Месяц или два Катя принимала ухаживания от обоих, ходила в кино то с ним, то со мной, гуляла по парку и выслушивала пламенные объяснения — но дистанцию держала по-спортивному и никого не обнадеживала, оставляя соперников обмениваться через проход презрительными взглядами — а потом вдруг сообщила мне, что зря я потратился на очередные билеты, и попросила больше никуда не звать, потому что теперь встречается с Коваленко. Коваленко три недели ходил ферзем, пересел к Кате и все время накрывал ее левую ладонь своей правой — отчего на уроках почти ничего не писал — и в гардеробе помогал ей накидывать на плечи спортивную курточку. Я эти три недели страдал, недоедал и исписал общую тетрадь душераздирающими стихами. По прошествии же трех недель Коваленко вернулся на свое место, посерел, перестал причесываться и на уроках сидел, подперев подбородок кулаком, — Катя его бросила ради первокурсника-тяжелоатлета, гордости

местного физвоса. Через месяц мы с Коваленко вновь стали здороваться — и перекидывались время от времени короткими репликами через проход — но натянутость в отношениях держалась до самых каникул.

— Представляешь, — фыркнул Коваленко, собирая ложкой остатки борща, — за ним и замужем.

Я кивнул, внутренне порадовался за Катю, потому что считал ее с тяжелоатлетом хорошей парой — уж куда лучше ее и Коваленко — допил сок и ударил пустым стаканом о поднос.

Оставался салат.

— А куда ты, позволь поинтересоваться, так торопишься? — спросил Коваленко, приступая ко второму.

Я сперва замялся, а потом в двух словах описал ему мою новую — относительно — причуду: раз в неделю обедать не в офисе, а в кафе с тем, чтобы после еды мчаться в местную бильярдную и полчаса — не больше и не меньше, до писка таймера — играть в пустом, тихом зале наедине со своими мыслями.

— Поиграю, — говорил я переставшему жевать Коваленке, — и так, знаешь, хорошо становится. И с новыми силами — на работу.

Я договорил, встал, чуть не ударившись макушкой в телевизор — телевизор теперь хрипло бормотал под тягучий, заедающий ритм — и стянул с вешалки пальто.

Коваленко приподнял над вторым руку, призывая меня не убегать так сразу.

— Знаешь, — проговорил он, пряча в бороде смущенную улыбку, — я ведь, признаться, большой любитель русского бильярда.

Он помолчал немного.

— Может быть, я смогу составить тебе компанию?

Не дожидаясь ответа, он в три взмаха опустошил тарелку, опрокинул в бороду стакан компота, бросил туда же пирожное и, кажется, проглотил, не жуя.

Я, что называется, подвис — с одной стороны, слишком дорого мне было мое бильярдное уединение, тишина и возможность играть в свое удовольствие, не оглядываясь на компаньона, а с другой — Коваленко уже заматывался в шарф и хлопал по карманам в поисках телефона.

— Я только в офис позвоню, — пояснил он, плечом прижимая найденный телефон к щеке. — Скажу, что чуть задержусь.

Он прищурился и затряс головой — все, мол, нормально, поймут. Потом жестами показал на дверь — одевайся, мол, я тебя на крыльце подожду — и двинулся к ней, протискиваясь между столиками.

Я в замешательстве оделся, даже немножко приуныл — но потом посмотрел на часы и понял, что если не стартану сейчас, то не поиграю вообще — один или не один. И почти бегом бросился к выходу.

— Обратнo я сам, ты не переживай, — успокаивал меня Коваленко, садясь на пассажирское и приглаживая мокрые от дождя волосы. — Хорошая машина, кстати.

Он пальцем постучал по панели.

Я крикнул что-то, завел мотор, и в салоне громыхнула последними нотами «Дорога» — Коваленко подпрыгнул. Я извинился, сделал тише, пустил «Дорогу» сначала — и мы поехали в бильярдную.

Дождь усилился, по дороге расплзались лужи, и пешеходы, чтобы добраться до зебры, балансировали на бордюрах, размахивая для устойчивости зонтами. Дворники затанцевали активнее, слышно было, как шумит у колес вода. Мы в три минуты проехали улицу из начала в конец, свернули, обогнули изумрудный, светящийся влажной зеленью сквер и остановились у самого крыльца вытянутого, похожего на ангар здания с узкими, далеко отстоящими друг от друга окнами.

— Надо же, — радовался Коваленко, вываливаясь под дождь. — А я ведь здесь никогда не был!

Я многозначительно поднял палец — места надо знать — и прыгнул на крыльцо, распахнул дверь, сделал приглашающий жест.

— Только после вас, — отказался, улыбаясь, Коваленко.

Я пожал плечами, тоже улыбнулся и вошел внутрь. Бросил взгляд на зал и заспешил навстречу маркеру, вытягивая руки — одну для рукопожатия, другую для коробки с шарами.

— Четвертый нам, пожалуйста.

Маркер отдал шары, склонился над компьютером, и в сумрачной глубине зала один из столов озарился сиянием.

Я пружинящей походкой шагал между темных, неподвижных рядов, прислушивался к постукиванию шаров в коробке, вытягивал ноздрями пропитанный мелом воздух и чувствовал, как нарастает в душе волнительное предвкушение игры.

Коваленко спешил следом и ахал.

— Пусто, — восхищался он. — Совсем пусто!

Он воскликнул негромко: «Ау!» — и под высоким потолком заматалось эхо.

В бильярдной действительно не было никого — редко, очень редко в такое время я здесь был не один.

Мы добрались до четвертого стола, я переложил шары из коробки в треугольник, еще раз огляделся — телевизоры по стенам молчат, окна закрыты тяжелыми пыльными шторами, и бильярдная тонет в полумраке: кажется, что уходящие в тень ряды столов не заканчиваются, караванами вытягиваются далеко за неясные стены, что столов не три десятка, а три сотни — огляделся, вздохнул довольно и выставил пирамиду.

Коваленко уже стоял по другую сторону стола с кием наперевес — и выглядел совершенно счастливым.

Я бросил пальто на вешалку, сверил время — вместо полчаса в моем распоряжении было всего двадцать пять минут — запустил таймер и побежал вглубь зала искать кий.

— Я разобью пока, — предложил Коваленко, выставляя биток.

— Конечно! — откликнулся я через плечо.

Когда я оглядывал пятый или шестой кий, прокручивая его прямо в полке, тишину бильярдной — а вместе с ней и выставленную мной пирамиду — расколол глухой, рассыпающийся на перестук, удар.

«Сильно ударил, — отметил я. — Чтоб не затягивать».

Мой кий — «прикормленный» — обнаружился в дальнем конце зала у стола для американки. Кажущийся великаном в строю коротких — для американки же — собратьев, истертый тысячей ладоней, в причудливом узоре из облупившейся краски, он молчаливо смотрел перед собой самой яркой деталью узора — крошечной композицией из кружка и полоски под ним, в которых я видел, как на фотографии, луну и гладь тихой реки и по которым узнавал полюбившийся инвентарь в общей массе — и с готовностью прыгнул в руки, едва я его коснулся.

— Прикормленный, — потряс я кием, подбегая к четвертому.

Коваленко улыбнулся, понимающе прикрыл глаза, потом показал на сукно — по которому разметались созвездиями шары.

— Я не забил, — беспечно рассмеялся он.

Я оглядел карту, примерился и отправил одну из звезд в среднюю лузу — кометой.

— Отлично, — похвалил Коваленко.

Я поскреб кий мелком, навис над столом и закатил в ту же лузу еще один шар — на этот раз свояка.

— Супер, — отозвался Коваленко.

Третий удар не удался, шар на полпути зацепил боком соседа, и на столе началась суматоха.

Я вынул из лузы забитое, выставил на полку. Коваленко тем временем подождал, пока суматоха уляжется, подошел к столу и с силой ударил в самую гущу.

Шары, только успокоившиеся, запрыгали по сукну, сталкиваясь и сбиваясь к бортам.

По тому, как Коваленко стал, по тому, как он опустил на сукно ладонь, по тому, как уводил левое плечо от кия и вихлял локтем при прицеливании, по тому, наконец, как он отдернул руку после удара, я понял, что...

С другой стороны — ведь не запрещено большим любителям плохо играть?

Через несколько минут партия закончилась — всухую. Я кинул на стол треугольник и стал собирать шары. Коваленко смотрел на меня восхищенно и только головой качал.

— Я, признаться, и не ожидал такого, — говорил он, поглаживая бороду.

Очки его блестели в свете ламп, и в них отражалась зелень сукна.

— Мы это, — продолжал он, — с друзьями иногда ходим... Но чтобы вот так...

Я смутился, выставил биток и — чтобы не затягивать — разнес пирамиду в пыль — я как раз недавно приноровился бить сильнее, нашел нужное положение руки и при ударе стал приподнимать правое плечо, расслабляя при этом кисть.

Шары долго рисовали по столу зигзаги, один подкатился к краю лузы, постоял, вращаясь, точно раздумывал, — так сомневается ныряющий с бортика в бассейн — а потом все же ухнул вниз.

Коваленко защелкал пальцами правой руки — специальные бильярдные аплодисменты — хотя закатился явный дурак, гревший в центре пирамиды. Я обошел стол, вогнал в лузу чужого, но потом досадно промахнулся, не рассчитав винт.

Коваленко, качая головой, подошел к столу, наклонился, долго целился, рисовал локтем восьмерки — и со скрипом закатил-таки шар в среднюю.

— Отлично, — похвалил я и обернулся на таймер.

Одну точно успевал — про вторую думать не приходилось, не настолько я хороший игрок.

И верно, партия растянулась — шары разбрелись по бортам, встали у них, скучая, и их приходилось от бортов отгонять. В итоге из трех попыток успехом увенчивалась одна — и то, при хорошем раскладе.

Но Коваленко, казалось, ничего не замечал — и кружил вокруг стола в искреннем восторге. Он старался, целился, еще пару раз забил — но бил неправильно, стоял неправильно, ладонь — мост — выкладывал неправильно, и после каждого удара подбрасывал кий носом вверх, едва не задевая лампы. Удивительно было, что при такой манере ему вообще что-то удастся.

Каждое мое попадание он сопровождал щелканьем и ставил шары на полку с таким довольным лицом, словно полка была не моя, а его.

Зато вот оказалось, что по части бильярдных метафор он просто мастер — и тут уже я нарадоваться не мог, потому как бильярд искренне и давно любил.

— Бильярд... — Коваленко подыскивал нужные слова. — Бильярд мне напоминает... Только не смейся... Ловлю жемчуга!

Я целился, но потом поднимал голову и растроганно смотрел на него.

— Seriously! — Воскликнул Коваленко, точно я с ним спорил. — Смотри! Сукно, — он провел пальцем по зеленому, крапинками, сукну, — это как бы дно в водорослях. Шары — понятно, жемчуг. Где-то даже черный, — он кивнул на дремлющий у дальнего борта биток. — Ну... Почти черный. Мы, как какие-нибудь ихтиандры, ныряем в зеленую глубину и собираем жемчуг в сеточный мешок.

Я оглянулся на сетку лузы — действительно, все сходилось.

— Ну ты завернул, — в восхищении выдохнул я, и одна из жемчужин покатила сквозь водоросли — да в них и завязла.

Коваленко довольно подбоченился.

— Мы не так часто играем... — повторил он, прицеливаясь. — Но это такое удовольствие...

Его жемчужина завязла рядом с моей, я взялся их распутывать.

— Или вот, — мечтательно продолжил Коваленко, глядя на лампы. — Бильярд — это же... Я много думал! Это же живопись! Торжество формы и цвета! Густо-зеленый против ослепительно-белого, плоскость против шара, и рядом — изящество вытягивающегося луча.

Под лучом он, понятно, имел в виду кий. Я ударил, одна жемчужина отскочила от другой и с шорохом упала в сеть. Удар вышел отличный, Коваленко защелкал, я осмотрелся и решил попытаться счастья — забить-таки француза, который в игре с соперником мне не давался ни разу.

— А тени! — восклицал Коваленко. — Посмотри на тени!

Я присмотрелся — за каждым шаром разворачивались четыре овальных, полупрозрачных крылышка — от четырех ламп.

Я примерился на левый — к лузе — винт и мягко накатил биток на ближайший, стоящий у борта, шар. Шар отпрянул, а биток, изящно вращаясь, заскользил к лузе.

Я затаил дыхание, Коваленко замер со вскинутой рукой.

У самой лузы биток взял правее, чем нужно, и прислонился к борту, не прекращая вращения.

— Ну, знаешь ли, — изумленно замотал головой Коваленко. — Я такого вообще никогда не видел.

Он стукнул наугад, выгнал тот же — капризный — биток на центр стола, и я с грохотом заколотил его в дальнюю угловую.

В этот момент запищал таймер — а я, признаться, так разошелся, что был почти готов звонить за отгулом.

Который мне, конечно, не дали бы.

— Если ты не против, — говорил Коваленко, пока мы ждали маркера, — давай еще соберемся. Я прямо под впечатлением.

Я смущенно встряхивал коробку с шарами.

Повисла тишина.

— Ты стоишь неправильно, — сказал я. — И руку не совсем так кладешь. Поэтому иногда уходит удар. Я вообще не люблю

навязываться с рекомендациями, но если хочешь, в следующий раз... ну, покажу, как правильнее.

Коваленко затряс головой, борода его заколыхалась.

— Конечно! Еще как хочу!

Спустился со второго этажа маркер, принял шары, рассчитал нас, отщипнув от положенной цены скидку — «для своих».

Коваленко посмотрел восхищенно, вслед за мной пожал маркеру руку, и мы вышли на крыльцо.

По тугим кронам сквера барабанил ливень, встающие вдалеке дома таяли в пелене, сквозь пелену за деревьями показывались и пропадали огни фар. Было совсем прохладно — и сладко пахло листвой. Мы жались под козырьком крыльца — и по нему ливень точно дробью звенел.

— Может, подбросить все-таки? — спросил я.

Но Коваленко уже вызывал такси.

— Все в порядке, все в порядке, — заверил он. — У меня времени — вагон.

И он повысил голос, перекрикивая шум дождя.

— Когда в следующий раз соберемся? — он посмотрел вопросительно. — Может, сегодня вечером, а?

Я замялся — на сегодняшний вечер был запланирован просмотр фильма: раз в две недели старый приятель собирал у себя полон дом народа и крутил на огромном экране кино. Кино заходило через раз — в половине случаев приятель останавливался на чем-нибудь авторском, трехчасовом и хорошо, если цветном. В прошлый раз было более или менее интересно — значит, в этот нужно было готовиться к борьбе.

Конечно, приятель был человек специфический, но занятый, общительный — и потому даже тоскливые вечера казались проведенными не зря, а после еще и обсуждали, спорили, и тут уж вечер набирал обороты, снаряжались экспедиции в ближайший супермаркет...

— А давай!

Коваленко просиял.

— Номерами обменяемся, и ближе к вечеру по времени определимся, — предложил он.

Я записал его номер, продиктовал свой, мы крепко, от души, пожали друг другу руки, и я, натянув пальто на макушку, побежал через парковку к машине. За деревьями уже мелькали, раскачиваясь на кочках, фары подъезжающего такси.

В офис я вернулся в прекрасном настроении — хоть и опоздал немного. Насвистывая «Дорогу», прощоголял к столу, пристроил портфель в нишу и разбудил рисующий на экране водопровод компьютер.

— Свистунов на конный двор, — донеслось от бухгалтерии. Бухгалтерия всегда остро реагирует на свист.

Я вытянул последнюю трель, щелкнул пальцами — одинокий бильярдный хлопок — и прошагал в кухню.

«Вот, — думал я, глядя, как в прозрачном животе чайника танцуют пузырьки, — вот ведь как бывает на свете. Сколько же лет прошло?..»

Я посчитал: с выпускного — восемь. Причем почти ровно восемь — за окном зеленел пусть и дождливый, а июнь.

«Восемь лет! — продолжал думать я. — Со всеми связь потерялась, никто не пишет, не звонит, рассыпался класс, как горох, — и вдруг появляется Коваленко, огромный, бородатый, и надо же, сравнивает бильярд с ловлей жемчуга».

Я заварил чай, долго искал по шкафчикам сахарницу, наконец обнаружил ее в холодильнике — между сметаной и пучком укропа. Достал в задумчивости — ледяную — зачерпнул две ложки и вернул в холодильник.

Кто эту бухгалтерию разберет?

«Восемь лет! — восторгался я, возвращаясь на свое место и открывая один договор за другим. — Восемь лет!»

Мне вспомнился выпускной, душный, моргающий огнями клуб, Катя Сеницына в салатном платье, с волосами башенкой,

грохот музыки, стук передаваемых из-под стола бутылок. Потом вспомнился бледно-розовый рассвет над рекой, белые рубашки, галстуки, хлопки по плечам и обещания «не пропадать», чувство какого-то щемящего единения — хотя класс наш никогда дружным не был. Вспомнилось шампанское в хлипких пластиковых стаканах, вздрагивающие перила понтонного моста, расхаживающий по берегу физрук в песочном пиджаке — а потом прощания, объятия, сонные, довольные взгляды и — в конце концов — пустая, холодная с ночи остановка у самой дороги, светлеющая набережная, горящие солнечными лучами окна вверх по бульвару.

Я напряг память и ахнул — последними на остановке оставались мы с Коваленко: сидели на шершавых лавках, всматривались в конец улицы — мне нужен был троллейбус, Коваленке — его младший брат автобус — путано и лениво переговаривались, вспоминали что-то, обменивались впечатлениями от вечера.

Первым подошел троллейбус — мы с Коваленко попрощались, обнялись в порыве братского чувства, и я запрыгнул в гудящее троллейбусное нутро, плюхнулся на сиденье.

И теперь мне уже казалось, что не было у меня в школе друга ближе Коваленки — я переписывал договоры, отвечал на звонки, ходил с повинной головой к начальнику отдела, а сам думал: «Вот ведь как бывает! Разнесет людей по разным уголкам, а потом р-раз — и обратно».

«Кто знает, вот как сдружимся сейчас по новой — да и на всю жизнь. Будем, может, как братья. В бильярдную вместе ходить будем, к киносеансам его подтяну — красота!»

— Ты чего это такой довольный? — спрашивали подозрительно в бухгалтерии. — И куда сахарницу дел?

Я хитро улыбался.

Дождь то слабел, то усиливался, уютно стучал по подоконнику, и приятно было составлять один за другим договоры,

попивать чай и мурлыкать под нос «Дорогу» — раз уж свистеть нельзя. В офисе сперва было сумрачно, потом — несмотря на время — зажгли все лампы, и в окне, на фоне серых облаков, отражались столы, стеллажи с папками, стена в сертификатах, приоткрытая дверь кухни.

Облака в одном месте разошлись, точно прохудились, из-за них засияло, запылало, вдалеке по крышам домов проплыла полоса золотого света — но через минуту прореха затянулась, дома погасли, и дождь зарядил сильнее прежнего.

Ближе к четырем я снова заглянул на кухню, заварил еще чаю — на этот раз сахарницы не было и в холодильнике — и позвонил Коваленке, договорился на восемь.

— Замечательно! — обрадовался Коваленко.

Потом я набрал приятеля-киномана и извинился за то, что не смогу прийти.

— Жаль, — протянул тот. — Совсем мало народу будет — а такой фильм...

И он начал рассказывать про фильм — про то, какие награды брал на фестивалях, какие режиссеры его цитировали позже в своих работах, какое влияние он в целом произвел на мировой кинематограф.

— Только хронометраж, конечно... — подвел итог киноман. — Но ты, если надумаешь, приходи все же.

— Хорошо.

С договорами я разобрался к пяти, к половине шестого собрал в горсть, прицелился и закрыл мелкие поручения, заранее подготовил отчет, собрал вещи и приготовился досидеть полчаса в блаженном бездействии — но в офис влетел исполнительный директор и с легкой руки насыпал всем задач.

Мне досталась самая громоздкая — и самая спешная.

— Кровь из носу, — кривился исполнительный директор, точно у него и вправду вот-вот должна была носом пойти кровь, — кровь из носу, надо завтра к утру.

Он еще немного покривился и ушел, хлопнув дверью. Следом за ним, чуть выждав, удалилась бухгалтерия. Вернулся из серверной системный администратор, повозился до шести в своем углу и тоже ушел — и я остался в офисе один.

Включил музыку, не спеша приготовил чай, постоял у темнеющего окна — к дождю прибавился ветер, редкие деревца, высаженные вдоль дороги, дружно раскачивались то в одну сторону, то в другую, тяжелые низкие облака вытягивались к горизонту, наваливались на крыши домов, сливались с далью там, где ее можно было разглядеть, — прошелся из одного угла офиса в другой, обнаружил сахарницу на сейфе, сел за свой стол и уткнулся кончиком носа в монитор.

И оторвался от него только когда часы над дверью показывали половину восьмого.

Ужинать пришлось на бегу. Дождь лил по-прежнему, было не по-июньски темно, дороги проваливались лужами, и в них дробились оранжевые огни фонарей. Издалека светилась сквозь сквер вывеска бильярдной, и еще заворачивая, щелкая магнитолой в поисках «Дороги», я увидел у крыльца перетаптывающегося под зонтом Коваленко.

В бильярдной было шумно, людно и светло. Пахло едой, играла музыка, ее перебивали десятки голосов, и непрерывно, на манер барабанной партии, раздавался перестук шаров.

Все столы были заняты.

— Ну вот... — Коваленко горестно вздохнул.

— Ерунда, — махнул рукой я.

Я заглянул к маркеру, спросил, долго ли будет занят четвертый, и стал в очередь.

— Полчаса, — успокоил я Коваленко. — Наверху подождем.

Коваленко — совсем было поникший — ожил. Мы поднялись по лестнице, едва разминувшись с огромным, звенящим бокалами, подносом, из-за которого не было видно официантки, прошли вглубь балкона — второй этаж представлял собой

широкий балкон, нависающий над залом, — и сели за столик у самых перил.

Под нами расстилалось лоскутное одеяло из столов, между лоскутами сновали, размахивая киями, точно стражники с копьями, игроки. Бусинами катались тут и там сверкающие шары.

Коваленко облокотился на перила и восторженно уставился на открывшийся вид.

Подошла, играя пустым подносом, официантка, спросила про чай — с лимоном или нет? — мы и глазом моргнуть не успели, а на столик приземлились две пышущие жаром кружки и сахарница с горкой рафинада.

— Да-а, — восхищался Коваленко, не отрываясь от зала. — Я и не знал, что у нас тут такой клондайк под боком.

— А ты где играешь?

Он махнул рукой, скривился.

— В подвальчике под закусочной, — досадно ответил он. — Два стола, три кия.

И тут же спохватился:

— Но своя какая-то лирика есть, особая.

Он вытянул шею, оглядел зал и снова вздохнул.

— Но это, конечно... — он пожевал губу, борода задвигалась. — Материк.

Я восхитился сравнению.

— Да мы тоже раньше в подвале играли, — вставил я, принимаясь за чай. — Тоже под закусочной.

Я назвал закусочную, Коваленко сделал круглые глаза.

— Так это она и есть!

Я вспомнил тесный, с низким потолком зал, истертые кресла, фикусы в горшках, на стенах — лампы, и между ними картина в тяжелой раме: «Утро на море» Айвазовского. Вспомнил и признал, что своя лирика в подвальчике имеется.

— Айвазовского не сняли? — спросил я.

Коваленко обрадовался.

— Висит, родимый.

Я вспомнил столы с отбитыми бортами, облезлые, распяленные лузы, сукно в сигаретных ожогах, дребезжащие испуганно кии. Вспомнил, как плохо тогда играл, как радовался каждому залетевшему шару, не верил в то, что можно закатить с разбоя, и жмурился в ужасе всякий раз, как шар вылетал со стола и бился о стену.

— Айвазовский, кстати, принципиально не читал книг, — сообщил Коваленко, звеня ложкой. — Считал это бесполезным занятием.

За четвертым столом играли какие-то подростки, и все полчаса я ревниво поглядывал на то, как один из них — худой, лохматый, с вытянутым лицом — играет, судя по всему, моим кием.

Прикормленным.

Мы пили чай, смотрели на столы, я время от времени оглядывался на крошечное окошко, из которого видно было, как хлещет по-прежнему ливень, как ползут по уходящему вдаль проспекту огни фар и темнеют над фонарями высаженные вдоль проспекта тополя — огромные, похожие на сторожевые башни.

— Погодка-то, — вставлял Коваленко, и я кивал, соглашаясь.

Мы говорили про бильярд, про подвальчик с Айвазовским, про школу, про одноклассников — почти все разъехались, кто в Питер, кто в Москву, кто в Шанхай учить английскому — класс был филологический, с упором на языки.

— Платят хорошо, — говорил Коваленко, — ну и статус, понятно. Шанха-ай!

Он потрясал руками.

— Но оформления никакого — и есть опасность угодить в китайскую тюрьму, за нелегальный труд.

Вспомнили выпускной, последний звонок с шашлыками — «кстати, лило вот так же» — снова заговорили про бильярд.

Я рассказал про то, что однажды здесь играл мужик с крысой на плече — «удары подсказывала» — про то, что кто-нибудь из сильно пьяных регулярно играет на отжимания и бьется лбом о пол, про то, как нарвался на каталу и не разорился только благодаря принципиальному отказу играть на деньги.

Коваленко слушал, раскрыв рот, а я так заболтался, что не заметил, как четвертый опустел и погас.

Маркеру пришлось за нами подниматься — у дверей уже толпились желающие, бросали на освободившийся стол жадные, нетрезвые взгляды.

Мы спустились, собрали разбросанные подростками шары в пирамиду, определились с киями — я оказался прав — подождали, пока лампы над столом вспыхнут, и начали игру.

Повторялся обеденный сценарий: я показывал неплохой — лучше обычного для меня — результат, а Коваленко ходил вокруг стола и сыпал метафорами.

Бил он по-прежнему неправильно, поэтому почти все время промахивался, но я отчего-то не хотел лезть с советами сам, не хотел строить из себя ментора и думал, что вот если сам попросит, тогда другое дело; а так все-таки неловко.

— Музыка! — восторгался Коваленко. — Вот что мне еще напоминает бильярд! Удар и глух, и звонок одновременно, по бортам шары бьются мягко, утробно как-то — чисто бас-гитара, — он опустил руку к животу и перебрал пальцами невидимые струны, — а если ровнехонько в лузу, да не задевая углов, да посильнее, так тут...

Он покачал головой не в силах подобрать слова, и в этот момент дядька за соседним столом забил именно такой шар — через весь стол, аккуратно в центр лузы, с громким деревянным стуком.

Дядька играл один, подолгу целился, и кий у него был свой, из футляра, острый и тонкий — хрупкий на вид.

Коваленко умилился.

— А если кикс, — подытожил он. — То будто, знаешь... какофония. Гвоздем по стеклу.

Я согласился — если прислушаться, то из общего шума и перестука можно было вычлениить регулярные дребезжащие щелчки, доносящиеся из разных концов зала — и закончил партию.

Коваленко выставил пирамиду, покатал по линии биток, прицелился, но потом поднялся и посмотрел на меня.

— А ведь ты обещал показать... — улыбнулся он смущенно. — Ну, как правильно руку ставить, вот это.

— А! — спохватился я. — Конечно!

И я стал его учить.

Сперва строили мост.

— Кладешь ладонь вот так... — Я для наглядности клал свою ладонь рядом с его. — Собираешь горочкой... Пальцы растопыриваешь...

Пальцы Коваленко отказывались растопыриваться, приходилось им помогать.

— Большим вот так в косточку упираешься... Чтобы кий не люфтил.

Коваленко усердно гнул пальцы — и в итоге согнул правильно, да так плотно, что, казалось, навсегда.

— По-онял, кажется... — протянул он, разобрал мост и несколько раз собрал его самостоятельно.

Машину я бы по такому мосту не пустил, но велосипедисту ничего бы не грозило.

— Я и не знал, что они так гнутся, — хохотнул Коваленко, глядя на свою ладонь — широкую и тяжелую. — А со стойкой что?

И мы занялись стойкой.

— Сперва вот так, ровно, — показывал я. — Правая рука — у бедра. Левую ногу по диагонали вперед, но вес оставляешь на правой...

Коваленко крутил носки в разные стороны, точно гимнаст.

— Ложишься на кий так, чтобы подбородок, локоть и кисть были с ним на одной линии... Можешь вообще подбородком касаться — при прицеливании.

Я прицелился к битку и ткнулся подбородком в кий. Коваленко согнулся, как кошка, и середина кия исчезла в рыжей бороде. Кряхтя, он повозил рукой, ударил воздух рядом с битком, разогнулся, согнулся снова.

— Привыкнуть надо... — пробормотал он.

— Конечно. Со временем приноровишься, подгонишь под себя. Это ж бильярд, — я многозначительно развел руками, — все индивидуально.

Коваленко понимающе кивнул, стал напротив битка, долго примерялся, ерзал, шевелил пальцами, потом долго целился, шурша бородой, и, наконец, ударил.

В общем хоре стало на кик больше.

Я поймал бредущий в сторону биток, вернул на место.

— Ничего, — заверил я. — Поначалу непривычно будет, но в результате...

Коваленко сосредоточился, закусил губу и ударил снова — пирамида нехотя раскатилась. Коваленко медленно выпрямился, почесал бороду синими от мела пальцами.

Я ударил раз, другой, на третий — промахнулся. Коваленко лег на стол, вывернул пальцы так, что мне стало за них страшно, поиграл желваками и ударил куда-то вбок, точно специально стараясь держаться подальше от лузы.

Партия закончилась всухую. Случилось то, чего я подсознательно опасался — и отчего, быть может, не хотел сам напоминать об обучении — с непривычки Коваленко утерять и те крохи результативности, что у него имелись. Сколько бы он ни бил теперь, как бы ни старался, выходило совсем плохо — из рук вон. Я как мог подбадривал, говорил, что так и должно быть, что за сменой манеры всегда следует небольшой кризис — на этих словах Коваленко кривился, как от боли, — но потом

стойка и мост «успокоятся», голова их почувствует, и точность удара, сила удара — все будет наवरстано, показатели взлетят, и игра выйдет на принципиально новый уровень.

Коваленко слушал, старался улыбаться, но видно было, что настроение его портится с каждым ударом.

А тут еще у меня, что называется, «пошло» — шары с готовностью прятались по лузам, выписывали по столу эффектные дуги, и под конец четвертой партии мне дался даже капризный «француз» — картавя, прошествовал он по короткому борту и юркнул в лузу так, словно это была не луза, а винный погреб.

Коваленко перестал сыпать метафорами и только шевелил пальцами левой руки — собирая и разбирая мост, делая его то подвесным, то блочным, то понтонным.

На лице его читалась досада, несколько раз он открывал было рот, чтобы что-то сказать, но осекался.

После очередного кикса он решил не осекаться.

— Советы твои... — он почесал бороду и выдавил из нее улыбку. — Как бы сказать... Что-то намного хуже я играть стал.

Я снова заверил его в том, что все в порядке, что так и должно быть, что Москва не сразу строилась и надо только запастись терпением, но его мои заверения не особенно-то удовлетворили — он то хмурился, то хмыкал неопределенно, то смотрел на меня слишком уж пристально.

Следующий кикс заставил его утробно зарычать.

— Я вообще, если так посудить, — он прокашлялся, сдерживая рычание, — не то чтобы часто играю, да. И... Как бы сказать...

Он поправил очки, подвигал бородой.

— На нашем, подвальном, уровне, мне моей игры более чем хватало.

Перед глазами моими встала картина: Коваленко в отчаянии мечется по подвалу, нервно стучит основанием кия в пол, целится изо всех сил, но проваливает удар за ударом под громогласный хохот друзей, которых прежде обыгрывал.

Друзья Коваленки мне представлялись как на подбор огромными, бородатыми, кто в очках, кто без них — и в подвал их обязательно в моих мыслях набивалась ужасная толпа, битку некуда упасть.

Я растерянно развел руками и загнал в лузу дурака.

— Ничего, — миролюбиво сказал я. — Ты же можешь просто играть по-прежнему, как играл. И руку ставить, и самому становиться, как раньше.

Коваленко не ответил. Перед следующим ударом он стал ворочаться, точно делал зарядку, клал руку и так, и эдак, то ложился на кий, то выгибался над ним аркой, поглядывал на ноги и что-то бормотал в бороду.

И ударил ужасно.

И бил ужасно еще несколько раз — я уже старался играть хуже и тыкал шары, не целясь, но партию все равно закончил — пока не выпрямился — багровый, с раздувшимися ноздрями.

Даже очки, кажется, запотели.

— Советы твои!

Я приготовился к дуэли на киях.

— Я теперь не могу, как раньше! — прошипел он. — Все!

Он какое-то время стоял молча и сверлил меня взглядом, полным ярости и возмущения, потом засопел — и лицо его стало принимать прежний цвет.

— Я понял... — ухмыльнулся он и скрипнул зубами. — Все я понял...

Он прислонил кий к столу и отряхнул ладони.

— Понял, конечно... Не такой я дурак, чтобы не понять.

Он постоял, кивая своей догадке, улыбаясь натужно, а потом поднял на меня глаза.

— Это из-за Катьки, да?! — выпалил он и снова побагровел. — Не смог смириться, да? Не смог?!

Я обомлел. Я замычал что-то в ответ, а Коваленко тем временем стянул с вешалки куртку, подхватил зонт.

— Понятно все... Понятно... Я курить!

И он рванул к выходу, по пути зацепив плечом одинокого дядьку за соседним столом.

— Извините! — гаркнул он.

А оказавшись у выхода, пропустил прибывающих посетителей, шагнул за порог и хлопнул дверью.

Дядька удивленно посмотрел на меня, покачал головой.

Я в растерянности обошел стол и сел на край диванчика, опершись на кий с лунным пейзажем. Дурацкая выходила ситуация, и я не знал, что думать, как к ней относиться — и даже понемногу сам начинал злиться на Коваленко, который так тонко чувствовал бильярд, но почему-то проигнорировал все мои слова о должном порядке. Я вспомнил, что и сам с трудом переучивался, что и мне первое время — пусть и незначительное — было некомфортно, что и я думал — не вернуться ли к прежней, косолапой, манере?

Бильярдная гудела, свободных столов не было, официантка скользила по залу, уворачиваясь от киев. Телевизоры, висящие один за другим под скатом второго этажа, показывали боксерский матч — по рингу, задыхаясь, прыгали двое здоровяков, махали руками в ярких перчатках, а вокруг них вился маленький рефери в белой рубашке. Мерцали вспышками трибуны, за канатами топтались девицы в купальниках, камера то взмывала над рингом, то летела на здоровяков в поисках наилучшего ракурса.

Я немного посмотрел бокс, а потом пристроил кий за диванчиком — чтоб не утащили — и пошел за Коваленко: всякое в жизни бывает, ну расстроился человек, ну придумал себе какую-то ерунду, что ж теперь.

Но Коваленки на улице не было — ни курящего, ни некурящего.

Дождь еще капал, но уже устало, по инерции — по козырьку крыльца постукивало редко, ломаным ритмом. Сквер колыхался сплошной темной стеной, и только светились на дорожках

рябые лужи. Облака нависали низко, клубились и перекатывались, но между ними чернело далекое небо и были видны мелкие, неяркие звезды.

Я, ежась, прошелся до одного угла бильярдной, до другого, заглянул — Коваленки нигде не было. Осмотрелся и крикнул в сквер, приставив ладонь рупором:

— Володя!

Ответа не было.

Я вернулся к крыльцу, достал телефон, позвонил — дружеский механический голос сообщил, что Коваленко недоступен или находится вне зоны действия сети.

Из бильярдной вывалилась шумная компания, задымила сигаретами и с песнями, хохотом исчезла в сквере. Я постоял еще немного, вглядываясь в просветы между деревьями, и пошел внутрь.

— Куда вы все ходите? — проворчал маркер, заметив меня. — Я уже стол закрывать собрался.

Я кивнул на дверь.

— Так закрывать?

— Еще поиграю, наверное, — неуверенно протянул я.

И я поиграл. Я в задумчивости, поглядывая на дверь, раскатал партию, отправил в погреб еще одного француза. Посмотрел бокс — здоровяки все также кружили по рингу — и позвонил приятелю-киноману.

— Да нет... — ответил тот. — Досматриваем уже. Потом сидеть не будем, я на вокзал поеду — брата встречать.

Брат полгода как жил в Москве, снимал однушку в двадцати минутах от метро и стремительно карабкался по карьерной лестнице в какой-то конторе. Раз в месяц он приезжал, но оставался не у родителей, а у моего приятеля и жил с ним на широкую ногу.

Договорив, я собрал шары в пирамиду, выкатил биток, прицелился, но поймал на себе взгляд из-за соседнего стола.

— Один? — спросил дядька.

Я кивнул.

— Можем, если хотите, того... Скооперироваться.

Я пожал плечами, накрыл выставленную пирамиду треугольником и водрузил на нее биток. Долго искал по залу маркера, а найдя — отвлек от игры и предложил рассчитаться за стол.

— А друг где? — спросил маркер, пересчитывая деньги.

Я только рукой махнул.

Дядька с хрупким кием оказался очень хорошим игроком — но первую партию я выиграл. Играли мы молча, дядька, обдумывая удары, чесал кончик носа, тер кий тряпочкой — чтоб не буксовал по мосту — и после промахов досадливо поджимал губы.

Я разыгрался, даже до куража дошел, но стол был не четвертый, требовал изучения — а у каждого стола, конечно, характер свой — и шары хоть и летали по нему бодрее обычного, из-за перетянутого недавно сукна, но все же капризничали и время от времени отказывались делать то, что от них требуется.

Вторую партию я проиграл, третью выиграл — а через полчаса жал дядьке руку и благодарил за компанию. Дядька выглядел довольным — победа со счетом 3:2 его, по-видимому, устроила.

Перед тем как попрощаться, я спросил его про кий — где покупал, во сколько обошлось.

— Да, кий надо свой иметь, — веско заметил дядька. — А этот... — он сдул с наклейки синюю пыльцу мела, так сдувают пороховой дым с только что выстрелившего кольца, — с рук брал, повезло.

Мы еще раз пожали друг другу руки, я снова отвлек маркера, чтобы расплатиться, влез в пальто, прошагал через бильярдную, потянул дверь и вышел.

Дождя не было, ветра тоже, сквер стоял неподвижно, окутанный тишиной — и натурально сиял: в чистом, усыпанном

звездами небе горела лампой луна, серебряный свет ложился на листву, дорожки, пяточок парковки перед крыльцом. Пахло мокрой землей. Тут и там щелкали, скатываясь, серебряные капли — но от этого тишина только казалась еще плотнее, как будто капли щелкали прямо по ней, туго натянутой.

От деревьев, от бесполезного фонарного столба тянулись густые черные тени, по их краям серебрилась трава.

Машина тоже сверкала, радостно подмигивала огоньком сигнализации. Я тихонько подошел к ней, открыл, сел за руль. Повернул ключ, панель озарилась голубым свечением — и как заиграла на весь салон, на весь сквер, на всю ночь «Дорога»:

— И пы-ылью улетала в облака! Кры-ыльями метала облака!
Я сделал потише и поехал домой.

РАЗГОВОРЫ

— Тимофеевна! — восклицаю я. — Анна, кажется, мать Митьки.

Подхожу ближе, присматриваюсь: ну, точно. Сидит на берегу, скрючилась, смотрит на темную воду Старицы¹.

— Здравствуйте, Анна Тимофеевна! — говорю я, опускаясь на песок.

Худая она — как плеть. Сидит, терпит что-то. Крепится и терпит. И лицо ее — острое, грубоватое, полно какой-то смелости, какой-то большой отваги.

— Шура! Ты, что ли?

— Я.

— Выучилась?

— Давно выучилась.

— И диплом получила?

— И диплом.

— И кто ты теперь?

— Педагог-психолог.

Я смотрю на Лысую гору; на желтый песок, образующий ее сыпучее тело. Песок беден: ничего на нем не растет, сосна только — по бокам кручи. Висит над сосной тоненький лоскут из облаков, а сквозь лоскут этот солнце просвечивает — тяжелое солнце, красное.

— Ты где живешь, Шура? — спрашивает Тимофеевна. — Давно тебя не видела, лет десять.

¹ Старица — река в Рязанской области России, расположенная по левому берегу Оки.

— Я теперь на Ямале, в Ноябрьске.

— А что там?

— Там, главным образом, муж. Он у меня газорезчик.

— Ты и замуж вышла?

— Вышла.

Она кивает.

— Детей не родила?

— Нет.

— А сколько тебе?

— Двадцать девять.

Я помню ее Митьку. Помню длинную шуршащую юбку — в ней она водила его в школу. Потом Митька пропал. В шуршащей юбке Тимофеевна искала его по всей деревне. Еще у нее были большие мягкие косы. Теперь я не вижу этих кос. И юбки нет. Платок на голове — линялый, выцветший, и платице — простейшее, без всякого рисунка.

— А я вот сижусь... дышу, — говорит Тимофеевна. — Думаю о березовых поленьях. Дед в детстве баню топил — пахло ими.

Я вспоминаю, как носила ей кутью. Я ее всем носила, всей деревне. Митьки тогда уже не было. Тимофеевна высовывала из калитки свою угрюмую голову, слушала стих про святки и протягивала мне кулек с орехами. Среди орехов попадались конфеты: кажется, помадные, «Ласточка».

— Я не любила деда, — продолжает она.

— Почему?

— Не знаю. Он заставлял работать. Грядки тяпать, у свиной мьть. Ходил по двору с палкой — если спрячусь где-нибудь, орет, палкой машет. А мне нравилось от него прятаться: встану за сарай и выглядываю — где он там ходит. Слышу, кричит: «Анчоус!» Это он так меня называл. Иди, говорит, рыбу будем коптить. У него была самодельная коптильня. Деревянная бочка на кирпичках. Он хотел, чтоб я все умела. Чтоб без него и коптить могла, и баню топить, и когда он свинью резал — чтоб

рядом стояла, крови не боялась. Кровь, помню, в большущий таз текла. Я этот таз потом в кухню перла. Дед обжаривал кровь на сковороде с салом. Я-то сало так ни разу и не попробовала. Сбегу, помню, в огород, на орех залезу и сижу. Он подойдет, протянет блюдечко: спускайся, говорит, попробуешь. Вкусно. А я сижу, ногами машу. Убери, говорю, свое сало вонючее. Может, тебе, кровяночки наделать, спрашивает. Я молчу. Не любила я все, что с кровью, — противно. А он стоит и стоит. Никак не уйдет. Иди, говорю, дед, чего стоишь. Не буду я твое сало. И колбасу не буду. А он: не называй сало вонючим. Было время, когда оно жизнь могло спасти. И смотрит... в самую душу смотрит.

Голос у нее глухой, будто из глубины леса катится. И когда она успела жизнь прожить? Не старуха еще, а морщины, вон... одна из другой лезет.

— Я, знаешь, что сейчас думаю? — спрашивает Тимофеевна. — Сильный он был. Духом — очень сильный. Дочка у него была и два сына. Сыновей убило сразу: в первый год войны. А он выжил. Вернулся с тремя дырками в животе, тощий, седой, глаза выпученные, пустые... до девяноста лет дожил.

Она делает глубокий вздох и продолжает:

— Я однажды учудила. Фотоальбом порезала. Дед в кухне потолок белил, на полу газетки. В сенях тоже газеты — стопками. Я взяла немножко, закрылась в спальне. Нам тогда в школе про родословную рассказывали. И картинка на доске висела: деревце с яблоками, в каждом яблоке фотография. Запомнилась мне эта картинка — запала в душу. Учительница наша только из Рязани вернулась: с исторической конференции. Там какой-то молодой историк за родословные говорил. Книгу свою показывал — «Семейное древо» называется. При чем книга эта — не просто фотографии предков, в ней образ жизни поколений описывался. Легенды, традиции. Даже, кажется, за домашних животных говорилось: кто каких держал.

«И вот он передаст эту книгу своим детям, — говорила учительница. — И будут дети знать свои корни. Откуда идет их род, чем он памятен...».

Я засматриваюсь на воду. На птиц, летящих у самого ее края. Жарко им — слабнут, бедные, от тяжелого солнца. Тоскливо выкрикивают свою птичью песню.

— Взяла я, значит, фотоальбом, стала головы с фотокарточек вырезать, — продолжает Тимофеевна. — Прабабку нашла, Елизавету. Крепкую такую, черноволосую: она была дочкой таманского казака. Вырезала, наклеила поверх газетки: дай, думаю, книгу сделаю. Как у того историка. Чистой тетрадки у меня не было, а вырывать листы с какой-нибудь побоялась — ругать будут. Деда нашла: молодого, со щенком в руках. Откуда, думаю, у него такие большие руки? У него руки-то — жилы одни. Посмотришь со стороны — скелет, и глядит так странно — неласково. На фотографии другой: большой, с ручищами, глаза ясные-ясные. Вырезала я дедову голову, наклеила на газетку. Так и до сыновей его добралась. Мать вырезала, отца. Не заметила, как пол-альбома изрезала. Дед увидел мою родословную, вскипел: что ж ты, говорит, сделала? Дубина стоеросовая. Это ж надо было додуматься: фотографии резать. Я ему говорю: это родословная. Нам про нее в школе рассказывали. А он стоит, белый-белый. Совсем ему невесело и глаза набухли — выкатились вперед. Это, говорю, чтоб мы знали, откуда наш род идет. Нужно только подписать, кто есть кто. Вот ты, дед, сверху: я сейчас возьму и подпишу: «Кручинин Борис Петрович». Смотрю на него — молчит. Глаза стеклянные. Палку сейчас схватит, орать начнет. И все из-за каких-то фотографий. А потом думаю: как же он без фотографий этих? Он же перед сном их всегда рассматривал. Сядет на диван, смотрит. До ночи сидит. Потом возьмет какую-нибудь, сунет под подушку и ляжет. Я у него под подушкой по несколько штук находила; складывала потом в альбом. А тут вот... головы одни теперь. На газетке.

Вспоминаю я один вечер — сумеречно, свежо. Теплые дождевые капли умирают на крупных ягодах шиповника. Я иду откуда-то из гостей; подо мной размякшая дорога, впереди старики — двое. Идут они к своим домикам, говорят за жизнь. Домики у них с резными крылечками, деревянные, невесть когда построенные. Я тогда решила, что в этих домиках особая Солотчинская² красота. Сила. Такой домик и у Тимофеевны: маленький, с голубыми рамами. И всегда в нем свет горит, даже, кажется, глубокой ночью.

— А вы там же живете, Анна Тимофеевна? — спрашиваю я. Она смотрит на меня, не поймет.

— Ну, в смысле не переехали? Дом у вас такой — с голубыми рамами.

— Там же. Куда мне ехать. И рамы голубые. Красила как-то в зеленый, не понравилось.

Я молчу.

— Мы о чем говорили, Шура?

— О фотографиях.

— Да! — кивает она.

Собирает ладонью горсть песка и продолжает:

— Смотрит дед на мою родословную и говорит: непутевая ты, Анчоус. Маленькая, а уже непутевая. Какой с тебя будет толк, если ты элементарных вещей не понимаешь? Я кинулась ему на шею, плачу... и все смотрю, чтоб у него слезы из глаз не потекли. Не плачь, говорю, дед. Мы с тобой новых фотографий сделаем. Много-много. Он смеется: ерунда какая. Где ты видела, чтоб мужик плакал? Я стою, глазами хлопаю. Как ерунда? Там же сыны его — на фотографиях. Там же жизнь — молодая жизнь, с легким сердцем. И вдруг думаю: дед же войну прошел. У него после этой войны сердце как литое сделалось.

² Солотчинская — от Солотча (Солотча — микрорайон-эксклав в составе Рязани, бывшее село).

Железное. Никогда он не плакал — не мог. Даже когда сынов своих хоронил, такой вид у него был... будто и не его сыны. Чужие будто. Стоял, волосы свои наглаживал. Как перед зеркалом. Люди кругом плакали, а он молчал. Молчал, в сторону глядел... на чужие могилки.

— А она сохранилась?

— Кто?

— Родословная.

— Потеряли где-то, когда из Аргуна в Солотчу переезжали. Дед тогда и умер, кстати. Только приехали, вещи из чемоданов повытаскивали, встали утром — а он лежит. Голова в шею ввалилась, синяя-синяя. Можешь себе представить? Во сне ее встретил — старуху эту. Не перенес, видать, переезд. Он Аргун обожал. Тот был ему родной с детства. А Солотча чужая. Он и ехать не хотел — мать моя настояла.

Она смотрит далеко-далеко — через реку словно, через леса, в окна какой-нибудь старой избенки.

— Ты веришь в бога, Шура?

Я почему-то не удивляюсь такому вопросу. Я даже задумываюсь — а действительно: верю или нет? Но у меня какой-то свой бог: он и в чашке с кофе, и в траве у дома, и в иконах на стене — в комнате, где мать шьет.

— Верю, наверное, — отвечаю я.

— И я верю. Вера — она же как вечный двигатель. Как какой-нибудь исключительный механизм. И сердце механизм и душа. Только если веры нет, заглохнет все. Мы же по земле ходим только потому, что у нас вера есть.

— В бога?

— Да в кого угодно. Хоть в голубую макаку. Нам если макака важна, у нас жизнь как малина сладкая. И радость в сердце.

Разговор у нас простой, за жизнь за смерть, а такая тоска идет — сердце надсадить можно. И ведь не люблю я подобные

разговоры — когда сердце потом надсаженное. Лежишь с таким сердцем ночью, в потолок смотришь: копаешься, в чем только можно — в каких-нибудь светлых днях, в людях, в их крепких душах.

— У нас тут часовню освятили — в честь Петра и Февронии, — продолжает Тимофеевна. — Я читала про них однажды. Крестьянка излечивает от смертельной болезни князя, выходит за него замуж, живет с ним в большом счастье до глубокой старости. Представляешь, сколько веков прошло? А люди помнят. У меня у матери даже иконка с ними была — маленькая, на холсте.

— А расскажите о Митьке, — говорю вдруг я. Говорю и смущаюсь: разве можно так — в лоб? Горе все-таки. Давнее горе, глубокое.

— Ну... — протягивает Тимофеевна. — Митька хотел плавать. Моря исследовать. У меня в шкафу его рисунки: корабли одни да подводные лодки. Он передачу Кусто смотрел. Помнишь такую? Кусто же был большой путешественник. Исследовал затонувшие корабли. Вот Митька так же хотел: в моря, в океаны, поближе к подводной живности.

— А отец?

— Митькин? — она закашлялась. — Ушел. У него и дети от другой жены родились. Двое, близнецы.

Я встаю: солнце палит невыносимо. Сейчас, думаю, прожжет тощий живот Старицы. Убьет всю рыбу, какая в том животе плавает.

— Что ты, Шура? Устала?

— Пойду, наверное. Жара адская. Вы бы не сидели тут долго — свалиться можно.

— Разве это жара? — улыбается Тимофеевна. — Жара — это когда за сорок. А тут, небось, и тридцати нет.

Она смотрит на меня внимательными глазами, провожает ими до холма. И долго еще сидит, наверное. Наблюдает реку.

От берега до дома — с два километра. Иду быстро, семимильными шагами, будто гонит кто. Внутри голос Тимофеевны — рассказывает за деда. И ощущение такое: будто я того деда видела. Будто знаю его и помню — долго буду помнить. Всегда.

Дома пахнет пирожками — отец печет. Он у меня большой любитель готовки. И печет, и жарит, и даже сам рецепты придумывает: как вышел на пенсию, из кухни не вылазит.

— Тимофеевну встретила, — говорю я отцу, разогревая на плите турку — пирожки хочется с кофе. Густым, крепким, с терпким запахом.

Он молчит.

— Это у нее сын когда пропал? — спрашиваю я.

— В девяносто третьем, кажется.

— Давно.

— Давно, конечно.

Отец вытаскивает из духовки первую партию — красота. Маленькие, румяные колобочки.

— Хорошо ей там, — говорю я.

— Где?

— На берегу.

— Она на том берегу днями и ночами сидит. Наши местные рыбачат, каждый день ее видят.

Я беру один пирожок: горячий. Дую как в детстве — отец глядит, улыбается.

— На том берегу его последний раз и видели.

— Митьку?

— Митьку. Куда делся пацан... как сквозь землю провалился.

Замечаю вдруг, что у него трясутся руки. Сам как макаронина — худой, длинный. Глаза обесцветились, просели в череп. «Постарел!» — заключаю я. Да и курит много. Боюсь за него: помню, когда училась в школе, сосед умер от туберкулеза. Курил как паровоз. Но эти курильщики... черт бы их побрал. Никого

не слушают. Курят так, будто в кармане запасные легкие: надо будет, вытащат, впихнут под ребра.

— А она одна живет? — спрашиваю я.

— Тимофеевна? Одна, конечно. С кем ей жить.

— Может, ей помощь какая нужна?

— Не знаю. Может, и нужна. А вообще — закрытая она какая-то. Скрючится, как старая бабка, глаза выпучит и идет. «Здрасьте» никогда не скажет.

Я задумываюсь; жалко мне Тимофеевну. А чего она закрытая — да черт его знает. Может, хорошо ей с этой закрытостью — легче. Хотя мы вот разговорились — никакой закрытости я не увидела.

— Надо, Шура, уметь трезво смотреть на жизнь, — говорит отец. — Не зацикливаться в своей беде. Беда у нее, конечно, страшная, большая, но жизнь — это ж не просто так... это ж зачем-то нужно.

Вечером я иду к Тимофеевне — несу пирожки. Пусть, думаю, попробует. Она таких вкусных, с опятами, отродясь не ела. Пусть попробует и за Митьку скажет — какую-нибудь интересную историю.

— Помню, ты распорол себе руку проволокой в виноградной беседке, — говорит Тимофеевна, усаживая меня в своей кухоньке. — Митька мой тебя успокаивал. На руках домой нес.

Я молчу; пытаюсь вспомнить Митькино лицо, да не получается. Ах, Митька, Митька, ну зачем же ты пропал?

— Кажется, шрам остался, — говорю я, разглядывая запястье.

— Ты не видела его тогда, Шура?

— Митьку?

Она кивает.

— Нет.

— Его Саша Чеплашкин видел. На берегу. Митька вроде как сидел, на воду глядел. Хмурый такой, тяжелый. А я думаю: разве бы он сидел? Он никогда не сидел, он, если приходил

на реку, сразу купаться шел. Его ж всякая рыбина, всякий камешек в реке к себе звал. Митька в воду шел как заколдованный... как ненормальный.

Тимофеевна наливает мне компот: сладкий-сладкий, из ежевики. Пью его и рассматриваю кухню — бедненькая она. Старый буфет с гранеными стаканами, печка с чугунной сковородой, на окошке шторка: кружевная, плотная, точно накрахмаленная.

— Мне, знаешь, место на кладбище дали. Чтоб я крест поставила, памятник, все как нужно. Дело-то закрыли.

— А вы?

— Что ж я буду пустую могилу стеречь? Живой он. Ходит где-то.

— Почему тогда сюда не идет?

— Не знаю. С головой, может, что.

— А вы ждете?

— Жду, конечно. В гроб буду ложиться, буду ждать.

Она встает из-за стола и подходит к буфету:

— Шура! Я нашла иконку!

Достает иконку: маленькую, на холсте. «Материна, — думаю я. — За которую она на берегу говорила».

— Возьми вот. Петр и Феврония. Пусть они оберегают твое семейное счастье. Мужа как зовут?

— Коля.

— Вот. Тебе и Николаю, значит.

Я беру иконку — красивая. Петр и Феврония стоят плечом друг к другу, держат белого голубя. Позади голубое озеро, купола церквей.

Ночью долго не сплю: думаю о Митьке. Вспоминаю, как он бил кирпичом абрикосовые косточки. Я стояла поодаль и смотрела. Потом он позвал меня. Спросил что-то, протянул орешек. Голос его помнится: тоненький такой, мягкий, а лицо забылось — стерлось из памяти. Что же он спросил? Лежу на кровати, думаю. Так упорно думаю, что даже встать не могу.

Но зачем мне, в конце концов, что он спросил? Я как-то даже злюсь: Митьки, может, и нет давно, а я тут пытаюсь вспомнить, чего он там спрашивал четверть века назад. Поднимаюсь с кровати, иду к окну. «Да!» — говорю себе мысленно. Он спросил, читала ли я «Дети капитана Гранта». Читала, Митька! В классе седьмом.

В окне моем куст барбариса — кисляночка, как говорит отец. Мелкие золотистые цветки, собранные в кисти. «Но что, если вернется? — думаю я. — Просто так, возьмет и вернется?»

А ночь стоит свежая, тихая. Горит ласковой синей теменью. И звезды в небе зажигают костры. Не оторваться от них — мерцают прямо. Вот бы овладеть этими звездами: залезть на какую-нибудь и глядеть в землю. Мечты мечтать. И верить, что они обязательно сбудутся. Что нет того, что может не сбыться.

ТРАДИЦИЯ

— Разжигай! — весело шепнет старик. — Ну?

Максимовна — сероглазая старуха с крепкими, жилистыми руками, тряхнет головой, хэкнет и подбросит в печь дров. Эта печь, как заглавная буква их жизни, как хозяйка, повелительница двух судеб, — горит вот уже пятьдесят лет. Глядят на нее четыре глаза — изумленно, с теплотой, и думают: а как она хороша-то... печь. И ничего лучше, наверное, русский человек за всю свою историю не придумал.

У Мамаевых традиция — каждый вечер, пока красавица топится, наблюдать за огоньком. Любоваться. Иногда в тишине, иногда под тихий, мелкий разговор. Что они там видят в своей печи — чужому загадка. Сидеть вот так могут всю ночь, а утром — Максимовна за пироги, за кисель смородиновый, а дед в сарай — карасей сушить, да с салом возиться — солить в рассоле на зиму. Смотрят в печь — как какое-то диво видят.

Порой, встретятся глазами, улыбнутся и дальше — на огонь. Традиция.

Единственная дочь Наташа не понимала этой родительской ценности. В такие минуты отец с матерью не любили, чтобы их трогали. Наташа в печи ничего особенного не видела — ей больше нравилось за книжками сидеть, рисовать. Таких домов с печным отоплением в хуторе осталось два: Мамаевский и бабки Терентьихи. Остальным не до печи: на черта эта печь, когда в хуторе давно газ провели. Но Мамаевы хату без печи не представляли: она-то — хозяйка в доме. Ни старик Федор Абрамыч, ни старуха, Полина Максимовна, а она — старая добрая печь.

И вот Наташа выросла. Наташе — за тридцать. Стариков своих навещает редко, но не забывает: звонит, шлет посылки с сибирскими пряниками, кружевными платками, книгами.

Как-то приехала она в мае. Тепло было на улице, даже жарко, и печь в доме — лишняя. Однако старики за свое: топить собрались.

— Наташа! — кричал старик, устроившись со старухой возле печи. — Иди, посиди с нами, посмотри на огонек.

Дочь головой машет — сколько она таких огоньков за свое детство перевидала... не счастье. Не привлекает ее печь, не волнуется сердце. Старики маленько обидятся, но вида не подадут: стойкие. До самой ночи будут смотреть на огонек, изредка подкидывая в печь хвороста.

И вот умер старик. Максимовна, конечно, сдала: исхудала, даже будто горб за спиной вырос, — до того ссутулилась, иссохла, что прежде милое, приятное лицо сделалось кривым, жутковатым. Наташа, узнав о смерти отца, тут же взяла отпуск, примчалась в хутор. Успела на похороны. Хоронили старика тихо: народу было человек семь. Они с матерью, поп, да соседские старухи. Наташе после похорон стыдно сделалось: как-то уж очень спокойно приняла она отцовскую смерть. Ни одной слезы не проронила. Старуха плакала громко, навзрыд, а она

сидела напротив, сжавшись в комок, как маленькая серенькая кошечка, и смотрела на материны слезы. Интересно... думала, сойдет с поезда, встретит свою старушку, — разрыдается. А оно вон как: тяжело, горько, но слезы не идут. На кладбище вообще странные мысли в голову лезли. Думалось Наташе, что хутор их облез совсем. Что внешне облез, облысел будто, что внутренне — опустел. Выгорел, окруженный частыми лесополосами, — горели эти лесополосы каждый год. Как сухая погода, так гарь по округе разлетается. Причем не только лесополосы горели: в соседних хуторах нередко прошлогоднюю траву жгли. Целые дома сгорали, поселки — страшно. И дым стоял... жуткий дым, угарный. Летом в хуторе растительность бедная, реденькая, что ни день, — жженой травой пахнет. Летний хутор наводил на Наташино сердце неисправимую тоску. Днем идешь — тишина; какая-то странность в воздухе, угнетенность. Вечером идешь — не зги не видеть, хоть глаз выколи. Куда человек делся? Пропал. Только кошки у калиток воют и воют, воют и воют. Не любила Наташа хутор. Как-то не задалась их любовь. Она мечтала жить на природе, в зелени, где-нибудь на берегу моря, где много сосен и горных склонов. А жила в Красноярске, где суровая зима и работа в школе искусств, — Наташа преподавала живопись.

— Неси дрова! — кричала старуха вечером после тяжелого похоронного дня.

Наташа насторожилась:

— Ты в своем уме? Жарко на улице, дышать нечем.

— Я маленько на огонек посмотрю и спать.

— Ложись, мама, не тарахти! Зимой посмотришь. Зима длинная. Времени будет много.

Она укрыла мать махровой простыней и легла. Долго ей не спалось: постукивало сердечко. Переживало. Мать-то к отцу сильно была привязана. Как теперь одна будет? Надо забирать в Красноярск. Нечего ей тут одной печки разжигать... так и до пожара недалеко.

Проснулась Наташа глубокой ночью — слышит, плачет кто-то, постанывает.

— Мама!

Максимовна сидела на кровати, свесив ноги.

— Ты бы разожгла ненадолго...

— Ты что это, из-за печки?

— Мне бы чуточку на огонек посмотреть. Я так не усну.

Наташа набрала в грудь воздуха — выдохнула. Оделась, побежала в сарай за дровами. Пришла, а мать сидит, ждет. Смотрит на нее, как на икону.

— Интересно, все старики такие? — спрашивала она, закладывая в печь дрова. — Со странностями?

Максимовна улыбнулась:

— Нас не будет, а огонь будет. Всегда. И все ему нипочем — ни бедность людская, ни богатства. Только мало кто его понимает. Он как будто выше — над человеком. Человек-букашка пожил и хватит, а он — вечен. И главное, посмотри, как красив. Какие у него языки... разные. То голубеньким отливает, то песочное такое пламя выходит, янтарное. Он же разговаривает с тобой, надо только научиться слушать. Он тебе и про вечное скажет, и про скорое, и про молодость твою, и про мысли несбывшиеся... он тебя насквозь видит. Приглядишься.

В печи мерцало: жиденький, оранжевый огонек вспыхнул и вырос за мгновение до густого, багряного пламени.

— Вот такая правда жизни, — добавила старуха, не сводя влажных глаз с печи.

Наташа сидела рядом и думала: а ведь никто не знает, какая она, предстоящая зима. Кому длинная, кому короткая, да и осень, собственно, никто не отменял. Наташа вдруг вспомнила материны коржики — Максимовна с юных лет пекла восхитительные коржики: они у нее получались медовые, рассыпчатые. Пекла она и пироги с брусникой, и всякие сметанники, кексы, пышки... весь хутор к ней на чай ходил. Никому

не отказывала. Местные так говорили: у Максимовны стол всегда пышный — ломится от сдобных деликатесов. А старик за эти деликатесы душу ей продать мог. До того вкусные получались — во рту таяли.

— Все дело в печке, — сказала вдруг старуха, словно услышала мысли дочери. — Мне иногда кажется, что это она — зачинщица моего женского счастья. Я в ней такие кушанья выпекала — некоторые бабы даже ходили, смотрели, как я тут с ней справляюсь. Как тесто замешиваю, на какой закваске, как угли выгребаю, руки в топку сую. Не черствели мои печные кушанья — неделями могли стоять.

Наташа кивнула: помнит. Помнит кисловатый вкус ее хлеба, помнит тульский самовар, оставшийся от деда, которого она ни разу не видела, — тот ушел на фронт и не вернулся. Старуха говорила, что у деда к этому самовару особое отношение было. Наливал он из него чай в блюдце, медленно, по капельке, и клал сверху корочку, — чтобы размокла. Жевать эту корочку мог долго; жевал и на самовар глядел. Молчал.

— Как думаешь, купит кто-нибудь хату нашу? — спросила вдруг Наташа.

— Не знаю. Земли здесь много, а хата роли не сыграет.

— Перевезу тебя к себе. Сердце не на месте. Оставить тебя здесь не с кем.

— Это всегда так, — улыбнулась Максимовна. — Молодые переживают за старых, старые — за молодых. Но ты не бойся: я у тебя старушка крепкая. Поживу еще, не помру.

— Нет, мама, ты и телефон, бывает, не слышишь. Все возле печки своей сидишь. Нечего тебе здесь делать. Настраивайся на Красноярск. Я на работе кое-какие вопросы решу и вернусь.

«Настраивайся на Красноярск» — гроыхнуло в голове старухи. Какой Красноярск, зачем? Ей здесь самое оно — самое место. Как же она отсюда ноги свои потащит... в какой-то там Красноярск.

Наташа вернулась через пару недель, — налегке, довольная, что мать под присмотром будет. Максимовну встретила во дворе. В руках не топор — топориче. Килограмм пять. А на земле — мешок дров. Наташа огляделась, ахнула:

— Ты, что сама колешь?

— А кто мне наколет?

— Что и позвать некого?

— Кого я звать буду? По пустякам всяким.

Дочь села на скамейку, пригляделась: у матери-то руки как у дровосека — большущие, мужские будто, трудом хозяйственным закаленные. Такими руками, пусть и с мозолями, дом можно класть. Ничего им не будет.

— Я соберу твои вещи, — сказала Наташа, показывая старухе билеты. — Завтра поезд. В ночь.

Максимовна вздрогнула, застонала:

— Не поеду я, Наташа. Не хочу.

Дочь опешила: смотрит на мать, как на зверя дикого. Смотрит и не моргает.

— Как так? Я и комнату тебе приготовила, и Анечка тебя ждет. Сказки будете читать, про печь ей свою расскажешь.

— Нет, дорогая. Не хочу. Мое место здесь. Я здесь с рождения — каждый пенек знаю. Мне родная хата силы придает: я на нее смотрю, и жить хочется.

— Да одумайся, мама! Случится что, кто поможет?

— А что случится? Я, слава богу, жива, здорова. Телефоном пользоваться умею.

Она собрала дрова в мешок, повязала его бечевкой и подтащила к стене.

— Не поеду. И не заставляй. Слово мое такое, как хочешь, так и думай.

Наташе тяжело было спорить с матерью: как-то не было у них такого в семье — споров. Все вопросы старались решить тихо, без криков. Слово родителей — закон. Вроде и тяжело ей — как

мать одну оставить? А вроде и понимает: не пропадет. Юркая она у нее, живенькая. Таким только кирпич на голову — и то синяком отделаются. Такие любят жизнь. И жизнь их любит.

Максимовна прожила еще одиннадцать лет. И, наверное, жила бы дальше, если б как-то в зиму не забрела в ее двор лиса: откуда взялась, бог его знает, только бешеная была. Старуха ее впотьмах не разглядела, — пошла в сарай, споткнулась, да как вскрикнет — в ушах зазвенело. Покусила ее лисица сильно: за ногу хватанула, будь здоров. Максимовна, конечно, значения не придавала: она духом крепкая, обработает ранку, бинтом повяжет, да и спать. Спустя время, не выдержала — звонит Наташе, жалуется: ногу, мол, сковало, мышцы ломит, температура высокая. Наташа вызвала скорую, а уже через час ехала на электричке в Усть-Кутский инфекционный стационар, куда забрали старуху. Она и подумать не могла, что предстоящая неделя будет последней, проведенной рядом с матерью, — через семь дней Максимовна скончалась.

Наташа и эту смерть восприняла спокойно. Без слез, словно разучилась плакать. То ли возраст с ней такую штуку провернул, то ли душа обмелела будто, высохла, и слезы для нее в диковинку стали. Вроде и больно было от старухиной смерти, горестно, но в мыслях пусто, и никак она эти самые мысли воедино собрать не могла. После похорон бродила по родительской хате, не зная, куда приткнуться: посидит чуток в кухне, оглядится, пойдет в спальню, полежит, подумает, выйдет во двор, сядет на скамейку. Вспомнит простодушное лицо отца, крепкие руки матери. Пойдет в сарай, посмотрит на мешок с хворостом, усмехнется: вот и настал момент. Она же чувствует: настал какой-то особый момент, который настает однажды в жизни каждого — ведь каждый рано или поздно теряет мать. Забилась Наташа в угол, глядит стеклянными глазами на старухин топор, которым та дрова рубила, и чувствует: давит что-то изнутри на каждый орган, поддевает острием каждую

клеточку. Страшно ей — боится она своей новой жизни без матери. Не принимает ее, не хочет впускать в свое беспокойное сердце. «Что дальше? — спрашивает себя Наташа. — Сожрет тебя твоя смута или оставит в покое?» Видится ей пустота кругом. Мрак. И тошно так... жить не хочется. Но почему? Откуда это раздражение, этот лихорадочный страх? Наташа с опаской озирается по сторонам: ей кажется, что она давно внутри пустая. С самого детства. От того и плакать не может, и радости внутри нет, и голова на плечах чужая будто, не ее.

Она пробыла в родительской хате еще пару дней. Печь трогать не решилась. Оставшиеся дрова и соленья отдала Ильиничне — материной соседке. У той дом был новее, да и выглядел лучше, — сын пару лет назад ремонт делал. Ильинична, увидев дрова, рассмеялась: «Куда ж они мне? У меня и печи-то нет — газом давно пользуюсь. Это матери твоей делать было нечего, придумывала себе занятие. Чудная была, царствие небесное». Наташа в ответ промолчала. Оставила дрова на пороге и ушла. Прибралась в хате, снесла старухины вещи на чердак, и, только оказавшись в поезде, задышала, что называется, полной грудью — покой, наконец, воцарился в ее душе. Чувство, при котором хотелось и смеяться, и плакать одновременно.

Наташа долго продавала дом. Года три, точно. Она уж и отчаялась, как однажды осенью приезжий москвич-историк, осмотрев хату, выдал: «Беру! Дачу здесь построю. Я любитель глухоманей». Наташа, конечно, обрадовалась, даже от сердца отлегло. Пусть строит хоть десять дач — удача ей, наконец, улыбнулась.

Но вот выросла Аня — дочь Наташи. Хутора она не знала совершенно; училась не в Красноярске, а в Краснодаре — там жил ее отец. Наташина мечта жить на море как-то плавно перешла к Ане — та выучилась на массажиста и устроилась в Анапский санаторий. К матери приезжала редко, больше звонила, отправляла посылки с подарками, с фотографиями

внука. Наташа, которой сейчас за пятьдесят, смотрела на эти фотографии, на глаза маленького кареглазого мальчика, и плакала: глаза эти, как огонь из детства, из той родительской печки, с того вечера, когда сидели они вдвоем с матерью посредине комнаты и смотрели на печной огонь. Мать говорила, что он будто выше... над человеком. Что вечный этот огонь-счастливчик, непоколебимый. Не верилось Наташе, что стариков ее давно нет, и печка та — всего лишь воспоминание. В такие минуты она долго вспоминала нелюбимый с детства хутор — Татищевский, или, в простонародье, Татищевку. Никогда она не думала, что однажды захочет увидеть его треугольные крыши, постоять на его сухой, скудной земле. Никогда не думала, что захочет принести из сарая дров и уложить в печку — до того ей хотелось посмотреть на тот мягкий, розоватый огонек. Слез у нее теперь было много: только подумает о стариках, только вспомнит их мудрые, влюбленные в печь глаза, — щеки уж горят, а вместо сердца внутри гиря бьется свинцовая. Смотрит она на фотографию внука и плачет. Не стесняется своих слез, не сдерживает. И думает: а ведь ее старики не стали бы плакать. Они будто из другого теста были. Из другой породы. Виделась в них Наташе какая-то особая простота, особая любовь к жизни — большая любовь, великая. Наташа убрала фотографию в стол и подошла к окну: светало. Редкие звезды блекли, темные улицы наполнялись светом. Она улыбнулась, поставила на плиту чайник. Впереди новый день, новые свершения.

«Напеку-ка я пирожков!» — решила Наташа, доставая из холодильника молоко.

Под ногами путался Борька — старый увесистый кот. Он чувствовал, хозяйка затевает что-то интересное — авось, и ему перепадет.

— Уйди, Борька, не мешай! — ворчала Наташа.

Борька поплелся в угол. Послушно лег на свой коврик и, урча, принялся ждать хозяйкины вкусности.

СЧАСТЬЕ

Ночь такая... дерзкая, светлая. Полыхает красными звездами в черном небе, льется на широкую степь каким-то тихим блаженством, радостью. Ты стоишь у реки, смотришь на мерзлую воду. Слова, звуки, мысли — все умерло. Ушло в какой-то иной, неведомый мир. Отдохни, человек, успокой нервы. Стой и слушай эту звездную студеную ночь.

— Папа! Вот ты где.

То Любка. Побродила чуть вдоль берега, пришла. Встала рядышком, поет что-то: тоненько поет, мягко. Любуешься Любкой — ты с ней как одно целое. Она и сделана с тебя: такая же худая, длинная, с прямым тонким носом и невеселой улыбкой. Глаза синющие — как маленькие ласковые волны. Семнадцать лет, а кажется, будто вчера родилась. Вспоминаешь вдруг, что хотел назвать ее Аллой. Но какая же она Алла? Любка! Мечтательная, нежная — цветок. Большая душа у цветка — чистая. Лишь бы не пропала в этом мире, не продалась какой-нибудь злой вере.

Летом Любке поступать. Ехать из степной глубинки в миллионный город. Думаешь, может, нужно поучать Любку, наставлять на путь истинный: давать советы, подбирать какие-то правильные слова относительно ее будущности. Как родитель, как друг. Однако слов в тебе ноль; стоишь, старик стариком, в воду смотришь — с болью смотришь, с ужасом. Будто завтра в могилу лезть, а ты не увидишь главного. И что оно, главное, так и не предстало перед тобой, не вразумило душу. Может, Любка и есть главное? И младшая твоя, Катя, тоже. Опустят тебя в землю, они, конечно, затоскуют. Вспомнят твою морду и скажут: добрый был. Глаза добрые, сердце, и вообще, приятный был человек, правильный. Это, конечно, хорошо, если так говорить будут. Глянешь на них откуда-то сверху, заулыбаешься. Но как же они тут — без тебя? Выстоят, выдержат,

выживут? Ну а чего б ни выжить? Дурья твоя башка. Стой, вон, сигаретку кури, вдаришься вечно в свою философию, хмурый потом ходишь. Щуришься, шаридь по карманам: должна быть, в конце концов, сигарета. Нету. Выкурил последнюю, когда с Любкой к берегу шел. Она, собственно, не собиралась к берегу. Хотела на качелях во дворе посидеть. А ты ей — в ночь над речкой такое небо... Звезды такие — как алмазы светят. Будто над селом другие. Не из газа будто, а из слоеного теста. Нет, тут все главное, — думаешь ты. И Любка с Катей, и речка, и степь вокруг родного села — самая милая, самая близкая сердцу степь.

— Тихо как, — с волнением говоришь ты. — В ушах от такой тишины звенит.

Любка молчит; лепит из снега фигурину — увлеченно так, руки горят. Только у фигурины почему-то один глаз. И вообще непонятно, что она такое. Может, Любка ее сама выдумала. Она выдумывать мастер. Ведет какие-то дневники, стихи пишет — стихи, но без рифмы. Как же это... белый стих. Ты, например, благодаря Любке про Ахматову узнал. Нет, ты, конечно, слышал, что была такая Ахматова, но что она белый стих писала — это тебе Любка поведала. Даже прочла какой-то — ты сидел у окошка, слушал. Любка каждый вечер с книжкой: с ахматовскими брошюрками. Спит с ними, ест, утром, когда проснется, первым делом за брошюрки думает — проверяет, на месте ли. Будто ночью змей из-под кровати вылезет, в пасть их себе забросит. В один миг прославленные стихи сожрет.

— Помнишь, летом трехглазую рыбу выловили? — спрашиваешь ты, вглядываясь в реку.

— Помню, — отвечает Любка.

— Вот какие мутации идут. Мы на первом месте по онкологии, по смертности.

— На каком первом месте?

— В крае.

— С чего ты взял?

— В интернете вычитал.

— Мало ли что пишут. Верить всему.

Она делает фигурине зубы — одноглазая голова смеется. Любка хлопает в ладоши, как маленькая девочка, и ходит вокруг нее вприпрыжку.

— Это что? — спрашиваешь ты.

— Где?

Ты указываешь пальцем на голову.

— Миньон, — улыбается Любка.

— Миньон?

— Ты что мультик не видел?

Миньон смотрит на тебя, как на дурака, — Вася, Вася. Ахматовых не читаешь, миньонов не смотришь... картошку с селедкой трескаешь, бороду отращиваешь — вот и вся твоя жизнь.

— Почему у него один глаз?

— Так задумано.

— Кем?

— Так задумано, пап: одни миньоны одноглазые, другие двуглазые. Все желтые, и говорят смешно. Это, например, Стюарт. Очень милый и вечно голодный.

«Стюарт, — думаешь ты. — Миньон». Любка сдувает идущий снег с головы Стюарта — это, наверное, чтоб ему глаз не засыпало. Чтоб вас хорошо видно было.

— Так я, Любка, о чем говорю, — продолжаешь ты, отворачиваясь от Стюарта. Трясет тебя и сердце бешено: будто волки кругом лютые — набежали из дремучих лесов, пасти скалят. А ты против них сухой, мелкий, мяса в тебе немножко, да в два счета разорвут, только пальцем щелкни. — Гибнет речка. Скоро в ней ни одного бычка не останется, ни одного карасика.

Становишься к Любке ближе и говоришь громче, основательнее, будто ты не Васька Саликов, а большой человек с большой земли и ум в тебе как у гения — недюжинный и развитой:

— Я тут исследование читал — месяц над ним сидел. Про село наше, про реку, про край в целом. Его доктора наук писали — несколько лет назад. Заслуженные, почетные, один даже три института окончил. Так вот пишут эти доктора, что вода в нашей Суре экстремально грязная — ее на пробу брали. Пятый класс загрязненности. Сечешь? Нефтепродукты в ней, тяжелые металлы. А все из-за чего?

— Из-за чего?

— Завод усердствует — химикаты в атмосферу прет. Деревья губит, раковые клетки плодит. У нас, Любка, краснокнижные растения имеются. Ковыль, к примеру. Смотришь на нее: трава травой, пустяковое растеньице. А тут вдруг — Красная книга. Но там особый ковыль: красивейший. Это у которого стеблей много и цветки шелковистые такие, пышные, как облачко. И маки у нас редкие есть. С лиловыми лепесточками. Не помню название, но тоже краснокнижные. Жалко ведь... дышат всякой нечистью. Воздух-то у нас грязнуший: с него тоже пробу брали. Анализ делали. Серы много, оксиды всякие. А сера это не пыльца какая-нибудь — нюхать ее. Она же виноградники губит. Поля, пастбища. Она если с воздухом взаимодействует, какую-то опасную кислоту образует. А я, Любка, не хочу кислотный воздух... не хочу, чтоб у нас тут мертвое все было, — как в пустыне.

Замолкаешь — глазами дикими в небо смотришь. Будто с неба того пришельцы спускаются. Говорят чего-то на своем пришельческом языке, пальцы тянут нечеловеческие. А что, — думаешь ты. Шли бы они сейчас мимо, ты бы и рад был. Все лучше, чем заводы и рыба с мутацией. Глядел бы на их лысые головы, рукой на берег указывал: глядите, мол, в какой красоте человек живет. Это вам не какая-нибудь каменная планета. У нас тут жизнь и красота.

— Это большое горе — когда вот так, — горячишься ты. — Нехорошо, когда человек гадит столько. Все у него миллиарды

на уме — выгода. Тут же в чем вопрос: еще завод строить хотят. Рядом совсем, в ста километрах. С одним бы разобрались: то у него цистерны взрываются, то горит чего-нибудь. Один раз так горело, глаза резало. Черный дым валил: густой и смрадный. Цех какой-то рванул — середь бела дня. Про это даже в газетах писали, помнишь? Название такое сильное было... «Яды движутся по небу». Вот.

— А какой строить хотят? — спрашивает Любка.

— Завод?

Она кивает.

— ГПЗ. Газоперерабатывающий.

— Точно. Я по телику слышала, этот завод нам рабочие места даст. И санаторий построит с соляной камерой — для укрепления здоровья.

Молчишь немного, смотришь на Любку: легкий у нее взгляд. Легкий, воздушный — как птичка смотрит.

— Я думаю: нам же тут жить. Нам, может, внукам моим — кто знает. Я, Любка, в том исследовании вычитал, что мы имеем право на референдум. По строительству завода. Что у нас и палата общественная есть, и какое-то там охранное ведомство — куда жалобу писать можно.

Вспоминается тебе давнишнее лето. Маленькая Любка — как купал ее в Суре, лил на редкие волосики воду из игрушечной лейки. Любка хихикала и била ладошками по воде. И только-только начинала говорить.

— К председателю пойду. В общественную палату.

Любка молчит — елозит ногой по снегу.

— Хоть бы сказала что — мысль какую подала.

— А что тут говорить? — удивляется она. — Двадцать первый век. Заводов на земле тьма тьмушая. Живут же люди.

— Живут, — повторяешь ты.

Она делает шаг в сторону поселка.

— Куда, Любка?

— Домой.

— За себя-то надумала?

— А что мне думать?

— В хирургию свою идешь?

Любка машет рукой:

— В училище пойду. На повара.

А глаза у самой бешеные, того и гляди, выпрыгнут. Белая вся, как неживая.

— Зачем в училище? Ты же с малых лет вся какая-то врачеваная. Кукол на диване разложишь, бабкиными спицами животы им режешь. Моешь спицы, складываешь в тряпочку, берешь нитки — зашиваешь будто. У тебя на лбу написано — белый халат.

Любка уходит — быстрый у нее шаг, нервный. Шагаешь следом. Проходишь немножко, оглядываешься: миньон Стюарт остается на берегу. «Сейчас солнышко пригреет, растает, — думаешь ты. — Там с воскресенья плюс обещали». Остановливаешься, смотришь зачем-то на этого Стюарта: черт знает что за существо, но что-то в нем есть. Надо глянуть мультик. Совсем уж ты кочерыжка, Вася: ничего из того, что молодежь смотрит, не знаешь. А они, может, поучительное что смотрят. Со смыслом. Надо вникать в это дело... смотреть чего-то, книги читать. А то ты книгу берешь, когда в нее тыщу прячешь — на какой-нибудь черный день. А читал последний раз «Коровку из Кореновки» — состав йогурта. От нечего делать, пока жену в магазине на кассе ждал.

Прешь за Любкой, вспоминаешь, что хотел быть астрономом. За телескоп думаешь — хорошенький такой, в деревянном кейсе. Тебе его дядька на день рождения дарил. На восемь лет. Вез его с Камчатки долгие дни в поезде. И потом за камчатские звезды рассказывал: что они как в Альпах — крупные и падают без конца. Особенно хорошо смотреть на то, как они падают с гор. Осенью, лежа в спальном мешке. Дядьке твоему повезло:

он был в Альпах. Каким-то чудесным образом он был и в Альпах, и на Камчатке, и по сибирской тайге гулял — веселую жизнь жил. Вспоминаешь его круглую физиономию и сильные руки — то, как ловко он этими руками телескопом орудовал. Нажмет чего-то, покрутит: готово. Иди, говорит, Василий, небо покажу. И ты идешь. Только сроду тебя Василием никто не звал. Васюней звали, Васильком. И только он один — Василием. Подходишь к телескопу, а глядеть боишься. А дядька тебе: смотри, смотри. Не дрейфь. И ты смотришь: на небо смотришь, на звезды — вздыхаешь и охаешь. Телескоп потом на плече по всему селу таскаешь: хвастаешься. Тяжелый он и плечо болит, а ты все ходишь по улицам, в глаза мальчишкам заглядываешь — болтаешь им, что ночью лунный кратер будешь смотреть. А они рты пораскрывали, стоят: не видели они никакого кратера. И звездочек в телескоп тоже. Ты идешь мимо них и думаешь, что кратер специально для тебя создан. Чтоб ты его в телескоп смотрел. Изучал, каждую его трещинку высматривал. Вырастешь, станешь большим ученым — будешь законы Вселенной знать. Солнце будешь в упор рассматривать, какую-нибудь звезду откроешь. Назовут ее твоим именем — засияешь, до неба взлетишь. И самый счастливый будешь. И все невзгоды, все злосчастья переживешь.

— Что за привычка по ночам гулять? — спрашивает жена, когда вы с Любкой домой заходите.

Молчишь. Ты молчишь, и Любка молчит. Вешаешь пальто, плетешься в кухню. Жена за тобой. Делает бутерброды с соленым огурцом, ставишь чайник.

— В мед пойдет. В хирургию, — говоришь ты. Громко говоришь, твердо, и на жену смотришь — на Соню свою.

Соня садится на скамейку у стола. Важная, красивая, крепкая — глаза сверкают.

— А жить на что? — изумляется она. — Ну, поступит, а комнату снимать, кушать? У тебя весь заработок — автобус

до Петушков катать. Круг туда, круг обратно. А твоя хирургия, Вася, — восемьдесят тысяч год.

— Я на бюджет поступлю, — говорит Любка. Тихонько, спокойно, и в дверях стоит — Соне твоей в глаза смотрит.

— На бюджет! — кривляется Соня. — Там бюджетов этих по пальцам сосчитать. И те, небось, куплены.

— Сейчас в рассрочку можно за обучение платить, — встречаешь ты. — По договору.

Смотришь на бутерброды — не лезет тебе кусок в горло. Ничего не лезет — даже обычная вода не идет.

— Да ты глянь на нее, Вася! Какой у нее характер? Хирурги — они же крепкие. Они же с выдержкой, с идеей, а эта что? Совсем уж она у нас как кисель.

Кисель стоит, слезами давится: так и хлынут сейчас на пол, дом зальют.

— Я поваром семнадцать лет работаю. Мечтала, конечно, в детстве — танцевать хотела. В балетную школу ходить. Только какой с меня балет? Ляжки как у курицы и руки-крюки. Умелые только что — это да. Я ими любое блюдо делаю — с закрытыми глазами. Два года отучилась, практику в воинчасти прошла и на работу вышла. Повар, Люба, ходовая профессия. Везде нужен: и в садике, и в школе, и в кафе — всегда на него спрос есть. Какие продукты остаются, он домой берет. В садике, например, дети как цыплята кушают — неужели то, что останется, на помойку вылить? Всегда у тебя в холодильнике мясо будет. Творог, масло — всегда. И потом: на хирургов по шесть лет учатся. Это ж с ума можно сойти, зачем так долго?

— Медики все так учатся.

— Ты подумай: кулинарное рядом все-таки. Да и балы сумасшедшие не нужны — по тестам твоим егэшным. Ты же любишь готовить: мяско у тебя на ура идет. Тарелочку украсишь, нарисуешь что-нибудь — всегда твое блюдо интересно есть. У тебя

в кулинарном пятерки будут... за оформление. А хирурги — это сложно. Это анатомия. Им же про каждую клеточку надо знать... про каждый орган.

— А, может, ей нравится анатомия.

— А мне Безруков нравится. И что?

Безруков, это который Сергей, — думаешь ты, — который Иешуа в сериале про Маргариту играл. Думаешь и улыбаешься: не такая уж ты кочерыжка. Маргариту видел, за Булгакова помнишь. Ты даже в юности его повесть про собаку читал: где она в человека превращается. Хорошая повесть, только человек-собака не понравился — буйный слишком.

— Каждый со своей колокольни смотрит, — строго говоришь ты.

Говоришь и бросаешь взгляд на Любку: чего ж она в дверях топчется? Указываешь глазами на стул: садись, мол, доча, не дрожи как лист осинный — не сожрет тебя мать, и таланты твои хирургические никуда не денутся. Хочешь болячки вырезать — режь.

— Решилась, пусть идет, — добавляешь ты. — Решиться это тоже — ответственно. За это потом жизнью отвечать. Годами.

Берешь сигареты, идешь на улицу. А снег-то — мама родная. Валит и валит, крупной ледяной в глаз бьет. Стоишь на ступеньках, куришь. За завод думаешь, за Суру. За председателя, с которым про референдум говорить хочешь. В доме вдруг гаснет свет — расходятся твои по комнатам. Расходятся, тебя не ждут.

Эх, Сура! — вздыхаешь ты. — Понастроят, конечно — двадцать первый век. Все будут строить: ГПЗ, МПЗ... до неба скоро строить начнут. Лишь бы не убили тебя — не измельчили. И рыбка чтоб плавала. И вода чтоб чистая была, как серебро. И много чего еще хочется... над этим, знаешь, целую ночь думать можно. Счастья хочется: чтоб аж выворачивало. Дышалось с счастьем, ходилось — легко жилось.

Память рисует детство. Кейс деревянный, дядьку... комнатку с желтой лампой — где мать тебе колыбельные пела. Где ты небо синее в телескоп глядел. Найти б его — железку старую. Тоскует где-нибудь, давно ни в какое небо не смотрит. Возвращаешься в дом, ищешь. Кладовку смотришь: телескопа там нет. В сарае, может? А что в сарае? Деревяшки, мышеловки, шланги... краска какая-то — десятилетней давности. Может, и телескоп там. Под деревяшками. Стоишь, с ноги на ногу переминаешься: в доме где-то. Ты точно помнишь, что в доме... В гостевой! — щелкает в башке. Там в уголке старенький комод — с дубовыми дверками. В этом комодe он и лежит. Аппарат твой космический. Ты его сам туда убрал, когда Катя родилась. Он раньше в спальне у шифоньера стоял. Шифоньер подвинули, поставили Кате кроватку — на черта рядом с кроваткой телескоп? Вот ты и убрал — освободил место. Открываешь комод — лежит. Запылился, конечно... что ж. Меньше как будто стал... легче. Раньше тяжелый был, громадный, а теперь как кирпичик — взял, прямо, и понес.

Замечаешь вдруг трещину на окуляре. Какая ж будет луна, если через трещину глядеть? Задвоится ведь... мутная будет. Пробираешь смотреть — и впрямь, двоится. Тусклая картинка, куда ни глянь. Откуда же эта трещина? Не было ведь — никогда не было. Но это ладно: поменяешь окуляр. Интересно, что не дрогнуло ничего — внутри. Не осталось ничего от астронома Васи Саликова. Нет такого, и не было никогда. Но как же ты жил столько и не знал, что телескоп с трещиной? И, главное, Любка в твой телескоп ни разу не глядела. Ни Любка, ни Катя. Ни разу ты им за свою детскую мечту не рассказывал. Вертишь телескоп в руках: надо менять окуляр. Менять и на звезды смотреть — на их золотые платья. И такая тоска внутри — буд-то ты среди звезд родился. Родные они тебе, а ты их так просто из сердца выкинул. Просто и в никуда.

Бродишь по дому как привидение. В спальни заглядываешь — спят. Любка, Соня, Катя — красивые, наверное, видят сны.

Моря синие, сосны зеленые... Камешки, ракушки — и ветерок шумит. А в доме твоём тихо. Чертовски тихо.

Твои постаревшие руки гладят его немые стены.

Ложись, человек, не думай. Завтра ещё будет ночь — а там ещё и ещё. И снег будет, и дождь, и вода в блестящих лужицах. И звездное небо будет светить твоим крепким мыслям.

ШУРИК

— Шурик! Поди сюда!

Шурик идет: элегантно идет, будто его на сцену попросили выйти.

— Пятерку хочешь? Дополнительно к своему заработку?

— Хочу.

— Коров моих будешь пасти?

Шурик покрутился на месте, поерзал ногами по черной земле.

— Сначала посмотреть надо.

— А чего на них смотреть? Коровы как коровы.

— Я сначала посмотрю.

Семён Геннадъич, известный в деревне ветеринарный врач, уставился на Шурика. Шурик пасет давно: давно и справно. Он и в агрохолдинге «Аванград» пастухом числится, и в мелком фермерском хозяйстве скотником подрабатывает, и своим деревенским не отказывает: если кто просит пасти — пасет. Маленький тощий Шурик с какой-то недюжинной силищей внутри. Мать ему после школы что только не предлагала: иди, сыночек, в механизаторы. Отказался. Иди технологом на птицеферму — «не мое». Если так любишь животных, иди в зоотехники, обучат — кривляется. Носом крутит.

— Я, — говорит, — буренок буду пасти.

И все на этом. Стоит, крутит в руках самодельный кнут из резиновой транспортной ленты. И охота ему в пастухах ходить?

Сутками с луга на луг прыгать. Видать, сердце просит. А он, в силу своей мягкотелости, этому сердцу отказать не может.

Сидел как-то Шурик в ванной, чистил щеткой свою рабочую куртку. Слышит — кто-то в дверь стучит. Даже будто его зовет. Только не Шуриком, а Сашкой. Давно его так никто не звал. Ему даже интересно стало: кто ж там такой нарисовался?

— Ленька! — крикнула мать, впуская на порог гостя.

«Ленька» — отозвалось в шуриковском сердце. Одноклассник его, друг. Давно он его не видел. Года три.

— Проходи, проходи! — слышал Шурик. — Красивый какой стал.

Шурик решил подождать немного: сразу Леньке на глаза не показываться. Он стал думать, куда тот пропал — не писал, не звонил, не ехал. Чем таким был занят, что друга детства позабыл.

Мать Шурика провела Леньку в кухню, усадила за стол. Щелкнула чайник, сыпанула в вазу конфет. Села и долго вглядывалась в Ленькино лицо. Умное лицо, смелое. Ленька, конечно, не Шурик: пиджак на нем такой интересный — из гладкой шерсти. Вообще, не пиджак, смокинг — черный, с атласными лацканами. На шее красная бабочка. Брюки со стрелками, на руке часы, — широченные, переливаются. Хорош Ленька! Как король, как какой-то аристократ из прошлого — до того идет ему черный смокинг, до того он его красит. Пахнет от Леньки крепко. Дорогой запах, терпкий. Матери Шурика нравится.

— Ты к нам надолго? — спросила она, любуясь Ленькой.

— На неделю.

Мать кивнула. Сунула ему под нос конфету, улыбнулась.

— С моим-то чего, поссорились?

— Да нет вроде.

— А что пропал?

Ленька развернул конфету, съел.

— Работы много.

Мать Шурика выпрямила спину, блеснула черными глазами.

— Ты в Брянске? Помощником юриста устроился?

— Да я уж сам юрист, — улыбнулся Ленька. — Нас вообще пятеро — два адвоката, три юриста. Консультации даем, иски пишем.

Она тоже улыбнулась — хоть не ее это сын, а гордость за душу брала: на ее глазах вырос.

— А ты юрист по какой части?

— Гражданское право.

— Это хорошо, — понимающе сказала женщина. — Это нужно.

— Ну а Сашка, что? В механизаторах?

— Нет, — с тоской ответила мать. — Буренок пасет. Просто-та моя деревенская.

Ленька чуть сдвинул брови. Он знал Сашку с детства, потому сильно не удивился. Тот всегда следовал за своей душой — куда прикажет, родимая, туда он и идет. Ему в работе какое-то вдохновение нужно было, какой-то особый смак, так, чтобы не просто денежки иметь, а удовольствие получать — большое удовольствие, редкое.

Мать Шурика пустила слезу: сжалась в комок, затряслась. Смотрит отчаянными глазами на Леньку, плачет. А Шурик, между тем, приоткрыл дверь в ванной, слушает. Очень ему интересна беседа матери с Ленькой.

— Это прямо беда какая-то! — жаловалась мать. — Тридцать лет пацану, а он за коровами таскается. Его знаешь, как в деревне зовут?

— Как?

— Буреночником. Вон, говорят, буреночник идет. И ржут. Он же свой труд за труд не считает. На него повешали этих голов — мама дорогая. Пасет круглосуточно, света белого не видит, а имеет копейки. Мне, говорит, хватит. А что хватит? Кобылу содержать надо? На которой он их на пастбище гонит.

Надо. Дом содержать надо? Надо. У нас ведь тоже — и корова, и куры. И земля, вон, только стой да паши. Но что же это за работа для мужика — пастух?

Ленька смутился. Что-то грустное было в его смущении — он хотел помочь этой женщине, но не представлял как. Он знал, что Шурик — славный малый. Мухи не обидит, всякому с его бедой поможет. Но он как-то не видел его, скажем, в городе: за бумагами, и чтоб люди вокруг. Говорить Шурик не умел, а в работе с людьми коммуникация — важнейший элемент. Простой Шурик. Простой донельзя. Может, потому и профессию такую избрал — скромную. Подальше от людей, поближе к природе.

— В пастухи, Ленечка, убогие шли, — продолжала мать. — Калеки какие-нибудь, сироты. Их и за людей не считали. Я даже поговорку слышала: «Есть три невольника на свете: пастух в поле, зять в доме и собака на цепи». Вот так!

Ленька молчал — не мог понять, чем на такие мысли ответить. То ли за друга вступиться, то ли мать поддержать.

— Вот ты помнишь нашего прежнего пастуха?

Он нахмурился.

— Ну, дядьку Гордея. Рябого такого, с бородой.

— Помню.

— Так он почему пастухом был? У него нога дергалась. С рождения. Да и человек он такой был... как это сказать... умственно не сильно развитый. С детства коров пас. Правда, до ста лет дожил, веришь?

— Дух, наверное, крепкий был.

— Наверное. В том году его похоронили. Только сотый день рождения встретил, да подхватил где-то менингит. Через месяц-другой и умер.

Шурик, слушавший все это время их разговор, показался в кухне. Ленька встал. Шурик, правда, к нему не подошел. Поздоровался, сел напротив.

— Я вообще-то оператор-животновод, — строго сказал он.

— Чего? — не поняла мать.

— Ну, ты все твердишь, пастух, пастух. По-правильному — оператор-животновод.

Он с интересом смотрел на Леньку; красивый у него друг. Тридцать лет, а ни одной морщинки. Шурик даже позавидовал; заглянул в глаза, а там такая твердость, такая выдержка, что и смотреть невозможно. Плюхнулся Шурик на стул, смотрит — чай один. Хотелось чего-то крепкого, так, чтоб жар по телу. В холодильнике была водка, но доставать ее при Леньке он не решился.

— Нравится тебе в Брянске?

— Нравится, — сказал Ленька. — Ты извини, что пропал, — совсем замотался. Как-то и времени не заметил: с этими судами забыл, какой год.

— Ничего. Я и сам пропал.

— Не тянет тебя в город, Саша? К людям, в общество?

Шурик усмехнулся:

— Я целый день в обществе. С рогатыми только, у которых бирки в ушах.

— Тяжелая работа. Устаешь, небось?

— Не сильно.

Шурик сник: не понравилось ему, как мать о нем Леньке отзывалась. Будто он не человек, дерево. Будто у него ни желаний собственных нет, ни целей.

— Пойду, переоденусь, — мрачно сказал он.

Вышел, а сам за дверью стоит. Думает. Не хочется ему в кухне сидеть. Ни Леньку видеть не хочется, ни мать.

— Ну, пасет-то он хорошо? — спросил Ленька.

— Хорошо, — вздохнула мать. — Он, дурачок, верит, что в его пастушьей палке сила какая-то. Потому его коровы и слушают. Мол, есть в этой палке какое-то свойство: поставит он ее в землю, нашепчет что-то и спокойно спит. А коровы тут же, при нем — никуда не денутся.

— Может, это талант такой? Не каждый с животными общий язык найдет.

— Какой талант? — посмеялась мать. — Много ума надо, стадо гнать с одного пастбища на другое.

— Все равно. А если, например, заболит корова — она же агрессивная становится. И боднуть может. Сашку не бодали?

— Ни разу. Он с ними разговаривает. Говорит, к каждой корове подход нужен. Лучше бы он к бабам подход искал. Ни одной на горизонте нет.

Шурик совсем закипел: стоит, чувствует, как сердце кровью обливается. Трясет его от раздражения, распирает. Шурик и не думал, что он такой чурбан. Жил потихонечку, пас буренок и как-то не задумывался, что жить надо глубже, интереснее.

— Он себя героем считает, — сказала мать после долгого молчания.

— В смысле?

— Говорит, от него зависит удой буренок. Людям ведь какое молоко нравится? Жирненькое, густое. Такое молоко не каждая буренка даст. Такое молоко бывает, когда корова хорошо питается. И клевер ест, и мятлик, и подкормку зеленую. Вот он и старается. Хорошо выпасет — корова даст отборное молоко. Сядет он потом в кухне, попробует это молоко и сидит как блаженный. Смакует. Ему за такое молоко спасибо говорят. А он уши развесит, слушает. Гордится сам собой. Лучше б денег больше просил. Лучше б жизнь свою устраивал. По-хорошему, по-людски.

Шурик ушел. Далеко ушел. Мыслей у него теперь было много. Решил он делиться этими мыслями с апрельским небом. Где-нибудь в поле, где кроме цветущей гречихи и облаков — никого.

— Ну, где он? — спохватилась мать. — Пойду, разыщу.

Она прошла по двору, заглянула в огород — пусто.

— Обиделся, небось. Сбежал.

— Я пойду, Зоя Ивановна, — произнес Ленька, вставая из-за стола. — Мне еще к отцу заглянуть нужно.

— Иди, конечно.

Она не хотела отпускать его. Хотела еще потолковать — выговориться по полной.

— Заходи к нам, ладно? — говорила мать Шурика, провожая Леньку до ворот. — Мы тут совсем одни. Никто к нам не ходит.

— Совсем никто?

— Ну... Галка может зайти, сестра двоюродная. На кофе. А так... кому мы нужны?

Ленька приобнял ее:

— Спасибо за чай, Зоя Ивановна.

— Не за что. Вытаскивай его отсюда.

— А?

— Шурку отсюда вытаскивай.

Ленька смутился:

— Как же я его отсюда вытащу?

— Ну, придумай что-нибудь. Работу предложи.

— Так у него и образования соответствующего нет.

— А какое нужно?

— Юридическое.

— Ну не обязательно же в юристы идти. Может, вам кто другой требуется?

Ленька пожал плечами:

— В бригаду к застройщику могу устроить. Каменщиком, например.

— А получится из него каменщик?

— Не знаю. Тут все от желания зависит.

— Ясно. Ну, иди, иди. Топчешься.

И Ленька пошел. Поправил свой черный смокинг, вдохнул вечернего воздуха и направился к отцу.

А Зоя Ивановна стояла у ворот. Все о чем-то думала, размышляла. Потом вдруг присела в тени боярышника и выдала:

— Проклятая жизнь!

Расплакалась. Вспомнила, что рано овдовела. Что собиралась родить троих, а родила одного. Что хотела языки учить, по Парижу кататься, а была обыкновенной птичницей — ухаживала за курами. Как-то и не нашлось у нее времени для языков. Не получилось из нее заграничной дамы.

Ночью вернулся Шурик. Она слышала, как он хлопнул дверью. Слышала его тяжелые шаги. Шурик потоптался в кухне, пощелкал светом, да пошел к себе. Мать решила посмотреть, спит или нет. Заглянула тихонько в спальню, а он сидит — рубашку зашивает.

— Не спится? — спросила мать, стоя в дверях.

— На конюшню собираюсь.

— А что там делать?

— Малыша кормить.

— Кто ж ночью коней кормит?

— Я не ночью, я поутру.

— Выспался бы. Уйдешь ни свет ни заря, целыми днями тебя нет.

— Ну, нет и нет. Проблема что ли? Сиди, вон тряпки свои шей.

Она обиделась.

— Так, может...

— Работаю я! — отрубил Шурик. Надел в спешке защитную рубашку и вышел.

Его Малыш был американской породы Квотер Хорс. Шурик, заходя в конюшню, зачерпывал ведром из бочки овса и скорей к Малышу — дать полакомиться. Потом чистил его щеткой. Как говорил, не для чистоты, а для отношений. «Конь так к ласке привыкает, — считал Шурик. — Знает, что хозяин его обрабатывает, но, главное, — слушать будет».

А ночь была сказочная. Звезды, как фонари с неба светили. Нравилось Шурику, что он один идет по деревне: все спят,

ни одно окошко не горит, а он идет... смотрит в глаза ясной проникновенной ночи. Он позабыл любые проблемы, выкинул из головы малейший пустяк. Он как царь, как хозяин этой ночи — идет вперед по дорогам своего царства, любуются спящими домиками. Все вокруг отходит на второй план, делается маленьким, второстепенным, а он большой, и мысли у него большие. Он чувствует, как бьется его пульс, как приятный холодок бежит от затылка до пят...

Скоро конюшня. Скоро Шурик шагнет в новый прекрасный день.

ПОБЕДА РАЗЫ

Целый год ждали жители Кахана праздник Весны. И вот, наконец, главная улица расчищена от мусора, лучшие платья аккуратно заштопаны, на поясах блестят кинжалы. Народ столпился у обочин, теснимый стражниками. У верхнего края улицы показалось шествие: с песнями и танцами шла молодежь Кахана, в венках из душистых горных трав, в белых рубахах. А следом, следом — то, ради чего все собрались: следом сам Царь и четыре Наследника плавно плыли по воздуху. Народ в священном трепете падал на землю, прославляя своего владыку, а стражники зорко следили, как бы чего не вышло. Но люди были исполнены радости и обожания. Они видели чудо: чело-века, летящего по воздуху! Только те, в ком течет царственная кровь, способны летать. Оттого они и спускаются лишь раз в год с Золотой горы, из роскошных дворцов. Оттого они и правят народом Кахана — может ли быть иначе?

Вечером у реки устроили игры и танцы. Самые видные парни окружили красотку Юнну: лучшего танцора она пообещала поцеловать. Парни лихо отплясывали один за другим. Вдруг, под общий хохот, на середину хоровода выскочил Раза — совсем еще мальчишка. Но самомнения ему было не занимать! Он сердито сверкнул глазами и понесся в диком танце, да только на втором круге споткнулся и повалился прямо под ноги Юнне. Насмешки и свист послышались со всех сторон. «Мал ты еще!» — хмыкнула Юнна. Раза вскочил, сжимая кулаки, и помчался в темноту. «Можешь не возвращаться!» — кричали ему вслед. «Правильно, и ты иди, вытрешь ему слезки!» — а это кричат,

конечно, Енхе — названной сестре Разы. Тихая и преданная, Енхе никогда не оставляет своего заносчивого брата.

Раза сидел на скале, швыряя камни в реку.

— Так неправильно, Раза, — робко сказала Енхе, — ты не можешь во всем быть лучшим. Надо уметь проигрывать! Пойдем, попразднуем еще!

— Можешь без меня учиться проигрывать! — надменно ответил Раза и встал во весь рост.

Енхе вздохнула. Брат умный у нее и красивый, но как же зазнается! А парни и девушки за это его отвергают. Или, может быть, наоборот?.. Раза был другим с самого начала: ведь он чужестранец, из дальнего края Даг-Ыле, о котором слагают сказания.

...Раза появился в Кахане в страшный, голодный, засушливый год. Тогда отец Енхе повел отряд за дальний перевал, в невиданный и богатый Даг-Ыле — за помощью. Но вернулись мужчины без хлеба и скота: первым и последним их трофеем стал маленький мальчик, найденный на пепелище. Раза единственный уцелел в страшном пожаре, который поглотил Даг-Ыле. «Он будет тебе братом», — сказал отец, спуская его на пол в кухне.

— Они еще узнают!

Енхе очнулась от своих дум и подняла глаза на брата. Раза загадочно улыбался.

— Они правы: плясать я не умею. Но зато могу такое! Смотри — тебе единственной покажу. Только никому не слова: это тайна! — Раза разбежался, подпрыгнул на краю огромной глыбы. Енхе вскрикнула. Но брат не упал: он плавно спускался на землю. А потом поплыл в ее сторону... Быть не может: он летит! И смеется. Енхе разинула рот.

— Ну что? — спросил брат, приземляясь рядом.

Нет, этого просто не могло быть...

— Ты... Ты из царского рода? — прошептала она.

— Вот еще! Меня отец научил летать.

— Отец?... — Енхе с недоумением представила летящим отца — грузного и нескладного.

— Да не наш с тобой отец, — ухмыльнулся Раза, — а мой собственный!

— А ты всегда говорил, что не помнишь родину.

— Помню только это. В Даг-Ыле все летали. И в самых дальних краях — тоже. Когда-то летали и здесь, в Кахане. Вот только много сотен лет род Золотой горы заставлял вас забыть об этом. Теперь казнят любого, кто заикнется, что для полетов не нужна царская кровь.

— Молчи, что ты говоришь! — в ужасе замахала руками Енхе.

— Вот и ты боишься даже намека! — крикнул Раза, снова поднимаясь над ней. — А по правде — все могут летать!

— И даже я? — прошептала Енхе, замирая.

— Конечно! Сейчас научу тебя, — загорелся Раза.

Он потянул сестру на скалу. Енхе побежала и робко прыгнула, но чуда не случилось: она больно приземлилась на камни.

— Смелее! Главное — уверенность! — кричал Раза.

Они учились до позднего часа, но Енхе только падала, обдирая локти. Наконец Раза махнул рукой:

— Я в тебя верю, но моей веры мало. Ты должна и сама поверить в себя, иначе не взлетишь! Ничего, как-нибудь еще потренируемся. Пошли домой!

По крутой тропинке спускались они под звездами. Кахан уже спал. В голове у Енхе теснились тысячи дум.

— Раза, скажи, отчего был пожар? — спросила она. — Ну там... в Даг-Ыле? И почему жители погибли, если умели летать?

Раза окинул ее каким-то новым взглядом.

— А я и сам частенько думаю об этом, сестренка, — сказал он. — Наверняка кто-нибудь, да улетел. Не могли все погибнуть!

— А... Куда они улетели?

— В дальние, дальние края, которые еще прекраснее, чем Даг-Бле! Вот только про меня забыли в ту ночь, ну да я долечу до них однажды!

— Ты нас оставишь? — спросила Енхе.

Раза весело подмигнул ей:

— Летим вместе, а? Вот потренируешься... — он задумался и продолжал: — Знаю еще, что многие во время того пожара задохнулись в своих домах, не успев проснуться. Вернее всего, тут был поджог. И сдается мне, что род Золотой горы к нему причастен.

— Наш Царь... — Енхе даже задохнулась и остановилась.

— Ну а кто же? — Раза покачал головой. — Наивная ты еще, сестренка! Царь Кахана всегда желал смерти летающим народам. Только подумай, что будет с его властью, если люди узнают, что ничем от него не отличаются!

— Не может быть! — Енхе чуть не плакала. — Это твои дружки сбивают тебя с толку своими листовками! Знаю, знаю, молчи! Наш Царь — самый мудрый и милосердный правитель на свете, и не смей на него клеветать... Не нужно, прошу тебя, Раза! Не то тебя пошлют строить дворец, а оттуда не возвращаются...

Но Раза не слушал, он зашагал вниз, к дому, крикнув на ходу:

— Ерунда! Раз так, я не полечу с тобой в благословенные страны — оставайся со своим Царем!

И верно, больше он не тренировал сестру. А вскоре настали тяжелые дни. Все больше денег требовалось в казну, все чаще стражники царя хватали людей на улицах и уводили к Золотой горе. Там люди пропадали навсегда. Говорили, что они умирают в голоде и рабском труде. Жестокие надсмотрщики заставляют их днем и ночью строить новый великолепный дворец для Наследников. Впрочем, за разговоры об этом могли забрать навеки — и оттого люди шептались, и боялись, как и много, много лет прежде. И привычно ходили на судилища, выслушивали

приговоры своим соседям и собратьям, понимающе кивали, одобрительно кричали — как и много, много веков назад. Восхваляли Царя, Наследников и их золотые дворцы, молчали о своей нищете и бедах, прогоняли саму мысль об этом — как и многие, многие до них.

Но нарастал неслышимый ропот — и какие-то смельчаки оставляли по ночам на стенах уморительные картинки, сочиняли возмутительные песенки, а порою даже отбивали арестованных у ночных патрулей. И взволнованный шепот бежал по Кахану. Все реже видела Енхе брата. Она тосковала и плакала от страха. Она засыпала далеко за полночь, так и не дождавшись его, а когда Раза входил неслышно и вполголоса окликал ее, она уже спала. И не знала, что он с нежностью глядит на нее, укрывает одеялом, пытаюсь представить, как это: разлучиться навсегда. О, как много Раза хотел сказать ей! Но с утра его снова вызывали тихим свистом, и он вылезал в окно и уходил через задние дворы в дальнее убежище. Дела его новых друзей были страшны, задорны, огромны, секретны и смертельно опасны.

В один из мучительных и тихих вечеров, когда все не решались встать из-за стола в надежде, что Раза поспеет к концу ужина, Енхе спросила отца:

— Папа, расскажи про Даг-Ыле!

По ночам ее тревожили сны, полные замков и башен и удивительных летающих братьев Разы.

Отец удивился, но ответил:

— Чего там рассказывать... Тяжелый был поход, не приведи Господь! И ничего-то не осталось... А вот раньше, говорят, там люди были сказочно богаты. Все дома, говорят, были в золоте. Только из нашего края никто не добирался туда — больно далеко. Говорят, много лет назад побывал там кто-то, да как вернулся, тут же и угодил в царское подземелье. Видно, вести принес недозволенные. Всем там, говорят, всего было вдосталь,

и никто не ссорился, и люди там добры, говорят, смелы, умные все были...

— Кабы и наш Раза такой был, — вздохнула мать и начала собирать тарелки.

— Он такой и есть, матушка, — сказала Енхе.

— Какой — такой? Ну, скажи, каков он есть? Что смел — это верно, а вот ума ему занять не помешало бы! Чего ради знается с этими...

— Молчи! — прервал ее отец, встал и спешно захлопнул ставни.

— Сама видишь, что они на улицах творят, — шепотом закончила мать.

Енхе догадывалась, что Раза причастен ко всем этим штукам, но боялась заговорить с ним напрямую. Боялись и мать с отцом, понимаяще переглядываясь. Только Раза не боялся ничего. Он весело насвистывал и залиvisto хохотал. Он не дрогнул и тогда, когда однажды на рассвете пришли за ним. Он дерзко усмехался, когда его судили на главной площади, и даже парни-танцоры и Юнна глядели со скрытым уважением. И весь Кахан ахнул, когда прозвучал приговор: казнить! Но еще страшней было последнее желание приговоренного:

— Прошу заменить мне казнь. Не отрубайте мне голову — сбросьте в пропасть!

И снова вся площадь застонала: зачем этот мальчишка избирает такую мучительную смерть? Ведь в пропасть давно уже перестали сбрасывать даже самых страшных преступников. Но тут раздался звонкий радостный смех, и все взгляды обратились на тихоню Енхе. Это она смеялась! Никто не мог понять, чему она радовалась, и все решили, что девчонка помешалась с горя. Только начальник стражи указал на нее и что-то шепнул младшим солдатам.

Все расходились по домам в тот день с черными лицами. Кто-то припомнил, как Разу привезли из-за дальних гор:

— А мы сразу сказали, на беду пришел к нам этот мальчишка!

Спорили о нем и молодые парни:

— Вечно он выделялся! Вот и получил на свою голову!

— Однако он храбрец, храбрец... Для чего же — так умирать?! — Девчонку эту жаль. Ишь, весело ей!

А кто-то уже думал тайком: «Не предложить ли мятежникам помощь? Смог этот мальчишка, смогу и я — сильный, ловкий... Ведь они же правы, ох как правы! Негоже гибнуть молодым и счастливым ради Наследников! Нельзя всем заткнуть рты!»

Чернее тучи шла Юнна с подругами. Отец и мать Разы плелись, поддерживая друг друга. А Енхе по крутой тропинке, как легкая козочка, побежала в горы. И там на крутом утесе она прыгала и прыгала, забираясь все выше и выше. Падала и вставала. Снова и снова, вытирая кровь и облизывая губы. «Я смогу!» — вот что думала она.

Поздно ночью Енхе вернулась домой и без сил упала на кровать. А утром ее разбудил грубый хохот и брань под окнами. Девушка выбежала на порог, но путь ей преградила сабля. Два тощих стражника стояли у входа.

— Что случилось? — спросила Енхе.

— Приказ старшины, — лениво ответили ей.

Енхе застыла в недоумении. И вдруг глаза ее загорелись: — Вы отведете меня в тюрьму, к Разе?

— Много чести, — зевнул солдат. — Приказано до казни из дома не выпускать! А вас, — он ткнул пальцем за спину Енхе: там уже маячили испуганные родители, — выпускать не далее калитки!

...Долго тянулись дни в ожидании казни. Черными были стены темницы, серым — небо за крохотным окном. Страшно было Разе — оттого, что можно и не взлететь, когда так тяжело на сердце. Тоскливо — оттого, что никто не приходит проститься с ним. И пусть друзья-мятежники стараются не выдать себя,

но где же родная Енхе? Как ее не хватает! Он не знал, что у дома Енхе на эти дни выставлена стража.

Вот и последний день, долгая дорога до места казни. Вот и последний раз приговоренный обводит взглядом толпу: где же ты, та, кто поймет, кто поверит? Нет ее, только отупевшие от голода и страха горожане да суровые стражники.

Нет, не знал Раза, что в это время Енхе рвется, и бьется, и бросается на солдат, будто и впрямь обезумела. Когда же она села на пол, почти готовая сдаться, чей-то мелодичный голосок зажурчал у самых окон: это Юнна пришла с кувшином доброго вина поболтать со стражниками. И когда те совсем растаяли, хитрая красотка кивнула Енхе в окно: можно бежать!

И вот на глазах у толпы изможденного Разу столкнули со скалы. И горожане готовы были поклясться, что он камнем рухнул было вниз. Но тут-то и пронеслась, расталкивая всех, Енхе, и воины не поспевали за ней. Она бросилась следом — никто и моргнуть не успел, но не упала, а раскинула руки и плавно, плавно стала спускаться, выкрикивая имя названного брата. И ее веры хватило на двоих: через мгновение оба они, взявшись за руки, оказались над краем скалы, полетели над головами изумленного народа, а когда очнувшиеся солдаты принялись стрелять, взмыли туда, куда не долетают стрелы.

— Летите с нами! — кричал Раза. — Все вы — цари. Что, не верите? Мы летим в прекрасные долины за Даг-Ыле, там я женюсь на лучшей девушке на свете, и мы вернемся, чтобы спасти вас — так и знайте!

Он обнял Енхе, и вдвоем они помчались к золотой горе, и самые зоркие видели, как от строящегося дворца потянулась шатающаяся вереница: это рабы-строители улетали вслед за влюбленными в новую жизнь.

К МОРЮ

1

Мы едем по узкой южной дороге, похожей на запущенного в небо воздушного змея так долго, что становится страшно — мы заблудились. Я всматриваюсь в карту, разложенную у меня на голых коленях, но отец выхватывает ее и бросает на заднее сидение. Не поворачиваясь ко мне. Одним быстрым, знакомым мне движением, что становится обидно, словно это я виновата. Мы едем, читая указатели, которые встречаем на пути, но все не можем найти нужный нам поворот. Мой айфон перестал ловить еще полчаса назад, а у отца телефон старый, без мощного интернета и загруженных карт. Уже полдень, и в машине невыносимо жарко, даже с включенным кондиционером. Я открываю свое окно, чтобы хоть как-то дышать. Но снаружи только раскаленное солнце, которое стоит на высоком ярко-голубом небе без единого облачка, и сухой ветер, который называют суховей. Он жужжит над ухом, точно шмель.

Дорога свободна — нам не встретилось ни одной машины. Мы давно съехали с асфальтированной дороги на грунтовку с крутыми, уходящими вверх поворотами. Отец находит место между двумя поворотами и останавливается у обочины. Гасит мотор. Достает карту и еще раз всматривается в нее.

Я открываю дверь и выхожу из машины. Справа бахча. Лежат полосатые продолговатые арбузы. Два загорелых парня катят вдвоем один из них — такой огромный, что у них не хватает сил, они вытирают капли солнца со лба и продолжают катить, как мяч, упираясь в его бока потными ладонями. Отец идет к ним с картой и что-то говорит. Они смотрят на него, на карту,

показывают пальцем на дорогу. Затем катят арбуз к нашей машине, поднимают и кладут его в багажник, прижимая с двух сторон сумками с вещами, чтобы он не катался и не разбился. Отец дает парням деньги, жмет руки. Один из парней подходит ко мне.

— В этом году очень жарко, — говорит он, широко криво улыбаясь. Я замечаю, что у него нет нескольких передних зубов. — Дождей не будет до сентября, — он все не уходит, — для арбузов это плохо. Посохнуть может. А вы надолго?

— На две недели, — говорю я машинально.

Отец кивает мне, садится в машину. Я сажусь рядом, совсем близко к нему. Он поднимает мое окно и заводит мотор. Я вижу сквозь стекло, как парень медленно отходит от машины, все так же улыбаясь. Мне хочется помахать ему рукой, но отец сурово смотрит в зеркальце заднего вида.

— Мы для них мешки с деньгами, и больше ничего, — говорит отец, — приехали из Москвы сорить баблом. А ты улыбаешься. Даже не думай.

Он злится, когда я разговариваю с незнакомыми. Злится, когда я долго гуляю и не сразу отвечаю на звонки. Злится, если я до вечера задерживаюсь в институте и привожу домой друзей. Иногда мне кажется, что он не хочет, чтобы я что-то делала без него. Чтобы даже просто существовало что-то, что я могу делать без него. Наверное, это значит, что он любит меня. Хотя он никогда этого не говорил.

Я подчиняюсь ему. Стараюсь бережно относиться к вещам, которые объединяют нас. Их не так много. Дорога, машина, музыка, дом. Стараюсь не разрушить. Охранять. Кроме меня делать это некому. У нас есть два совершенно разных мира, но чтобы появился один, я должна отказаться от своего.

Отец едет молча и не смотрит на меня, словно меня и нет. Я всегда ненавидела, когда он так молчит. Просто ведет машину, сворачивает куда-то, курит и молчит. В детстве он наказывал

меня тем, что переставал разговаривать со мной. Проходили сутки, вторые, третьи, неделя, а мы все молчали и молчали, словно ждали — кто же из нас первый не выдержит. Не выдерживала всегда я. Со слезами бежала к нему, чтобы рассказать все, что произошло в моей маленькой жизни за ту жуткую неделю без его голоса. Молчание отца тяжелое. Плавное, медленное, продуманное, как игра. Удивительно, как в нем может быть такая жестокость. Он словно ждет, когда я сломаюсь.

— Долго еще? — спрашиваю я.

— Следующий поворот наш. Скоро приедем, — отвечает отец раздраженно.

Ему все надо знать заранее. В его жизни не должно быть ничего, чтоб может запутать дорогу. Нужно выучить все карты и все возможные пути и перекрестки. Иногда мне очень жаль отца. Ведь он и представить не может, что в его жизни вдруг случится что-то, чего он не захочет. Его уволят с работы, у него не будет денег или кончится бензин. Что нам негде будет ночевать и что я могу взять сейчас, открыть дверцу машины и уйти. Да, он, наверное, и не знает, что я могу уйти. Что для этого не нужно никаких причин.

— Интересно, какая погода в Москве? В этом году так дождливо. Хорошо, что мы уехали, — говорю я.

— Конечно. Смысл все лето торчать дома?

Отец включает кондиционер на полную мощность, и сразу становится больше воздуха. Я закрываю глаза, дышу им и не смотрю на заливающее всю машину солнце. От кондиционера воздух становится сухим, и одежда больше не липнет к телу. В приоткрытое окно отца вместо ветра влетает солнце и остается красноватыми неровными пятнами на плечах и носу. От южных лучей у меня на лице появляются веснушки, и я закрываю щеки руками и прячу глаза за большими черными очками. Мне никогда не нравились веснушки — раньше я вытравляла их лимонным соком, от которого жгло все лицо сильнее, чем от солнца.

Отец не понимал, зачем я так мучаюсь — ему нравятся и веснушки, и мои светлые волосы, и мои карие глаза. Хотя все это у меня не от него. У отца темные волосы, зеленые глаза и немного смуглая кожа. Я настолько не похожа на него, что иногда сомневаюсь, что он мой отец. Разве что рост у нас одинаковый — отец невысокий.

Отец сворачивает с грунтовки на разбитую дорогу и наконец въезжает в нужный нам поселок. Мы оказываемся в совсем крохотной деревне, и отец аккуратно, чтобы не попасть колесом в яму, едет по ее главной улице, усыпанной зачем-то мелкими белыми камушками, от чего шины приятно шуршат, хотя камушки бьются в стекла. Хочется спать. Я откидываю голову на спинку сиденья и слегка прикрываю глаза. Отец приподнимается и пытается заметить все неровности на пути. Я смотрю, какой у него красивый и внимательный профиль, как он уверенно держит руль, переключает скорости, щурит глаза, всматривается в таблички с названиями улиц. Цвет его еще светлой кожи сливается с южным воздухом, зелено-коричневым, точно загорелым.

Мы проезжаем мимо чьих-то виноградников, и я чувствую запах зеленых неспелых ягод, из которых в конце августа, когда мы будем уезжать по этой дороге обратно, будут делать вино и выставлять его на продажу в больших пятилитровых банках около своих домов.

Я чувствую запах моря и поворачиваю голову вправо — в конце длинной улочки с двумя ровными рядами одинаковых новеньких, отстроенных специально для приезжающих домов, голубовато-зеленую полоску, лежащую, точно нарисованную, без движения.

— Море! — вскрикиваю я. — Это же море. Стой. Останови. Но отец словно не слышит и едет дальше.

— Останови! — еще раз кричу и машинально хватаюсь за руль. Мои руки вдруг уверенно сжимают руки отца.

Он останавливает машину и смотрит на меня так, как смотрит всегда, когда я делаю или говорю что-то, чего не должно быть в его сценарии. А я выскакиваю и бегу по узенькой улочке, лежащей между двумя рядами домов. Босиком, потому что кроссовки остались в машине. Спотыкаясь в невозможно горячем песке. К этой полоске синего, в цвет неба, бесшумного моря. Разочарованно останавливаюсь на берегу, заросшем травой и листьями, похожими на капусту. Это не море. До дна можно достать руками, оно покрыто мелкой травяной рябью, которая чуть шевелится от лодки, привязанной у берега. Я сажусь на ее край и опускаю горячие ноги в вязкую воду. Они тут же покрываются зеленой тиной, и вода слишком теплая и пахнет не солью, а деревянной пристанью и рыбой.

Отец подходит, неся в одной руке мои кроссовки. Садится рядом, лодка покачивается, и от нее идут ненастоящие волны.

— С ума сошла? — говорит он, — на ходу выпрыгиваешь. Море совсем в другой стороне, — он указывает кроссовками в противоположную сторону. — А это залив.

Море там, где много людей, где продаются надувные матрацы и в любом кафе приготовят свежий сок. Здесь ничего этого нет. Только лодка и рыба.

Он встает и протягивает мне руку. Она влажная от пота. Я держусь за нее совсем как раньше и отряхиваю от тины ноги.

— Ты не хочешь ехать? — спрашивает отец.

— Я не хочу приезжать, — отвечаю я. — Я совсем не знаю ее. Почему мы не могли поехать вдвоем?

В деревне, куда мы едем, нас ждет Рита — женщина, с которой отец познакомился год назад, из-за которой он ушел от мамы и с которой хотел меня познакомить.

— Мы вроде все решили, — отец вздыхает. — Я думал, ты была не против.

— Я не против. Но... Мне как-то не по себе.

Отец неловко обнимает меня за плечи, будто успокаивает, но я чувствую, что он просто не знает, что сказать. Мне хочется плакать, но отец не выносит слез. Я отталкиваю его и иду обратно. Он догоняет меня и хватается за руку.

— Мне тоже тяжело, — говорит он. — Ты же знаешь.

. . .

Рита приехала несколько дней назад, сняла нам две комнаты — себе с отцом и мне. Отец подъезжает к забору и просит меня выйти посмотреть — ровно ли он припаркуется. Я выхожу и наблюдаю, как он ставит машину в тени под деревьями.

— Чуть-чуть вправо, теперь прямо, нет, нет, назад, не задень бордю, выверни колеса, так, да, — отец хорошо водит и паркуется, но мне нравится подсказывать ему, нравится, как он сосредоточенно смотрит на меня через лобовое стекло.

Он ставит машину идеально ровно и выходит. В красной легкой рубашке, расстегнутой наполовину, и шортах. Я вспоминаю, что таким не видела его никогда. Мы еще ни разу никуда не ездили вместе, всей семьей, как делают другие. Стоят в узком проходе, ждут, пока соседи по купе уложат свои вещи, чтобы улечься на маленькие полочки. Или бегут с чемоданами по аэропорту, опаздывая на самолет, потому что задержались в магазинах. А до этого собирают вместе чемоданы, решают, что в чью сумку класть, что необходимо, а что разумней купить на месте. Ругаются, потому что кто-то набрал слишком много ненужных вещей. Тут же мирятся. И едут, едут. Все равно куда. Лишь бы ехать.

Мы так никогда не делали. Только однажды, когда я еще училась в средней школе, на выходные поехали на дачу к маминной сестре. Ночевали все в одной комнате, потому что другие были заняты. Мы с мамой на разобранном диване, отец — на полу. Возвращались поздно вечером на электричке. Я смотрела в окно, но из-за освещения поезда ничего не видела.

Только наши лица — растерянные и как будто чужие. Уже тогда между отцом и мамой все разладилось. Это чувствовалось во всем — во взглядах, словно случайно брошенных в сторону друг друга, в словах, редких и холодных, в молчании, с каким отец уходил спать один, не желая хорошей ночи ни мне, ни маме. Мама еще долго сидела на кухне, что-то делала по дому, готовила или мыла посуду. Я тогда удивлялась — почему мама не идет спать. Теперь понимаю — она ждала, чтобы отец уснул, чтобы избежать этого неудобства, когда другой человек, чужой и нелюбимый, словно случайно коснется тебя и нужно касаться в ответ.

Теперь мы здесь, точно пытаемся вернуть время. Отец закуривает, отчего у него слезятся глаза. Он щурит их и смотрит пристально и въедливо. Последний раз он так смотрел, когда за несколько дней до своего переезда из нашей квартиры пришел в мою комнату и предложил покататься по городу. Я поехала с ним, потому что всегда любила его машину — большую, пахнущую мужскими запахами и маслом, с разбросанными по салону грязными тряпками и рабочими перчатками. Я села на переднее сиденье первый раз — раньше там всегда сидела мама. Не стала пристегиваться и почувствовала себя взрослой. Мы катались по одним и тем же улицам нашего города. По кругу. По его бесконечным кругам. До самой ночи. Медленно. Никого не обгоняя. По крайней полосе. И не оставиваясь.

— Я какое-то время поживу не с вами, — сказал тогда отец, не отрываясь от дороги.

— Почему? — спросила я.

— У нас с твоей мамой не очень-то получилось. Ты же видишь сама.

— Это из-за меня?

— Ты не виновата. У нас так получилось с мамой... Так бывает. Не всегда, конечно, не думай, нет. Но бывает. Понимаешь?

— А как же я?

— Ты скоро вырастешь. Выйдешь замуж. Уедешь. А мне что, одному оставаться?

— А если я никогда не выйду замуж?

Я тогда не понимала, но чувствовала, как отцу было тяжело. Гораздо тяжелее, чем мне или маме. Но я не знала, как помочь ему и возможно ли это. Мне хотелось, чтобы дорога не заканчивалась никогда. Чтобы можно было ехать вот так вдвоем до самой старости, и чтобы никаких вопросов, никаких останков и никаких слов. И никаких других людей. Но потом мы подъехали обратно к нашему дому. Я открыла дверцу и вышла. И отец уехал уже один.

С тех пор мы не виделись год. До этой поездки. Он почти ничего не забрал из своих вещей. Словно уехал только на время.

— Рита! — он выбрасывает сигарету и машет кому-то рукой.

Я оборачиваюсь, и мне бросаются в глаза ее длинные, полные, загорелые, а от этого красноватые и кажущиеся, несмотря на свою полноту, очень красивыми ноги. Короткая пышная белая юбка, поднимающаяся от слабого ветра колокольчиком, слегка обнажая бедра. Она на ходу собирает пышные, в цвет юбки, точно выгоревшие, волосы в высокий длинный хвост. Выглядит она совсем молодой, почти девочкой, школьницей, с большими серыми подведенными глазами, ярко накрашенными ресницами и румянами, неловко и неровно нанесенными на пухлые щеки.

Рита начинает тараторить быстро-быстро. Спрашивать про дорогу, про Москву, про что-то еще. Она все время двигается, что-то делает, говорит, как будто не может просто стоять или сидеть на месте. От этого кажется воздушной, легкой — живой. Наверное, в эту легкость и влюбился мой отец. Потому что именно легкости и не доставало нашей семье.

Я смотрю на Риту и не могу оторваться, словно человек, долго шедший по пустыне и вдруг нашедший кувшин с водой.

И он пьет, пьет из этого кувшина, не отпускает его, не замечая, что вода давно кончилась.

— Я тебе, — Рита говорит так быстро, что я с трудом разбираю слова, — прям напротив нас комнату нашла. Ты пока вещи занеси, а мы стол накроем. Можно поехать куда-нибудь, но вы же с дороги, так что лучше прям здесь на улице. Я приготовила.

Она наконец перестает тараторить, вопросительно смотрит на меня и улыбается. Эта ее внезапная улыбка, как взрыв, ментально освещает все вокруг, а потом также внезапно гаснет, оставляя тонкий след, как от хороших духов. Я невольно отвожу глаза от этой улыбки.

— У нас, кстати, есть арбуз, — вдруг вспоминаю я.

Втроем мы достаем этот огромный арбуз и тащим к столу.

— А что тут за залив? — спрашиваю.

— Ой, он огибает всю деревню. Там очень мелко, только рыбу ловят. Лодку, наверное, видели? Говорят, водоросли целые. Не знаю точно. Из-за них вода теплая и вязкая, как в болоте.

— Что же, — перебиваю я, — получается — тут кругом вода? С этой стороны залив, с той — море.

— Да, получается так. А ты первый раз на море?

— Нет. Была в детстве. С мамой.

Помню, бросала монетки с пристани, чтобы вернуться. И вот вернулась.

...

Мы отрезаем от половинки большого арбуза маленькие кусочки, пьем домашнее прошлогоднее вино, разговариваем, как одна большая семья. Мама, папа, дочь. Со стороны, наверное, так и выглядит. Рита все время смеется. Нет ни у кого больше такого чистого смеха. И все вокруг становится незначительным, словно все остальное, кроме ее смеха и ее белой юбки-колокольчика, перестает существовать.

Она совсем не похожа на мою маму. Мама улыбается редко. Может, поэтому я сбежала сюда с отцом. Но отсюда бежать уже некуда. Вокруг — вода.

Вечером мы все вместе едем на настоящее море. С кафе. С матрацами. Рита сидит рядом с отцом на переднем сиденье вполоборота ко мне, прижавшись головой к горячему стеклу, и каждый раз, когда наши взгляды пересекаются, улыбается.

Отец ведет машину аккуратно — дорога опасная, и на узких поворотах я закрываю глаза. Солнце на юге начинает садиться очень рано и моментально — кажется, что по подножью гор стелется ярко-розовый туман. Дороги почти не видно, словно она уходит в сами горы, и я думаю — сейчас гора расступится, и мы окажемся внутри и не вернемся. А может, мне хочется, чтобы так было. Мы сидим втроем в одной машине, и это единственное, что нас объединяет. Это и дорога. И море. Море. Море.

Отец останавливает машину почти у самого пляжа. Дальше начинается песок, белый, выгоревший, как Ритины волосы, глубокий, обжигающий на солнце и уже холодный в тени. Мы долго перешагиваем через дюны, а море все не появляется. Только новые песочные горы и насыпи, которые нужно обходить, потому что они становятся все выше и выше. Это очень сложная дорога — долгая, с редкими кустами и кричащими птицами. Дорога к морю. Я иду все быстрее и быстрее, потому что чувствую его настоящий соленый запах и нарастающий шум.

Я стою по колена в воде и не хочу заходить. Отец с Ритой уплыли от меня и зовут, машут. Я смотрю на волны, слышу Ритин смех, вижу, как папа поднимает ее на руки. Она упирается, откидывает голову назад, открывая заходящему солнцу шею. Весь берег вмиг замирает и оборачивается на них.

Отец и меня так подкидывал в воду. Только не на море, а на озере, когда ездили с отцом купаться. Учил плавать. Оставлял меня в воде, отходил подальше, смотрел, как я плыву к нему,

стараясь ухватиться за большие сильные руки. Страшно тогда не было — была уверенность, что отец подхватит всегда.

Рита подплывает и, обрызгав меня искусственной волной, снова ныряет. А потом выныривает уже около отца и прижимается к нему всем телом — я не могу оторвать от них взгляд.

Потом они уплывают вдвоем. Я теряю их и вижу уже далеко-далеко.

2

Отец всегда вставал рано. Дома мы часто готовили завтрак вместе. Понимая друг друга с полувзгляда. Я обычно нарезаю хлеб. Белый, рассыпчатый, свежий и непослушный, точно бисквитное печенье. Разрезаю его на ровные маленькие квадратики, какие обычно кладут в суп-пюре. Потом тру сыр. Отец разбивает на сковородку яйца, бросает сверху кусочки хлеба и посыпает все это сыром.

Сегодня мы делаем бутерброды и печем вместе блины из кислого, испортившегося за ночь молока. Отец берет сковородку и достает бутылочку масла. Мы по очереди наливаем суповым половником, потому что другого на хозяйской кухне нет, на разогретую сковороду тоненьким ровным слоем тесто. У отца всегда получаются очень красивые блины. Он готовил редко, но если готовил, то намного лучше меня или мамы. Сначала он медленно разогревает масло, чтобы оно начало покрываться пузырьками и лопаться, затем дает ему растечься и только потом выливает тесто. Всегда столько, сколько нужно. Его блины ровные и тонкие, круглые — какие и должны быть. У меня никогда так не получалось.

— А помнишь, какие мама делала? — спрашиваю я у отца.

Мама любила делать фигурки — сердечки, солнышки.

— Ян, не начинай, — отвечает отец. — Принеси лучше чашки.

Я иду к себе за чашками, которые остались у меня. Моя комната напротив комнаты отца и Риты. Мое окно, занавешенное от жары, выходит на их, тоже занавешенное. Но мы не открываем шторы, словно это лишило бы нас тайны, на которую мы негласно и добровольно согласились. Это наш договор. Как на войне — мы подписали мир и можем не беспокоиться, что кто-то вдруг неловкими непродуманными вопросами его нарушит. А может быть, мы с отцом — совершенно чужие люди, просто встретились здесь случайно, и у нас нет никакого совместного прошлого. И никакого желания что-то спрашивать.

Я приоткрываю шторку на окне и вижу Риту — она стоит напротив. Слишком красивая. Она замечает меня и машет мне рукой. Я опускаю штору и выхожу из комнаты.

После завтрака отец стоит у колонки, нагнувшись. Я вижу его загорелую спину. Отец загорал очень быстро и мгновенно становился шоколадным. В отличие от меня. Вместо загара я покрываюсь красными пятнами. Отец наклоняет голову, наполняет водой ладони. Я подхожу и замечаю в собравшейся лужице воды маленькую рыбку.

— Наверное, кто-то принес с залива, — говорит отец.

Я наклоняюсь ближе, и моя рука сталкивается с его. Он отдергивает ее, как от ожога, и встает. Замечаю, как он сильно за этот год изменился. Не постарел, нет, но появилось в нем что-то, чего раньше не было. Он стал другой. В нем появилось что-то свое, не имеющее отношения ни ко мне, ни к маме, что-то, отличное от нас, и я думаю — встретить его в толпе — я могу не узнать его. Он как подросток, который вдруг в одно лето повзрослел, как будто все, что происходило с ним до, — это все было не по-настоящему, было лишь подготовкой к самому главному. Но что это — главное — не знала ни я, ни он сам. Неужели это главное — Рита? Не я, а она?

Глаза от зеленых, которые мне всегда нравились, стали почти черными, такими, в которые страшно заглядывать. В них

появилась бездна, из которой невозможно вернуться, если однажды окажешься внутри. Он стал старше за этот год, но старше не на год, а на еще одну жизнь. Он словно прожил все, что мог, и все, что хотел, что нет и не будет уже ничего, чего бы он не знал или не чувствовал раньше, и единственное, что ему осталось, — это жить теперь с этим страшным ощущением прожитости и не уметь от этого ощущения избавиться.

Он как будто уже мертв, и передо мной стоит призрак. Мне хочется кричать, но кричать так громко, чтобы разбудить его. Я вдруг думаю — этот человек больше не мой отец. Он — лишь воспоминание о той жизни, вернуться к которой мы не можем. Все, кто был когда-то частью нашей семьи, стали прокаженными. Переболевшими чумой и чудом оставшиеся жить. Уже почти здоровыми. Могут вставать, двигаться, говорить друг с другом. Но на всю жизнь у них останется этот страх — страх заразиться друг от друга. Они не будут больше целоваться в губы, спать на одной постели и пить из одних чашек. Потому что они вместе перенесли тяжелую неизлечимую болезнь, которую подхватили, потому что были близки. Этот страх близости останется с ними навсегда. Каждый, кто нарушит эту границу, станет таким же, как и мы.

Мне хочется спасти эту рыбу. От меня. От него. От нас. От нашей умирающей семьи. Отнести ее к чему-то настоящему. Живому. Дышащему.

— Давай отнесем ее к морю, — говорю я отцу.

Я беру детское ведерко, валяющееся в песочнице неподалеку, наполняю его водой почти до краев, ставлю рядом с собой и затем аккуратно опускаю в него рыбу.

— Зачем? Скорее всего, она уже не выживет, — говорит отец, но я словно не слышу и все никак не могу справиться с этим чувством внезапного страха.

Страха и отвращения. И желания бежать. Все равно куда. От этого призрака. Чтобы он не сделал меня таким же, как он

сам, не сделал бы частью себя, являться которой означало бы не иметь возможности вернуться. Я испытываю к отцу сейчас такое чувство непроходящей жалости, какое испытывают обычно к детям, оставшимся одним.

Я кладу рыбу в ведерко и несу на лиман.

...

Мы лежим рядом на песке, не касаясь друг друга, смотрим на спокойное море. Нет ни одной волны, нет даже ветра, и море такое тихое-тихое — каким оно бывает только перед штормом.

Солнце светит как сумасшедшее, и мы не знаем, куда скрыться от него. Каждые полчаса бегаем к воде и лежим в волнах, слегка поднимающихся к берегу. Мы почти не разговариваем, только изредка одновременно поворачиваемся друг к другу и улыбаемся от этой синхронности, ставшей уже такой привычной и вызывающей не удивление, а радостное ощущение близости, которую я раньше никогда не испытывала. Мне кажется, что мы чувствуем так, как чувствуют друг друга близнецы. И кажется, что на этом переполненном пляже нет вокруг других людей. Есть только мы. Всегда были только мы.

Но я вдруг вспоминаю про Риту, оставшуюся до обеда в домике.

— Где вы познакомились? — спрашиваю я у отца.

— С кем? — отец поворачивается ко мне.

— С ней.

— А! Да я с ремонтом ей помогал. Оказалось, что мужа нет. В разводе. Помочь некому. Как-то так и остался.

— Так просто? — удивляюсь я.

— А что?

— Не знаю. Я думала, все как-то иначе происходит.

— В кино, может, и по-другому. А в жизни вот так просто.

— И когда вы познакомились?

Я хочу спросить — до развода с моей мамой или после.

— Года два назад.

Значит, до.

— Ян, я знаю, тебе тяжело. Но что делать. Не одному же быть. А Рита неплохая. Ты должна понять.

С мамой они познакомились на работе. Тоже просто. Вместе в столовую, вместе на автобус, вместе домой.

. . .

Рита ждет нас в кафе у самого пляжа. Мне нравятся плетеные глубокие летние кресла и деревянные столики. Мы садимся на веранде, в тени, под низким деревом, и его листья свисают нам на колени, как подмосковная сирень.

Я смотрю на отца и представляю себе тех женщин, которые любили его. И которых любил он. Его первую жену, которую я увидела совсем недавно, когда она пришла в нашу квартиру, а я сказала ей, что отец с нами больше не живет, и она записывала его телефон. Мою маму. Риту. И тех женщин, которых я не видела, которых я не знаю, которых, возможно, еще не было, но которые могут быть в будущем. Они все такие разные. Мне хочется увидеть их вместе, на одной сцене, чтобы они вдруг слились в один образ, как в фильме «8 1/2» Феллини, где главный герой собирает вместе своих женщин, а потом встречает одну, другую, непохожую на них, и упускает ее. Возможно, Рита для отца — это та самая единственная женщина, которую обязательно встретишь и которую обязательно упустишь. А может быть, мама. А может быть — я? Или я — это всего лишь одна «из».

Я смотрю на отца, а он смотрит на Риту. И я злюсь, что на нее, а не на меня.

— Обещают шторм, — говорит Рита. — Я слушала, что такие штормы бывают раз в сезон.

— Не похоже на то, — возражаю я.

— Да! Жарит так, что у меня все лицо сгорело, — смеется Рита, и я невольно замечаю некрасивые красные пятна на ее щеках и отворачиваюсь.

Мне вдруг становятся нестерпимо отвратительны эти ее пятна. И она сама. И то, что говорит она, а не отец. Я смотрю на него, а он молчит. Курит. Щурится на меня сквозь дым. Остановившийся взгляд.

Я встаю, выхожу из кафе и сажусь на землю у фонтана. Отец идет за мной и садится рядом.

— Так нельзя, — говорю я и не смотрю на него, словно говорю с собой. — Нельзя любить кого-то, а потом сделать вид, что ничего не было. Ведь нельзя? У вас все равно ничего не выйдет.

— Пойдем отсюда, — говорит отец.

— Куда? — пожимаю плечами.

— Домой. Больше здесь идти некуда, — он берет меня за руки и встает.

...

На юге так быстро темнеет, рано появляются звезды, и как-то все сразу, будто сговорившись, остаются висеть низко-низко. Отец стоит у окна, отодвинув шторку, и так долго смотрит на дорогу, что мне становится неловко от молчания и неподвижности всего вокруг.

Мне хочется наблюдать за отцом. Включить камеру и оставить. Смотреть, как он будет меняться. Каким станет через десять лет, через двадцать. Мне хочется все увидеть и навсегда запомнить его лицо.

Мне кажется, не было этого года. Других людей не было. Ничего не было. И мне страшно вспоминать, что было.

Я кладу голову ему на плечо, как делала в детстве, и мне опять кажется, что я часть его и всегда ею была, просто год назад вдруг ошибочно решили, что можем жить отдельно. Я прижимаюсь к нему так уверенно, что сразу становится удивительно спокойно, будто никого, кроме нас, не существует. Что есть только море, низкие звезды и мы.

— Я никогда не хотела, чтобы ты уезжал, — говорю я.

— Я тоже. Но так сложилось.

— Но ведь так не должно быть. Семья не может просто взять и перестать существовать. Так не бывает, — повторяю я. — Не должно быть.

— Яна, почему ты поехала сюда со мной? — спрашивает вдруг отец.

— Я думала... — я отворачиваюсь. — Теперь уже все равно. К тому же... — улыбаюсь, — мне кажется, ты без меня совсем пропадешь.

— Так и есть, — улыбается в ответ отец.

Он отворачивается от меня, но я вглядываюсь в него, хочу запомнить, точно утром он должен исчезнуть, и мне останется лишь эта память. Отец резко поворачивается, обнимает меня, и я задерживаю дыхание.

3

Утром мы идем вдвоем пешком к морю. Отец идет чуть быстрее. Я опять всматриваюсь в него и замечаю, что его кожа изменилась за ночь, точно загорела. Мне кажется, что это уже не он.

Я замечаю на шее, там, где заканчивается линия волос, царапины. Они еще долго будут выделяться белыми шрамами на смуглой коже. Но потом тоже исчезнут.

Отец что-то напевает. Он все время что-то напевает, словно это заменяет ему разговоры или мысли. Я не могу разобрать слов, хотя знаю все, что ему нравится. Он любит музыку.

У меня в комнате стоит пианино, оставшееся от бабушки. Большое, занимающее почти все пространство. Я никогда на нем не играла, хотя меня пытались отдавать в музыкальную школу. Отец тоже не играл, но мама иногда что-то наигрывала. Отец никогда на моей памяти не просил маму сыграть, но, если она начинала, останавливался в коридоре и слушал.

Сегодня море теплое и спокойное, что я не узнаю его. Это другое море. Мы заходим в него, не боясь, бросаясь сразу.

Отец просит сфотографировать его на мой телефон. Я навожу камеру, жду, когда отец отойдет на определенное расстояние, чтобы уместиться в кадр. Я смотрю на него во все уменьшающийся квадратик камеры. Потом он фотографирует меня. Я объясняю, какую кнопку нужно нажать. У отца получается не сразу, хотя он старается. У него никогда не получалось — всегда выходило либо криво, лицо обрезано, либо мелко, что невозможно рассмотреть лицо. Но мне все равно нравятся фотографии, которые сделал именно он.

А потом мы раздеваемся и бежим в воду. Он сразу ныряет и плывет все дальше и дальше. А я, щурясь от солнца, пытаюсь не терять его из вида и пристально смотрю на спокойные волны.

Сегодня в воздухе что-то новое. Словно запах свинца. Я смотрю на небо и замечаю, что оно слегка темнеет. Поднимается ветер. Волны становятся больше. А отец ничего не замечает и уплывает все дальше. Я встаю, иду вдоль берега, машу ему рукой, но он не видит меня. Кричать бесполезно — волны гасят любой шум. Люди на пляже начинают собираться. Ветер все сильнее, и я вижу, как волны поднимаются все выше и выше. Уже трудно отличить цвет моря от цвета неба, сухой песок засыпает глаза, и я вдруг понимаю, что уже не вижу отца в воде.

Он плавает очень хорошо. В детстве ему запрещали заниматься бассейном — было слабое сердце. Но отец подделал справку от врача. Плавание — была его борьба с жизнью. Наверное, если бы ему запрещали заниматься рисованием, он бы занялся именно рисованием. Кроме бассейна он ходил в зал, бегал и занял третье место на лыжном кроссе. Никто никогда не мог запретить ему делать то, что он хочет. Никто. Никогда.

Его нигде нет. Я кричу ему, но услышать меня некому. Становится страшно. Я вдруг понимаю, что мы на пляже совершенно одни. Если исчезнет он или я, или мы вместе — никто этого

не заметит. Я опять кричу ему и уже бегу по берегу, спотыкаясь и едва удерживаясь, чтобы не упасть в море. Я ненавижу это море и себя, и его, и всех здесь. И не знаю, что делать.

А потом я замечаю его далеко-далеко впереди. Он выходит из воды, не спеша, точно никакого шторма не будет. Я бегу к нему. Он улыбается, а я бью его по груди. Слегка. Как в детстве, когда обижалась. Он удивленно смотрит на меня и начинает смеяться, обнимать меня, прижимать к себе, пытаться поднять, как ребенка, который испугался, потому что мама задержалась на работе и не пришла вовремя домой.

— Ты что, подумала, что я... — смеется.

Мне нравится, что он не рассердился, что можно вдыхать запах соли.

— Я тебя не оставлю, — говорит он уже серьезно, — никогда.

Вечером мы с ним и с Ритой сидим в кафе на нашей улице. Отец идет за вином, и мы с Ритой остаемся одни.

— Ты не думай, — говорит Рита, наклонившись ближе ко мне, чтобы отец не услышал, хотя он уже далеко, — не думай обо мне плохо. Я не виновата, что твой отец ушел. Если бы не я — он бы совсем пропал. Он же пил тогда — ты многого не знаешь. Он жить не хотел. Говорил, что хочет въехать в дерево на полной скорости, но машину жалко. Машину. А не себя, понимаешь?

И не меня.

— Я знаю. Я вас не виню. Вы правы. Отцу с вами лучше. Лучше, чем с нами. Но... Вы же его не любите. Вы с ним из-за всего этого, — я обвожу руками вокруг себя, — и вы его бросите.

Рита внимательно смотрит на меня, точно хочет прочитать мысли. Ее взгляд вдруг меняется, она смотрит прямо мне в глаза, с вызовом, словно проигравший бой. Это была уже не та улыбка, которую я увидела в первый раз. Это совсем другая улыбка, и я думаю, что Рита может быть и жестокой.

— Ты ничего не понимаешь. Я даю ему гораздо больше, чем просто любовь. А ты? Что сделала ты, чтобы он не ушел?

Весь вечер она говорит с отцом, а я молча наблюдаю за ними. Иногда он что-то рассказывает обо мне. Какая я была в детстве, что любила, какие книжки читала. Говорит так, словно меня здесь нет. Он знает меня больше и дольше, чем я сама. Знает, какая я бываю по утрам, какая я, когда злюсь или как умею лгать. И он все рассказывает быстро-быстро, точно торопится. В перерывах закуривает, и я узнаю его жесты — они не изменились, остались такими же, какими были всегда. Как будто ничего не изменилось за этот год.

Я впервые осознаю — я его дочь. Я не похожа ни на кого. Только на него. Словно он — единственный, кто был в моей жизни. А я — единственная, кто был у него.

Я многое хотела сказать за это лето. Мы с тобой так похожи. Когда я смотрю на тебя, мне кажется, я смотрю в зеркало. Иногда становится жутко от того, что мое отражение такое. Но я не хочу, чтобы оно было другим. Ты никогда не объяснял мне, как нужно жить. Никогда не воспитывал. Просто был рядом. Каждый день я смотрела на тебя и думала — я хочу жить так, как ты. Совершать те же ошибки, что совершал ты. Уйти от мамы, потому что ушел ты. Полюбить такую, как Рита. А потом родить дочь. Чтобы она смотрела на меня и думала — я хочу вырасти и жить так же.

Но когда ушла Рита, я говорю совсем другое.

— Знаешь, мама совсем не спрашивает о тебе. Мы о тебе не говорим. Точно ты уже умер или тебя никогда не было. Но ведь это неправильно. Ты был. Ты — это правда. И не говорить — значит, забывать об этом. А я не хочу забывать.

Начинает играть музыка.

— Пойдем танцевать? — Рита подбегает ко мне, хватая за руку.

Я опять, как в первый день, вижу ее голые полные загорелые ноги, короткую юбку, поднимающуюся колокольчиком. Мы танцуем. Я наблюдаю за ее движениями — легкими, точно

девичьими — повторяю их, и мне вдруг становится хорошо от того, что все может быть так просто. Мы кружимся, как два сумасшедших, попавших в самый центр танцевального зала. Рита постепенно ускользает от меня в танце. Пока не исчезает совсем. Музыка все звучит, но уже как-то растерянно, точно потеряв весь свой смысл.

. . .

Когда отец волнуется, он всегда моет машину. Я помогаю протирать стекла, потому что мне нравится запах прозрачного стекла.

— Как тебе Рита? — спрашивает он.

— Она не похожа на маму.

— Она и не должна. Думаешь, она меня любит?

— Да, — лгу я, — думаю, любит.

— Хотя ведь это и неважно, да?

— Да, — опять лгу я, — неважно.

— У меня от первой жены сын есть — ты не знаешь об этом.

Я знала. Первая жена, чужая женщина, рассказала.

— Я не видел его двадцать лет. Мы развелись, когда он родился. Если мы встретимся — не узнаем друг друга. Иногда я стою в очереди в кассу и думаю — впереди меня мой сын. Может быть, он тоже стоит в какой-нибудь очереди и думает — где-то тут мой отец, которого у меня никогда не было. Ты думаешь, я виноват в этом?

Я сажусь рядом с ним.

— У меня никогда больше не будет сына, — опять говорит отец. — Когда мы развелись с твоей мамой, я боялся потерять не ее, а тебя. Я ушел от тебя. У меня же никого больше нет. Может быть, Рита будет со мной, а может быть, не будет. Это ее женское дело. Но моя семья — ты.

Я обнимаю его. Он дотрагивается своими сильными руками до моих и идет в дом. К Рите.

— Папа, — кричу я. Он оборачивается. Мне все кажется — я больше его не увижу. — Давай съездим к морю. Прямо сейчас.

Он останавливается. Мы садимся в машину и едем. По этой же самой дороге, по которой ехали впервые сюда.

Мы долго молчим, потому что хотим сказать то, что, наверное, уже не нужно. Отец оборачивается ко мне, и я вижу его лицо так близко.

— Давай просто ехать, — говорю я. — Ехать и ехать. Пока не покажется залив и рыбацкая лодка.

И мы едем.

Отец остался с Ритой еще на неделю, а я взяла билеты на поезд и вернулась домой.

Из окна виднелось море — далекое, чужое, не принадлежащее никому.

ОЛЬГА ПАВЛОВА

ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГА

Иногда мне кажется, что я выхожу из дома в последний раз. Переступаю порог, а в голове мелькает мысль, что и этот момент уже остался в прошлом. Поэтому перед длительным отъездом я всегда стараюсь сделать все напоследок: обнять родных, полить цветы, погладить любимую кошку. В такие моменты просто понимаешь, что будешь скучать.

Я боюсь потерять их. Боюсь, что однажды войду в ту же дверь, но дом окажется пустым, и я не вынесу, если узнаю, что что-то было забыто. Тогда любой жест становится важным.

Конечно, я не могу знать, но мне кажется, что и самоубийства совершают только те, кто не успел попрощаться, потому что не страх неизвестности, а именно прощания делают уходы тяжелыми.

* * *

Неважно, насколько морозной была та зима, реки все равно не брались льдом. Сердце билось как-то неровно. Оно будто забыло, что должно делать, и вместо крови разгоняло по телу черную, колючую тоску. От нее было больно и очень холодно.

Коварное чувство. Может казаться, что оно хочет обнять тебя, укутать в полах своего огромного плаща, чтобы утешить. Но если поддастся, оно может и отказаться разжимать объятия. Так бывает, если не рассчитать силы и заплыть слишком далеко в море. Волны сопротивляются, стараясь затолкать тебя поглубже к себе в глотку. Слабые или уставшие редко выплывают,

переставая бороться. А выход здесь, между тем, один — глубоко дышать и стараться двигаться вперед.

Она плавала плохо.

В квартире было много звуков, но самые громкие будто раздавались у нее в голове. Казалось даже, глаза вот-вот закатятся, и она совсем перестанет видеть или слышать что-либо вокруг, окончательно сосредоточившись на мыслях, пульсирующих где-то глубоко внутри.

Весь вечер она действовала на автомате. После звонка из больницы телефон отключился, и хорошо. Соболезнования сейчас раздражали бы ее, как и все остальное. Работало радио, а одновременно с ним и телевизор. И там, и там передавали последние новости, но о ее новости, самой важной, не говорили ни слова.

Чайник закипел уже в третий раз, и на столе наконец появились две чашки — ее и бабушкина, непонятно зачем. Неясно было и то, почему она все еще звала ее бабушкой. Теперь казалось, что стоило бы звать мамой.

Чай долго не заваривался, а по металлическому подоконнику стучала ветка, и это то раздражало, то совсем переставало иметь значение. Нужно было стараться не злиться на Честера. Он притащил свой поводок и без конца подсовывал его ей под руку. Вообще-то, ретриверы почти всегда выглядят счастливыми, но сегодня Честер казался печальным, даже глаза у него были влажными, как если бы он весь день проплакал.

Она наклонилась над ним и сняла ошейник, оставив пса в недоумении. Просто хотелось чувствовать, что он с ней. Прихватив куртку, она захлопнула за собой входную дверь. Собака еще немного поскреблась изнутри, но она старалась не слушать.

Три квартала вперед, налево, и мост показался совсем близко. Рядом с водой всегда холодно, тем более в такую погоду, ночью, так что улица была безлюдной.

Подойдя совсем близко к воде, она зачем-то задержала дыхание. Посмотрела на ошейник в руке и сама удивилась тому, что сжимала его так крепко. Часы на руке отбивали секунды совсем часто, и вначале ее сердце билось с ними в такт. Затем, замедлилось. Тук... тук... Она бросила ошейник в воду... Тук... Посмотрела, как он тонет... Тук... Шагнула...

Ледяная вода вдруг ударила ей в лицо. Мысли бешено заметались, бросились к ошейнику. Она открыла глаза, успев заметить в мутной воде зеленый кожаный ремешок, схватила его и уперлась ногами в дно. В куртке было сложно оттолкнуться, и она ее сбросила. Никогда еще она так быстро не гребла, как в тот раз. Легкие сдавливало, а река насильно пыталась втолкнуть воду ей в рот. Казалось, проходит самая короткая вечность в ее жизни. Выбравшись наконец на сушу, она побегала домой.

Дойдя до подъезда, она обнаружила, что ключи оказались в кармане ее брюк, так что дверь в квартиру открылась, и Честер стал вылизывать ее обмерзшие руки. После холода это было больно, как от кипятка, но не хуже той боли, которая грызла душу.

Это чувство вернулось, и Честер снова пришел с поводком. Чайник стал закипать в четвертый раз, и даже она сегодня вернулась домой. Но больше никто.

ИВАНЫЧ, МОТЯ И ГАЛЧОНОК

— Ненавижу тебя! — рявкнула Матильда. — Чтоб ты сдох поскорее.

Иваныч печально вздохнул и чуть развел руками. Почудилось, что на миг мелькнуло раскаяние — водянистые глаза его широко распахнулись и озарились мыслью, пониманием. Мотя застыла с мокрой простыней в руках, боясь спугнуть. Наклонилась и медленно, очень медленно выдохнула ему в лицо:

— Иваныч, ты тут?

Мысль растворилась в булавочных зрачках. Иваныч закричал и распахнул рот, пусто скользнул взглядом по отслаивающимся обоям.

— Вот черт старый. — Мотя зашвырнула простыню в дальний угол, где покоилась умирающая стиралка, и вытерла лоб дрожащей ладонью. — Опять все простынки... Лежи, сказала, сейчас памперс принесу!

Каждое Мотино утро начиналось с этого ритуала: в низенькие окна, путаясь в голых карагачевых ветвях, били солнечные лучи, заползали на глаза, на щеки, но Матильда не желала просыпаться. Кричал справа от нее Иваныч, постанывал едва слышно, дышал с присвистом.

— Мотя... Моть... Мо-о-отя...

— Дай поспать, — буркала она и заползала под подушку.

Тонкая цыплячья кисть падала на плечо, постукивала требовательно и недовольно.

— Мотя... Моть!

— Чтоб тебя леший побрал! — рявкала Мотя и поднималась. Один взгляд, полный ненависти, она послала негреющему октябрьскому солнцу, второй — любимому мужу, прикованному к кровати. И дальше все шло как по накатанной: включить электрический чайник в розетку, достать безвкусную овсянку с химозными ягодками клубники, протереть стол и открыть очередную пачку подгузников. Иваныч умолкал, выгибался на скрипучем диване и, запрокинув голову, смотрел на солнце.

— Сколько ж можно. — Мотя знала, что пока не пробурчит-ся от души, утро в этой комнате не наступит. — Ну хочешь ты в туалет, ну позови меня, ну скажи ты словами, нет, надо напрудить здоровую лужу и лежать довольным! Что ты за человек такой, а? Весь диван провонял, вся комната...

В гулком общажном коридоре оживали люди: включали музыку погромче, топтались по вздыбленному линолеуму и зевали, не таясь. Мотя все бухтела под нос, зная, что толку от этого не будет. Перевернув мужа, как сухое тяжелое бревно, Мотя бросила на диван махровое полотенце и застелила сверху простыней, а потом еще и наспех обтерла Иваныча мокрой губкой. Купание у них будет вечером — даст бог, и Галчонок поможет донести костлявое тело до душевой в дальнем конце коридора. Там наверняка опять грязь, как на свалке, только бы лейку не разломали.

Тоненько засвистел электрический чайник.

— И будь проклято общежитие это, — добавила Мотя и, окончательно успокоившись, пошла наливать чай.

Заварила шиповника — осенью Иваныч вечно бродил по хилым осинникам и березовым лесочкам, которые словно заплатки зеленели среди выгоревших степей. Он собирал ягоды и сушил их, покрывая красно-бордовыми коврами подоконники. Мотя, конечно, бурчала, куда ж ей не бурчать, но...

Но теперь Иваныч не встает, и некому ползти по кочкам и радостно выкрикивать:

— Мотька, я калину нашел!

— Кислятина, да еще и горькая.

— Зато чай, какой потом чай будет...

Мотя покупала молотый шиповник в аптеке и заваривала для Иваныча каждое утро. Вот и сейчас она плеснула полкружки кипятка, потом запарила овсянку и полезла с посудой в руках на диван.

— Завтракать хочешь? — спросила почти угрожающе.

— Хочу, — промычал Иваныч.

— Открывай рот пошире.

Быстро орудуя чайной ложкой, Мотя запихивала в Иваныча кашу и вытирала дрожащий подбородок. Иваныч каменел, жевал еле-еле, каша пыталась вытечь у него изо рта, но Мотя всегда оказывалась проворней. Сжимая челюсти, она командовала:

— Жуй! Жуй, сказала. Мне на работу еще, а ты все никак не угомонишься.

Запили шиповником, Иваныч икнул и съежился, глаза его затуманились сном. Мотя слезла с дивана и поспешила к завтраку. Клекая каша остыла и липла к языку, Мотя морщилась от холода: единственную батарею она занавесила мокрой простыней, и тепла в их комнатухе стало еще меньше.

Робкий стук оборвал ее мысли, и Мотя ринулась открывать. Распахнула дверь, выпучила глаза:

— Чего стучишь, придурочный?! Только задремал... Приглашение тебе надо, да?

— Матильда Степановна, — широко улыбался Галчонок. — Ну, я ж не специально.

— Заходи быстрее, опять все окна расхибарили, сквозняк, простыть еще не хватало...

Галчонок, или Денис Ильич Галкин, прошмыгнул в комнату и закрыл за собой дверь. Остроплечий и худой, с добродушным глуповатым лицом, Галчонок нравился Моте больше остальных

обитателей общаги. Лет ему было от двадцати семи до сорока четырех, Мотя плохо в этом понимала, тем более что брился Галчонок исключительно по праздникам, и зимой и летом ходил в ярко-красной футболке с въевшимися пятнами и черных спортивных штанах. А вот кроссовки у него всегда были новые: то кипенно-белые до первого дождя, то стоптанные оранжево-зеленые, подобранные на местной помойке, то черные, с блеском... Галчонок подкармливал голубей, и они, курлыкая, стайками ждали его на подоконнике, а Мотя распахивала окно и вопила:

— А ну кыш отсюда, черти сизые! Все вокруг обосрали, все!

— Не ругайтесь, Матильда Степановна, — кричал в форточку Галчонок. — Вот такие они, с червоточиной. А из нас-то кто лучше?..

Да, пусть Галчонок и был хроническим алкоголиком, но это ничуть его не портило. Выпив, он становился еще более улыбочивым и смирным, без остановки болтал какую-то чушь, поглядывал смущенно и тянулся к природе. Выглянешь июльским утром во двор, а там Галчонок — лежит у тополя, липкий от последнего пуха, и посапывает с умиротворенным лицом.

Теперь сосед робко терся на пороге их с Иванычем комнаты.

— Фу, — поморщилась Матильда, натягивая свитер. — Провонял весь... С утра глаза залил, да?

— Ну, Матильда Степановна, — Галчонок улыбнулся. — Зато будет вам дез... дез-ин-фек-ция! Во.

Он был таким довольным, что на него невозможно было долго ругаться. Подхватив сумку, Мотя пригладила короткие волосы и скомандовала на всякий случай:

— Подгузники часто не меняй, скоро по миру с ними пойдем. Покормишь овсянкой, пакетик вот. Если что — звони в скорую. Я попытаюсь побыстрей.

— Работайте, не волнуйтесь. — Галчонок, с трудом протиснувшись мимо разложенного дивана, рухнул в кресло и щелкнул пультом. На экране телевизора вспыхнула мутная, прерываемая

черно-белыми помехами драка. — И это, Матильда Степановна, в магазин бы...

— Алкоголик! — рявкнула она и, не слушая, убежала в коридор.

И на одной этой кипучей злобе долетела до работы.

* * *

— Ишь ты чего, в магазинчик. — Мотя от души швырнула тряпку в ведро с теплой мыльной водой и, не выжимая, тут же принялась тереть ею полы. — И этот туда же, нахал, на шею мою...

Сколько бы Мотя ни скрипела, Галчонка она любила странной и яростной любовью. Эту улыбку его дурацкую, эти красные узловатые ладони, мутные глаза... Что бы она без него делала, а? На сиделку ей денег не хватит, даже если она в рабство себя продаст — ну кому нужна такая старушенция? Расплывшаяся, как квашня, третий год хромает на правую ногу, впору палку покупать, да и ступни распухли, налились отеком, ни одни ботинки не лезут, ходит в унтах каких-то несуразных, детских... А про спину и говорить нечего. Повозит шваброй по полу, и к вечеру лежит без сил, спорит с бессловесным Иванычем, кому из них тяжелее.

— Сволочь ты, — признается сквозь слезы. — Всю жизнь я тебя... А ты бах — и лежачий! А обо мне кто позаботится?! До смерти работать буду, и подохну с тряпкой в руках... А ты развалился и отдыхаешь, устал, бедный! Лучше бы я вместо тебя, а ты бы кормил меня, баюкал, говно за мной подтирал.

Иваныч печально, будто признавая за собой вину, вздыхал, а Мотя умолкала только глубокой ночью.

В колледже стояла тишина, и Моте надо было успеть вымыть коридор до перемены. Родное ее ГПТУ: тут и Мотя училась, и Иваныч профессию получал, и даже... А вот об этом думать не стоило, и так настроение ни к черту. Мотя хлестнула тряпкой безвинные полы и схватилась за швабру.

Коридоры с тех пор почти не изменились: да, чуть подновили масляную бело-голую краску на стенах, купили новые цветочные горшки, развесили кричащие ламинированные плакаты. А вот паркет все тот же, сыплется брусочками, и окна деревянные, щелястые, и пахнет теми же булочками и чаем крепким... Не успела. Звонок рванул с такой силой, что Мотя вздрогнула и чуть не выронила швабру из рук. Быстро попятилась: грязь туда, пыль сюда, махать тряпкой изо всех сил, до стены-то совсем немного...

Ринулись из кабинетов, заорали, обдали Мотю несвежим матерком. Маски, маски: черные и белые, медицинские и тканевые, как в намордниках, ей-богу. Мотя из принципа масок не носила.

Река студентов не заканчивалась. Прижали ее к стене, шумные и неугомонные, забухали тяжелыми ботинками по вымытому полу, и Мотя заскрипела зубами от злости. Выставила древко швабры перед собой, словно копье, взмахнула им и крикнула во всю мочь легких:

— ЗАШИБУ! Куда по помытому?!

— Угомонись, бабуля, — весело посоветовала ей веснушчатая девушка. — Еще раз протрешь.

Умчались вихрем, Мотя и ответить не успела. Потянулись из аудитории самые медлительные, самые вежливые: шли они почти по плинтусу, крались на носочках, втягивая голову в плечи — Мотя порой думала, что таких в каблук и не осталось почти. Просверлила их на всякий случай взглядом, отвернулась.

Вот он. Вышел, застегивая на ходу сумку, скользнул по Моте равнодушным взглядом, а она замерла с этой шваброй дурацкой в руках, и ни сдвинуться не может, ни прикрикнуть на него. Обогнул мыльную лужу по дуге и ушел, скрылась из виду худая спина.

Мотя присела на лавочку и подолом юбки промокнула вспотевший лоб.

Бывает же такое.

Она не знала, как зовут этого нескладного длинного паренька, не знала, на кого он учится, даже голос его ни разу не слышала — но это и к лучшему. Глянешь на него, выходящего из золотисто-розовой, подсвеченной утренним светом аудитории, и все внутри обмирает. Копия, ну копия же!

Моте порой казалось, что сын и вправду живой. Не было бесконечных его детских простуд и госпитализаций, не было налитых слезами глаз, ночей бессонных, когда она через каждые пять минут вскакивала с кровати и бежала щупать его лоб. Не было страхов, что он, хиленький и чахлый, всю жизнь будет мучиться со здоровьем.

Не было армии этой, не было петли. И гроба, кривенького и дешевого, тоже не было.

Мотя встряхнулась. Полюбовалась соколиком своим? Погрузилась в мечты? Ну и хватит на сегодня. Надо еще кабинет помыть, он пустой будет до следующей пары, а потом чистой водой пройтись по коридору, убрать следы их черные, жирные, словно нефтяные, и воспоминания о пареньке том, что так похож на ее Витальку...

— А приду, и памперсы менять, — бурчала Мотя, заползая под низенькие парты и стучаясь о столешницы горбатой спиной. Возила тряпкой, чувствуя, как с носа срываются капельки пота. — Вот скотина, и этот меня предал, лежит себе барином, сколько же это, господи, продолжаться-то будет...

Заметив очередное пятно, Мотя накинулась на него почти с радостью: подскочила, рухнула на колени и растерла тряпкой так, что даже засохшая краска стыдливо смылась без малейшего следа. Терла и терла с такой силой, что тяжело заныли руки, и бурчала, бурчала, бурчала себе под нос.

Это только первая аудитория на ее бесконечном пути, и толку от этой работы все равно не было — к завтрашнему утру такая же грязьца будет.

Да и черт с ними со всеми.

Домой Мотя приползла на негнущихся ногах и с трудом вскарабкалась по лестнице, от которой откалывались бетонные глыбы с торчащими ржавыми железками. Еле подавила в себе желание пнуть очередного алкаша, беззаботно дремлющего у подоконника. Это не их, пришлый какой-то, не хватило бедняжке сил даже из подъезда выйти.

— Лежит, — фыркнула Мотя себе под нос. — Еще один отдыхающий.

С общей кухни несло тушеной капустой — запах этот, казалось, пропитал Мотю насквозь. Ничего они не готовят, кроме капусты этой. Хоть бы супчик отварили, хоть бы картошечки рассыпчатой, нет, капуста. Стыдливо проشمыгнув мимо своей комнаты, Мотя заглянула на кухню. Спрятала пакет с продуктами в угол, достала лук с морковкой, картошку, пачку перловки...

За столом кроссворды разгадывал пожилой Федор Эф, как его прозвали обитатели общаги — очень уж важным был этот Федор Федорович, настоящий интеллектурал. Порой Моте казалось, что он немой — так редко она слышала его разговоры, только вот немногословный Федор Эф никогда не оставался в стороне: то у подоконника отирается, то возле душевой записывает что-то в блокнот, то sudoku на кухне разгадывает. Полнотелая Гульнара в бело-голубой маске варила магазинные пельмени. Плита, густо покрытая старым жиром, постанывала.

И никакой капусты.

Почему тогда тут вечно ею пахнет?

— Всем доброго дня, — буркнула Мотя таким тоном, что даже плита примолкла. Гульнара скупно кивнула в ответ, Федор Эф глянул на Мотю из-за очков и зашуршал ручкой по газете.

...Здоровенную кастрюлю супа Мотя оставила на кухне — в их маленький холодильничек та попросту не влезла бы. Мотя прекрасно знала, что в следующий ее приход кастрюля

окажется наполовину пустой: обитавшие ханурики выхлебают ее потихоньку, дармоеды.

Мотя бурчала, но чувствовала на себе ответственность за всех вокруг. А чего им есть-то еще, болезным? В холодильнике пушистой плесенью зарастала корка хлеба, кисло чужое молоко и лежал пакет с пророщенной картошкой. Иногда появлялась кастрюлька с манкой или пара тарелок несоленой гречки, но это редкость.

Пустота. Сплошная пустота.

Галчонок дремал в кресле, схватившись за пульт от безжизненного телевизора, а Иваныч посапывал на краю дивана. «Ну какая же идиллия», — подумала Мотя и, поставив тарелки с супом на узкую тумбочку, от души хлопнула дверью.

— Доброе утро! — гаркнула она и ушла обратно на кухню.

Третья тарелка зябко дрожала в руках — силы ни к черту, надо давление померить и таблеток выпить. Больше всего на свете хотелось рухнуть на мягкий диван и проспаться несколько суток кряду. Но нет — надо еще Иваныча помыть, надо прибраться в комнате, а то хламом все заросло, и не расчистишь.

Пристыженный Галчонок вился вокруг старика — а то как же, застукали его спящим на посту, надо испрапляться. Иваныч отмахивался от Галчонка тощими руками и недовольно мычал. Мотя поставила тарелку, убрала пакет с продуктами в шкаф и скомандовала:

— Обед. Да отстань ты от него, не видишь, что ли...

Ели в молчании. Галчонок торопливо хлебал пустой суп и закусывал серым хлебом, Мотя кормила Иваныча с ложки. В горле першило, Мотя то и дело прочищала его, сглатывая острый комок.

— Не буянил? — спросила она, устав от тишины.

— Да нет. — Галчонок шумно высосал бульон. — Ругался только. В милицию меня сдать грозился, чтоб расстреляли.

— Да это разве буянил... — поморщилась Мотя и принялась. — Ты что, гад, опять в комнате курили?!

— Побойтесь бога, Матильда Степановна, — он съезжился в размерах. — Да я одну только, ну хочется прям до жопы, а Григория Ивановича я же не оставлю...

— Ирод! — рявкнула Мотя и так захлопнула челюсти Иванычу, что щелкнули зубы. — Вот скотина-то, а. Просишь его, просишь, кормишь! И туда же!

— Мати...

— Убирайся вон! — ожил вдруг Иваныч, захрипел, задержался. Мотя спокойно вытерла ему рот полотенчиком и поддакнула:

— Первая светлая мысль за долгие годы. Уйди с глаз долой, сил нет. Воняет куревом, всю мебель уже продымил, паскудник.

— Но я...

— Топай! — рявкнула Мотя и воинственно сползла с дивана.

Галчонок тут же оказался у дверей. Замялся, потер шею и улыбнулся, широко и искренне, по-детски.

— Простите, Матильда Степановна. А вы в магазин...

— Нет чтоб просто старикам помог, алкота проклятая. — Мотя, маленькая и полнотелая, наступала на нескладного Галчонка, и он вжимался в дверной косяк. — Все тебе нажраться бы, нажраться!

— Да я так, — зарделся Галчонок, — смазать бы.

Мотя полезла в пакет, достала дешевую прозрачную бутылку. Сунула Галчонку в руки:

— Слышал, от паленки уже тридцать человек в области померло. А ты и дальше бухаешь.

— Ну так вы же не паленку, да?.. Не паленку? — насторожившись, переспросил он. Мотя махнула на него рукой:

— Да какая паленка, у Нади взяла, в «Трех лилиях».

Галчонок посерел.

— Правда, что ль?

— Кривда! — рявкнула Мотя. — Да не пучь глаза, в магазине нормальном купила, в магазине! Припугнуть уже нельзя. Иди. Но еще раз закуришь тут...

— Понял, Матильда Степановна! Спасибо!

И, лучась удовольствием, он выскочил в коридор.

Мотя запоздало вспомнила, что хотела попросить его искупать Иваныча в душевой. Черт бы с ним, пусть катится — он через полчаса сможет только улыбаться и, приклеившись к стене, бродить из одного конца коридора в другой.

Суп остыл, Мотя похлебала его без удовольствия. Иванычу опять ударило в голову:

— Вызови милицию, — просил он ломким голосом.

— Зачем? — Мотя выловила черную горошинку перца и положила на край тарелки.

— Вызови. Как можно...

— Чего случилось-то?

— Хватит тебе... мучить. Бьешь. Места живого нет. Ноги сломала... Встать не могу.

— Ишь, говорливый, как попугай, — Мотя сгрела грязные тарелки, сунула в раковину. — Где ж сломанные ноги у тебя? Лежишь, потому что старый и слабый, вот и все. Какая милиция... тьфу, полиция? Уже и я с тобой заговариваюсь.

— Вызови. Пусть заберут тебя. В Круторожино.

— Куда-а? — расхохоталась Мотя, отскребая желтоватый жир с тарелок.

— Круторожино, — Иваныч повернулся и уставился на нее немигающими глазами.

— Любимую жену, которая утки за тобой выносит, и в психушку. Совсем ты, старый... Обидно вообще-то. Будешь так говорить, я тебя в дом престарелых сдам. И отдохну.

— Помогите! — тонко выкрикнул Иваныч, поняв, что милицию ему никто не вызовет.

— Не ори. Хоть бы раз спасибо сказал, а то мучаешь и бьешь.

— Убивают! — еще тоньше пискнул Иваныч.

Матильда вытерла лицо кухонным полотенчиком и прошаркала к нему:

— Не ори, сказала, соседи устали твои вопли слушать. Убьешь такого, как же.

— Не тронь! Ребра сломаны. Дышать не могу.

— Я же пять минут назад ноги тебе ломала, нет?

Он глянул на нее растерянно и злобно. Мотя махнула:

— Хватит верещать. Сейчас мыться будем.

— Убива-а-ют!

— Вот идиотина, — Мотя покачала головой и пошла за чашкой с тряпками. Нальет тепленькой, оботрет Иваныча с ног до головы, намажет кремом от пролежней, и все будет хорошо.

Хо-ро-шо.

* * *

Всю ночь Матильда кашляла и щупала Иваныча трясущейся рукой — ей казалось, что от него исходит сухой жар, как от дровяной печки. Под утро голова стала чугунной и гудящей, и Мотя, потонув в кошмарах, принялась тихонько подвывать.

— Матильда Степановна! — гаркнул в отваливающуюся розетку Галчонок. — Нормально все у вас?

Они иногда общались так, через стенку, когда лень было ползти в соседнюю комнату. Моте со сна показалось, что Галчонок стоит у нее под ухом.

— Уйди... — взмолилась она и опять закашлялась.

Он не услышал.

— Матильда Степановна!

— Отстань! — рывкнула Мотя и снова провалилась в сон.

Утром, выпив несколько таблеток парацетамола, Мотя позвонила в колледж и рассказала своей болезни. Директриса долго молчала, а потом вздохнула с упреком:

— А кто же теперь полы будет мыть, а?

Мотя хотела сказать, что глубоко сожалеет о своей бессовестности. Что колледж, конечно, никак не может работать, пока в аудитории грязные полы. Что такое важное и ответственное дело никому больше не доверить.

Но вместо этого она сонно проямлила:

— Ну, как-то так.

— Понятно, — директриса, казалось, была очень в Моте разочарована.

Мотя с четвертого раза дозвонилась в поликлинику и вызвала врача. Присела на диван, зажмурилась. Иваныч залепил пяткой ей по спине и взмолился:

— Вызови милицию.

— А, и ты туда же! — скривилась она и ушла в коридор.

Послонялась от двери к двери, заглянула в дребезжащий холодильник — кастрюля из-под супа стояла грязной и пустой. Хоть бы помыли, сволочи. Отскребла присохшие перышки моркови со стенок, вымыла плиту, которой это было что мертвому припарка, протерла стол и подоконники. Голова наливалась свинцом.

Федор Эф горбился в коридоре и, подтянув книжицу к глазам, читал с непроницаемым выражением лица. Мотя по привычке поздоровалась с ним, он по привычке не удостоил ее ответом.

Постучалась в комнату к Даше — вот уж кто всегда дома. Невесомо побарабанила по двери — тишина. Постучала сильнее, и тут же раздался обиженный Юлькин рев. Мотя поморщилась. Вот образа, разбудила ребенка. Выглянувшая Даша показалась незнакомкой: бело-серые впалые щеки, всклокоченные волосы и грязный халат с вышитыми цветами. Она придержала дверь, покачивая мелкую Юльку, и Мотя виновато улыбнулась им:

— Разбудила, да?

— Нормально, — Даша мотала ребенка из стороны в сторону. — Надо чего или так, поболтать?

— Надо, — Мотя нахмурила брови. — Это... соль.

— Соль? — удивленно перепросила Даша и поморщилась: — Ш-ш! А ну хорош орать.

Юлька в ответ заверещала еще громче.

— Соль, ну, — Мотя кивнула на всякий случай. — У меня кончилась, вот и...

— А на кухне?

— И на кухне кончилась. Ты дашь мне соль или будешь допросы устраивать?!

— Да, конечно. Заходи.

Даша с мужем и тремя детьми жили в угловой комнате, и холод у них стоял собачий. Закутанная в кофточку и теплый пуловер Юлька хныкала с раскладушки. Даша сунула младшенькой пустышку в губы и полезла в верхний шкаф. Мотя с трудом примостилась в углу комнаты — свободного места вокруг нее не осталось. Диван, раскладушка, двухъярусная кровать для мелких, здоровенный холодильник, за который Даша до сих пор не могла выплатить кредит, разборный столик, шкафы... Под потолком — бельевые веревки с мокрыми ползунками, напоминающими новогодние гирлянды, подоконник завален учебниками и пачками макарон. В раковине киснет посуда.

Старшей Дашиной дочки, Варвары, дома не было — на уроках, наверное. Средний, Ильяс, по обыкновению пропадает на улице.

Мотя склонилась к Юльке:

— Ну, и чего горлопаним?!

Юлька испуганно округлила глаза и захныкала потише.

— Достала нить, — поморщилась Даша. — Живот у нее.

— Укропной водичкой поила?

— Чем? — Даша забралась с ногами на диван и оглянулась.

Из шкафа за ее плечом из ярко-желтого пакетика посыпались приправы, тонкой струйкой потек сухой рис. Даша устало выругалась и затолкнула рис поглубже.

— Укроп кипятком запариваешь и поишь мелкую. Я принесу сейчас, у меня был где-то.

Даша кивнула и насыпала немного соли в баночку из-под таблеток, потрясла, спросила:

— Хватит?

— Хватит. Спасибо тебе.

— Да было б за что. А чего не на работе?

— Да простыла, — Мотя махнула рукой и снова склонилась над Юлькой. Не заметила, как вытянулось Дашино лицо. — Валёк у тебя не пьёт?

— Нет, — холодный мертвый голос.

— Это хорошо. Зато Галчонок опять забухал, бутылку ему принесла вчера, и все — не слышно даже.

— Моть, — позвала Даша. — Это же простуда, да?

Мотя подняла глаза:

— Простуда, конечно, чего ты? Как на чумную... Нормально все.

— А кашель?

— Ну, б́ухаю немного.

Даша не шевелилась. Рука ее судорожно дернулась к Юльке и тут же опала. Мотя поморщилась:

— Ну чего ты, а? Нормально все со мной.

— Хорошо, — хрипло ответила Даша. — Выздоровливай. Если надо будет таблеток принести, только скажи.

Мотя прекрасно знала Дашину мягкотелость, и что сил у нее не хватит, чтобы выдворить Мотю вон. Так и будет стоять в молчании, губы сжимать и вздыхать украдкой. Дашин лоб побелел, подбородок задрожал. Мотя распрямилась, шагнула к двери.

— Ладно, пойду. За укропом. И это... — она вытащила из халата несколько купюр и сунула их под пустую тарелку. — Юльке. На мороженое.

Дверь за ее спиной захлопнулась с такой силой, что Мотя вздрогнула. Покачала головой:

— Дурная баба... Успокоились уже с истериками, запретами, пандемией этой сраной, а ей только дай волю поволноваться.

Прошаркала за укропом, проверила Иваныча. Он лежал в переполненном подгузнике и беззаботно посапывал, раскинув руки-веточки в стороны. Она остановилась, пригляделась к нему: совсем высох. Торчат мослы, лоб высокий и лысый, глаза ввалились, будто не кормит Мотя его совсем. А она и мясо старается, и минтай, и котлетки из курицы... Тает Иваныч, в воздухе растворяется, ничего не осталось почти.

Мотя чихнула, вжала голову в плечи. Не проснулся.

Подошла к нему, поправила бледную простынку и укутала худые ноги, все в мурашках. Иваныч выглядел удивительно спокойным, и казалось, что на бледных губах его проступила улыбка.

— Спи, — шепнула едва слышно.

Понесла Даше укроп. Федор Эф сидел на подоконнике и задумчиво поглядывал в окно. Правая нога у старика не сгибалась, и он, морщась, разминал мышцу рукой.

Мотя постучала. Нет ответа.

— Опять Юльку разбужу, и орать будет, — поморщившись, Мотя стукнула громче, позвала: — Даш, укроп!

Тишина.

Мотя постучала громче.

— Дашка! — рявкнула, обозлившись. — Забери укроп свой!

Зарыдала Юлька. Если Юлька плачет — значит, и Даша с ней, она дочь без присмотра не оставит. Непутевые они, это уж точно: и сынок бедовый, и муж в запой уходит, и сама Дашка рожает кошкой, ну куда им в такую тесноту столько детей, а заботливая все равно, добродушная... Пока Юльки не было, она даже Моте с Иванычем помогала. Хорошая Даша, хорошая.

Но очень уж пугливая.

— Ну и к черту вас! — крикнула Мотя, чтобы весь коридор услышал. Федор Эф вздохнул на подоконнике. — Не хочешь, и не надо! Зря только ползла сюда.

Бросив пачку укропа под дверь, Мотя гордо удалилась. Уже из коридора она услышала, как кашляет Иваныч. И поежилась словно от сквозняка.

* * *

— Девять часов и тридцать две минуты! — рявкнула заспанная Мотя, распахнув дверь. Пошатнулась, вцепилась в ободранный косяк. — Подохнешь семь раз, пока вас дожدهшься!

На фельдшера скорой помощи ее вопли не произвели никакого впечатления. Пожав плечами, та спросила:

— Нам уехать?

— Да уж нет, заходите! — Мотя с трудом сдвинулась в сторону, закашлялась. — К деду идите, вон он лежит.

— Матильда Степановна! — крикнул в розетку Галчонок. — Помощь нужна?

— Да иди ты к дьяволу! — заорала она и рухнула на стул. — И этот, алкаш, туда же.

Медики включили свет и придвинули табуретку к дивану, к Иванычу. Посмотрели на него, сморщенного и съезжившегося, сверху вниз. Помолчали.

— Чего ждем? — хмуро осведомилась Мотя, растирая глаза. Ей казалось, что мир качается из стороны в сторону.

— Какие жалобы? — невозмутимо спросила фельдшер. Белый комбинезон чуть шуршал от каждого ее движения, из-за пластиковой маски были видны лишь глаза с густо накрашенными ресницами. Иваныч слабо кашлянул и зажмурился. Мотя принялась загибать пальцы:

— Кашляет. Температурит. Стонет весь день. Врачиху вызывала, только дожدهшься корову эту? Вот и вам позвонила. Девять часов и тридцать...

— Не выражайтесь, — перебила фельдшер. — Дедуля, слышим меня?

Иваныч не ответил.

— Иваныч! — гаркнула Мотя так, что он вздрогнул и распахнул полупрозрачные веки. — Чего ты пугаешь?!

Он застонал едва слышно.

— Понятно, — вздохнула фельдшер и повернулась к напарнице. — Я пишу, ты делаешь. Кардиограмма, температура, сахар. Сатурацию проверь. Болезни хронические, аллергии есть?

Мотя хмыкнула:

— Да у кого ж их теперь нет?

Гудел прибор, снимая кардиограмму. Иваныч в одном бледном подгузнике лежал с выгнутой спиной и хрипел. Приклеенные на его впалую грудь датчики казались елочными игрушками. Мотя, скрючившись, пила кипяток и кашляла.

— Вы тоже болеете? — спросила фельдшер с документами.

— Ну. Я эту заразу сюда и притащила.

— Тридцать восемь и три, — сказала другая.

Мотя вздрогнула.

— А я ему и парацетамол, и спиртом уже обтирала...

— Сейчас укол сделаем. Сахар в норме, сатурация 95, терпимо.

На пороге возник растрепанный сонный Галчонок, зевнул, привалившись к косяку.

— Ну, как Иваныч?

— Скройся с глаз, — попросила Мотя.

— Да я про... проспиртованный, — возмутился Галчонок, который только к утру вернулся от очередного собутыльника.

— Мужчина, — поморщилась фельдшер, разбежались лучики морщинок вокруг глаз. — Возвращайтесь к себе, это не шуточки.

— Да я...

— Уйди! — не выдержала Мотя.

Хлопнула дверь.

— Значит так, — минут через десять сказала фельдшер и сдвинула пустые ампулы в сторонку. — Очень похоже на ковид, но в больницу мы его не повезем.

— Это почему еще? — подбоченилась Мотя.

— Потому что обратно не приедет уже. Пока сатурация нормальная, пусть дома лежит, лечится. Уколы мы сделали, с восьми утра дозванивайтесь в больницу и требуйте врача. Возьмут тест, выпишут лекарства, будете лечиться здесь. Если задыхаться начнет или сознание терять — звоните, тогда и увезем. КТ сделаем, проверим. А пока не будем рисковать. Старый он у вас, да и кто там за ним, лежачим, ухаживать будет..

И тут Мотя поняла, что у нее кончились силы. Кивнула, прикрыла глаза от яркого света, фельдшер пригляделась к ее влажному лицу:

— Вам хоть есть кому приезжать, продукты привозить, лекарства?

Мотя еще раз кивнула. Есть, конечно. Галчонок.

— Ладно. Тогда следите за дедом, из дома не выходить. И звоните почаще в больницу, третья волна, коек не хватает... Не лучшее время выбрали, чтобы болеть.

Мотя с трудом закрыла за ними дверь. Иваныч дышал полегче, но все равно распахивал рот, будто ему не хватало воздуха. Раскинулся, зараза, на весь диван, и не ляжешь... Она тихонько устроилась у него под боком, свернулась калачиком, баюкая острую головную боль.

Так и уснули.

* * *

У Моти не было сил даже слезть с дивана. Иваныч стучал рукой ей по голове, механически, словно заведенный. Бам-бам, бам-бам...

— Ну чего тебе надо? — простонала она, не открывая глаз.

— Милицию... вызови...

— А милиция уже здесь.

Мотя распахнула веки и поморщилась от солнца — казалось, что глаза вот-вот выдавит из черепа. Ткнулась носом обратно в подушку, поерзала, разминая затекшее тело.

— Матильда Степановна, вы как?

Галчонок. Стоит, как самовар начищенный, улыбается. Мотя рывкнула бы на него по старинке, да сил не было. Простонала что-то, но ничего от нее, кроме бесконечной боли, не осталось. Закашлялась, сплюнула в полотенце.

— Я продукты принес, — ласково сказал Галчонок.

— Спасибо. Деньги там... возьми.

— Да ладно, это потом все, — он присел на диван, скрипнули пружины. — Может, воды? Или чай? Таблетки какие-нибудь.

— Деньги-то у тебя откуда? — она говорила словно из-под воды.

— Где взял, там уже нет. Апельсины купил, картошку. Потом макароны вам сварю. И кефир есть еще.

— Вечером таблетки привезут, — каждое слово давалось с трудом. — Бесплатные. Забери.

— Понял. Не болейте.

— Бессмертный. Иди уже...

— Сейчас, только Иванычу памперсы поменяю, а то пахнет.

Мотя готова была Галчонка расцеловать, но ради этого следовало хотя бы подняться с кровати.

— Я сама... макароны. Иди.

Галчонок робко потрепал ее по плечу. Мотя едва заметно улыбнулась.

К ночи она немного отошла: помогли таблетки, которые волонтеры принесли в их полуразрушенную общагу. Поднялась, раскачиваясь и студенисто дрожа, согнулась в три погибели. Подставила руки под спасительный сквозняк из окон. Глаза болели, носоглотка горела огнем, в пазухах давило,

но Матильде некогда было лежать. Надо приготовить суп на завтра, поменять постельное белье, простирнуть простынки... Подгузники, опять же.

— Зачем она так со мной? — Иваныч едва сипел. Мотя, доставая картошку из нового пакета, сощурилась:

— Кто?

— Она. Все деньги... золото.

— Украла, что ли?

— Все унесла. Почему она...

— Да кто она-то? Я?

— Она.

— Ясно, кукушка снова не с нами, — Мотя налила в чашку воды, ополоснула горящее лицо. Забулькала воздухом. — Никто у тебя ничего не уносил. Не воровал. Ясно?

— Я ей все... А она так.

— Опять бабы у него пошли, — вздохнула Мотя и, взяв ножик с обломанной ручкой, принялась чистить картошку.

Иваныч замолчал. Задремал, наверное. Сухой кашель прорывался хрипом, Иваныч вертелся, приподнимал тонкие руки и вздыхал. Мотя слушала ночную тишину и всплески картофельных кубиков.

Очнулся опять, закричал. Она проверила памперс, протерла ему лоб, размяла ноги.

— Умираю, — сказал он.

— Да уж дождусь я, — фыркнула Мотя. — Дальше обещаний не заходишь.

— Умираю, — не слушал он. Долгий приступ кашля заглушил его бормотание.

— Наконец-то, хоть отдохну от тебя. Ты б знал, как эти горшки, пеленки надоели, лежишь колодой, спать не даешь.

— Мотя... умру... сегодня.

— Давай хотя бы завтра, — поморщилась она. — На больную голову с похоронщиками договариваться себе дороже.

Остаток ночи он стонал и кашлял. Снова поднялась температура: Мотя поила его таблетками, обтирала тряпочкой с теплой водой, потому что водка закончилась. Мяла скрюченные руки, щупала выпирающие кости и прилипшую к ним кожу. Поила картофельным бульоном.

Она тоже не спала. Только закроет глаза, он стонет. Трое подгузников уделал за одну ночь — ну где это видано? Она только успевала менять. Поставила стирку, протерла книжные полочки над головой. Руки тряслись, воздуха не хватало.

Мотя бурчала и мыла полы.

— Ненавижу тебя, — брякнул Иваныч. Мотя выглянула из-за дивана.

— Это с чего еще вдруг?

— Ненавижу.

— Я поняла. Но почему?

— Всю кровь мне... выпила. Уполз бы от тебя. Не могу.

— Здравствуйте, приехали, — Мотя угрожающе придвинулась к Иванычу. — Совсем, старый, того?

— Тварь.

— Я тебе сейчас рот с мылом вымою. Я супчики, памперсы, я ему...

— Ненавижу.

И, отвернувшись, Мотя беззвучно расплакалась.

* * *

— Матильда Степановна, ну чего вы...

— На! — она выставила за порог алюминиевое ведро, пахучее и мерзкое, и тут же захлопнула дверь. — Спасибо, Галчонок, но тебе сюда нельзя.

— Так я сколько заходил уже? И не заболел.

— Ты будешь спорить со старой и немощной женщиной? Он подумал.

— Не буду.

— Вот и умничка. Топай.

Вымытый Иваныч лежал в свежем подгузнике и кашлял. Он теперь мало говорил и все больше сипел, выпучив глаза, будто силился глубоко вдохнуть. Губы его синели. Мотя гоняла скорую туда-сюда: они мерили сатурацию и доказывали, что пока не смертельно. Вкалывали что-то, советовали вызывать врача. Врачиха бормотала в трубку:

— Я вам все выписала.

— Он задыхается! — зверем ревела Мотя.

— Все задыхаются, — меланхолично отвечала она. — Ковид. Радуйтесь, что без кислорода лежит. И не в красной зоне.

Мотя колола Иванычу антибиотики: переворачивала его на живот, гладила острые лопатки в черных родинках, будто хотела вытянуть кашель наружу. Уколы ставить было страшно: того и гляди иглу прямо в кость загонишь, ничего от Иваныча не осталось. Последние деньги потратила на фрукты и бутылочки с белым цефтриаксоном, который надо разводить лидокаином и водой для инъекций. Долго жмурилась, прежде чем уколоть... Мотя до тошноты боялась вида крови.

Когда и вата закончилась, выпотрошила старый матрас, который от матери достался. Заливала кругляши водкой, вытребованной у Галчонка, шмыгала носом. Рисовала йодом сеточки на бледной коже, поила Иваныча водой и горячим шиповником.

Мотя понемногу шла на поправку, только голова порой болела так, что рвало и мутило.

Даша не появлялась. Все в общаге знали, что у них ковид — тесты пришли положительные. Мотя побаивалась, как бы им не заварили дверь. Хорошо, что не в новинку уже, люди поспокойней стали. Только Гульнара приходила, стучала кулачищами в дверь и требовала, чтобы Мотя не вздумала даже окна открывать — Гульнара жила в одной из соседних комнат, и,

«если вдруг вирусом заболеют мои маленькие дети, то я всех тут порешу, клянусь».

Только Галчонок не боялся.

Вечерами Мотя лежала, как подбитая, то и дело нашаривая прохладную ладонь Иваныча и стискивая в руке. В коридоре кипела жизнь: хлопали дверьми, разговаривали и ругались, шелестел детский смех. Мотя прислушивалась к звукам и чувствовала себя пленницей, будто в капкан попала. Дни похожи один на другой, смазываются бесконечно... Иваныч то в убийствах ее обвиняет, то в воровстве, то хрипит так, будто и вправду вот-вот умрет. Раньше она могла хоть на работу убежать — с какой тоской Мотя теперь вспоминала свою швабру!

И худую спину родного студента.

В один из вечеров, когда Мотя мутными глазами пялилась в потолок, то и дело вытирая щеки, проклянулся сиплый голос из розетки:

— Матильда Степановна, как?

— Держимся, — негромко ответила она. Знала, что услышит.

— А обедали сегодня?

— Да, Иваныча покормила.

— А вы?

— Перекусила чего-то.

Помолчали.

— Какая-то вы грустная.

— А чему радоваться?

— Не знаю, — тишина. — Жизни.

— К черту бы твою жизнь.

Проснулся Иваныч, закряхтел, и Мотя осторожно погладила его по руке. Вгляделась в сморщенное лицо со слипшимися губами.

— Телевизор будешь смотреть?

Он молчал. Мотя порой дотаскивала его до кресла: немощный и тоненький, а тяжелый какой! Душа, наверное. Усаживала

в кресло, он сползал. Она подтягивала повыше, устраивала тонкие коленки и переключала программы. Выбирала чего-нибудь спортивное или фильм приключенческий — на экране выстрелы и взрывы, а Иваныч сидит, уставившись в экран, и в его прозрачных глазах мелькают цветные картинки.

Он мог сидеть часами, почти не моргая и ничего ей не говоря. Мотя беспокоилась, виляла кругами, вытирала капающую с подбородка слюну, а Иваныч молчал.

Сейчас, когда за розеткой прислушивался Галчонок, а за окнами чернела ночь, Мотя повернулась к мужу и повторила:

— Телевизор?..

— Ты кто? — в ужасе спросил он и попытался отодвинуться.

Мотя села на диване.

— Иваныч, ну хватит тебе. То ненавижу, то не помню.

— Женщина, — прохрипел он. — Убирайтесь! Кто...

— Жена твоя, Матильда Степановна.

Он замолчал.

— Уходите...

— Куда ж я от тебя уйду? — вспылила Мотя. — Я б самым счастливым человеком была! Не надо больше на подгузники тратиться, на таблеточки, на белье постельное. Не надо ночами не спать, мочу твою отстирывать, говно от дивана. Жизни с тобой нет! Ни благодарности, ни помощи, ни-че-го...

Он смотрел на нее распахнутыми глазами. Сипел. Не узнавал.

Матильда пошла к холодильнику, распахнула дверцу и принялась драить полки. Голова, казалось, тянула ее к земле.

— Уходите... из моего... дома.

— Нет у тебя дома! — крикнула она. — Дурак ты старый! Вложимся в дело, вложимся, Игорь не подведет! Не подвел тебя Игорь, да?! Вот и будешь теперь гнить в общегаге этой вонючей, ни квартиры, ни сына...

Губы прыгали, Мотя нырнула в холодильник и пожалела, что не может закрыть дверцу за собой.

— Нет... жены. Уходите.

— Выздоровею — и уйду! Нет, сам уйдешь. Сдам тебя в приют, как собаку бешеную, и сдохнешь там! Скотина, ни сил, ни нервов! Хоть бы одно «спасибо» жалкое, хоть одно!

Иваныч закашлялся, и кашлял столько, что Мотя успела вымыть холодильник и немного успокоиться. Глаза ее покраснели, воспалились. Она подошла к Иванычу, потрогала его лоб — резко, чуть не ударила. Взяла градусник, сунула под худую руку, прижала.

— Только молчи, — взмолилась. — Или я сама тебя задушу, а потом в тюрьме отдыхать буду.

Галчонок за стенкой не шевелился.

* * *

Мотя придвинула кресло к окну, забралась на подлокотник с ногами и теперь пусто смотрела перед собой. Ей хотелось превратиться в маленькую, закрыть уши руками и молчать, чтобы никто не трогал, но нельзя.

Рассвет. Сереет небо, наливается у горизонта пепельным жаром. Фонари еще горят, и видно, что на лавочке не догуляли: пьянствуют, хорохорятся, лежат. Из растрескавшихся окон льется нетрезвый крик, курлычут голуби, зовут Галчонка с семечками.

Над головой горит единственная лампа, но и она почти прожигает дыры в спине у Моти. По комнате ходят чужаки: Мотя напялила на себя ненавистную маску, и теперь дышит в нее теплой влагой, бактериями. Комкает в пальцах пустую упаковку из-под памперсов.

— Час назад, с копейками, — говорит Галчонок.

— А поточнее?

— А поточнее? — чуть громче спрашивает он, и Мотя чувствует лопатками его взгляд.

— Не знаю. Не видела.

— Понятно, — вздох. — А вы сын?

— Почти, — слышно, как Галчонок неуместно улыбается и тут же кашляет, чтобы спрятать улыбку. — Друг.

— Понятно, друг. Повезем на вскрытие, потому что дома умер.

— Так от ковида же.

— Все равно на вскрытие. Вот — номер ритуальной службы, позвоните, договоритесь. Хоронить будут в запечатанном гробу, никаких прощаний. Бабушка, сейчас прощаться будем?

Мотя закрывает уши руками.

Шуршат, шелестят голосами. Запаковывают тело, а она помнит, какой Иваныч на ощупь: холодный и деревянный, руки не гнутся. Проснулась посреди ночи, потянулась пощупать, вдруг температура, а он...

Она знала. Он два дня в агонии был, бормотал что-то бессвязное, не ел. Она заливала в него бульон, а бульон обратно. Дергала врачей, скорую, Галчонка, но все только руками разводили. Вечером шепнул едва слышно:

— Моть...

От удивления ей даже ерничать не захотелось. Присела к нему, погладила по безволосой голове. Прижала ладонь к губам.

— Не хочу умирать, — сказал он и закрыл глаза.

— Так не умирай, — попросила Мотя.

А сегодня ночью постучала в стенку и утащила кресло к окну. Галчонок примчался в семейных трусах, пьяный и краснолицый:

— Че?! — крикнул испуганно.

— Вон, — не оборачиваясь, Мотя мотнула головой. — Что хочешь делай, только чтобы я ничего не слышала и не видела.

Хлопнула дверь, ушли. Галчонок метался по комнате, собирал простыни в желтых пятнах, подгузники, шприцы, руки у него дрожали: то ли с пьянки, то ли от волнения. Мотя смотрела

в окно на посветлевшее небо. Это хорошо еще, что у них подъезд на другую сторону выходит. Увезут в мешке в морг, Иваныча, ее любимого Иваныча...

— Хватит тебе мельтешить, — зашипела на Галчонка, и тот замер посреди комнаты. — Я сама уберу.

— Понял. Надо чего?

— Нет. Иди.

Встал на пороге, не зная, куда ему.

— Может, выпьем? — предложил, набравшись смелости.

— Ты пьяный еще, куда тебе алкашка! — загрохотала Мотя и, подскочив, кинулась к нему. Врезалась могучим телом, замолотила по рукам.

— Пьяница, пьяница, алкаш!

Он стиснул ее крепко-накрепко, остолбенел, скорчился.

— Это пройдет, — сказал только.

Мотя ревела. Сильная и желчная Мотя ревела белугой и не могла остановиться, захлебывалась в слезах. Галчонок погладил ее по спине. Усадил на диван, сбегал до комнаты. Прибежал с рюмкой, влил в Мотю.

Она еще раз саданула его по руке.

— Придурошный!

Галчонок кивнул.

Он сидел в их комнате, пока Мотя не перегорела. В их комнате... Слезы высохли быстро, пришло недоумение — это что же, Иваныча в больницу забрали? Полежит недельку, прокапают, и вернется. Злости к Галчонку не осталось. Мотя разминала подушечки пальцев и молчала, уставившись перед собой. Скрип мешка, ледяные каменные пальцы.

Повалилась на диван, подтянула к себе подушку. Галчонок тут же кинулся, набросил на нее покрывало и снова застыл.

— Спасибо, Денис, — пробормотала она сквозь сон. — Еще повоюем.

Только Иваныч отвоевался.

Матильда распахнула окно и принялась за глажку — утюг плевался паром, шипел, штора бесконечно текла на пол, а Матильда насвистывала под нос приставучую мелодию. Ей почти хотелось, чтобы Гульнара пришла на разборки, вот бы душу отвести.

В комнате было тихо. Галчонок умчался пьянствовать, а Даша теперь общалась с ней через дверь: первый раз подсунула открытку с соболезнаваниями, потом пришла сама. Прижалась спиной к двери:

— Моть, ты прости, но... Давай так, не открывая. Дети у меня, Юлька маленькая.

Так они и разговаривали.

Матильда взялась за генеральную уборку, сложила и отодвинула диван, подумав, что выбросит его при первой же возможности. Пожарила пельмени в сливочном масле, выскребла накипь из чайника, раз пять отдраила полы. Каждую пылинку, каждую соринку... Черные пакеты выставляла в коридор, и они исчезали — это Галчонок все. Молодец он.

Домашних дел накопилось столько, что хватило почти на неделю. Иваныча закопали, Матильда на похороны не ездила. Так и сказала Галчонку в вытянувшееся лицо:

— У меня ковид, карантин. Не поеду никуда.

К общаге Иваныча не привозили. Галчонок сфотографировал могилу, потом показывал, как выглядят и выбранные ею венки, и крест черный с табличкой, и даже грачей, которые склевывали печенье с холма. Матильде пришлось кредит взять — хорошо, что теперь это можно прямо из дома сделать, да и Галчонок помог.

Вот что бы она без него делала?

Чуть не упала, пока шторы вешала. Распахнула их, сдвинула тюль, и хлынул в комнату яркий солнечный свет, обжег больные глаза. Заблестели фрукты в витой корзинке, засверкала открыточка: «От Федора Эф с пожеланиями сил и крепкого здоровья». Матильда кашляла еще, конечно, но теперь уже понятно было,

что она не умрет. Может, и Иваныч не умер? В больнице лежит, в терапии, под капельницей...

Подошла к двери, крикнула:

— Даш!

Не слышит. Прошла из угла в угол, поплакала украдкой.

— Вот же скотина, — пробурчала, вытирая глаза. — И тут подвел, ну что за сволочь! Даже на похороны не смогла... Иваныч, убила б тебя своими руками. Как с таким чудовищем жить можно было?!

А потом тихо-тихо, чтобы никто, даже розетка, не услышали:

— И как теперь? И за кем ухаживать, ради кого полы мыть? Столько ждала, когда помрешь, а какой тут отдых... Сердце не на месте, не могу, даже руки выкручивает. Хоть в общем коридоре ремонт делай.

И еще тише, даже сама не поняла:

— Иваныч, возвращайся... Возвращайся домой. Все стерплю. Только... вернись.

В дверь постучали и тут же распахнули ее с пинка. В проеме появился сияющий Галчонок, под мышкой — деревянная коробка в клетку. Его футболка показалась рдеющим красным флагом, только вот на плече белела высохшая клякса. И кроссовки новые раздобыл, светлые, с голубыми прожилками.

Почти трезвый.

— Нарды! — громогласно крикнул он. — Во! Садитесь, Матильда Степановна, играть будем.

— Нет, ну идиот, идиот! — выкрикнула она. — У меня обед не приготовлен, у меня шторы...

— Подождут ваши шторы, — он закрыл дверь, кинул нарды на стол и распахнул их одним рывком. Загремели плоские шайбы. — Давайте, давайте! Хватит горевать. Жизнь, она такая. Зато я у вас есть.

— Есть, конечно. Алкоголик безмозглый, — буркнула она.

И села играть в нарды.

ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА

— Две взрослые и одну детскую.

— Рост ребенка? — деловито спросила продавщица. При всем скучающем виде она сохраняла бодрый голос и интерес к другим людям.

— Сто тридцать.

Женщина за прилавком начала перебирать шуршащие пакеты, тыкая длинным ногтем по окошку, откуда выглядывал маленький пижамный прямоугольник. Зачем оно там, задумалась Катя. Зачем это окошко? Весь пакет и так прозрачный. Тонко, мелко помятый, изломанный, будто лед. Треснувший лед.

— Сейчас посмотрим, — пробормотала продавщица, — что у меня тут осталось.

Яркие красновато-фиолетовые губы, широкие поры на носу, видимая седина на густых, хорошо подстриженных волосах, большая грудь под хлопчатобумажной водолазкой, широкие бедра. Она выглядела хорошо, полнотело, приятно.

— Это не то, не то. А! Вот, сто тридцать. На девочек. А у вас? Мальчик?! Есть с машинками.

— Нет.

— Тогда посмотрите эту...

— Не белую.

Костя оглядывался. Все вокруг подходило друг другу. Продавщица органично вливалась в пространство магазина, гармонировала с окружающей обстановкой прозрачно-аквариумных, каких-то рыбных прилавков, к которым людям надо было наклоняться и рассматривать товары с написанными

от руки — руки этой женщины — ценниками. Продавщица впитала в себя умение правильно опираться на стойку, почти бесшумно открывать и закрывать кассу, бойко лавировать между полками, в поисках того самого нужного размера. Она отдавалась тому, что умела делать лучше всего. Это было видно. Костя на секунду позавидовал ее простой жизненной энергии.

— Лего...

— Нет.

— Вот с каким-то принтом, не могу прочесть...

— Одноцветную!

— ... Ма-йн-крафт.

— Да нет же! Дайте, лучше я сама поищу, — не выдержала Катя. Она не помнила о чувствах других людей. Женщина была слишком бодрая, громогласная, слишком выпирающая. Катю это раздражало.

Продавщица поджала губы и подвинула к ней горку пакетов. Катя отвернулась и долго перебирала пижамы. Костя смотрел на родную, сгорбленную спину, низкий растрепанный хвост, напряжение, таившееся под Катиными плечами. Под свободной, наспех накинутой одеждой — а больше уже ничего не налезало — он угадал выпирающий живот и почувствовал нежность. А потом горечь. Тронул Катю за локоть, хотел спросить, как она, как они, но не успел.

— Возьмем взрослые, и эту детскую.

— Хотите совет?

— Нет. Я хочу купить пижаму.

Катя уже начинала заводиться. Но женщина не останавливалась.

— Покупайте размер побольше.

— Эту.

— Она будет впрытык...

— Эту.

— А что так? Эта на вырост немного, чтобы не на год, а на два хватило. Вот. В цене чуть-чуть повыше, но стоит того...

— Неважно, — сощурился Костя, вглядываясь в Катю. Что-то в ней настораживало. Он почему-то, наоборот, совсем не мог разозлиться. Эмоции покинули его. — Берем эту.

— Как неважно? — вскипела настойчивая продавщица. — Я как рассуждаю? Вы вещь покупаете хорошую? Хорошую. Недешевую? Недешевую. Хотите, чтобы хватило надолго. Вот моя задача помочь, подсказать.

— Мне насрать. Понравилась эта. Я бы хоть каждый месяц, хоть каждый день их брала, — треснул Катин голос. Она оперлась на прилавок и тяжело задышала.

— Хозяин — барин. Раз деньги есть, — обиделась продавщица, опустив взгляд к ее животу. — Я как лучше хотела. Вы же не первая. Я уже на этих пижамах собаку...

Катя отвернулась. Костя остановил закипевшую, желающую причинить добро, женщину и быстро сунул ей в руку зеленые пижамы — две взрослые, одну детскую.

— Оплата картой.

Они вышли и сели в машину. Поехали — недалеко. Катя тяжело дышала, слишком сильно прижимая пакет с пижамами к себе.

Он мог бы сказать: «Ну что ты уж», — но это было глупо.

«Она хотела как лучше».

Тоже.

Или: «Да, ему всегда будет восемь. Но никто не читает мысли».

— Кроме нас, — ответила вслух Катя и замолчала. Они уже заходили в палату.

За эти месяцы они научились понимать друг друга по глазам. Вокруг них, родителей давно поселившегося в больнице мальчика — Жени, Женечки, Женчика, — сформировалось общее поле. Катя и Костя страдали — и договорились страдать только внутри этого поля. Они обсуждали то, что нельзя вслух говорить

сыну — хотя он знал, все он знал. Они делили на двоих переживания, непосильные для одного человека. Но как разделить.

— Ну что, пижамная вечеринка? — Катя старалась контролировать тон — сын не любил, когда с ним разговаривали фальшивым, нарочито бодрым голосом. «Не говори со мной, как с больным», — бесился он. Не показывал, что боится. Ему же было восемь. Не неугомонные три, не наивные пять. Крутые мальчишеские восемь.

«Ему всегда будет восемь».

— Ура, всегда хотел! А еще будем жрать, жрать, жрать, — ответил Женя. Раньше он бы уже возбужденно танцевал вокруг родителей. Юлил, подпрыгивал, заглядывал в телефон. Сейчас он лишь сделал движение слабеющими руками, будто хочет подняться. Костя подскочил, подтянул подушку повыше, взбил ее так, чтобы Женчик сел, опираясь на спинку кровати. За последние недели мальчик на их глазах высох, тонкие ручки и ножки повисли, они еле крепились к небольшому костлявому прямоугольнику торса. Не мальчик, а деревянная игрушка.

— Что жрать будем? Пиццу?

Катя поморщилась от этого «жрать» и, забывшись, выпалила:

— Пиццу? Не вредно ли?

— Эт мне точно можно. Мам, пап, не пугайтесь, я умираю, — ухмыльнулся хитрый человек. — Пользуюсь случаем съесть все самое вредное.

Катя не смогла сдержать улыбки. Костя обернулся к ней, к сыну и тоже улыбнулся в ответ. Чисто, искренне, забыв обо всем. Они все, естественно, знали. Теоретически. А пару часов назад лечащий врач позвонил, вызвал. Предупредил, что осталось всего несколько часов или, если повезет, сутки. Предложил ночевать в больнице. Не разлучаться ни на секунду. Ни в коем случае не плакать. Не тратить драгоценное время на споры или нравоучения. Забыть про себя.

— Пиццу, конечно, закажем и сожрем, — сказал Костя.

— И колу, пап, — осмелел Женя.

— И колу, — согласился Костя.

— А то посмотрите, совсем исхудал, — насмешливо высоким, «бабушкиным» голосом продолжил Женя.

Он рисовался. На деле Женя давно потерял интерес к пище. Он помнил, но уже не ждал удовольствий от молочных коктейлей, чипсов, колы и всего фастфуда, который раньше — вероятно, в другой, не его жизни — раз в месяц выпрашивал у родителей. Он уже не хотел ощутить какой-то конкретный вкус, а если думал, что хотел, то ему хватало двух-трех ложек, вилок, нескольких укусов. В пять или в шесть лет еда сама по себе была радостью. Он был счастлив, когда просто ел. А теперь.

Рисуется, знает, нервно подумал Костя. Он начал разгружать сумки, медленно раскладывая вещи. Потом все оставил, открыл приложение доставки еды, тыкал, тыкал, никак не мог найти нужный раздел. Что же такое.

«Дура, глупость сморозила», — подняла на него взгляд Катя.

«Забудь, все в порядке».

«Я размазня».

Катя села в кресло, ухватившись за низ живота. Она уже не могла терпеть. Да, подумалось ей, никто не должен был знать, что говорить и делать в таких случаях. Когда кто-то умирал, то где-то там кто-то тоже рождался. Это факт. Кто-то. Где-то там. А не в одной семье. Не одновременно.

«Ему всегда будет восемь».

Она всхлипнула. Как же сложно открыть рот и сказать.

— «Что с тобой?» — спросили Костины глаза.

— Я рожаю, — вслух сказала она.

— Схватки?

— Уже часа два.

Костя вспомнил, как она сжималась от боли. Значит, терпела, терпела все это время. Ну что за женщина, хотелось крикнуть. Что за глупость! Но потом он очнулся, вспомнил их

обстоятельства. Откинул то, что держал в руках, — злосчастные пижамы. Сбегал за врачом.

— Нужно в роддом, — прогремел Дмитрий Григорьевич, шагая в палату.

— Нет, — прохрипела Катя.

— Нужно, Кать, — нетерпеливо сказал Костя.

— Нет, я не оставлю Женю, — она взвыла от новой схватки.

— Можно рожать здесь?

— Нет, — твердо оборвал Костю доктор. Дмитрий Григорьевич был слишком небольшим и каким-то плюшевым на вид, чтобы иметь такой внушительный, громкий голос. Закрытый, но с чувством юмора, неуловимый, но внимательный — он, казалось, каждый день пытался найти свой способ жить среди маленьких умирающих пациентов. — Нас за это по головке не то что не погладят, а эту головку прямо оторвут.

Никто не улыбнулся.

— Можно забрать Жен...

— Еще чего!

Это было глупо, Катя понимала.

— Папа понесет меня на руках, — со слабой надеждой в голосе предложил мальчик.

— Нет, — сказал доктор. — Не обсуждается.

— Вы не сможете мне отказать. Это я тут умираю.

Женчик закашлялся, непонятно, чтобы разжалобить Дмитрия Григорьевича или он действительно ощутил нехватку воздуха, желание вытолкнуть из себя то, что убивало его изнутри.

— Могу, не зарывайтесь, молодой человек, — приструнил врач, но голос его дрогнул.

— Мама и папа чувствуют вину, что я умираю, а там, в животе, живет новая малышка. Будто замену мне нашли.

«Прижать и не отпускать», — уловил Костя через глаза Кати.

— А ты разве против сестренки? — спросил Дмитрий Григорьевич и против своей воли быстро-быстро заморгал.

— Нет. Но они будут думать, что да. Им будет тяжело жить, когда я уйду.

— И что делать? — доктор внимательно смотрел на мальчика, как будто ждал совет от взрослого и опытного коллеги.

— Не умирать, пока мама рожает. Быть рядом.

Катя охнула от боли. Костя вдруг понял, что этот фарс не может быть реальностью. Надо же, какой глупый сон. Сон. Такой глупый. Врач посмотрел на Женю, потом на Костю. Он впервые заметил, как они похожи.

— Мне нужно в туалет, — шепнул Костя и мгновенно выскочил за дверь.

— Папе надо поплакать, — объяснил мальчик.

Катя согнулась пополам. Доктор вздохнул и, казалось, сам готов был выскочить в туалет. Это было странно. Сколько раз он говорил с родителями заболевших, родителями долго болеющих, родителями умирающих детей. Сколько раз он приходил домой, к своей семье, а пока ужинал, слушал любимую жену, читал дочке книгу перед сном, не мог избавиться от черного страха за очередного, спящего там, на больничной койке, ребенка. Чаше он, конечно, просто делал свою работу и выключался. Пытался как-то жить. Но сегодня было что-то еще. У него тоже был восьмилетний сын. Но его сыну исполнилось девять.

— Скажу прямо, если встанешь с кровати, то скоро тебе станет совсем плохо. Ты умрешь почти сразу, — прочистил горло и собрался Дмитрий Григорьевич.

Женя кивнул и печально похлопал по одеялу, покрывающему ноги.

— Значит, я буду тут.

— Я что-нибудь придумаю.

— Уж, придумайте, дядь Дим, — подколот мальчик. Храбрился. Но силы покидали его.

— Подождите, — остановил доктора вернувшийся Костя. — Я могу лечь рядом с Женей, включить зооп. Кать, мы будем

видеть тебя, а ты нас. Приедешь, как только выпустят из род-
дома. Пойдет?

Все посмотрели на Катю. Она не отрывала глаз от Женечки.

— Мам, ну, давай, а то из тебя сейчас ребенок вывалится
прямо на пол, — поторопил тот.

«Ему всегда будет восемь».

— Ладно, — прохрипела она.

— Ну и договорились, — кивнул Дмитрий Григорьевич.

«Попрощайтесь», — хотел сказать он, но не смог. Не смог.

Катя ехала, не выпуская телефон из рук. Главное, Женечка
был рядом, главное, она сама была рядом, пусть и в рамке,
очерченной небольшим экраном. Да, не то, не то! Но физическая
боль спасала ее. Откидывала пока все, что не касалось растя-
гивания мышц и правильного дыхания. Счастье и горе одно-
временно вырывались изнутри, прокладывали себе путь. И Ка-
тя уже ничего не могла с этим сделать.

Костя остался. Приладил свой телефон на подставку, чтобы
Катя не упускала ни одного движения маленького худенького
тела. Обнимал их сына за двоих. Дал Женчику заказать все, что
он хотел. Грудь кололо. Как же отвлечься. Как же. Он немного
завидовал Кате — скоро ее разорвет пополам, растянет на ча-
стицы. Боль разможит сознание, разрушит реальность. Но по-
том из нее появится малышка и, возможно, пусть на какое-то
время — лишь бы успеть сделать один-единственный вдох —
схлынет отчаяние. Возможно, им станет чуть легче. Нет.

Катю привезли, определили в палату. Пока она переодевалась
и с помощью медсестры устраивала поудобнее телефон, люби-
мые мальчики — Костя и Женя — читали ей вслух сказки.
«Не сказки, мам, — раньше возмущенно упрекал ее Женя. —
А комиксы!» Катя улыбнулась себе той, несмышленной, неуме-
ющей эти важные мелочи помнить, неумеющей эти важные
слова подбирать. Ведь как это скоротечно, несвязно подумала
она, как, как... Схватки учащались.

— Ну мама и кричит. Надеюсь, я так кричать не буду, — прошептал Женя папе на ухо.

— «Зато я буду», — хотел сказать Костя, но Кати рядом не было и мысль растворилась в воздухе.

На Женин мобильник позвонил курьер. Тот минуту слушал, нажал отбой и проговорил:

— Пап.

— Я спущусь.

— Нет, он говорит, что опаздывает. Что-то про экстренный случай, — слабо махнул рукой Женчик. — Есть время проголодаться.

Он не хотел есть. Но хотел сделать вид для папы, Костя понял это.

Он продолжил читать на камеру. В палату принесли и сразу же унесли больничную еду. Заглянул волонтер — клоун с шариками, и Женя великодушно посмотрел несколько фокусов. Не отказался от игрушки, просто отложил ее, нераспакованную, в сторону, разрешил оставить связку воздушных шариков, крепящихся к цветастой коробке на полу.

Катя сильно закричала и Костя уменьшил звук.

— Скоро уже? — спросил Женчик.

— Видимо, да. Второй раз говорят, быстрее, — машинально ответил Костя.

— Маме было так же больно со мной?

— Это быстро забывается, остается только любовь... — осторожно сказал Костя, а потом вдруг понял, что больше может не осторожничать, говорить то, что хочет. Но сам испугался этого открытия, в ужасе замотал головой. — Что-то пиццу нашу не несут.

Ее не несли еще больше получаса. Костя уже обо всем забыл, увлеченно заканчивал читать вслух книгу комиксов про мальчика-сыщика и его собаку, как вдруг Женя посмотрел уведомление на своем телефоне и воскликнул:

— Пицца ждет внизу.

— Сейчас.

Костя спустился вниз и быстро подошел к желтому пятну, оказавшемуся невысоким парнем.

— Извините за опоздание, меня чуть машина не сбила, заказов много, велосипед чуть не угнали, — затараторил курьер. Он засуетился, начал снимать короб, перчатки, чтобы достать терминал. И говорил-говарил. Извинялся-извинялся.

Костя еле улыбнулся. Ему стало забавно. Он-то шел и не хотел тратить энергию даже на приветствие, а тут ему навязали целую речь. И из-за чего.

— Бывает, — сказал он, протягивая карту.

— А еще, извините, что спрашиваю, — забежал глазами курьер, — вы можете отказаться от бесплатного десерта? Ну, за опоздание, вам полагается... Он вычитается из моей зарплаты, а если я побегу доставлять, то не успею на последний автобус. Откажитесь, если вам не сложно.

— Да, — устало ответил Костя. Ему внезапно захотелось обнять чужого чернявого парня, почти мальчика. Сказать, что нет ничего страшного в том, чтобы один раз переночевать в хостеле или где там еще можно, на вокзале.

— На учебу утром, — добавил курьер.

Что нет ничего страшного в том, чтобы прогулять учебу. Что вообще мало страшного в жизни. В жизни.

— Я откажусь, — повторил Костя, потер свободной рукой глаза и понял, как сильно постарел за эти часы.

— Спасибо! У вас тут ребенок? — беспечно спросил курьер, оглядывая стены, будто на них был написан ответ на вопрос.

— Сын.

— А, ну, скоро выйдете, выздоравливайте, — ободряюще бросил парень, застегивая лямки огромного короба на груди. — Приятного аппетита!

А ведь такие, как он, молодые курьеры, живут в мире, где дети не умирают, просто не могут умереть, никто не может

умереть и все будут жить вечно, главное на последний автобус успеть, пришло в голову Косте. Они, молодые курьеры, а на деле все на свете, думают только об оценках в приложении, чаевых и лишь бы ничего из зарплаты не вычли, иначе нечем будет заплатить за квартиру, учебу, нечем будет заплатить за еду, пиво и интернет, нечем будет заплатить за компьютерную игру, кофе малознакомой девушки или аренду электросамоката. Нечем, нечем. Нечем.

Костя вздрогнул, вышел из оцепенения и широкими шагами побежал наверх.

Ничего не изменилось. Увидев долгожданные, в прямом смысле, вкусняшки, Женчик испустил тихий радостный вопль, подтянул к себе первую коробку, открыл и стал выбирать по вкусу себе, папе и заглянувшему на шум Дмитрию Григорьевичу. Тот против правил взял угощение на картонке, внимательно посмотрел на Женю, а потом перевел взгляд на Костю. Хотел что-то сказать. Потом о чем-то посмеялся с Женей, Костя так и не понял, о чем. И ушел.

«Заветренную принес, собака, — беззлобно думал Костя, оглядывая свой треугольник пиццы. — Холодную, засохшую, ну что за дела».

— Пап, давай уже есть. А, колу из пакета не достали. Угу. Спасибо.

«То есть вот оно как, да, — Костя смотрел, как сын аккуратно откусывает холодное месиво из соуса, томатов, колбасы и сыра на тонком тесте, и ему вдруг стало горько. — Даже пиццу нормальную принести не смогли. Я не смог».

— Прия... тного... аппе... тита... — с длинными интервалами выговорила Катя. Схватки не давали ей ни секунды перерыва. Вот-вот должно было случиться. Она чувствовала.

— Пап, возьми меня на руки, — попросил Женя.

Костя сгрудил пиццу в коробку, подлез под сына, сел на его место, сверху на себя положил ничего не весящего ребенка.

Одной рукой обнял худенькое тельце, другой взял телефон, из которого доносились страшные звуки. Катя положила свой аппарат на столик, и они успели детально рассмотреть потолок в родовой.

Крик. Другой, детский.

— Моя. Сестренка, — еле слышно вздохнул Женя и закрыл глаза. Костя тоже.

— Телефон! Дайте телефон! — раздался резкий близкий голос. Катя появилась на экране. Измученная, бледная, самая красивая.

— Женчик наш поел пиццу, спит, — успокоил ее Костя.

— Хорошая, сказали, девочка, — выдохнула Катя. Она чувствовала и облегчение, что скоро можно будет вернуться к Жене, и какую-то зудящую пустоту. Не могла понять какую.

Ей на грудь положили младенца. Она подняла телефон выше и показала Косте щеку, спину, пальчики малышки.

— Какая маленькая.

— На тебя похожа. Что-то Женечка неудобно лежит, — заметила Катя.

— Да спит, спит, такой теплый, — соврал Костя.

В доказательство он еще сильнее обнял сына.

— Только не отключайся, — попросила Катя. Там, рядом с ней кто-то ходил, что-то говорил, но никто из них не отвлекался, не слушал.

— Не отключусь. Я с тобой.

Они замолчали. Не отводили друг от друга глаза.

Тишина убаюкивала. Их собственная условная тишина, пустота внутри общего поля то расширялась, то сужалась — пульсировала. Наполнялась. Росла, росла.

Росла.

Катя вздрогнула и завела колыбельную, которую они часто пели в детстве Женчику; Костя помнил. Он ничего и не думал забывать. Он жаждал боли, настоящей физической боли; он

хотел, чтобы стало чуть легче, ну пожалуйста, хоть на пару секунд; он рухнул в ожидании удушающей горечи и свернулся там бесцветным, безмолвным эмбрионом.

Взгляд упал на лежащие на кресле, так и не распакованные, пижамы. Зеленые. Две взрослые. Одна — сто тридцать сантиметров, детская. Уже ненужная.

«Ему всегда будет восемь».

Костя закрыл глаза.

И начал подпевать.

ТАНЮХА

Танюха вышла из подъезда двухэтажного кирпичного барака. Она подняла голову и взглянула на треснувшее окно в кухне. На втором этаже находилась ее квартира с печным отоплением, протекающей крышей, притаившимся грибком по углам и шумным соседом, от которого по утрам пахло перегаром.

Окно на втором этаже приоткрылось, и из него вылетела жирная навозная муха, следом за ней показалось густо накрашенное лицо Танюхиной матери Жанны. Грузная с ранних лет, словно ледокол, Жанна прорезала путь к женскому счастью. В деревне ее прозвали Раскуку — за то, что та размахивала крупными руками, сыпала скабресными шутками, привлекая внимание противоположного пола неприличными жестами и громко хохоча. Дома она ночевала редко, пытаясь устроить личную жизнь в ограниченном выборе «деревенских женихов». Когда Раскуку исполнилось тридцать лет, ее дочь Танюха к этому времени перешла в десятый класс.

Чувствуя, что по пышной комплекции и зарождающейся громогласности переходного возраста дочь наступает ей на пятки, Раскуку с еще большим рвением принялась искать свое счастье. И почти нашла. Но «счастье» предпочло молодость, выбрав Танюху.

В тот противный осенний день по разбитой лесовозами грунтовой дороге, раздумчиво шлепая по лужам в мужских резиновых сапогах на четыре размера больше и в пузыре ярко-голубого пуховика, Танюха направлялась в деревенский магазин за майонезом, батоном и вареной колбасой. Чуть

раскосыми карими глазами Танюха привычно оглядывала покосившиеся заборы, за которыми торчали уцелевшие скрюченные подсолнухи, вдыхала аромат дыма, валившего из труб деревянных домов, и прислушивалась к озябшим, охрипшим крикам петухов.

Мимо проехал фиолетовый жигуленок, окатив Танюху ледяной мутно-коричневой волной. Танюха подняла кулак, собираясь потрясти им в воздухе, как жигуленок сдал назад, окатив ее еще раз. Водитель, щуплый молодой узбек, лучезарно улыбнулся, так, что у Танюхи потеплело в груди, будто она оказалась под жарким ташкентским солнцем, и кулак сам собой разжался.

— Подвозить хочу, — еще шире улыбнулся узбек, показав белые здоровые зубы, и похлопал по рулю, обтянутому потрепавшимся кожаменителем.

— Чего? — опешила Танюха и хлопнула густыми черными ресницами.

— Подвозить хочу. Ехай ко мне.

Танюха, не обладая лингвистическими способностями, все-таки смогла понять иностранного кавалера и прыгнула к нему в машину. Кавалер в свою очередь, увидев в ее руках пустой пакет с нарисованными потертыми розочками, сообразил, куда направлялась девушка.

Молча доехав до магазина, он галантно перегнулся через Танюху, открыв изнутри дверцу.

— Ката рахмат, — темные, как смородина глаза узбека, хитро и весело прищурились.

Танюха смущенно втянула большой живот и, задыхаясь, выдавила:

— Спасибо.

Войдя в магазин, она почувствовала зуд, будто от комариных укусов, и поняла, что на нее смотрят любопытные глаза местных жителей.

— Ты, что ль, ухажера себе нашла заграничного? — первой полюбопытствовала тетя Тоня, низенькая женщина с пакетом замороженных куриных крыльев в руке.

— Он же тебе в отцы годится, — съерничала подруга и ровесница Танюхиной матери, Ленка Никанорова.

— Може, глянулся он ей. Че уставились, как в театре? — покачулся алкоголик Андрюха по прозвищу Шитик и протянул продавщице за прилавком пятьдесят рублей. — Дай маленькую. Остальное потом отдам, запиши мне в долг.

Продавщица поморщилась, нырнула под прилавок и через секунду небрежно поставила на него бутылку.

Танюха не собиралась ни в кого влюбляться, тем более в иностранца, но неоднозначные разговоры в магазине отчего-то взволновали ее. Она почувствовала, как что-то внутри дернулось, отпружинило и затрепетало.

Сразу возвращаться домой не хотелось. Утопая сапогами в черно-коричневой жиже, она спустилась к прогнившему мосту и долго глядела на мутный темный ручей. Ручей метров на сто убежал вперед и резко обрывался за поворотом сухого ивняка, как и ее мечты о будущем.

В тот же день, узнав обо всем естественным деревенским путем через пересуды и прибавление новых подробностей, Раскуку лупила дочь старой метлой с разошедшей ручкой и обломанными березовыми прутьями.

— Я те покажу, дрянь такая, как с мужиками в лес кататься. Я те покажу, зараза бесстыжая, как мать позорить.

Танюха ревела, словно неподоенная корова, захлебываясь слезами.

— Да я в твои годы... — не унималась Раскуку.

— А ты-то что в ее годы? — штопая шерстяной носок, бабка прервала измывательства над внучкой. — Хватит девку мучить и сплетни слушать.

— А в подоле потом принесет, что делать будешь?

— Как ты принесла? — не повышая голоса спросила бабка.

— А я с тебя пример брала, — огрызнулась Раскуку.

Бабка замерла на секунду и, не ответив, продолжила штопать носок. В этот момент она показалась Танюхе невероятно красивой: статная, с гордой осанкой и не потерявшими цвет ярко-голубыми глазами. И совсем она не старая, просто морщин много.

— Если б ты меня так била, я, может, человеком стала, замуж бы вышла, — не унималась Раскуку.

— А что же сейчас не выйдешь? Вон ходишь по деревне, нас позоришь. Мужика ищешь, как алкаш бутылку.

С тех пор Танюха старалась обходить лужи и не встречаться с иностранцем.

Не встречаться с иностранцем было сложно. Улугбек, так его звали, приехал из кишлака под Самаркандом на заработки в Россию. Здесь ему предложили место на пилораме и жилье в крохотной бытовке, обитой нестрогаными досками, с печкой-вагонкой, продавленным диваном и старой облезлой крысой, вылезавшей по ночам из огромной щели в безнадежных поисках чем-нибудь поживиться.

Амур-бек, узбекский купидон, сразил Улугбека в горячее восточное сердце. Он был покорен русской красотой и твердо решил завоевать неприступную пышную красавицу, похожую в его представлении на царицу Тамару.

За три года Улугбек выучил русский язык и, завидев Танюху, не упускал случая ей это показать. Он то останавливался у колдца с длинным, уходящим в небо журавлем, то караулил ее у старого амбара, растасканного на бревна, то сидел на крыльце деревенского клуба, зная, что она непременно пройдет мимо, возвращаясь с остановки после школы.

— Леди, садись в машина, подвезу до магазина, — Улугбек махал ей смуглой сухой рукой и широко улыбался, но попыток приблизиться не делал.

Танюха шарахалась в сторону и, косясь на него, ответно улыбалась. И отчего-то всякий раз расстраивалась, когда не встречала его.

С ней за это время тоже произошли некоторые изменения. На лице постепенно появлялись следы голубых теней, черной подводки и бордовой помады на пухлых губах. А однажды, в такой же противный осенний день, как три года назад, Танюха, выйдя на облуженную дорогу все в тех же мужских резиновых сапогах, на очередной призыв Улугбека отрицательно и гордо трянула головой, с твердо зацементированными лаком кудряшками.

Раскуку тоже даром времени не теряла. Устроившись на пилораму, в жажде новой крови, она пыталась тесно подружиться с Улугбеком. Он все также улыбался и неизменно говорил:

— Твой дочь мне жена, — и выдержав паузу, хитро добавлял. — Будет.

Раскуку показывала ему толстую фигу и, подхватив шершавую доску двухсотку, легко виляя бедрами, несла ее к станку.

В один летний вечер, когда петухи отхрипели свои песни, а собаки притихли в ожидании ночных воров, сидя в беседке из неумело сколоченных старых досок у стола, заставленного бутербродами с колбасой, завяленным оливье и остывшей картошкой с мясом, песню завела Раскуку. Она держала рюмку водки в пухлых коротких пальцах, поблескивая дешевым колечком со стеклянным бриллиантом:

А я хо-чу, а я хо-чу опять,

По кры-шам бе-гать, голубе-ей гонять.

— Поздно тебе уже по крышам-то бегать, — проворчала бабка. — Лучше пожелай чего-нибудь Танюхе. Все-таки восемнадцать лет, взрослая уже.

— Ну, дочка, будь счастлива! И про гордость не забывай. Понятно тебе? А про Улугбека этого даже не думай. Он тебе в отцы годится.

— А тебе в мужья, что ль? — не удержалась бабка.

— Я узбечат нянчить не буду! — не обращая на нее внимания, сказала Раскуку. — Что, нормальных парней нет, что ли? Вот Шурка Демидов, чем не жених?

— Мам, так он же косой, — протянула Танюха.

— Косой не косой, зато с толстой колбасой, — расхохоталась Раскуку и залпом выпила рюмку водки, занюхав ее куском хлеба.

— Ой, дура, — хохотнула бабка.

Две Танюхины подружки, приглашенные на праздник, захихикали и аккуратно осушили пластиковые стаканчики с белым полусладким.

Небо раскрашивалось темными сиреневыми полосами, дразня языком уходящего солнца. В наступившей тишине невольно залюбовались закатом.

— Это чего такое стучит? — встрепелась Раскуку.

Танюха неосознанно прижала руку к сердцу и прислушалась, не оно ли предательски бьется. Сегодня ее отпускали на всю ночь в клуб на деревенскую дискотеку, а там наверняка будет он.

Звук нарастал. Неожиданно показался высокий силуэт. Приглядевшись, все так и ахнули. На лоснящемся красавце жеребце восседал Улугбек. Он дернул на себя узду и остановил коня у беседки. Конь фыркал и беспокойно бил копытами о землю.

Улугбек нагнулся, протянул Танюхе букет из трех белых хризантем и запел:

Э-э-эх, да-ро-ги,

Пиль да ту-у-ман.

Хо-ло-да, тре-во-ги

Да степной буриян.

Подружки прыснули со смеху. Раскуку налила стопку водки и зло опрокинула ее в себя:

— Думаешь, такими песенками сразу свой стал, казак узбекский?

— Я люблю твой дочь, — серьезно сказал Улугбек. — Он будет моя жена.

— А в загс она с тобой на кобыле поедет? — не растерялась Раскуку.

— Ма-ам, — умоляюще протянула Танюха.

— Что «мам»? — не унималась Раскуку. — А жить вы у него в бытовке будете, на диване продавленном с вылезаящими пружинами спать?

— А ты откуда знаешь? — вспыхнула Танюха.

— Знаю, бывала!

Танюха выронила букет и выбежала из беседки.

— И не раз бывала! — кричала ей вслед Раскуку.

В тот вечер, когда Улугбек догнал Танюху за старым амбаром, они долго говорили. Она плакала, мотала головой и крепко прижималась к нему.

Улугбек сжал ее руку и горячо зашептал:

— Поехали со мной в Самарканд. Будем там жить. У меня семья большой, добрый. А здесь холодно, мокро. Там тебе сапоги резиновые совсем не надо будет. Выбросишь их.

— Не могу, — тихо сказала Танюха.

— Почему?

Она помолчала:

— Отец, когда к моей маме пришел, просил, чтобы аборт сделала. Денег предлагал. А она его метлой погнала. Он так испугался, что сапоги оставил. Босиком убежал. Мать их выбросить хотела. А потом оставила. Сказала: «С паршивой овцы хоть шерсти клок».

— У меня знаешь, сколько баранов в Самарканде? — зашептал Улугбек, нежно и осторожно целуя ее в висок.

— Да я не о том...

Они слышали, как Раскуку ходила по деревне и протяжно надрывно звала дочь. Даже собаки, будто боясь помешать ее плачу, только время от времени тихо поскуливали. Танюха

долго не откликалась. В тот момент, когда горизонт черного неба дрогнул тонким бледно-желтым надрезом, Танюха отстранилась и сказала:

— Мне пора. Мама волнуется. Завтра увидимся.

— И поженимся?

— Поженимся, только не завтра.

Она осторожно пробралась огородами и вышла к барачу. Поднялась на второй этаж и, тихонько скрипнув дверь с облупившейся краской, скрылась в квартире.

Раскуку подвывая, устало брела домой. Руки ее повисли, как толстые канаты, и болтались в разные стороны. А в спину светило яркое рассветное солнце. От этого казалось, что она, словно святая, сошла с иконы на грязную облуженную дорогу, и ноги ее остаются чистыми, и не касаются этой мутно-серой жижи.

— Чего орешь, как полоумная? — из окна высунулся Шитик с алюминиевой кружкой не то чая, не то самогона, когда Раскуку подходила к подъезду.

— Тьфу ты, — плюнула она, — сколько лет с тобой соседи, а я все к твоей роже привыкнуть не могу.

— Ниче, как-нить привыкнешь, — он довольно улыбнулся щербатым ртом и залпом опрокинул в себя содержимое кружки.

Не ответив, Раскуку хлопнула дверь подъезда. Дверь жалобно скрипнула и вновь распахнулась. Она уже и не помнила, когда ее в последний раз смазывали и подтягивали петли.

ШИТИК

— Ты смотри-ка, а журавель какой пошел? И мимо, мимо, даже не заглянул, — Люська высматривала из окна, как мимо ее дома гордой походкой проходил Андриюха Шитик.

— Пить бросил, — крикнула из кухни ее дочь Ира, яростно отдирая со сковороды пригоревшую капусту, — вот и не заходит.

— Да не бросил, а закодировался, — ответила ей Люська. — Сестра его из Питера приезжала, силком в больницу затащила. Ой, ты гляди-ка, на нем еще и куртка новая, с карманáми.

— Ну, жених! — захотела Ира. — Завтра Анфиска небось прилетит.

— Да седня прилетит, тут и к бабке не ходи. Че-то холодно в доме. Ты печку-то затопила?

— А капусту кто жарить будет?

Люська в последний раз поглядела в спину удаляющемуся Шитику, оторвалась от окна и направилась в сарай за дровами.

Шитик шел по разбитой дороге, выбрасывая вперед негнувшиеся ноги. После длительных запоев они теряли чувствительность и становились как два костыля. И от этого его походка приобретала гордый и вместе с тем чудаковатый вид. Даже в новой куртке он казался неряшливым. Нестриженные грязные волосы торчали в разные стороны, бакенбарды клочками уходили в густую нечесаную бороду. Изрезанный глубокими морщинами лоб выпирал вперед и будто нависал над крохотными мутно-голубыми глазами.

Его и прозвали-то Шитиком за схожесть с ручейником, личинкой луговой бабочки. Этих лохматых личинок на речке собирали мальчишки. Очень хорошо на них рыба клевала.

Дорога к остановке всего в километр мимо магазина, старого, растащенного на бревна амбара, недавно поставленного и никому не нужного телефонного автомата и разнокалиберных деревянных домов, сейчас казалась бесконечной, но такой легкой.

Вот проржавленный пазик остановится у бетонной платформы с погнутым знаком пешеходного перехода и выплюнет из салона Анфиску. Она, как обычно, потопчется на месте широкими каблуками, брезгливо поморщится и передернет плечами в белом плаще с пришитым не к месту и не по погоде порядком изношенном песцовом воротнике. Шитик подскочит к ней, неловко возьмет из рук дамскую сумочку и пойдет обратно, не оборачиваясь.

Он знает, Анфиска последует за ним и через четыре-пять шагов догонит. Она всегда приезжает в конце весны, когда наступает пора сморчков.

И так повторяется каждый год. С конца весны до середины осени Шитик живет с Анфиской в двухэтажном кирпичном бараке с печным отоплением и старым заплесневелым умывальником. За домом рядом с выгребной ямой у них сколочена теплица из старых оконных рам. А около нее растет буйный куст красной розы. Вопреки прогнозам местных жителей, он не замерзает и каждое лето выбрасывает из бутонов яркие махровые цветки. Анфиска говорит, если б не этот куст, вообще бы сюда не приезжала. Он один — красота в ее жизни.

Каждое утро Шитик заводит старую проржавленную копейку, заливает бензин, купленный на Анфискины деньги у соседа Лехи, и они отправляются в лес. За сморчками — на делянки, за лисичками и ценными боровиками — на сосновые боры, куда не добираются пешие грибники. С хапалками идут на болота за черникой, брусникой и клюквой. А уже днем Анфиска стоит у дороги на Москву и продает лесные дары. Цену ломит в десять раз, но городские охотно покупают, не торгуясь.

Осенью Анфиска отсчитает Шитику немного денег, так, чтобы хватило на хлеб и крупу до следующей весны, сядет в пазик и укатит в свою квартиру с центральным отоплением и водопроводом.

Как только пазик скроется за поворотом, Шитик сгорбится, утрет потекший нос и пойдет в магазин. Не глядя на полки с товаром, он небрежно бросит на прилавок триста рублей и прохрипит прокуренным голосом:

— Беленькую дай, — он немного прокашляется. — Еще конфет насыпь. Шоколадных.

— Анфиска уехала? — лукаво спросит продавщица.

— А тебе-то что, ты мне товар продай и лишних вопросов не задавай.

— Ой, глядикось ты, как заговорил, — еще больше ухмыльнется Танька, — значит точно уехала. Сейчас все пропешь, потом опять побираться пойдешь.

— А тебе-то что? — снова повторит Шитик.

— Так ко мне и придешь, хлеба выпрашивать.

— Ну тебя, — он беззлобно махнет рукой, возьмет бутылку с кульком конфет и направится к Люське.

Топнет ногой на взлаившую было собаку и заколотит в хлипкую деревянную дверь.

— Ой, кого это к нам принесло? — с наигранным удивлением тут же отзовется Люська, открывая форточку. — Дверь не вышиби, сейчас открою.

Замок щелкнет, и в нос Шитика ударит кислый запах квашеной капусты.

— Осень, — философски заметит он.

— Уехала? — участливо спросит Люська, заранее зная ответ.

— Дык, — кивнет Шитик.

— Ну, доставай! Ты в первые-то дни с пустыми руками не ходишь.

Шитик разольет водку в мутные стопки. Люська нарежет толстыми кусками черный хлеб и, немного подумав, вытащит из холодильника оставшийся хвостик краковской колбасы. Вскоре придет Ира и принесет из веранды трехлитровую банку соленых огурцов на закуску.

— На вот. Детям твоим принес, — Шитик неловко протянет ей кулек.

Двое мальчишек в трусах босыми ногами прошлепают в кухню, схватят конфеты и убегут обратно в комнату, смотреть телевизор.

Шитик еще два раза сходит в магазин, пока не закончатся первые отложенные деньги на этот месяц.

Когда наступит зима, Шитик не почувствует холода, только голод. Но и его можно заглушить, если выпить немного

обжигающего семидесятипроцентного спирта. У Шитика нет денег на дрова, а заготовить их сам он не сможет.

— Силы в руках нет, — будет оправдываться он, таская по ночам из чужих поленниц дрова.

Возьмет семь поленьев. Потянется за восьмым, но вдруг остановится, вздохнет и побредет к дому.

— Теплицу бы на дрова разобрал. На что она тебе? Вон, рамы какие толстые, — участливо скажет соседка Жанна.

— Ты что! — испуганно махнет на нее Шитик. — Анфиска весной приедет, где огурцы сажать будет?

Жанна скроется в квартире, а через минуту вынесет ему старое прожженное одеяло:

— На вот. Погрейся.

— Дай тридцать рублей, а? — спросит он. — На стакан.

— Нет у меня наличных, на карте все, — привычно соврет Жанна.

А вечером Шитик пойдет к колодцу у дороги ловить возвращающихся с работы людей и просить денег. От мороза у него побелеют усы и ресницы. Он будет сморкаться, не снимая заштопанную колючую варежку. Наконец, замаячит крупный силуэт Вали Григорьевой.

Она будет идти медленно и тяжело. Лишний вес давит на ноги и на сердце. Валя тоже заметит Шитика и интуитивно прижмет сумку к широкому бедру с твердым намерением отказать.

— Валька! — бросится к ней Шитик, на удивление резво отрывая ноги от снега. — Я ведь тебя, как Бога, ждал. Дай тридцать рублей.

Она вздохнет и вытащит из кармана мелочь:

— Больше не жди. Я тебе и так уже всю зарплату отдала.

Дома Шитик перельет из пластиковой бутылки, купленной у Гальки, двести грамм спирта в железную кружку и отрежет кусок замерзшего хлеба. Вечер будет тянуться долго, а ударившие

морозы проберутся под прожженное одеяло. Шитик будет думать, как пережить эту зиму.

Следующим вечером он начистит до блеска ботинки, наденет осеннюю, но новую куртку с карманами, а поверх повяжет белый Анфискин шарф, когда-то забытый ею.

Ровно в двадцать один сорок, когда закончится программа новостей по первому каналу, Шитик выйдет на улицу. Пройдет мимо Люськиного дома, в окнах которого будет гореть теплый желтый свет. Он свернет направо и через триста метров взойдет на крыльцо и забарабанит в Валину дверь. Вскоре послышатся шаги и испуганный голос:

— Кто там?

— Это я, — прохрипит Шитик и повторит уже громче, — я это.

— Чего тебе?

— Валька, война началась!

— Как? — она распахнет дверь. — Как война?

— Вот те крест! Дай тридцать рублей на автобус. До города доехать надо, Анфиску предупредить.

Валя кинется в дом, лихорадочно достанет из кошелька сто рублей. Она бросит их Шитику и побежит к телевизору переключать каналы. Затем сообразит позвонить дочери в Москву.

— Мам, ну какая война? Совсем ты уже, что ли? Ребенка мне разбудила, — сонно ответит дочь.

— Так мне Шитик... — растерянно скажет Валя и не договорит.

Пока она сообразит, он уже купит у Гальки спирт.

— Вот паразит! — выругается Валя и усмехнется.

Она выйдет из дома, чтобы закрыть на щеколду калитку и увидит на заснеженном крыльце ведерко из-под майонеза. В ведерке будет алеть пузатая подмороженная клюква.

Однажды утром ударят невыносимые морозы. До вечера ждать еще долго, чтобы стащить немного дров у соседей. Шитик засунет в печь одеяло и подожжет. Огонь вспыхнет моментально, опалив усы и ресницы. А потом перекинется на червивые

от сигаретного пепла занавески, пройдет по ободранным обоям и схватится за старый продырявленный диван. Затем помчится в другую комнату, окна которой выходят на огуречную теплицу.

Шитик выйдет из квартиры и сядет на скамейку у подъезда. Затем опомнится и бросится за дом. Пламя из окон вырвется, стараясь дотянуться до розового куста. Покрасневшими руками Шитик будет снова и снова засыпать его снегом. Соседи вызовут пожарных, а он вернется на скамейку.

Со всей деревни сбегутся люди и будут заворуженно смотреть, как мощная струя из шланга полощет, словно покрывало, оранжевое пламя. Пожарные несколько раз крикнут, чтобы расходились и не мешали. Черный выпуклый дым вырвется из окон и полетит в бледно-голубое морозное небо.

Вдруг Шитик сорвется со скамейки, застучит ногами, приплясывая и приседая, и запоет:

В Наволоке я живу,
Лебедой питаюсь.
Трава-лебеда,
Вот и вся моя еда.

Отчего-то рассмеется и повалится в снег, раскинув руки. Кто-то украдкой перекрестится.

Когда огонь потушат, люди еще немного постоят и, пряча глаза, начнут расходиться.

— Ирод, чуть нас не спалил! Ты документы-то хоть вынес? — с перемазанным от копоти лицом скажет Жанна, протягивая руку Шитику.

Шитик будет смотреть на черные пустые глазницы окон:

— А на что они мне?

— Допрыгался? — отчего-то разозлится Жанна. — Все, не приедет к тебе твоя Анфиска. Некуда теперь ехать.

— Розовый куст не сгорел, — улыбнется Шитик.

— Тьфу, дурак! Рожа болотная, — плюнет она и скроется в подъезде, перепрыгивая черные лужи.

Вскоре она снова появится в дверях. Вынесет ему старую фуфайку, затасканные валенки и железный чайник. А затем как-то неловко сунет в его руку пятьсот рублей.

* * *

— Смотри-ка, Шитик тащится. Еле ноги передвигает, — Люська отодвинула занавеску и выглянула в окно. — Пусть зайдет что ли, погрееется?

— А мне что, жалко, что ли? — ответит Ира, помешивая макароны в кастрюле. — Бутылку со стола убери. Я ему чая поставлю.

СЕРЁГА-ПАСТУХ

Серёга-Пастух лежал на пыльной песчаной дороге, упершись носом в землю и неестественно подогнув под себя руку. Над ним несмело, но настойчиво кружили слепни, будто брезгуя приземлиться. Мальчишки на велосипедах босыми ногами в комариных укусах крутили педали и объезжали его стороной, вздымая клубы пыли.

К придорожному колодцу шла Оксана, беззаботно раскачивая синее пластиковое ведро. В школе начались каникулы, и теперь она могла отдохнуть от проверки тетрадей, исписанных корявым почерком, и не изводить красные чернила. Заметив Серёгу-Пастуха, она ускорила шаг, а потом и вовсе побежала.

— Вы живой? — она склонилась над ним, но миг отпрянула.

В нос ударил тяжелый запах спирта, смешанный с нестираным обмоченным бельем.

— Да че ему будет-то? — за спиной Оксаны остановилась Люська, привычным жестом отдернув врезающиеся в ягодицы пестрые лосины.

— Не знаю, может, сердце?

— Нет у него сердца. Пропил.

Мимо снова пронеслись мальчишки на велосипедах, нарезая очередной круг по деревне.

Оксана протянула руку, на секунду застыла, а потом потрепала его по плечу:

— Поднимайтесь. Ну, поднимайтесь же!

Серёга-Пастух что-то промычал, открыл правый, заплывший фиолетовым глаз и с недоверием посмотрел на Оксану. Ему никто и никогда не протягивал руки, и уж тем более не предлагал помощь. Затем спохватился, похлопал себя по груди, а когда нащупал, что искал, облегченно вздохнул:

— Мадмуазель, пожертвуйте на маленькую.

— Ахаха, — утробно засмеялась Люська, — а ты говоришь сердце.

От досады Оксана глубоко вздохнула, но руку не отняла.

— Поднимайтесь, — терпеливо повторила она.

Серёга-Пастух неловко перекатился на бок и осторожно дотронулся до тонких ухоженных пальцев. Затем встал на четвереньки и боязливо пополз по дороге в сторону барака. Вечером там опять, наверное, будут бить, но перед этим нальют. Главное, чтобы не так, как в прошлый раз, когда те озверели до крови в глазах. Тогда они молотили его ногами, не в силах простить эту глупую трогательную улыбку и слабые руки-бабочки, порхающие в бессмысленном полете.

* * *

Когда-то Серёга подрабатывал пастухом, пока ферма не обанкротилась, и ее не растащили на кирпичи. Коров забили на мясо, а прозвище так и осталось.

— И пусть, все равно свою настоящую фамилию не знаю. А так, плежоре муле, как будто профессия, — он сидел вместе с Шитиком на досках выгребной ямы, пристроенной к бараку.

Рядом летали жирные навозные мухи и будто слушали его с интересом. А он все повторял историю своей жизни длиной в тридцать лет о том, что никогда не знал своего отца, а мать французенка бросила его в пять лет и уплыла на пароходе с румыном. О том, как вырос в детдоме, а затем скитался от деревни к деревне, выполняя нехитрую работу. Улыбался и благодарно кивал, когда платили хлебом, а еще лучше — горячим супом в литровой банке. Если вместо оплаты просто били, радовался, что не так сильно и не до крови. Он даже не удивился, когда ему надели мешок на голову и затолкали в машину.

В машине Серёга-Пастух никогда не катался. Рассказывал, что ехать было интересно, хотя и не видно ничего из-за мешка. Но там, куда увезли, ему не очень понравилось. Мешала тяжелая цепь, которую привязывали по ночам к ноге, чтобы не сбегал. А днем заставляли работать.

— И зачем мне цепь? — искренне не понимал он. — Кормят, поят, даже штаны выдали и футболку с надписью на английском. У меня такой никогда не было. Мерси амур, честное слово.

— Так чего ж ушел-то? — сплюнув под ноги, спросил Шитик.

— Осенью холодно стало. Я у них куртку попросил. А они меня в ледяной колодец окунули. Потом весь вечер смеялись, и я вместе с ними. Правда, смешно же. Человеку холодно, а его — в колодец. Про цепь забыли. Вот я и убег. Босиком. Они на ночь ботинки забирали.

— Здесь-то, что, лучше? — Шитик оглянулся через плечо на окна Демида, приютившего у себя Серёгу-Пастуха и Витьку с Маринкой. Это она обычно первая начинала драку, подзадоривая остальных, отборной лагерной бранью.

— Лучше... Свободнее.

Он украдкой отогнул ворот засаленного пиджака размера на три больше, посмотрел на грудь и погладил ее трепетно и осторожно.

— Печет сегодня, — заметив этот жест, Шитик закурил и буд-то невзначай сказал: — У тебя там чекушка, что ли?

— Была, давно бы выпил, бонсуа-муа, — он немного помолчал, а потом неожиданно спросил: — У тебя карандаш есть?

— А на что он мне? — Шитик с любопытством посмотрел на Серёгу-Пастуха.

— Ну, мало ли. Бон вояж гарсон амур.

— Опять на чухонском залопотал, француз недоделанный? — из окна послышался голос Демида. — Иди за лисичками. Дома жрать нечего.

Серёга-Пастух мелко закивал, соскочил с выгребной ямы, распахнул скрипнувшую дверь, петли которой давно никто не смазывал, и скрылся в подъезде.

Через минуту он вышел с большой плетеной корзиной и направился в сторону леса. Под нечесаными свалявшимися волосами стекал пот. Раскаленная песчаная дорога пылилась под ногами в старых продранных ботинках. На обочинах в терпеливом ожидании прохлады застыла пижма с желтыми цветками-пуговицами. Солнце вдруг засветило с большей яростью и злобой, будто хотело выжечь Серёгу-Пастуха с земли, оставив на его месте тлеющие угли. А потом за работу возьмется ветер, подхватит их и не оставит ничего, даже памяти.

Последний дом с баней из толстых крепких бревен стоял на отшибе деревни и выделялся основательностью. Во дворе Оксана развешивала на веревке только что выстиранные белоснежные простыни.

— Бонжур, мадам! — Серёга-Пастух вскинул вверх руку и сощурился, будто эти простыни слепили его.

— Здравствуйте, — сдержанно кивнула она и, немного подумав, добавила, — Бонжур, месье!

Серёга-Пастух сконфузился, вжал голову в плечи и побрел дальше. Он чувствовал, что Оксана смотрит ему вслед то ли с презрением, то ли с жалостью.

Перейдя два бывших колхозных поля, заросших ивняком и осокой, он вышел к осиновому пролеску и, не останавливаясь,

прошел дальше. Лисички здесь не растут, они все больше на сосновых борах. Вдруг в воздухе раздался грохот, похожий на удар молотом по листу железа. А потом еще раз и еще.

— Гроза будет, — подумал Серёга-Пастух, прижал руку к груди, но не повернул назад.

Домой с пустой корзиной возвращаться нельзя. Маринка заверещит, а Демид молча кивнет, позволив ей ударить первой.

Он помнил, как однажды вернулся с пустыми руками. Его отправили обшаривать сети и мережи рыбаков. Демид тогда сидел на своем привычном месте в притащенном со свалки ободранном кресле. Пьяная Маринка раскачивалась на табурете, а увидев его, тут же вскочила:

— Принес?

— Не успел, шерше-мушель. До меня уже все забрали, — Серёга-Пастух виновато развел руками.

— Зачем вернулся? — спокойно спросил Демид.

— Так я это, я не успел, — снова повторил Серёга-Пастух и непроизвольно закрыл лицо тощей рукой.

— Воспитывать тебя будем, — все так же спокойно сказал Демид.

Он зачем-то взял кочергу, пошевелил ею в печке оставшуюся с весны золу и посмотрел на Маринку. Она, казалось, только и ждала этого немого одобрения. Бросилась на Серёгу-Пастуха с кулаками, дико визжа. На крики из комнаты выбежал Витек и принялся пинать его ногами, стараясь побольнее ударить в живот и отбить почки. Серёга-Пастух не сопротивлялся. Он давно понял, что нужно просто закрыть глаза и думать о хорошем. Потому что все хорошее быстро заканчивается, это он знал наверняка.

Поднялся ветер. Пощелкивая, заволновались осинового листья. По небу, словно перелетные птицы в стаю, стремительно стягивались тучи. Темнело. Серёга-Пастух уходил все дальше в лес, минуя болото с ободранными хапалками кустами черники.

Деревья надсадно скрипели, раскачиваясь в каком-то магическом ритуальном танце. Вторя им, он нагибался, выковыривая из мха мелкие лисички, иссушенные стоявшим несколько дней зноем. Небо накалилось, сверкнув длинной, уходящей за горизонт молнией, и, наконец, треснуло, ливнем обрушившись на истосковавшуюся сухую землю.

Серёга-Пастух прижал руку к груди, будто мог защитить то, что было под пиджаком. Посмотрел на дно корзины, где лежало несколько жалких грибов, на мгновение застыл и бросился в деревню.

Он падал и раздирал лицо в кровь о сухие обломанные сучья. Еловые лапы хватали его за руки, а ветер злобно смеялся, ударяя в живот. Серёга-Пастух впервые с мольбой посмотрел вверх, не отрывая руку от груди. А темное небо, казалось, отвернулось от него, закрыв глаза.

Наконец впереди показалась деревня. Еще совсем недавно обжигающая песчаная дорога наполнилась чавкающими скользкими лужами. Цветы пижмы покорно, будто придавленные сапогом, прижимались к земле. То и дело падая в мутно-коричневую жижу и снова поднимаясь, Серёга-Пастух добежал до крайнего дома, распахнул калитку и тяжело взошел на крыльцо. Там, переведа дух, забарабанил в крепкую железную дверь.

Долго не открывали. Затем послышался женский настороженный голос:

— Кто здесь?

— Мадмуазель, мерси, откройте.

Томительная тишина за дверью нарастала. Мимо в сторону леса пролетела чья-то карбонатная теплица. Раздался двукратный щелчок замка, и на пороге появилась Оксана в льняном сарафане с вышитыми незабудками на груди.

— Неужели на бутылку в такую погоду... — она так и не договорила, уставившись на расцарапанного промокшего Серёгу-Пастуха.

— Я это... — он отогнул ворот пиджака и осторожно, словно драгоценный музейный экспонат, вытащил из-за пазухи зеленую влажную тетрадь с загнутыми страницами. — Можно ее у вас оставить, обсохнуть?

Оксана, все еще обескураженная, протянула руку.

— Можете посмотреть, мон шер, если хотите, — он вжал голову в плечи, обтер лицо шляпой и спустился с крыльца.

Серёга-Пастух шел по дороге, пригибаясь от ветра и поскальзываясь в лужах, но руки его теперь были легки и свободны. Сегодня он домой не пойдет. Непогоду лучше переждать в старом, растасканном на бревна амбаре. А завтра они забудут о лисичках и, может, даже скажут, что волновались.

* * *

— Кто к тебе приходил? — спросит Артём, громко опустит чашку на стол и нервно перекрутит обручальное кольцо на безымянном пальце.

— Серёга-Пастух, — быстро ответит Оксана, — на бутылку просил.

— Вот скотина, ниже плинтуса уже опустился. Дверь ему больше не открывай. И чтоб духа здесь чужого не было. Поняла меня?

— А если ученики придут?

— Знаю я твоих бездарей. Сначала они, потом их папаши заявятся. Все вопросы в школе решай. Поняла меня? — еще раз требовательно спросит Артём.

— Да, — тихо отзовется Оксана и, пряча тетрадь, скроется в спальне.

Там она сядет спиной к двери и раскроет первую страницу. Застынет на мгновение, выпрямится, а потом жадно будет перелистывать, не веря своим глазам.

На обыкновенных тетрадных листах в клеточку будут рисунки карандашом. Оксана невольно zalюбуется райскими

птицами, мельницами с широкими, искусно очерченными лопастями, реками, спускающимися с заснеженных гор, и рядными дамами и кавалерами, плывущими в лодках по озеру, заросшему камышами.

На последней странице она обнаружит изображенного по пояс мужчину с тонкими подкрученными усами и чуть лукавыми, смеющимися глазами, тело которого покрывают мускулы. А внизу корявыми печатными буквами она прочтет надпись: «МОЙ ПАПА НАВЕРНА БЫЛ ТАКИМ».

ОКСАНА

В протопленной бане на черном от копоти полке лежала обнаженная женщина, с прилипшими ко лбу русыми волосами. По ее телу стекал горячий пот. Она кривила лицо, стонала, словно ополумевшая, и задирала руки к низкому потолку, царапая бревно. Рядом на скамейке стояли тазы с теплой водой, а на гвозде висела старая заштопанная простыня. За низким оконцем, наполовину занавешенным куском материи, ночь беспрепятственно обогнула редкие в деревне фонари и разлилась чернильной вязкой темнотой.

Утром баба Шара, опираясь на узловатую клюку, проходила мимо дома, стоявшего на отшибе. Она услышала доносящиеся из бани всхлипы, переходящие в надрывный визг.

Баба Шара толкнула клюкой дверь, предусмотрительно незапертую хозяйкой, и вошла в баню. Там на высоком полке лежало еще теплое тело женщины, с неестественно свисающей вниз рукой. Оно светилось голубовато-бледным мертвенным цветом. Другая рука женщины бездвижно, но крепко обхватила устало взвизгивающего крохотного младенца. Из пупка его торчала длинная перекушенная зубами и неумело перевязанная пуповина.

На стене из обтесанных бревен с вылезавшим из щелей мхом выделялась процарапанная ногтем надпись «Оксана».

* * *

Оксана вернулась в деревню, когда ей исполнилось семнадцать. Артём крепко сжимал ее руку. Обручальное кольцо больно врезалось в палец, но она терпела, придерживая рукой раздувшийся выпирающий живот. Она все ждала, что обнаружит в себе какую-то глубинную память корней, но упавший деревянный забор, облупившийся дом с потрескавшимся шифером на крыше и перевернутый на длинной жерди скворечник так и не всколыхнули в ней этого чувства.

Тетка из города, скрепя сердце взявшая над ней опеку, часто и со злостью рассказывала о матери.

— Глупая она была, дурная. В ПТУ на повариху выучилась. Я ей говорила, все деньги в городе. Здесь и кафе, и рестораны. Все равно ведь в деревню вернулась, в школьную столовую устроилась. Чего ей этот родительский дом дался? Развалюха. Ну, потом геологи приехали. Да как приехали, так и уехали. А она вон тебя родила, месяц не доходила. Все сама решила сделать. Говорю же, дурная.

— А папа мой каким был? — Оксана гладила черно-белую выцветшую фотографию в рамке за стеклом, где на невысоком столбе забора сидела молодая ширококостная женщина со светлыми волосами, лихо закинув ногу на ногу с полными икрами.

— Да бес его знает.

Из воспоминаний Оксану вырвал грубоватый и властный голос Артёма.

— Все перестраивать надо, — подергал наличник на окне, и тот с легким треском оторвался.

Потоптался во дворе, заглянул в пустой дровенник, где давно растащили поленья, и направился к бане.

Почерневшая от времени, с проваленной крышей, но захватски заломленной на бок трубой, утопающая в сухой прошлогодней осоке баня показалась Оксане крепкой, живой. Артём отодвинул задвижку, и дверь, всхлипнув, отворилась. Внутри в полумраке все лежало на своих местах, как и семнадцать лет назад. Пол устилал домотканый запыленный половик, готовый вот-вот рассыпаться в труху, у окна, занавешенного плотной паутиной, на протянутой проволоке висел старый березовый веник. Листья с него давно осыпались, и сейчас он враждебно шиперил голые ветки. В углу пожелтевшая от времени стиральная машина «Малютка» являла собой склеп для мертвых сухих мух на крышке.

В парилке у левой стены черный в сантиметровой саже котел утопал в таких же черных круглых камнях, треснувших от жара и времени. За ними широкий полок, а на скамье два эмалированных таза с коричневыми ободками, словно кольцами у дерева.

Оксана запнулась, не решаясь переступить высокий порог. Затем достала из сумки телефон и включила фонарик. Набрав в грудь воздуха, подняла ногу и шагнула в так мучительно представлявшийся ночами с крепко зажмуренными глазами под одеялом момент своего рождения.

Направила свет фонарика в сторону полка. Луч крадучись пошел по стене, обшаривая толстые выпуклые бревна. Наконец застрял в зазубрине, освещая накренившуюся, будто с мелкими расходящимися морщинами, букву О с выдолбленным жуком-древоедом отверстием в левом боку.

Оксана приблизилась и провела пальцами по остальным буквам. Замерла. И вдруг, закрыв глаза, порывисто прижалась к ним губами.

— Баней позже займемся, — голос Артёма вырвал ее из оцепенения.

Он вытащил из кармана джинсов пачку сигарет, собираясь закурить.

— Не надо, — неожиданно резко сказала Оксана и, сконфузившись, мягко добавила, — пожалуйста.

Артём с удивлением посмотрел на нее, пожал плечами и убрал пачку обратно в карман. Вышел на улицу и зло сплюнул в сторону, сам не понимая, почему повиновался.

Оксану он увидел в школе. Артём тогда встал у турникета, заслонив его своим внушительным мощным телом, затянутым в тугой камуфляж, и потребовал переодеть сменную обувь. Оксана покраснела, заправила за ухо выбившуюся прядь светлых, чуть тронутых желтыми нитями волос, и тихо произнесла:

— Дома забыла.

Артём не спешил ее пропускать и с интересом рассматривал. Отметил стройную фигуру в синем коротком платье, длинную тонкую шею, румянец, заливавший от смущения щеки, и большие серые глаза с неумело накрашенными и оттого слипшимися ресницами.

Тайные свидания в десятке Артёма, поездки за город к укромным уголкам и осторожность, с которой Оксана проскальзывала к нему в машину, будоражили и волновали его.

Оказалось, что родом она из той же деревни, что и он. Оксана все ждала, что он пригласит ее к себе и она сможет хотя бы мельком увидеть дом своей матери. Но Артём не приглашал.

— У меня там яблоку негде упасть. Братья, сестры, племянники.

Он почти не лгал. Дом действительно был полон родственников. Да и родители, Артём это знал наверняка, не одобряют его связь со школьницей.

Когда он налил ей в пластиковый стаканчик вина, она впервые позволила поцеловать себя по-настоящему. И только к февралю он заметил, как Оксана подурнела, а аккуратный носик стал походить на прошлогоднюю картофелину.

Вскоре к Артёму пришла ее тетка.

— У тебя два варианта. Или женишься, или я тебя в тюрьму засажу.

Свадьбу сыграли в марте. Оксана тихо сидела за столиком кафе, боясь лишний раз поднять глаза на двоих друзей Артёма, которых он пригласил. Весь вечер его правая рука тяжело лежала на ее плече, постепенно наливаясь свинцом. Иногда она соскальзывала, но неизменно возвращалась на свое законное место. Захмелевший гость подошел было к Оксане и предложил потанцевать. Она дернулась от смущения и неожиданности, и это движение Артём расценил, как согласие.

— Стоять! — он крепко хватил кулаком по столу, отчего бутылка коньяка подпрыгнула и опрокинулась, расплакавшись янтарной жидкостью прямо на пол.

Лужица подкралась к белой туфельке и уткнулась в острый носок. Оксана закусила губу, не решаясь отнять ногу.

Перед глазами все еще стояла неприятная сцена перед тем, как они подали заявление в загс. Артём тогда ворвался к ней в квартиру и, не стесняясь тетки, закричал:

— Это правда? Скажи мне, правда?

Оксана испуганно заморгала, и по щекам ее покатались крупные слезы.

— Отвечай! — он занес кулак и с усилием опустил его, так и не разжав пальцы.

— Я... боялась сказать, — чуть слышно прошептала она.

— Сколько?

— Пять месяцев.

— Тварь, ты мне всю жизнь поломала!

Вся напускная романтика слезла с Артёма, как южный загар, едва он узнал о беременности. На смену пришла небывалая ненависть, перемешанная со жгучей до крови в глазах ревностью. Эти два чувства, словно клубок колючей проволоки, царапали горло.

Получив аттестат об окончании школы, в тот же день Оксана родила девочку Анюту. Артём не пришел на выпуск. Он перестраивал ее дом с какой-то оголтелой злобой. Экскаватор безжалостно громил старые стены, разравнивая участок в вандальной пляске. Лесовозы подвозили бревна с зарубками римских цифр. Артём, обливаясь потом, скатывающимся по широкому лбу на крепкую бычью шею, вколачивал длинные гвозди и кожей чувствовал, как за спиной, словно молнии, вспыхивают сплетни.

К сентябрю на окраине деревни нагло и крепко обосновался новый дом, вызывая завистливые разговоры местных жителей, перемешанные с ехидством нового положения Артёма.

Когда очередь дошла до бани, Оксана, словно дикая кошка, вцепилась в его руку и с воем попыталась оттащить.

— Не трогай! — кричала она, падая на колени. — Оставь ее мне! Оставь! Оставь!

Не ожидавший такого напора, Артём безгласно оттолкнул ее и, сплюнув, вошел в баню. Крепко закрыл за собой дверь. Закурил.

Оставшаяся с наружной стороны Оксана срывала с корнями уставшую к осени сухую траву и раскачивалась из стороны в сторону, не слыша плача малышки, доносившегося из дома.

Через несколько дней Артём поменял два подгнивших у основания венца, перестелил крышу и доски пола, перебрал каменку и заменил старый расколовшийся котел на новый. Больше ничего не тронул.

Присмирившая Оксана, убаюкивая на руках Анюту, ревностно наблюдала за ремонтом, прислонившись к старой, не тронутой бульдозером яблоне. Когда все было закончено, она заперлась в бане и не выходила из нее до вечера. Мыла и скоблила полки, стены, скамьи. Повесила на окно новую занавеску, а на подоконник поставила пузатую лампадку, специально купленную в церкви. В предбаннике постелила ворсистый коврик,

а к стене прибила рамку с черно-белой фотографией, где ее мать лихо закинула ногу на ногу. Процарапанную надпись на бревне бережно смочила мягкой губкой.

— Закончила? — спросил Артём, когда раскрасневшаяся Оксана вошла в дом со спящей малышкой на руках. — Ужин сегодня предвидится?

— Прости, — она так и не смогла смахнуть довольную улыбку. — Сейчас приготовлю. Скоро баня стопится. Пойдешь, увидишь, как я там все красиво сделала.

— Не понял, а ты?

— А я после тебя.

— Брезгуешь? — начал злиться Артём.

— Прости, я одна должна, — она плотно сжала губы и тихонько застучала ножом по разделочной доске, нарезаая кольцами лук.

Артём так и не смог выбить эту дурь из ее головы. Она неизменно отправлялась в баню одна. Подолгу оставалась в ней и возвращалась с блаженной улыбкой.

Уложив Анюту спать, Оксана крепко закрывала щеколду, зажигала свечу и сидела в предбаннике, вдыхая аромат березового духа и глядя на фотографию. Заходила в парную, гладила процарапанные буквы в стене и говорила с матерью. Оксана прижималась к бревенчатой стене и слушала, как бьется, казалось, само сердце бани. Затем стыдливо раздевалась и подолгу лежала на полке, глядя в потолок. После себя она протирала скамьи влажным полотенцем и поливала водой пол, смывая свое пребывание и приводя все в священный порядок.

— Люди уже говорят, смеются за спиной, — каждый раз зло бросал Артём.

— Я одна должна. Не оскверняй, — с несвойственной ей твердостью отвечала она и пробовала приласкать Артёма.

Привстав на цыпочки, тянулась жажущими тепла губами к его щеке. Он грубо сжимал ее плечо и отстранял.

Заочно окончив педагогический техникум, Оксана устроилась в деревенскую школу учителем русского языка. С работы возвращалась в установленное Артёмом время, не смея задерживаться.

По выходным он начал выпивать и часто, не стесняясь дочери, оскорблял Оксану. К Анюте почти не подходил. Лишь однажды в необъяснимом приступе хмеля дотронулся до ее пушистых светлых волос. Она стукнула его кулачком и проговорила: «Папа плохой».

— А, может, это у тебя мать плохая? — щеки Артёма покрылись красными нездоровыми пятнами. — Что она там в бане делает, ведьма? Сначала меня приворожила, потом тебя нашептала. За кого теперь возьметса?

— Не надо так, — Оксана потянулась к его стопке, чтобы забрать.

Артём схватил нож и со всей дури воткнул его в стол, рядом с ее пальцами. Оксана в страхе отпрянула, схватила Анюту и бросилась в спальню. Когда дочь уснула, она вышла на улицу и затопила баню.

— Ведьма! Гадина! — прокричал Артём, со злостью опрокидывая в себя стопку водки, и привычно добавил: — Всю жизнь мне поломала...

Он долго глядел на сизый дым, валивший из трубы. На виске его пульсировала надувшаяся голубая вена.

На следующий день, придя из школы, Оксана поставила на кухонный стол банку меда.

— Только учебный год начался, — чуть краснея быстро начала рассказывать, — а у нас уже происшествие. Сережа Михеев окно в классе разбил. Не специально, конечно. Баловался, бросил рюкзак на подоконник, тот в окно и угодил.

Артём взглянул на часы. Жена должна была вернуться еще пятнадцать минут назад. Почувяв неладное, молча налил в кружку остывший чай и внимательно посмотрел на Оксану.

— Я его отца вызвала.

— Валёку? Который на ржавом скутере ездит?

— Да-да, его. Он стекло новое вставит. Извинялся долго за сына. А потом из сумки банку меда достал и мне отдал. Говорит, дед из Костромы прислал.

— Значит, так, — Артём отставил кружку и поднялся из-за стола, — мед этот вернешь. Поняла меня?

— Да ты что! — охнула Оксана и инстинктивно потянулась к банке. — Неудобно как-то.

— Значит, сам отдам и засуну ему в одно место. Так подслащу, всю жизнь чай без сахара пить будет.

Больше они к этому разговору не возвращались, но банка меда из дома исчезла.

В середине октября Артёма увезли в областную больницу. Требовалась срочная операция по удалению камней из почек.

— Смотри мне, если опозоришь... — он не договорил. Боль скрутила так, что не хватило воздуха.

— Нам вдвоем хорошо будет, — Анюта смотрела, как папу на носилках заносят в машину скорой помощи.

Оксана испуганно взяла дочь за руку и скрылась в доме.

Через две недели похудевший Артём вернулся в деревню. Он вышел из автобуса и огляделся. Осень в отчаянии цеплялась последними листьями за деревья. Нависшие брюхатые тучи замерли в ожидании, когда отойдут воды. А лужи на дорогах, будто глаза покойников, остекленели и уставились в небо. У магазина Артём встретил Валёку. Тот, не смотря ему в глаза, сунул руку, невнятно поздоровавшись и, запрыгнув на скутер, скрылся за поворотом. Постояв с минуту и глядя ему вслед, Артём зашел в магазин, купил краковской колбасы и бутылку водки. Перед тем как отправиться домой, заглянул к Люське «на чай».

Та, захмелев после второй стопки, с упоением рассказывала новости, что произошли в его отсутствие.

— А в школе-то, каждую ночь окна бьют. Хотели сторожа нанять. Да кто за копейки пойдет?

— Окна, говоришь, кто-то бьет? — словно сам себе задал вопрос Артём.

— Сначала думали, мальчишки хотят уроки сорвать. Так нет же, занятия не отменяют. Валёка теперь чуть не каждый день туда как на работу ходит.

— И чай с медом пьёт, — сам себе сказал Артём и добавил: — А Оксана что?

— А что Оксана? Она у тебя выдрессированная. Лишний раз глаза поднять боится. После школы домой бежит, не оглядываясь, будто ее там любовник дожидается. — Люська расхохоталась и чуть не повалилась со стула.

Артём резко встал и вышел на улицу, где пронизывающий ветер трепал стыдливо обнаженные ветки березы. Темнело. Мысли в голове жалили, будто слепни, отрывая от кожи куски мяса. Кровь, казалось, собиралась в сгустки и, с трудом проталкиваясь по артериям, бухала в сердце.

Сжимая кулаки, Артём рванул с места, но вдруг притормозил. Спокойно прошел по дороге, унимая дрожь и огибая лужи. Перелез через забор и затаился за дровяным сараем. В единственном освещенном окне увидел Анюту. Она сидела за столом и листала книжку. За ее спиной прошла Оксана. Через минуту она появилась на крыльце. Спустилась по ступеням, прошла по тропинке, по бокам которой стояли голые кусты черной смородины, и скрылась в бане. Вскоре из трубы повалил дым.

Почти два часа, пока топилась баня, Артём просидел в одной позе, не чувствуя холода. Наблюдал, как время от времени Оксана выходит из дома, подкинуть дров. Наконец она уложила Анюту спать и, оставив включенным ночник, вышла с большой сумкой, в которой носила полотенце и сменную одежду.

Ветер свистнул, взметнул вверх сухие листья вместе с обломанными ветками. На ночном небе из-за тучи сверкнуло

лезвие убывающей луны. Артёму показалось, как в темноте чья-то тень скользнула к бане и будто скрипнула дверь. Тогда он выпрямился, не торопясь вытащил из пачки сигарету, прикрыл рукой пламя от зажигалки. Закурил. Жадно втянул в себя четыре затяжки подряд. Постоял немного. Расстегнул куртку, давая ветру последнюю возможность остудить, отговорить. Отчаянно захотелось выть и почему-то рубленых котлет.

В несколько пружинистых шагов оказался у бани. За толстыми бревнами чуть слышался нежный голос жены. Со злостью, уже не вмещавшейся в нем, Артём обрушился на дверь. Та, надсадно охнув, треснула и повалилась на пол предбанника вместе с ним. Вскочив на ноги, он распахнул следующую дверь в парную. Оксана с искаженным от испуга ртом, застыла на жарком полке. Одна. Она так и не отняла руку от выщербленной буквы О, процарапанной в бревне.

Артём хватил взглядом углы, вскользь заметил аккуратно расставленные на подоконнике разноцветные баночки с маслами и пузатую кроваво-красную лампадку. В животной ярости смел их одной рукой, а второй повалил Оксану на полку. Не снимая куртку, навис над ней всем телом, прижал к выскобленным доскам и намотал на руку длинные влажные волосы. Он не слышал ее криков. Да она, кажется, и не кричала, только в ужасе повернув голову, смотрела на край черно-белой фотографии, выглядывающей из-за двери. Кровь Артёма бухала в ушах в такт его грубым толчкам.

Когда все было кончено, Оксана отстранила его, сползла с полка и, сгибаясь, выскользнула на улицу. Пробежала по тропинке, рванула на себя калитку и, не оглядываясь, устремилась к синеющему в темноте частоколу леса.

Опомнившись, Артём попятился и услышал хруст стекла. Лампадка под его ногой раскололась на мелкие ярко-красные осколки, похожие на заледеневшие капли крови. В ушах

зазвенело, будто десятки церковей разом ударили в колокола. Оглохнув, Артём отшатнулся от себя самого, схватился за голову и выбежал вслед за Оксаной.

Почти догнав ее, он будто в замедленной съемке увидел, как налетевший ветер подтолкнул и повалил Оксану в размокшую от дождя грунтовую дорогу. На мгновение Артём ослеп от обнаженной бледно-голубой спины на фоне грязно-коричневой лужи. Через секунду сорвал с себя куртку, накрыл ею жену и бережно взял на руки.

В баню идти не решился. Занес в дом и усадил в кухне на стул. Налил в ведро горячей воды. Окунул в него край полотенца. Он бережно и осторожно смывал осеннюю холодную землю с обнаженного тела и все повторял, целуя ее исцарапанные ноги: «Прости... Прости».

Вдруг Оксана задрала вверх голову. Тело ее мелко задрожало, и вырвался наружу громкий тягучий, как кисель, смех.

— Тише, Ан... — Артём запнулся, дотронулся до ее щеки. — Анюта проснется.

Оксана почувствовала, как что-то внизу живота всколыхнулось, обмякло, а потом вспорхнуло к самому горлу:

— Я котлет рубленых нажарила. Чувствовала, что вернешься.

ВАЛЁКА

— Чего халтуришь, Машка? Я тебя уже на четыре шага обогнал.

— А че не на десять сразу? Я тебе бульдозер, что ли? Вон спина уже отваливается.

— У всех отваливается, Машка, а ты не халтурь.

— Давай отдохнем немного. Сил нет.

— Отдохнем, когда помрем. Руки, Машка, человеку на то и даны, чтоб работал.

— А попа мне дана, чтоб сидеть и отдыхать.

— Попа, Машка, бабам дана, чтоб мужик к ней руку приложил, когда грустно станет.

— Дурак ты, Валёка.

— Сама за такого замуж пошла.

— Так за кого ж тут идти-то? Все пьянь да рвань.

Валёка с Машкой копали в огороде картошку. Не поднимая головы, вдавливали вилы в землю и выпрастывали на поверхность клубни, сортируя их здесь же в ведрах, на крупные и мелкие. Солнце перемигивалось с ветром и укутывалось облаками. Со старой березы сорвались ярко-желтые листья и завальсировали вдоль забора. Перемахнули крышу сарая, хороводом промчались вокруг трубы старой бани, упали, опрокинулись и взмыли к сизой кромке леса, что виднелся за холмом. Совсем низко по небу полетел первый клин журавлей.

Птицы курлыкали жалобно и печально, взмахивая сильными крыльями. Клин слегка распадался и вновь выстраивался в две строгие линии, сходящиеся к центру, во главе которого летел не имеющий права на ошибку вожак.

— Валёка, это чего за звук такой? — Машка наконец разогнулась, оглаживая сухими ладонями затекшую спину.

— Машина какая-то едет.

Они застыли, с любопытством наблюдая, как серебристая иномарка с тонированными стеклами проехала мимо их огорода и припарковалась у соседнего дома. Дом этот после смерти хозяина пустовал уже несколько лет, тоскливо поглядывая на дорогу мутными стеклами окон и поскуливая, как верный пес, покосившейся на крыше трубой, куда залетал ветер и плевался золой.

Из машины вышел стройный молодой мужчина в темно-синем деловом костюме, из-под ворота которого торчала каемка белоснежной рубашки. Мужчина отворил калитку и, пройдя по заросшей травой дорожке, когда-то заботливо уложенной растрескавшимся теперь кирпичом, направился к крыльцу.

Вытащил из кармана пиджака телефон и принялся фотографировать дом.

— Там нет никого, — крикнул Валёка.

— Да чего ты лезешь сразу? Может, из администрации приехали, — толкнула его в бок Машка и добавила: — Сходи, проверь.

— Там говорю, — в несколько огромных шагов он выскочил на дорогу, глянул на машину и снова повторил: — Там говорю, не живет никто. Хозяин помер давно.

Мужчина в костюме обернулся и вдруг расплылся в улыбке, обнажая ровные белые зубы.

— Валёка!

Валёка сконфузился и даже оглянулся. Может, это не к нему обращаются? Может, там, в иномарке какой-нибудь другой Валёка сидит?

— Не узнал? — усмехнулся мужчина.

— Игорь?

— Он самый!

— Ничего себе, — почему-то тоскливо протянул Валёка.

И улыбка у него вышла какая-то глупая, будто с поклоном неуклюжим.

Мужчины пожали друг другу руки и неловко замолчали.

— Про отца-то знаешь?

— Знаю. Не смог на похороны приехать. Потом закрутился...

Как все прошло?

— Нормально прошло, — пожал плечами Валёка.

Снова помолчали.

— А ты сюда какими судьбами? Надолго?

— На пару дней. Дом решил продать. Сам понимаешь, ничто уже не держит.

— Тебя и раньше не держало.

Не сговариваясь, посмотрели на машину.

— Ты заходи вечером, хорошо? Мне сейчас Машке в огороде помочь надо, она там одна.

— Машка? Все-таки женился на ней? Поздравляю, рад за вас.

Валёка кивнул. Он-то помнил, как они подрались из-за нее. И как отступил, пожав руку и вытирая с губы кровь. Потом Игорь ей все про Москву рассказывал, а Машка, открыв рот, слушала. Слушала и восхищалась. Валёка, как третий лишний, рядом ходил, когда они за ручку держались.

Вечером Машка долго разбирала вещи в шкафу. Раздраженно осматривала простенькие кофточка, бросала их на кровать и ворчала:

— Надо же, явился через двадцать лет, как ни в чем не бывало. Будто его здесь ждали.

— Так он же дом продавать приехал.

— Ой, не смехи. У него машина в пять раз дороже стоит. Вернулся, чтобы пыль в глаза пустить.

— Все еще злишься, что он тогда уехал? Ты ведь ему, наверно, писала?

— У меня, Валёка, гордость есть. Че-то Колька долго домой не идет, темнеет уже.

— С пацанами заигрался. Сейчас прибежит.

Машка наконец надела вязаное бордовое платье и прицепила на него массивную брошь с фальшивыми изумрудами:

— Нормально так?

— Вспотеешь, дома жарко.

— Да где? У меня вон мурашки от холода.

— К нам же Игорь придет, а не Васильев с «Модного приговора», — надулся Валёка. — У тебя тушь потекла.

— А я и не красилась, — она украдкой глянула в зеркало, поспявлявила палец и потеряла им около глаза.

— Да пошутил я. Может, тоже побриться пойти?

— Я думала ты уже. Давай скорее. Пусть не думает, что только в Москве приличные люди живут. И рубашку надень.

— А рубашку-то зачем?

— Надень, говорю! Спорит еще.

Неожиданно раздался стук в дверь.

— Иди, брейся. Я сама открою.

Она втянула в себя живот, вскинула голову и выскочила в коридор.

— Вот это да-а, — протянул Игорь. — Машка, какая ты стала! Деметра!

— В смысле поправилась, да?

— Красавица! Богиня плодородия!

Послышался тонкий аромат парфюма, от которого у нее приятно закружилась голова.

— Ой, скажешь тоже. Я вон только с огорода, — зачем-то соврала Машка, пытаясь удержать втянутый живот. — Ну, проходи, проходи в дом.

Игорь сел на табурет у стола, где стояли миски с оливье, маринованными огурцами, кружочками колбасы и свежесоленными груздями.

— А здесь почти ничего не изменилось, — он огляделся.

— Да как же? Мы вон стиральную машинку купили, микроволновку. Валёка скважину сделал и бройлера поставил с горячей водой. У нас даже туалет нормальный есть. Раньше-то, помнишь, в дырку на улице ходили, — Машка осеклась и покраснела, не зная, о чем говорить дальше.

К счастью, дверь распахнулась, и в кухню ввалился Колька. Из волос его торчало сено, а на штаны налипли комья земли.

— Вот паразит, опять грязный. Иди, в коридоре штаны снимай, — не сдержалась Машка. — Почему опять телефон не взял? И картошку копать не пришел.

— Ма-ам, разобью ведь, — затынул Колька. — Еще больше ругаться станешь. Мы с пацанами на сеновале в футбол играли.

— Надо же, сеновал сохранился? — удивился Игорь.

— А чего ему будет? — в кухню вошел Валёка, вытирая полотенцем лицо. — Стены малость на кирпичи растащили, а крыша осталась. Там еще и сено в углах валяется.

— Сено, — повторил за ним Игорь. — Знаешь, есть в нем какая-то аутентичность. Плод земли, трава, которую мы топчем. Это ведь как с чувствами, только сено умеет иссушить себя, выстоять, сохранить. А человек — нет.

— Чего же нет? Человек все может, правда, Валёка? У нас поросята, курицы, две теплицы карбонатные. У меня знаешь, с какой охоткой рестораны огурцы маринованные покупают? Я в этом году тридцать банок продала. Тебе не надо? Недорого.

— Машка, — с упреком сказал Валёка.

— Все правильно, — кивнул Игорь. — Свой труд нужно ценить. Любое творение, самое малое, должно окупаться, это приносит покой уму и сердцу. Тогда человек становится создателем, даже творцом. Как говорил Браунинг, «Долг человека — трудиться и, по мере сил, превращать землю в небеса». Маринованные огурцы, Маша, это творение твоих рук. Творение, заботливо омытое, приправленное специями, закрученное в стеклянные сосуды. Это ведь магия, волшебство.

— Только волшебство это иногда разбивается. Я на автобусе банки вожу. Говорю ему, — Машка глянула на Валёку, — давай машину купим. А он вместо этого мотоцикл взял. А ты чего ничего не ешь? Давай, Игорь, я тебе салатика наложу.

— Так я ж его для души, — возмутился Валёка, застыв с вилкой и нацепленным на нее кружком колбасы. — С утра до ночи на пилораме вкалываю. А это... хоть какая-то в жизни радость. Видишь, Игорь, не ценят нынче женщины мужчин.

— Это оттого... — Игорь встал и подошел к окну. Глянул в темноту на две яблони, подсвеченные фонарем. — Оттого, что мужчина сам перестал ценить женщину. Она ведь, вспомните рыцарство, идеалом была, вдохновенным видением, ради которого подвиги совершались. Стремление было, порыв. А сейчас он смотрит на нее как на равную, добытчицу. Мужчина дал, я уверен, намеренно дал силу почувствовать. У женщины от этой силы кожа дубовая стала, сердце щитом или

даже медным тазом прикрылось. Таким, от которого любые стрелы отскакивают.

Игорь вдруг замолчал. Снова сел. Потянулся было к салату, но передумал.

— Развелся, что ли? — с сочувствием спросила Машка.

— Скорее наоборот, так и не женился.

— Какие твои годы! Теть Женю помнишь, Балакиреву? Так она с Васькой сошлась. Тридцать лет разницы. Ниче, живут душа в душу. Это тебе не дед какой старый. Васька-то по мужской части, наверное, ого-го.

— Машка! — Валёка снова так и не донес кружок колбасы до рта.

— А че Машка? Мы не дети уже, взрослые люди. Колька, ты че там делаешь? — крикнула она.

— Телек смотрю, — отозвался тот из комнаты.

— Ты эта, уши не грей!

— Очень надо, — ответил Колька.

— А Жанну помнишь? Раскуку которая. У нее дочь замуж за узбека вышла. Ой, крику было, на всю деревню. Так Раскуку, это по секрету, еще и отбить его пыталась.

— Полагаю, — подумав, ответил Игорь, — человека не национальность определяет. Скорее ценности, приоритеты жизненные. Способность видеть прекрасное в будничном, осмысливать это, проживать. Я вот все думаю, под силу ли человеку всю жизнь прожить вот с такими установками? И пришел к выводу, что нет. Все течет, все меняется. И для всех хорошим быть ты не можешь. Это как добро и зло, они не существуют порознь. Всегда вместе, всегда рядом. Иногда так близко, что одно от другого неотличимо.

Валёка смотрел на Игоря, приоткрыв рот. Лоб его морщился, мысль с усилием пробиралась по этим бороздкам и никак не могла достигнуть цели. Но слушать было интересно, хоть и непонятно. Правда, Машка все время мешала и встревала в разговор, рассказывая новости.

— Совсем забыл, — спохватился Валёка, — у меня же свой продукт в холодильнике остывает. Машка, вынимай!

Машка вытащила из холодильника бутылку из-под водки с жидкостью янтарного цвета.

— Самогон, — просиял Валёка. — Собственного производства. Сухая очистка, четыре перегона. Ты такую нигде не пробовал. Ко мне даже из Москвы за ней приезжают.

Выпили.

— Мягкая, — оценил Игорь, сделав небольшой глоток.

В дверь постучали.

— Открыто! — крикнула Машка.

На пороге появился Шитик. Лохматый, заросший так, что на лице виднелись только глаза и нос. Он мял карман засаленной куртки:

— Валёка, — позвал, не глядя на Машку. — Разговор есть.

— Знаю я твои разговоры. Сто раз слыхала. Опять на бутылку клянчить пришел?

— Не, я папироску стрельнуть. Анфиска борьбу с курением ведет. В кухне на стене сигарету нарисовала и поперек перечеркнула. Наглядное пособие тебе, говорит. Чудит баба.

— Дядя Андрей? — Игорь окинул его взглядом и немного поморщился. Попытался выдавить улыбку, но не получилось.

— Игорь, ты, что ли? — удивился Шитик. — Во дает! А костюм-то прям как на манекене.

— Ладно, проходи, — Машка выдвинула еще один стул и поставила на стол стопку.

— Не, — замахал руками Шитик. — Я ж закодировался.

— Ну, хоть салата поешь. Зря что ли готовила?

— Проходи, проходи, — закивал Валёка. — Как ягода, идет? Мне все в лес никак не выбраться.

— Брусника уже отходит, — Шитик откинулся на спинку стула. — Клюква только краситься начала. Игорь, ты-то хоть помнишь, какая у клюквы физиономия? Или у вас в Москве только фейхую с фуагрой едят?

— А ты-то откуда про фуагру знаешь? — удивилась Машка.

— Я чего, по-твоему, совсем необразованный, телевизор не смотрю? — обиделся Шитик. — Игорь, так вкусная эта фуагра?

— Не пробовал, — Игорю отчего-то захотелось солгать.

Он вдруг вспомнил, как ходил с отцом за клюквой. Начались первые заморозки, лужи на дорогах покрылись тонкой хрупкой корочкой льда. Мох на болоте похрустывал под ногами. Пальцы коченели, срывая с кочек подмороженную ягоду. Отец говорил, пока не наберут полные корзины, с болота не уйдут. Маленький Игорь незаметно плакал злыми слезами и ненавидел эту клюкву.

Снова выпили.

— А чего у вас там, в Москве, едят? — в бороде Шитика застряли кусочки нарезанного картофеля и яйца из салата.

— Вот пристал со своей едой. Как с голодного острова, — проворчала Машка. — Игорь, лучше расскажи, где работаешь. Путина видел?

— Не пришлось, — усмехнулся Игорь. — Я аукционами занимаюсь. Картины, антиквариат и прочее.

— Ого! — в один голос сказали Машка с Валёкой. — Интересно, наверно.

— Разумеется. Встречи, командировки. Франция, Италия, Германия, Америка, гостиницы, отели, чемодан с рубашками и бритвой. Интересно, но все чужое. Жить некогда. А хочется иногда остановиться. Услышать себя настоящего. Отмотать пленку назад. Да даже полюбить эту клюкву...

— Зачем клюкву? — не понял Валёка и опрокинул в себя стопку самогона.

Но Игорь, казалось, уже не слышал его.

— Я ведь ее ненавидел всей душой. Все ненавидел. Уехать хотел. К комфорту, богатству, успеху. Женщин хотел красивых, квартиру с панорамным видом. Думал, там лучшая жизнь. А она здесь, где твои корни. Понимаешь, Валёка? — он сам

налил в стопку самогон и выпил залпом. — Вижу, что не понимаешь. Кто из нас победил тогда, когда я тебе губу разбил? Ты и победил.

— Да чего старое-то вспоминать? Забыли давно, — махнул рукой Валёка.

— Я не забыл. Это у меня кровь, только не на губе, а вот здесь, — он постучал кулаком по груди. — Кровоточит, когда наедине с собой остаюсь. Если б не уехал, все могло быть по-другому.

При этих словах Машку бросило в жар, а под подмышками растеклись темные пятна. Она встала, чтобы открыть форточку. Потом вспомнила, что не нарезала хлеба. Взяв нож, зачем-то пошла было звать кошку, но быстро вернулась и снова села за стол.

— Я, наверно, пойду, — Шитик отодвинул стул. — Завтра вставать на рассвете, с Анфиской в лес поедем.

Он пожал руки мужчинам, чуть дольше задержал взгляд на раскрасневшейся Машке и вышел за дверь.

Валёка снова наполнил стопки:

— Брось, Игорь, какая тут жизнь. Смешно даже. Вкалываешь, вкалываешь, не отрывая головы. Деньги копишь, чтоб летом на море съездить в какой-нибудь трехзвездочный отель на второй линии. Вечером уставший, как собака, ноги вытянешь, и ничего уже не надо. И главное, знаешь, что так до конца жизни. Каждый день, как день сурка.

— Нет, Валёка, не так все. Я ведь тебе завидую. По-хорошему завидую. Ты здесь сам себе хозяин. Никому не должен улыбаться, жать руку, если не хочешь. Никого не уговариваешь, не просишь. У тебя природа, простор. У тебя здесь все запросто. Шитик зашел, за столом с вами посидел. В Москве такого не бывает. Я знаешь, сколько картин в своей жизни видел? От Третьяковки до Метрополя, все музеи обошел. Искусство, оно возвышает человека, приподнимает от земли. Но красота-то вот она, — он

обвел рукой кухню, задел стопку и та, упав со стола, со звоном покатила по полу.

Игорь не обратил на нее внимания, расстегнул ворот рубашки и продолжил:

— Я жить хочу, понимаешь? Как ты. Просто, легко. Жену хочу добрую, без запросов. Сына хочу, чтобы он вот так в футбол, с сеном в волосах.

— Так оставайся! — обрадовался Валёка. — Дом я тебе помогу поднять. Вон и Колька поможет. Он у меня тоже кое-чему научен.

Валёке показалось, что он увидел прежнего Игоря. Того, с которым с детства босиком нарезал круги по деревне, забрасывал первых неумело насаженных на крючки червяков, сбежал по ночам из дома на дискотеку и пробовал разбавленный, до дури обжигающий спирт, спрятавшись на сеновале.

— Так он тебе возьмет и все бросит, — Машка оперлась подбородком о подставленную руку. — Нужна ему эта деревня.

— А ведь ты права, — усмехнулся Игорь. — Всегда была права. И даже тогда, когда уехал, не позвонила, не написала. Все знала. Это мудрость, Машка, женская. От самой земли через пятки в тебя вошла еще с младенчества. Ты всегда знала, как правильно и как надо.

— А как надо? — отчего-то раскиснув, спросил Валёка.

— Как? — Игорь запустил руку в волосы, расхохотался, а потом серьезно сказал: — Переезжать надо. Поехали со мной. Ну, правда. Я вам на первое время жилье найду, здесь дом помогу продать. Работу подыщу. Хочешь, водителем ко мне пойдешь? Машка, ты ведь на швею училась? — Игорь расплялся все сильнее. — Ателье откроем. Сначала на юге Москвы, там аренда дешевле. Кольку в школу хорошую устроим. Деревня хорошо, но в городе все возможности. Слышишь, Валёка, соглашайся!

— Да куда я от себя?

В кухне, словно на вбитом в стену гвозде, повисло молчание. Говорить больше не хотелось. Машка отцепила от платья брошь и положила ее около тарелки с недоеденным оливье.

Ночью, когда Колька уже давно спал, Валёка спросил:

— Машка, а ты для чего живешь?

— Я не поняла, ты что, разводиться со мной собрался? Думаешь, не слышала, что люди про тебя и Оксанку, учительку нашу, говорили? Только знай, Валёка, житья я вам с ней не дам! Попомни мои слова.

— Да я же тебя серьезно спрашиваю, вот для чего ты живешь на этом свете?

— Да как для чего? У нас огород, хозяйство, вон Колька растет.

— Ну, съедим мы эту картошку, забьем свиней на мясо, Коля вырастет, а дальше что?

— Так внуки пойдут.

— Смешная ты, Машка... Давай потанцуем?

— Это тебя так с самогона унесло?

— Ну, правда, давай, — Валёка встал с кровати, тихо включил музыку на телефоне и протянул Машке руку.

Бледный луч луны проникал в комнату сквозь приоткрытые занавески. Машка в длинной широкой ночнушке и Валёка в одних трусах осторожно топтались на нем, крепко прижимаясь к друг другу.

— Ты у меня настоящий, — Машка впервые за много лет чувственно поцеловала Валёку в губы.

* * *

Игорь уехал на следующее утро, не попрощавшись. Лишь не хозяйски открытая калитка напоминала о том, что в доме кто-то побывал. На ней весело раскачивался ветер, поскрипывая петлями. Набирал силу и задор для скорой встречи с осенью. Дождь отбивал барабанную дробь и, цепляясь за металлический карниз

крыши, скатывался по желобу в бочку. В палисаднике сиреневые, белые и розовые астры ежились от холода, поджимая лепестки.

Через две недели Валёка с Машкой убрали на огороде капусту на длинных крепких ножках-столбиках с оборванными листьями. Вырывали из земли, обрубали топором кочаны и складывали в тачку.

— Слышишь? — Валёка замер, не донеся топор до кочана.

— Чего это?

К дому Игоря подъезжала зеленая «Нива». Валёка вскинул голову, посмотрел на небо и сжал Машкину руку:

— Журавли летят! Смотри, журавли!

— И правда, летят. Красивые какие.

— А курлыкают как! Машка, будто песню поют прощальную.

— На жоака глянь, вон сильный какой. Прямо как ты у меня, — она прижалась к Валёке и мазнула губами по его щеке. — А если с ним что случится?

— Не случится, Машка.

Новый хозяин разгружал багажник машины и заносил в дом тюки, пакеты, строительные чемоданы. А Валёка с Машкой, застыв среди разбросанных кочанов капусты, держались за руки и смотрели на улетающий клин журавлей.

МАРГАРИТА ШИЛКИНА

СБОРНИК СУДЕБ

Рассказы

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КЛЕВЕРА

Жене четыре года, он сидит на песке в белой маечке и темно-красных шортиках и плачет. Машинку, на которую он заглядывался все утро, к вечеру забрали. Возможно, хозяин, а возможно, такой же любопытный мальчишка с мокрой ложбинкой под носом, как и он. Мальчишка, которому не сказали: «Да кому этот джип покоцанный нужен, поедим и выйдем».

Жене обидно. Мало того, что они вышли намного позже, так еще и «покоцанный джип» оказался кому-то нужен. Мальчик не может выразить чувства словами, поэтому плачет и, зацепив носком ботиночка песок, швыряет его в сестру. Как только она приносит из магазина баночку мыльных пузырей с крышечкой в виде головы динозавра, Женя изменяется в лице. В области глаз появляются мелкие морщинки, он обнимает сестру за ногу и скомканно извиняется. Пухлые ручки стряхивают с джинсовой юбки песок, сестре приятно, хотя она и убрала его давным-давно.

Жене десять, он склоняется над тетрадь в клеточку и раскрытым учебником по математике. В нем рядом с одним из заданий нарисовано чудовище с пятью рогами и синими, полностью закрасненными ручкой глазами. На прошлой неделе это чудовище было ухмыляющимся зайчиком.

Бездумное черканье — один из вернейших способов ведения борьбы с задачами на нахождение дроби от числа. Еще помогают сайты вроде ГДЗ, испеченные бабушкой блинчики с абрикосовым вареньем и спонтанно наметившаяся поездка в зоопарк.

Сейчас ничего из перечисленного не помогает. Зинаида Робертовна, преподавательница по математике, не отпускает Женю из-за стола вот уже третий час. Он перечитывает условия, заносит решения на бумагу и получает разные ответы на один и тот же пример. Цифры рисуются разные: трехзначные и двузначные, положительные и отрицательные, дробные и целые, но ни одно не совпадает с ответом из решебника. Женя протыкает страницы стержнем ручки с пожеванным концом и закрашивает пространство за красной боковой линией до того, что в нем не остается белых вкраплений. Новое правило не усваивается.

Мальчику кажется, что он еще более бездарен, чем Дима Гиль, который до сих пор, в пятом классе, читает по слогам. Одновременно с мыслью о Диме приходит воспоминание о выступлении у доски в расстегнутых брюках. В тот раз даже Марина Владимировна не удержалась от смеха. Она отвернулась лицом к окну, ее плечи чуть заметно дрогнули, и Жене стало неловко. Он перестал обсуждать с преподавательницей просмотренные на выходных фильмы и прочитанные в перерывах между уроками рассказы.

Одна капля предательски падает на лист и попадает ровно в середину клетки, цифра шесть размазывается. Женя проходится рукавом по лицу, встряхивает головой и захлопывает зеленую тетрадку. Пусть лучше он лишится хорошей отметки, чем утра воскресенья.

Через несколько минут во дворе раздается нечленораздельный крик и лязгающий звук коробки — футбольный мяч ударяется о стенку.

Жене семнадцать, запустивши пальцы в волосы, он смотрит в экран компьютера. На нем высвечивается приказ о зачислении на первый курс очного факультета журналистики. Женя нажимает на округлую стрелочку, обновляет страницу и пролистывает список. На букву «Х» записана Харьков, но нет ни одного

Ханина. Женя нажимает на округлую стрелочку, обновляет страницу и пролистывает список.

Он не поступил ни в Москву, ни в Питер, ни в свой родной сибирский городок с двухсоттысячным населением. Где-то не хватило баллов, где-то истекли сроки.

Из прихожей доносится шум: ключ входит в замочную скважину. Через пару секунд Женя слышит радостный мамин голос. Она изменяет своей привычке сперва переодеваться и лишь после идти к сыну и появляется в дверном проеме. Русые волосы забраны в высокий хвост, один рукав футболки закатан до плеча, на шее болтается фотоаппарат, в правой руке — огромный черный рюкзак со светоотражательной наклейкой.

— Ну как? Что по результатам?

Женя молчит. Он чувствует, как слова застревают в гортани, и знает, что, если откроет рот, голос его подведет: или задремлет, или осядет. Ему нельзя ее расстраивать.

— Кофе сварить? — интересуется мама, Женя несколько раз кивает.

Его подбородок вздрагивает, он подставляет под него кулак, закрывает глаза и говорит себе, что все хорошо, все наладится. Мама стягивает с шеи фотоаппарат, кладет его вместе с рюкзаком на кровать и подходит к сыну. Она приобнимет его за плечи и гладит по голове. Женя сжимает кулаки, на ладонях остаются красноватые следы от ногтей.

Жене двадцать один, он в третий раз проводит губкой по кастрюле. В ней отражается небритое лицо, покрытое волосками-колючками. Они топорщатся в разные стороны и неприятно царапаются. Женю это не смущает, его некому целовать.

Катя, девушка, с которой они встречались на протяжении нескольких месяцев, призналась ему в чуть не совершенной измене. Напрасно он доверял ее «просто дружбе» и не зря напрягался, когда она не отвечала на звонки. Интуиция подсказывала

обращать внимание на двусмысленные шутки Влада, но Женя их игнорировал.

Несколько дней после расставания проходят на автомате: Женя работает больше положенного, каждый день встречается с друзьями, а по ночам или гуляет по городу, или пишет стихи. Стихи выходят бессмысленными, рифма в них хромает. Женя убежден, что марает бумагу. Внутренний критик советует ему бросить это дело и заняться чем-нибудь стоящим: пробежать километр-другой, посмотреть интервью с выдающейся личностью, позвонить маме, сестре или бабушке, послушать подкаст о принятии себя или записаться на курсы по программированию.

Женя не прислушивается. Он не хочет ругать себя за творчество. Бумага помогает прийти в себя и выслушивает не хуже психотерапевта. Жене так кажется, он никогда не был ни на одном приеме. Надо бы записаться, проверить.

Сложнее всего засыпать, не ощущая рядом ничего присутствия, Женя привык ощущать тяжесть чьей-то головы на своем плече. То, что он испытывает, похоже на чувство, когда из-под бока уходит кот. Вроде бы мелочь, а расстраивает.

В один из вечеров Женя понимает, кому отдавать свою любовь. Внутри будто бы зажигается огонек, возникает какой-то предновогодний трепет. На улице лето, а Женя чувствует запах мандаринов и еловых ветвей. Он потягивается, зевает и засыпает. Впервые быстро, впервые без обнаженных тел перед глазами.

Он видит каменистый берег и речушку, по которой в детстве пускал сорванные стебли клевера, помнит, как глядел на продолговатые розовато-сиреневые лепестки и вдыхал еле ощутимый сладкий запах. Это растение не было редким, но Жене оно нравилось. В книжках с яркими картинками и позолоченными надписями он читал, что четырехлистный клевер — это символ удачи. Такой ему не встречался, но как прыгал, как залиvisto

смеялся он, когда забывал про счастливое число четыре и путал его со счастливым числом три.

Жене двадцать один, Жене четыре.

КЛАДБИЩЕ КОРАБЛЕЙ

На берегу стояло около восьми кораблей. Они отличались по размеру, цветовой палитре и названию. Все их привязывали к берегу заржавевшие колышки, от которых тянулись такие же заржавевшие цепи. Ржавчина проглядывала из щелей между пластинами облупившейся краски, она же разъедала нижние части суден и их носы. Саша предполагал, что и на борту все давным-давно покрылось грязно-оранжевым налетом, не зря же это место называли Кладбищем Кораблей.

Как только они вышли из метро, Кира начала жаловаться на ветер. Она то и дело вздрагивала и пожимала плечами, но когда Саша предложил ей свой шарф, отказалась и гордо вскинула голову. Это было не лучшим решением, потому что оголившуюся шею обжег воздух, и Кире стало еще холоднее. Саша уже без уточнений стянул с себя красный вязаный шарф и намотал его поверх черной курки Киры. Она не сопротивлялась, но и не благодарила, смотрела себе под ноги и молчала. Молчание продлилось недолго, уже через несколько минут Кира начала жаловаться на длинную дорожку.

Она не всегда так себя вела, Саша знал об этом. Обычно Кира не бунтовала, даже если их класс держали в кабинете всю перемену, а она мучилась голодом. Ей было свойственнее шутить, чем бросаться в слезы, но на прошлой неделе ее брат улетел в другой город, она тосковала и срывалась на все подряд. Такое настроение находило на нее лишь дважды за все три года их знакомства: когда ее кот заболел и когда Марина Викторовна поставила ей тройку за четверть. Саша думал, что эта тройка ее сломает, ведь она была первой и единственной за все

восемь классов, но Кира походила один-два дня в печали, неделю-другую поругалась, а потом наняла репетитора и перестала сверлить глазами преподавательницу, если та вызывала ее к доске. Она пообещала Саше вытянуть год на четверку, и он охотно объяснял ей параграф и в третий, и в четвертый, и в тридцать четвертый раз. С репетитором, по словам Киры, они занимались по большей части решением задач, а каждый урок спрашивать одно и то же ей было неудобно. Кире казалось, что, если она не проявит себя с лучшей стороны, то от нее откажутся. Саша уверял, что этого не произойдет, потому что терять учеников экономически не выгодно, но она все равно сомневалась.

Они были лучшими друзьями с пятого класса. Кире нравилось, что Саша поддерживает все ее начинания, Саше нравилась Кира. Кира пользовалась Сашиним незаурядным умом, а ему было приятно, что его ум считают незаурядным. Ребята посмеивались над Сашей, но Кире и слова не говорили. Она ни с кем не дралась, ни на кого не кричала, но почему-то складывалось впечатление, что могла решиться и на то, и на другое. Известно, было ли это связано с ее дружбой с мальчишками-девятникласниками, но весь 8А Киру уважал. Именно уважал, не любил, по причине того, что большую часть времени Кира проводила в стороне. Она часто пропускала чаепития и поездки на базы отдыха, могла поболтать с девчонками в раздевалке, а потом молчать всю физкультуру. Некоторые считали ее странной, некоторые — высокомерной, и только Саше было доверено знать правду: он мог сказать, что Кира была увлекающейся, но избирательной. Требовалось много времени и сил, чтобы она во что-то влюбилась, но уж если это происходило, она оставалась верной выбранному делу или человеку до конца.

Саша ценил ее юмор и широкие познания в литературе. Он читал все ее сочинения и приходил на каждый чемпионат, в котором участвовала ее футбольная команда. Он был знаком

с ее мамой, папой и бабушкой и не забывал спрашивать об их здоровье. Зимой Кира носила красную длинную куртку попеременно с шоколадной паркой, с головными уборами отношения выстраивались напряженно. Саша пришел к этому выводу, наблюдая за тем, как Кира минут по восемь простаивала у зеркала и стягивала шапку то в одну, то в другую сторону. Примерно раз в полгода Кира меняла профессию мечты, в первом полугодии пятого класса она хотела стать стюардессой, во втором — журналистом. Потом она отдала предпочтение футбольному тренеру, потом — учителю начальных классов и, наконец, поэту. Саша не был уверен, что сочинительством можно зарабатывать на жизнь, но Кира так оживлялась, когда речь заходила о Пушкине, Блоке или Есенине, чьи стихотворения она прочитала еще до того, как их начали разбирать на уроках, что он не осмеливался сказать ничего против.

Когда они спустились по деревянной, подгнившей и оттого непрочной лестнице и лицом к лицу столкнулись с кораблями, Кира рассмеялась. Недовольство в момент сменилось восторженностью, ругательства — комплиментами.

— Какие огромные, ты посмотри! Они, наверное, до второго этажа достанут! Балдеж! — Кира несмело дотрагивалась от шершавых поверхностей, будто бы опасаясь, что они ее укусят. — Как думаешь, а залезть на них можно?

Саша смотрел вниз, на рассыпающийся под ногами песок, и не слышал вопроса. Его занимала брошенная Киной фраза о том, что вечером, после их прогулки, она пойдет на встречу с Лёшой Чернышевым. Лёша Чернышев был на два года старше Саши и самой Киры, он хорошо рисовал, и этот дар высоко ценился директором школы № 156. Плакаты с иллюстрациями Чернышева красовались на входе и Первого сентября, и Восьмого марта. Его просили рисовать даже к Международному дню защиты детей, хотя первого июня в школу практически никто не заглядывал.

Саша хвалил работы Чернышева ровно до того момента, пока не увидел одну из них у Киры в рюкзаке. Нарисованный черной ручкой рыцарь был сложен вдвое, рядом с ним размещалась неразборчивая надпись. Саша спросил у подруги, что это и от кого, получил уклончивый ответ и ушел в себя. Обычно Кира рассказывала ему все без утаек, поэтому это «да так» мальчик воспринял как оскорбление. Если бы она выложила все как есть, сказала бы: «Ой, да это Чернуха подогнал, мы с ним как-то на перемене поболтали, я ему стихотворение про Дон Кихота прочитала, вот он его и нарисовал», Саша бы скривился, походил бы хмурым до конца недели, но за выходные бы отошел, а так... Эта недоговоренность терзала его душу.

Он заливал молоко в гречку и спрашивал себя, что ест на завтрак Лёша Чернышев, шел в кинотеатр на «Форсаж-9» и думал, смотрит ли Лёша Чернышев такие фильмы или он считает их предсказуемыми? Саша думал про своего соперника, когда писал проверочную работу, грелся в ванне, разговаривал с бабушкой или Кирой. В присутствии Киры призрак Лёши мешал особенно: из молчаливой тени он превращался в одно из самых жутких созданий на планете — в насмешливого подростка. Саша говорил о необычном цвете платья Киры, Лёша спешил заметить, что между фамилией Шитьков и словом «банальщина» можно поставить знак равенства. Саша приглашал Киру в театр, Лёша называл его старомодным. Саша дарил Кире розу, и Лёша не удивлялся, он знал, что денег на букет не хватало.

Так продолжалось из встречи во встречу, и постепенно Саша стал терять уверенность в себе. Влияние Лёши выросло.

— Нет, ну я кого спрашиваю? Саш, давай залезем, говорю? — Кира пихнула Шитькова в бок, он встрепенулся и часто заморгал.

— А? Да, давай, конечно.

Кира чуть ли не взбежала на мостик, оперлась руками о бортик и сперва перекинула через него одну ногу, а затем вторую.

Девочка была в юбке, и многие пацаны на месте Саши воспользовались бы такой возможностью, чтобы внести конкретность в свои фантазии, но он и головы не повернул. Может быть, она и хотела повернуться, эта голова, но Саша ей запретил. Он был влюблен в Киру, а влюбленные молодые люди в первую очередь уважают своих избранниц.

— Капе-ец, — протянула Кира, — ты откуда вообще про это место узнал?

— Да так, в подборке «Интересные места Москвы» вычитал, — Саша умолчал о том, сколько ему пришлось изучить статей для того, чтобы найти что-то более оригинальное, чем Андреевский мост или Хохловка.

— Хорошая подборка, хорошая! Я себя прямо... Прямо Капитаном Немо чувствую.

— А я — Мартином Иденом, — вяло отозвался Саша, разглядывая в прорехе между судном и мостиком пенистые гребешки волн. Он отломил от перил щепку и бросил ее в воду. Из-за того, что была маленькой и тонкой, она исчезла из поля зрения раньше, чем потонула.

Саша последовал примеру подруги и перебрался на палубу. Он уже открыл рот, чтобы спросить о Чернышеве, как вдруг струя прохладного воздуха ударила ему в лицо. Она взлохматила волосы и пробралась под куртку. Ветер заставил Сашу задрожать, но одновременно с этим и забыть про расспросы. Он сощурился, а потом, когда ветер утих, повернулся к Кире и увидел, как за ее спиной закатные лучи отражаются на поверхности воды. Дорожка из света пролегла от кормы прямо к солнцу, у Саши сперло дыхание. Он наблюдал за тем, как в небе кружит не просто стайка, а целое полчище птиц. Они кричали на разные голоса и то опускались к воде, то взмывали ввысь, собираясь в кучки и разлетаясь по разным сторонам.

Вдалеке проплывал корабль. Он был похож на тот, на котором они с Кирой стояли, но меньше. Саша вздрогнул: они стояли

на настоящем корабле и вокруг было еще несколько. Несколько настоящих кораблей! Да, они не плавали, но это лишь добавляло им шарма, как шрам над губой противоречит обаянию юной девушки, но подчеркивает ее особенность.

Неподвижный корабль — это же целая метафора! Он как ослепший художник, как оглохший музыкант, как жадная до приключений душа, которая томится в четырех стенах. Эти ассоциации рвались в голову нескончаемым потоком, и Саша вдруг ощутил в себе такую силу, такой подъем, что не сдержался и захохотал. Прямо как Кира несколько минут назад, только громче.

Ноги понесли его на мачту, он вскочил на деревянный выступ, схватился за железную балку, объединяющую нижнюю часть судна с верхней, и замер. Лучи резали глаза, Саша щурился, но продолжал любоваться открывшимися просторами. Он забыл про отвращение, которое испытывал при взгляде на поржавевшие перила, про усталость, выработавшуюся вследствие бессонных ночей, про укусы ревности и про то, как подмывали они накричать на Киру, позвать ее в гости, а потом хлопнуть перед ее носом дверью. Саша растворялся в голубизне неба, в синеве реки и белизне бликов. Он летал вместе с чайками, плескался в глубине вместе с рыбами и кричал вместе с гудком парохода.

Он долго не реагировал на оклики. Ему страстно, отчаянно хотелось растянуть этот счастливый момент настолько, насколько это было возможно. Если бы люди могли выбирать последнее воспоминание перед смертью, Саша выбрал бы это. Он не хотел умирать, это бы расстроило родителей, да и узнать, какова мягкость рамбутана на вкус, было любопытно. Он видел рекламу в Интернете, где картинка этого самого рамбутана, красного фрукта с шипами, сопровождалась надписью: «Попробовать и умереть». У Саши в тот момент даже во рту пересохло.

И все же мечты мечтами, а жизнь шла, и Саша себя одернул.

— Кир-к, а ты когда-нибудь любила кого-нибудь? Ну или что-нибудь? Кроме мамы с папой.

Девочка задумалась. Она казалась еще более потерянной, еще более озадаченной, чем когда Саша ни с того ни с сего засмеялся и заскакал по палубе.

— Ну книги люблю, футбол, абиссинских кошек, они красивые. Что еще люблю? Чай с сахаром и мороженое с ванилью, кофе не люблю и грецкие орехи. А почему ты спрашиваешь?

— Я море люблю, — тихо ответил Саша и спустился с выступа. Солнечный свет понемногу мерк, и все вокруг вместе с ним. Дыхание выравнивалось, сердцебиение замедлялось. — Если бы умел, нарисовал бы его, как Лёшка Чернышев, или стихи бы ему посвятил, как ты, но я ни рисовать, ни сочинять не умею, поэтому только и делаю, что люблю.

ПОХИТИТЕЛИ

Костя, светловолосый мальчик лет четырнадцати, идет в сандалиях и носках. Куртка практически перекрывает шорты, а полукруглый козырек кепки смотрит назад. Рядом шагает Юра, одетый в расстегнутую полосатую рубашку и бриджи. Он выше Кости и шире в плечах, на вид ему лет шестнадцать. Он останавливается и крутит головой, замечая, что вокруг никого. Кукурузные стебли колышутся от ветра и шелестят, слышится отдаленный стук мотора.

— Чисто, давай, — говорит Юра.

— Может, все-таки у забора соберем? — спрашивает Костя. — Быстрее унесем.

— Да она там мелкая, кому мы такую продадим?

Костя снимает со спины рюкзак, раскрывает его и начинает срывать початки, складывая их внутрь вместе с неоторванными листьями. Один початок не отрывается, и Косте приходится надломить стебель и крутить его, пока волокна не переплетутся

в нить. Он тянет на себя, одна часть растения отделяется от другой, и мальчик по инерции отшатывается.

Юра сидит по-турецки и чертит палочкой по земле. Рисунки замысловатые — один круг перечеркивает линия, в другом поставлена точка и записано несколько чисел.

— Может, поможешь? — спрашивает Костя.

— Я и так помогаю. Видишь, высчитываю сколько мы заработаем, если будем продавать на Немецкой, и сколько — если на Транцевской.

Костя продолжает набивать рюкзак. Тот перестает закрываться, поэтому мальчик расстегивает куртку, снимает ее и кладет на землю. Полосатая майка открывает вид на тоненькую шею и выпирающие ключицы. Костя накладывает початки в куртку до образования горки, встряхивает рюкзак, чтобы уложить содержимое, и надевает его на спину. Завернув края куртки и перевязав их между собой, он берет получившийся кулек в левую руку. На ней от напряжения проступают вены.

— Продаем на Немецкой, значит. Там больше клиентов. Где перрон, там и люди, а где люди, там и деньги, — говорит Юра и поднимается.

— Держи, предприниматель, помогай, — Костя протягивает товарищу мешок.

— Мы договаривались, что ты несешь, а я продаю. Или вру, не так было?

Юра смотрит на Костю сверху вниз, тот поджимает губы. Они начинают медленно двигаться к старому деревянному забору с далеко расположенными друг от друга столбиками.

— Я недавно книгу по психологии прочел. Так вот, в ней говорится, что продает не тот, у кого товар хороший, а тот, кто умеет его таким показать. Сечешь? — говорит Юра.

Дорожки нет, ребята пробираются сквозь стебли. Отростки лезут в лицо и цепляются за одежду, оттягивая ее в стороны. Костя останавливается, опускает кулек на землю, сжимает

и разжимает левую ладонь. Юра забегает вперед, и Косте приходится ускориться, чтобы догнать товарища. Один початок вываливается из отверстия между рукавами, Костя вздыхает и нагибается, протягивая ему руку. На голову сыплются остальные початки, выкатывающиеся из рюкзака. Мальчик морщится от боли, садится на корточки и принимается их собирать.

— Юр, иди сюда!

— Ща! — прилетает ответ, но никто не приходит. Отдаленный стук мотора становится громче, руки Кости трясутся. Он кладет в рюкзак не все — несколько початков укатываются, он смотрит на них, но не подбирает, встает с корточек и встречается взглядом с капотом трактора. Тот находится в паре метров, но движется прямо на него.

Куртка падает, кулек развязывается. Костя бросается бежать. Из рюкзака выпадают початки, кепка слетает с головы и оказывается под колесом. Мотор ревет еще громче — мальчик, тяжело и сбивчиво дыша, не останавливается. Вдруг он запинается о стебель, падает, коленкой проезжает по земле, но встает и двигается дальше. Оглядываясь, Костя замечает мужчину, сидящего за рулем с равнодушным видом и жмущего на педаль.

Мальчик добегают до забора, забирается на него и кричит. Рюкзак сваливается с плеч и ударяется о землю с глухим звуком, какое-то время Костя смотрит на него, а затем устремляет взгляд вверх. Подтягивается и шипит: заноза впивается в ладонь, заставляя дернуться и упасть. Мотор глохнет.

По небу плывут облака, большие и пушистые. Их заменяет лицо усатого мужчины со сведенными бровями.

— И не стыдно тебе воровать? — он замахивается на Костю кулаком.

— Дядь! — мальчик отшатывается.

Тракторист останавливается и медленно опускает руку, параллельно с этим осматривая ободранную, грязную и кровоточащую коленку Кости, его растрепанные, прилипшие ко лбу

волосы, вздымающуюся грудь и смиренно опущенные глаза. Брови мужчины разглаживаются, он переминается с ноги на ногу. Костя сперва молчит, потом вздыхает и полушепотом говорит:

— Я... Честно, правда... Это...

Со стороны поля доносится хруст. Юра по-пластунски ползет в сторону Костиного рюкзака, время от времени замирая и прислушиваясь. Он загребает портфель левой рукой, правой собирает рассыпанные початки и присаживается на корточки, пригибая высокую траву.

— А крупного я и не заметил, — мужчина косится на спину в полосатой рубашке, — в команде работали, значит?

Костя не отвечает. Тракторист пожимает плечами и возвращается к машине, зашагивает на ступеньку, открывает дверцу, ведущую в кабину, но не залезает внутрь, а кричит:

— Эй, шкет, полезай.

Костя сперва топчется на одном месте, не поднимая головы, а после присоединяется к мужчине. Тракторист пересаживается на пассажирское сиденье, а Костя устаивается на водителемском.

— Тормоз, газ, — перепачканной мазутом рукой водитель указывает на педали, — дави сюда.

Ступня мальчика опускается, трактор едет вперед. Из кабины виднеется, как бежит Юра. Он оборачивается, машет пустым рюкзаком и кричит:

— Э-эй, стой, вы что, ослепли, что ли?

Сначала Юра запускает рюкзак в кабину, но тот, не долетая, падает около гусениц. Потом он останавливается и вытягивает руку, в упор глядя на приближающийся транспорт. Машина не останавливается, и мальчик бросается бежать.

Его выкрики заглушаются ревом мотора. Тракторист затягивает басом: «На грани-ице тучи ходят хму-уро, край суро-овый тишиной объят...» Костя еле слышно напевает ту же мелодию и постукивает пальцем о капот.

ОТРАЖЕНИЕ

Ира никогда не понимала свою мать. Она казалась ей слишком эмоциональной, слишком требовательной, слишком красивой, слишком, слишком.

Мама могла накричать на Иру за тот тон, которым она к ней обращалась или за попытку отстоять свою правоту. Ира говорила: «Это не так», мама слышала: «Не учи меня жизни», Ира говорила: «Давай не будем ругаться», мама слышала: «Опять ты придираешься».

Конфликты происходили не потому, что кто-то был виноват, а потому, что один избавлялся от накопившихся эмоций за счет другого. Ира расплескивала «Флэт уайт» на глазах у гостя, приходила домой, закрывалась у себя в комнате, открывала «Под сенью девушек в цвету», а мама, пробывшая дома целый день и затосковавшая по общению, считала нужным подсесть и начать расспрашивать о прошедшем дне. Ира отвечала сухо, мама обижалась, что ей не уделяют должного внимания, и возникали полувопросы полупретензии: «Занята, да? Некогда?»

Дальше следовали два варианта развития событий: Ира либо откладывала книгу, поднимала на женщину глаза и начинала еще сильнее укорачивать ответы, либо осмеливалась сказать, что ей нужно побыть одной, а через некоторое время, обычно на завтрашний день, принимала участие в безмолвной войне. Молчание редко дотягивало до вечера, обычно мама раздражалась резкими высказываниями, а потом успокаивалась, и в квартире воцарялся мир.

Мама трепетно относилась к мнению окружающих, поэтому следила за собой настолько тщательно, насколько это было возможно. Изо дня в день Ира наблюдала за тем, как она стояла перед зеркалом и то наносила макияж, то освежала его, то закручивала волосы, то наносила на завившиеся локоны лак. Многие Ирины знакомые говорили, что их матери красивые, Ира так не говорила. Она знала об этом. Мама следила за своим

питанием и регулярно посещала тренажерный зал, ей нравилось подбирать образы для различных мероприятий, и иногда Ира задавалась вопросом: где же все это в ней?

Она могла выйти на спортивную площадку у дома и пробежать пять-семь километров, после чего сходить в душ и пойти на пары, но утомлялась после трехчасового похода по магазинам. Она могла не спать до двух часов ночи, смотря разборы культовых фильмов, но начинала зевать после пятнадцатиминутного разговора о цветотипах.

Ира понимала, что они с мамой разные, что у каждого человека свои недостатки и свои сильные стороны, что мама, например, не знает, чем фабула отличается от сюжета и что Константин Сергеевич Алексеев и Константин Сергеевич Станиславский — это один и тот же человек, но был один момент, который не давал Ире покоя: у мамы была бурная личная жизнь.

Они с папой развелись, когда Ира еще ходила в детский садик. Им удалось сохранить хорошие отношения, и поэтому девушка никогда не считала отца подонком. В детстве он каждые выходные забирал ее к себе, покрывал любые нужды, будь то репетитор по математике или покупка зимней одежды, а теперь, в более зрелом возрасте, присылал сердечки в Ватсапе и скидывал на карту тысячи две-три. Ира была уверена, что если попросить десять, папа сбросит и десять, но до такого она не опускалась.

Со времен первого развода мама успела повторно выйти замуж, повторно развестись и понять, что брак — это необязательное условие для отношений. Быть в близости можно было и без штампа в паспорте, и это выходило даже более практично: никаких заморочек с документами, никаких ожиданий со стороны родственников. Сколько Ира помнила маму, столько она помнила ее мужчин. Кто-то уходил через пару месяцев, кто-то был рядом на протяжении нескольких лет, но они никогда не исчезали полностью.

Поначалу Ире казалось странным видеть в своей матери не мать, а женщину: она наблюдала за тем, как она проводит ладонью по чужому плечу и как на ее лице появляется таинственная улыбка. Ей она никогда так не улыбалась.

Мама не делала ничего, что бы противоречило нормам морали, но у Иры все равно возникало чувство отвращения. Со временем это прошло, и внутри остались жгучая неприязнь к тем, кто ее расстраивал, и непонимание. Почему у женщины среднего возраста, матери двоих детей, мужчины были, а у нее, двадцатидвухлетней девушки, нет?

Первой причиной, по которой что-то могло пойти не так, была внешность. Ира изучала себя в зеркале, но не находила никаких критических искажений: ее лицо вполне могло сойти за симпатичное, а фигура пусть и не один в один, но соответствовала общепринятым стандартам. Более того, Ира знала немало девушек, которые уступали ей визуально, но могли гордиться крепкими и здоровыми отношениями. Значит, проблема заключалась в другом.

Ира предположила, что вторая причина — это ее характер. Неужели она была чересчур мягкой для того, чтобы будоражить фантазию? Она заслуживала определений «милая», «амбициозная», «целеустремленная», «начитанная», но входило ли в этот список прилагательное «привлекательная»? Ира не раз смотрела на себя глазами мужчин, находила в себе роковую женщину, а потом знакомилась с симпатичным парнем и превращалась в улыбчивого консультанта из «Читай-города»: улыбалась и говорила про книги. Обсуждение Гончарова — это, несомненно, то, что нужно для незабываемого впечатления на первом свидании.

Ира пыталась бороться со своей натурой и проигрывала. Она зачитывалась психологическими статьями о выстраивании коммуникаций, записывалась на курсы по соблазнению, проходила их и по окончании не применяла ни один из приемов

на практике. Маме не составляло труда сыпать комплиментами, Ире не составляло труда говорить о смысле жизни.

Иру манила недостижимость: уличный музыкант с исключительным тембром и минималистическим треугольником на запястье, студент филологического факультета с раскрытым «Любовником леди Чаттерлей», актер любительского театра, который скользнул по ней взглядом во время чтения монолога о трагической любви. Придумывать необычные истории знакомства, наделять каждого определенными качествами и подстраивать их поведение под себя — все это доставляло Ире наслаждение. Однако то, что ее представления не воплощались даже на начальной стадии, на стадии знакомства, заставляло ее сомневаться в себе и в своих силах.

Пропущенная консультация по второму вступительному испытанию в театральный стала предлогом для их знакомства. Она написала и спросила про требования, он их рассказал, повторил раза три, а потом и вовсе решил позвонить и включить камеру, чтобы показать свое рабочее место. С тех пор он писал каждый день. Ира сначала удивлялась, а к концу месяца свыклась, их разговоры превратились в некий ритуал. Он звонил в районе семи, как освобождался с работы, и в красках описывал свой день. Ира делала то же самое, разве что ее истории выходили чуть менее поэтичными, она просто-напросто перечисляла все то, чем занималась на протяжении последних двадцати четырех часов.

В часовых созвонах и во встречах раз в неделю не было ничего сверхромантичного, но Ира воспринимала все именно таким. Недостаток внимания заставлял ее испытывать благодарность за несложное «здравствуй, как дела?» Общение прекратилось так же быстро, как и началось, но Ира не страдала. Ей нравился не человек, а внимание. Внимание же можно было получить от кого угодно.

Однажды ей как дежурный комплимент сказали, что она «без труда возьмет кого угодно». Проверить это на практике

показалось заманчивой идеей. Первой целью стал широко известный в узких кругах стендап-комик. Они нашли точки соприкосновения и провели вместе несколько вечеров, после чего Ира начала писать шутки и через некоторое время выступила с ними на сцене. Смешить людей казалось призыванием ровно до того момента, пока на одной из выставок в Третьяковской галерее она не подошла к делающему эскизы молодому человеку в черной водолазке. Иру осенило, что живопись вызывает к человеческим сердцам, а шутки воспевают человеческие пороки. Она с головой погрузилась в мир картин: покупала холсты, изображала на них иногда сюжетные вещи, а иногда иррациональные, посетила пять художественных выставок за две недели, записалась на мастер-класс по акварели и не пришла на него, выбрав открытый урок по танцам на каблуках.

Ира знакомилась, впечатлялась и открывала новые для себя миры. Ни в одном из них она не задерживалась, ни с одним из его представителей не общалась дольше нескольких месяцев. Однажды, проснувшись посреди ночи от острой необходимости помыть голову к завтрашнему свиданию со знакомым из тренажерного зала, она вдруг ощутила себя не на своем месте. Если бы несколько месяцев назад ее спросили: крепкий восьмичасовой сон или идеальная укладка, она выбрала бы первое. Сейчас ее одолевали сомнения. Ире было важно, какой ее запомнит водитель черного Hyundai Solaris, пока она будет переходить пешеходный переход. На выход из дома в первой попавшейся одежде был наложен запрет.

В коридоре не горел свет, подошвы тапочек, соприкасаясь с полом, приглушенно шуршали. В зеркале шкафа отражалась дверь, ведущая в комнату матери. Она была полупрозрачной, лунный свет проходил сквозь шершавую поверхность и подсвечивал блики на ламинате. Пол становился ярким, заснеженным. Женщина за дверью посапывала, ее дыхание звучало в тишине столь же отчетливо, сколь и шаги Иры, и вода,

шумящая в батареях. Ира посмотрела на себя в зеркало: при таком освещении ее лицо казалось узким, глаза — большими, а нос чуть вздернутым. По телу пробежала дрожь. Такое случается при просмотре хорошего фильма или при виде растущего одуванчика посреди асфальтированных дорожек.

Ира глядела в зеркало и видела в отражении другого человека. Не исключено, что она додумывала, но изменение черт в лица в самом деле усиливали ее схожесть с матерью. Ира любила ту женщину, что спала за полупрозрачной дверью, она хотела быть на нее похожей, но не в ущерб своей индивидуальности.

В маме Ире нравились живость, своенравность и умение за эту своенравность постоять, ветреность и беспечность Ире не нравились. Она была не обязана их перенимать, а все же перенимала. Кто убеждал ее ходить на бесчисленные свидания, смеяться над чем-то несмешным, терпеть холод и ветер ради прогулки по парку и автоматически повторять «да, спасибо, очень приятно»?

Ира не любила органную музыку, ее душа тянулась к рок-н-роллу. На выходе из Третьяковской галереи она пребывала в меньшем восторге, нежели при выходе из Музея современных искусств. Она некомфортно чувствовала себя в танцевальной студии: через силу выходила в первую линию, через силу выдавала эмоции. Леса с их поющими кронами, степи с их кружащей голову широтой — Ира была про это, она любила запечатлевать моменты на камеру, без оглядки на часы просиживала у экрана монитора, наблюдая за преобразованием цветов на снимке при перетаскивании того или иного колесика настроек. Для того чтобы делать выразительные портреты или подлавливать эмоциональные моменты на мероприятиях, ей не нужно было влюбляться в фотографа или модель.

Ира дошла до кухни, выпила стакан холодной воды, от которой онемели десна, и решила, что укладка подождет. Она

села за стол и раскрыла перед собой сборник ста лучших фотографий столетия. На обложке книги красовался портрет молодой девушки с перевязанной бинтом головой. Она смотрела в камеру и улыбалась. Снимок не впечатлял ни сложностью композиции, ни особенным цветовым решением, но за ним стояла история.

Следом за фотографией девушки шли изображения двух пожилых мужчин, по-видимому, братьев, и двух мальчиков. Историю этой фотографии, в отличие от истории обложки, не нужно было разбирать, ее нужно было чувствовать. Ира рассматривала кадры за кадрами, и это наполняло ее не меньше чтения и в разы сильнее, чем рисование или 3D-моделирование. Фотография была ее миром, миром большим и красочным.

Она никогда не устраивала выставок, не выпускала сборники лучших работ и не проходила мастер-классы у мэтров фотографии. Это показалось ей не неудачей, а целью, которой можно было загореться. Она могла бы спроектировать свою фотостудию, могла бы поехать в путешествие и попробовать заработать на съемке незнакомцев, она могла бы столь многое. Для этого «столь много» от нее отнюдь не требовалось перекраивать себя или приклеиваться к кому-то вдохновляющему.

Вдохновение жило в ней самой, и оно рвалось наружу. В два часа ночи, под приглушенным светом лампы и завыванием дворняг за окном.

О ЯБЛОКЕ И ПЫЛИ

Однокомнатная квартира, перегородка между залом и кухней. Стены обшарпаны, в зале стоит старая кушетка, заправленная цветочной простыней, и комод с квадратным «ушастым» телевизором. На кухне маленький стол, под одной ножкой — книга, сборник чеховских рассказов. На подоконнике два горшка

с цветами, у растений на листьях пожелтевшие кончики. Между ними стоит серый от пыли номеронабиратель.

Бабушка сидит за столом, держит в руках кружку и смотрит в окно. Одета она в блекло-розовый халат и стоптанные по бокам тапочки. Седые волосы перевязаны цветочной косынкой, которая напоминает простыню.

За окном проходит молодая пара. Девушка улыбается, а парень в коричневом пальто, жестикулируя, о чем-то оживленно говорит. Они хохочут. В зале стрелка настенных часов медленно движется от числа к числу. Слышится тиканье. Сначала оно приглушенное, однако потом становится громче и громче. Бабушка неразборчиво ворчит под нос.

Пара проходит, под окном появляются дети — два мальчика лет десяти. Один, светленький, в порванных джинсах и с завязанной на поясе кофтой, другой, темненький, в толстовке, с расстегнутой курткой. Они спорят:

— Это она мне записку кинула!

— Мечтай, мечтай! Тебе и чучело записки не напишет!

Один валит другого на усыпанную листьями землю, они катаются в грязи и размахивают кулаками. Темненький заводит руки товарища за спину, тот вырывается, бьет по земле ногами, но вскоре замирает и выдавливает:

— Сдаюсь.

Они поднимаются. Темненький достает из рюкзака яблоко, протягивает другу.

— На, мир.

Они сворачивают за угол.

— Миша-а, куда пошел? Домо-ой! — раздается крик. Светленький возвращается и понуро тащится к подъезду.

На кухне вскипает чайник, из носика валит пар. Старушка с кряхтеньем поднимается, трясущейся рукой наполняет кружку водой. Кисть дергается в сторону, вода проливается на пол, она цокает языком, ставит чайник на место и задевает

кружку. Та падает и разлетается на осколки. Раздается звонок в дверь.

Бабушка охает, сопит и, еле передвигая ноги и хлюпая мокрыми тапочками, отпирает. На пороге стоит светленький мальчик.

— Здрасьте! А у вас есть горячая вода?

Бабушка пожимает плечами.

— Ох, не знаю, пойду проверю. Ты пока проходи, присаживайся. Там, на диванчик.

Он мешкается, переминается с ноги на ногу, но разувается, оставляет ботинки, покрытые комками грязи, посреди коврика, проходит в зал и садится на край кушетки, обводит комнату глазами. На комодѣ стоит алтарь из фотографий — лысый мужчина, обнимающий женщину, маленький серьезный мальчик и девочка, строящая рожицу. Их черты скрыты под слоем пыли. Пыль тут везде — на полу, на подоконнике, на изголовье кушетки. В углу комок спутанных волос.

Парень порывается встать, но бабушка возвращается с подносом, на нем стоит тарелка темно-зеленого супа со странно плавающими бугорками.

— Держи, сынок, угощайся, — улыбается старушка.

— М-м, спасибо, — Миша натянуто улыбается в ответ, — но я это... Пообедал.

Бабушка поджимает губы, медленно ставит поднос на прикроватный столик и присаживается к Мише. Трясущейся рукой достает из кармана две конфеты и заговорщицки тихо говорит:

— На. Много сладкого вредно, но мы же чуть-чуть.

Одну конфету она вкладывает ему в ладонь, другую медленно разворачивает. Миша берет конфету, запикивает ее в карман, мычит в знак благодарности и спрашивает:

— Так что там с водой?

— Ох, забыла проверить, голова дырявая, — старушка хлопает себя по колену и откладывает полуразвернутую конфету в сторону, к тарелке с супом.

Мальчик притопывает ногой и щелкает пальцами, оглядывается на дверь.

— Зря ты супа не захотел. Меня Борька учил готовить, — она указывает рукой на фотографию лысого мужчины, — мы когда в Свердловске познакомились, он поваром работал. Чем меня только не подкупал! И Наполеон пек, и пирожные... А какие блины! Федька с Наськой объедались, — она тычет отросшим ногтем в фотографию детей, — Наська, ой разбойницей была! Дралась, с мальчишками там-сям шаталась, а Федька, наоборот, учился, читал. Знал про грузовики, про космос. Я когда на пельменную фабрику устроилась, на автобусах стала ездить, он всегда меня с остановки встречал.

Подбородок старушки дрожит.

— Наська теперь в Москве. Замуж вышла, детишек родила. Сейчас внучков нянчит. А Федька... Инженером был.

Миша отводит глаза от двери. Настенные часы тикают. Он осматривает комнату — с батареи свисают паутинки, под кодом лежит скомканный фантик. Один край форточки опущен ниже другого, между дверцей и оконным переплетом щелка. Слышится тихий свист.

— Может вам... Ну, знаете... С уборкой помочь?

— Нет-нет, милоч, садись, — старушка качает головой, — я на прошлой неделе...

Миша, не слушая бабушку, поднимается.

— Да я сама, сама, честное слово.

— Успокойтесь, ну что вы. Мне не трудно, — мальчик пожимает морщинистую руку, на которой выступают вены, улыбается и начинает убираться: заглядывает в шкафы, заставленные разноцветными коробками, находит в туалете веник. Сок выгнут, на венике серые сгустки.

Из кухни Миша выметает осколки, из зала — пыль. Набирает в ведро воду и обжигается. Он проводит по подоконнику тряпкой, на темно-серой поверхности появляется белая линия.

Вода в ведре становится черной. Бабушка смотрит на Мишу, глаза блестят. Он протирает фотографии, телевизор и поливает цветы. В углу чисто.

— Ну все. Я пойду, — говорит Миша.

Бабушка протягивает ему стеклянную вазочку со сломанным печеньем, берет несколько кусочков и кладет Мише в карман.

— Вот, сынок.

— Спасибо. Я не голодный, правда, но спасибо, — он обувает ботинки, — и извините, у меня обувь грязная... Но я дальше порога не ходил. До свидания! Я приду еще, наверно. Даже обязательно приду.

Он уходит.

Бабушка закрывает за мальчиком дверь, идет в зал, останавливается. Комнату заливают яркий осенний солнечный свет, вокруг чистота. На белом окне красуется Мишино яблоко. Старушка тихонько подходит, берет его, вдыхает аромат и аккуратно кладет к фотографиям. За окном листопад. Серый от пыли телефон с дисковым номеронабирателем стоит на подоконнике и молчит.

ИЗМЕНИВШАЯСЯ УЧАСТЬ

Лето, ночь, многоэтажный загородный дом, окруженный забором, за которым растут кусты роз. Свет горит только в одной комнате на первом этаже. В окне различается тучный мужской силуэт, он не двигается.

На втором этаже длинный коридор с несколькими комнатами. Слышится тихий скрип двери. Женя, мальчик лет десяти, с рыжими кудрявыми волосами и веснушчатым лицом закрывает за собой дверь, присаживаясь и приподнимаясь вместе с дверной ручкой. Лунный свет пробивается сквозь окно и освещает очертания предметов. Левая стена увешана множеством застекленных рамок, в них — черные точки,

правая стена занята книжным шкафом, а у окна стоит массивный деревянный стол.

Женя делает шаг, старая половица протяжно скрипит. Он морщится и опускается на колени, потом ложится и начинает по-пластунски двигаться в направлении стола. Одежда шаркает о пол, половицы поскрипывают, но негромко. Жилетка мальчика цепляется о торчащий гвоздь, нитки медленно расползаются одна за другой. Сперва Женя не реагирует и продолжает упорно продвигаться к столу, но после, когда жилет сползает с груди и натягивается на живот, он останавливается и пальцами, под ногтями которых грязь, высвобождает ткань. Мальчик встает у шкафа и, прислоняясь к книжным полкам спиной, пробирается вглубь комнаты. Одна из книг высовывается сильнее остальных и падает от задевания плечом, однако Женя успевает ее поймать. Он разворачивается лицом к шкафу и тянет руку, чтобы поставить книгу на место, раздается чихание, и толстый энтомологический справочник с грохотом валится на пол.

Женя какое-то время не двигается. Настенные часы тикают, снизу доносится еле слышная музыка и стук столовых приборов о посуду. Мальчик делает три широких шага и оказывается у стола. Он включает настольную лампу, и комната озаряется ярким светом. Женя стягивает с себя жилетку, кладет ее на светильник, и освещение приглушается. Черные точки в рамках на левой стене оказываются пригвожденными к деревянным дощечкам насекомыми. Он осматривает инсталляцию, где сверху вниз увеличиваются в размере жуки, переводит взгляд с мертвой красной бабочки на мертвую черную, опускает голову и видит аквариум, засыпанный землей. В нем мельтешат сотни муравьев, а рядом с ним — стеллажи со склянками, в которых те же муравьи, только застывшие, помещены в жидкость желтоватого цвета. Женю передергивает, он пошатывается и опирается о стол.

На столе под стеклянным колпаком бьется шмель. Он ударяется о стекло, замирает и снова принимается таранить клетку. Насекомое жужжит, и по мере того, как Женя наклоняется, жужжание становится громче. Щека мальчика практически ложится на банку, и, когда шмель врезается в донышко, Женя отскакивает. Рядом с банкой и шмелем лежит плоский кусок дерева и две иглы: одна длинная и толстая, а другая короткая и тонкая. Мальчик берет одну из них и рассматривает, подносит к указательному пальцу и шипит: на коже выступает капелька крови.

На первом этаже гремит посуда, а затем воцаряется тишина, музыка стихает. Единственным источником звука остается шуршание муравьев. Женя быстро оглядывается на дверь, залезает на стол и силится открыть створку. Старый замок не поддается усилиям мальчика, щеколда отодвигается миллиметр за миллиметром, а на лестнице гулом разлетаются тяжелые шаги.

— Да чтоб тебя! — Женя ругается и прижимается к стеклу всем телом, от напряжения его лоб покрывается морщинками, а ладони — потом. Руки соскальзывают со щеколды, мальчик быстрым движением вытирает их о штаны и возвращается к делу. Во время того как шмель жужжит, а шаги перемещаются в коридор, задвижка звякает и открывается. Женя настезь распахивает окно, берется за банку, но застывает из-за басистого выкрика:

— Стой!

В дверях стоит невысокий, плотно сложенный старик. Его брови сдвинуты, а темно-рыжеватые волосы колыхаются из-за ветряных порывов. Он, прихрамывая на левую ногу и опираясь о тросточку с набалдашником, приближается к столу.

— Не подходи, деда, а то выпрыгну! Насмерть не насмерть, а руки-ноги переломая, — одной рукой Женя обхватывает банку со шмелем, а другую выставляет перед собой. Дедушка громко вздыхает и перестает идти.

— На кой он тебе сдался, Женьк? Все равно умрет, а так я его увековечу, — пытается оправдаться дедушка, делая маленький шагок. Мальчик мотает головой и плотнее прижимает стеклянный сосуд к себе.

— Не подходи, я сказал! Почему ты решаешь? Может, он не хочет быть увековеченным.

— Увековеченным, — поправляет старик.

— Неважно! Тем более, это шмель, а не муха какая-нибудь. Он тебе розы опыляет, а ты на стенку прибить... Все, — Женя открывает крышку, и насекомое вылетает из банки и стремительно скрывается в ночи. Слышится отдаленное жужжание, но через несколько мгновений замолкает и оно. Женя закрывает окно, слезает со стола, выключает лампу и закидывает жилетку на плечо. Дед безотрывно смотрит на луну и хрипло дышит, его грудь медленно вздымается, а глаза слезятся. Внук берет его за руку, и вместе они выходят из комнаты под скрипение половиц.

— А ведь и меня изжить хотели, — бормочет старик, — в больницу с такими уговорами приняли, не дай Бог.

Дверь захлопывается. Муравьи в аквариуме продолжают бегать.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА

Зима, 2017 год, частная школа. Семён Семёнович, мужчина лет сорока семи, щуплый, в квадратных очках, сидит на вахте. Перед ним лежит раскрытый журнал, в котором в несколько столбцов записаны имена, фамилии и цифры. Справа расположен компьютер. На нем транслируются изображения с камер видеонаблюдения.

Охранник чистит мандарин, складывает кожуру на журнал, а дольки, отделяя одну от другой, кладет в рот и долго разжевывает.

— Здравствуйте! Можете, пожалуйста, открыть, а то я пропуск забыла? — перед Семёном Семёновичем возникает девочка в розовом пуховике и красной вязаной шапке.

Мужчина смотрит на нее дольше положенного и сжимает в кулаке дольку. Сок брызжет на журнал, он ругается:

— Ну твою ж, — Семён Семёнович достает из-под стола рулон бумажных полотенец, отрывает одно и вытирает им капли сока. Те не исчезают, он вздыхает, сминает бумажку и выбрасывает ее в мусорное ведро, — извини, проходи, конечно, — на турникете загорается зеленая стрелка, девочка проходит.

— Секундочку! А зовут-то тебя как? Из какого ты класса?

Я останавливаюсь и снимаю с рук перчатки.

— Кира Коваленко, я из 8Б. А что, вы Евгении Афанасьевне пожалуетесь?

— Да нет, — мужчина заминается, — так просто.

— Познакомиться с тобой, Кирка, хотят! Соглашайся, он человек взрослый, денег тебе даст, ты хоть в столовке поешь нормально, — рядом с Кирой появляется парень лет шестнадцати, одетый в клетчатые брюки и водолазку. Он легонько толкает девочку в бок локтем, она делает то же самое, но сильнее.

— Дурак, Рыжаков! — Кира разворачивается и уходит к кабинам. Краем глаза она замечает, что Семён Семёнович наблюдает за тем, как она снимает с себя верхнюю одежду, одергивает юбку и направляется к лестнице. Они встречаются взглядами, и Кира тут же опускает глаза в пол. Рыжаков увиливается за ней. По коридору разносится разговор:

— Да ладно тебе. Про деньги это я так, пошутил.

— Детсад, вот правда.

— Не, ну а серьезно, че он так пялился?

К охраннику подходит мальчик лет десяти. На рыжую голову надета кепка Гэтсби.

— Дяденька, а открыть можете? Я пропуск забыл.

— Домой возвращайся, раз забыл. Забывчивые все такие.

Мальчик отходит от окошка, смотрит себе под ноги, потом оглядывается на мужчину и достает из кармана телефон размером с голову.

— Да вы знаете мою фамилию? Если скажу, что не пускаете, вас в два счета отсюда выставят, — угрожает мальчишка. На лице Семёна Семёновича ходят желваки. Он нажимает на кнопку, загорается зеленая стрелка. Пацан перепрыгивает через турникет, убегает к кабинкам, а затем останавливается и показывает охраннику язык.

Мужчина поджигает губы, достает из кармана спутанные наушники, на одном из которых не хватает ушного вкладыша, втыкает их в телефон, переворачивает его и подносит к треснувшему экрану палец. В окошко стучится женщина лет пятидесяти, одетая в черный брючный костюм, пиджак от которого расплзается на груди. Семён Семёнович откладывает телефон в сторону.

— Добрый день, меня зовут Евгения Афанасьевна, я классный руководитель 8Б. Мой ученик сказал, что вы приставали с неподобающими вопросами к Кире Коваленко. Потрудитесь объяснить.

Он отводит глаза в сторону и молчит. Через несколько секунд отвечает растерянным тоном:

— Да я у нее просто имя и класс спросил.

— Наше руководство должно было объяснить, что вы, многоуважаемый, не имеете права задавать какие-либо отвлеченные вопросы ученикам. Имейте в виду, что я попрошу, чтобы за вами присмотрели.

Звонит звонок. Учительница разворачивается и через спину бросает:

— Всего хорошего.

Семён Семёнович с силой потирает руки, пальцы краснеют. Он сжимает и разжимает кулак левой руки, делает глубокий вдох, трет лоб, устало вздыхает, вставляет в ухо наушник

с отсутствующим вкладышем и нажимает на экран. Включается видео, на котором загорающие люди отдыхают на пляже. Камера перескакивает с лица на лицо и останавливается на курдюкой черноволосой девочке лет семи, строящей песочный замок. Она одета в синюю панамку и открытый полосатый купальник. Одна из лямок сползает с плеча, и изображение укрупняется. Черная прядь падает на пухловатые губы девочки, она запрокидывает ее за ухо двумя пальчиками. Мужчина вздыхает и перелистывает видео. На нем та же девочка, только постарше, катается на роликах. Она то и дело оступает и останавливает себя взмахами рук. Когда камера наезжает, она расплывается в улыбке. Слышится мужской голос:

— Ну, скажи что-нибудь.

— У меня лучший папа на свете! Был бы еще круче, если б мороженое купил.

Девочка разгоняется, делает поворот и, набрав в руки охапку опавших листьев, подкидывает их вверх и раздражается смехом. Мужчина просматривает фотографии, на которых запечатлена все та же девочка: на одном кадре она с перепачканным лицом в красной шапке ест мороженое, на другом обнимает полную женщину, на третьем сидит за перекошенным вправо столом и корчит рожицу.

Охранник прикрывает глаза, потом открывает их и часто моргает, кладет телефон рядом с журналом. Он утыкается в экран с окошечками.

— Семён Семёнович, мне на вас Евгения Афанасьевна пожаловалась. Сказала, что вы пристаёте к детям, — светловолосая девушка лет тридцати двух, одетая в белую рубашку и малиновую юбку присаживается на деревянный стульчик, — верю, что неправда, но вы ведь знаете, чего мне стоило вас нанять.

— Я, чес слово, ни к кому не лез. Шапка у нее красная, вот я и засмотрелся. Дочку мне мою напомнила. Если б та постарше была.

Девушка разводит руками, встает и похлопывает сторожа по плечу.

— Будьте чуточку сдержаннее, и все. Тут у нас порядки такие.

Он кивает, и девушка уходит. Из целлофанового пакета Семён Семёнович достает мандарин, вытирает его о брюки и начинает чистить, поглядывая в монитор с изображениями с камер видеонаблюдения.

ОСТАНОВКА

День, 2009 год. Общежитие. В комнате три кровати на железных ножках. У одной выправился край простыни, выглядывает желтовато-белый матрас. У окна вешалка, на которой висит одежда. Одни плечики выгибаются: куртка для них слишком тяжелая.

Рядом с кроватями стол. На нем стопка тетрадей, одна открыта, на нее опирается запачканная чем-то белым вилка, а около тетрадей супница. Под столом стоит пакет, из которого торчит горлышко пластиковой бутылки, рядом валяются несколько фантиков из-под конфет.

На одной из кроватей сидит мальчик лет двенадцати, сутулится, пальцы переплетены в замок, одна нога закинута на другую. На нем белая майка, черные штаны с лампасами и резиновые шлепки. Телосложение худощавое.

Напротив него мужчина лет тридцати пяти в коричневой водолазке, клетчатых брюках и белых носках. На носу круглые очки, светлые волосы разделены прямым пробором. Он копирует позу мальчика: сидит, закинув ногу на ногу, разве что не сутулится. Они молчат и смотрят друг на друга — голубые глаза мальчика против зеленых мужчины.

— Ну что ж, Коль, до свидания, — говорит он.

Мальчик сдержанно улыбается.

— До свидания.

Мужчина встает с кровати. Та скрипит и приподнимается. Он обувает черные лакированные туфли, снимает с прибитого к стене крючка темно-коричневый плащ, еще раз прощается и исчезает за дверью.

Коля переводит взгляд на окно. На улице бегают неопрятно одетые мальчишки лет тринадцати. У первого одна штанина задрана, а у второго, Женьки, опущена, да и шапка криво сидит. Они пинают друг другу сдутый футбольный мяч. Женька бьет ногой, и мяч вылетает за забор. «Ты косой, что ли?!» — доносится крик.

Улыбка Коли не сползает с лица. Он достает из-под кровати тканевый клетчатый чемодан и ставит его на колесики. Мальчик со скрипом протаскивает его на центр комнаты и открывает. Он достает из шкафа сложенные в стопку вещи и кладет их в чемодан, берет супницу, набивает ее носками и тоже засовывает в чемодан, вилку вытирает о майку, заталкивает между одеждой, потом снимает с погнутых плечиков куртку, сворачивает ее и запикивает в чемодан. Тот не закрывается, и Коля садится на него. Расстояние между зубцами молнии остается. Мальчик вытаскивает куртку, надевает ее на себя. Дверь открывается, на пороге стоит Женя.

— Вот урод! Заставил лезть за мячом, а из игры выгнал! — жалуется он.

— Да плюнь! Ко мне вот приходили. Мы разговаривали, потом он долго на меня смотрел и очки поправлял. Зуб те даю, заберут.

Женя присаживается на кровать, не снимая куртки.

— Такой в пальто? На профессора похожий?

Коля кивает, Женя откидывается.

— К нам тоже приходил. «Кем хотите стать? Чем увлекаетесь?» — спрашивал. Станный он, Колян, ты это, рано вещи собираешь. Он так ко всем присматривается. Я его видел, кстати, внизу, у Тamarки.

— Ща приду, — говорит Коля и выходит из комнаты. Он спешно идет по слабоосвещенному коридору, ведя рукой по выкрашенной в оранжевый стене, сбегает по лестнице, оказывается на первом этаже, подходит к черной, обитой кожей двери и прикладывает к ней ухо. Слышится разговор.

— Спасибо за проявленное понимание, — доносится голос мужчины, который несколько минут назад сидел у Димы в комнате. — Я побеседовал со всеми троими, ребята хорошие, но Дима... Пожалуй, остановлю свой выбор на нем.

После этой фразы Коля не слышит ничего. Он отстраняется от двери и плетется в сторону лестницы, медленно поднимается вверх и заходит в комнату. Женя продолжает лежать на кровати в куртке.

— Ну что там? — спрашивает Коля.

— Отбой. Димкина остановка.

Коля снимает куртку, вешает ее на выгнутые плечики, раскрывает чемодан, достает из него вещи. Женя поднимается с кровати и подходит к окну. Там мальчик с закатанной штаниной отбивает коленом мяч. К нему подходит мужчина в темно-коричневом пальто и клетчатых брюках.

— Уродам везет, — говорит он и оборачивается на Колю. — Но ниче, ниче страшного.

Коля вытирает глаза футболкой, лежащей наверху стопки. Куртка с шуршанием падает с изогнутых плечиков.

ПИГМАЛИОН

Трое юношей стояли у картины, изображающей морскую гладь, берег и девушку в красном платье. Ее плечи были обнажены, а русые волнистые волосы развевались.

Молодые люди долго рассматривали произведение искусства. Один из них, рыжий и низкорослый, одетый в смешно топорщащийся в районе живота костюм, уделял особое внимание

тонкой шее. Его соседа, щуплого высокого брюнета в белой рубашке, занимала обвитая белой атласной лентой талия. Третьего же, самого юного из ценителей, Алексея Белова, интересовали четко прорисованные женские запястья. Они были настолько тонкими, что он волей-неволей задумывался о том, как бы они смотрелись в его широких мужественных ладонях, сойдись они с нарисованной девушкой в танце. В ушах Лёши зазвучал вальс, перед глазами закружилось множество разнаряженных мужчин и женщин. Он ощутил запах всевозможных яств и цветочное благоухание, и от подобных представлений по его спине пробежала дрожь. Чтобы не вызывать у спутников вопросов касательно этого непровольного вздрагивания, он сказал:

— А свет-то, заметьте, хорош. Как точно солнечные лучи отражаются на волнах.

— Да, да, и детализация суши! Кажется, художник прорисовал каждую песчинку, — подхватил рыжеволосый, Семён.

— И птицы. Давно я не видел, чтобы кто-то изображал их не галочками, — восхитился высокий, Евгений.

— Ну и девушка неплоха, — с напускным равнодушием добавил Алексей, — есть что-то.

— Да, пожалуй. Сочетание хрупкого женского образа и стихии — это интересно, — согласился Семён. Ему, как и его товарищам, было несколько стыдно признаваться в том, что его зацепила всего-навсего женская красота, а не глубокомысленный авторский подтекст, вложенный в картину.

Какое-то время товарищи бродили по галерее, то и дело останавливаясь у различных полотен. Они разгадывали тайну натюрмортов, предполагая, что яблоко в центре — это аллюзия на грехопадение Адама и Евы, а окружающие яблоко виноград и персики — это не что иное, как образ рая. Алексей, обычно проявляющий интерес к гипотезам, в этот раз молчал. Его занимала девушка с изящными кистями. Он беспрестанно

задавался вопросами насчет нее и оставался холоден ко всему другому. Даже белый квадрат на черном фоне, который Семён с Евгением сочли вызовом Малевичу, не произвел на него никакого впечатления.

Когда друзья полностью обошли галерею и направились к выходу, Алексей извинился перед ними и спросил, не против ли они прогуляться без него. Женя с Семой переглянулись, но ничего не сказали. Уже после, идя по погружающимся в сумерки улицам, они обсудили странное поведение Лёши и объяснили его недосыпом перед экзаменами. Как-никак Белов поступал на актера, а бесконечный пропуск литературных героев через себя вредил еще не до конца сформировавшейся личности. Особенно впечатлительной.

Алексей же, распрощавшись с товарищами, вернулся к заставившей его трепетать картине. Ни стульев, ни лавок перед картиной не стояло, поэтому он опустился прямо на пол и продолжил разглядывать творение, искать в нем прежде невиданное. Замечание ему бы не сделали, за происходящим в галерее наблюдал один-единственный охранник, да и тот находился в полусонном состоянии. Посетители практически отсутствовали, но даже если бы прошли мимо, какая разница: сидит он или стоит?

Картину рисовали масляными красками. Их излишки, застывшие в некоторых местах, придавали изображению объемность. Лёша испытывал странное желание прикоснуться к подолу красного платья, на котором так отчетливо проступал широкий мазок краски. Он пытался понять, почему его заинтересовала это хорошая, но далеко не гениальная картина? Может быть, он видел похожий пейзаж собственными глазами? Или в детстве перед сном мама рассказывала ему истории о родившейся из пены девушке, чье платье было сплетено из кораллов, а пояс — из жемчуга? Ничего подобного Леша не припоминал.

Темнота за окном сгущалась. Алексей прослушал звуковое объявление о закрытии галереи и поднялся. От продолжительного пребывания в одной позе ноги занемели и не хотели слушаться, но через пару шагов к ним вновь вернулась способность двигаться. Лёша попрощался с охранником, обернулся и вышел из помещения. Находясь в полузабытьи, он не заметил, как распахнувшейся дверью ударил входившего мужчину по ноге. Тот зашипел, и Белов принялся судорожно извиняться:

— Я, извините, честное слово, не видел, пожалуйста, не хотел. Оно само как-то.

Пожмурившись некоторое время, мужчина отошел. Он махнул Лёше рукой.

— Да нормально, нормально, всякое бывает. Столь поздний час, вы задержались, любясь картинами?

«Картиной», — мысленно ответил Лёша, но вслух произнес:

— Да.

Мужчине это польстило, он рассказал Лёше о том, что является организатором выставки и автором полотен. Изначально спешивший, теперь он облакачивался на железную входную ручку и разглагольствовал. Он упоминал о любви к живописи, проявившейся с раннего детства, об обучении в художественной школе и завистливых одноклассниках, о бедности и непризнании, о признании и, наконец, о жене. При слове «жена» Алексей насторожился, но собрался и постарался принять самый что ни на есть незаинтересованный вид: засунул руки в карманы, наклонил голову вбок и отвернул стопы от собеседника.

— А это не она, случайно, в красном платье рядом с морем?

— Она самая, — художник кивнул.

— Хорошая картина. Отражение солнечных лучей на волнах передано с такой точностью.

Мужчина поблагодарил Лёшу, пожелал ему удачи и скрылся за стеклянной дверью. Юноша поковырял носком ботинка землю

и вздохнул. Он поплелся к дому через парковку и, проходя мимо десятков разноцветных машин, заметил рядом с одной из них девушку. Ее стройную фигуру облегалo черное платье, а сама она задумчиво смотрела в небо и курила. Дым окутывал ее русые волосы и тонкие запястья. Алексея передернуло. Еще не до конца осознавая, что делает, он подошел к ней и спросил:

— Извините, можно сигарету?

Девушка не только дала ему сигарету, она еще и любезно ее подожгла. До этого никогда не куривший, Белов прикладывал нечеловеческие усилия, чтобы не зайтись кашлем и не перебудить всю улицу.

— А я вас на картине вашего мужа видел, вон там, — он указал на здание. — И мы с ним встретились, поговорили.

Девушка нахмурилась. Это не испортило ее в глазах Лёши, а, наоборот, преобразило. Ему показалось, что он находится рядом или с коварной и могущественной Леди Макбет из пьесы Шекспира, или с непоколебимой Машей Шамраевой из чеховской «Чайки». На картине она была запечатлена как нежное, хрупкое существо, а в реальности оказалась воительницей. Этот контраст будоражил Алексея, вызывал в нем еще больший интерес. Также он испытывал некий страх, подобный тому, который возникает при виде чего-то впечатляющего, но опасного. Снежной бури, например.

— Он заставляет меня торчать на холоде часами и не двигаться. Говорит, что это нужно для создания достоверности, а то, что я валяюсь потом неделю с температурой его не волнует. Положительно прекрасный человек, ничего не скажешь.

— А знаете, я могу вас нарисовать. Я, правда, на актера поступаю, но какая разница?

После этих слов Лёша все же закашлялся. Это вызвало у незнакомки улыбку, складки на ее лбу разгладились. К этому увиденному в первый раз мальчишке она испытывала куда более теплые чувства, нежели к собственному мужу.

ПРОСТОЕ НЕ

Они с чемоданом стояли у дороги, и пыль из-под колес клеилась одному на корпус, а другому — на лицо. Из-за нее под носом у Егора образовалась чернота. Если бы кто-нибудь из прохожих мельком взглянул, ему могло показаться, что Егор носит усы.

Молодой человек топал ногой и то доставал телефон, то убирал его обратно. Крохотная дырочка в кармане увеличивалась в размерах, грозясь скинуть потертый «Самсунг», пачку мятной жвачки и скидочную карту «Перекрестка» в пуховые недра куртки. Егор наощупь попытался достать из заднего кармана рюкзака пачку сигарет: пальцы заскользили по молнии, но так и не нашли собачку. Пришлось стягивать рюкзак с плеча. Он повис на ляжке с распустившимися по бокам нитями, и Егор вытащил из него темно-коричневый коробок.

На коробке красовалось изображение легких и надпись: «Курение убивает». Егор курил с десятого класса и успел привыкнуть к фотографиям нерожденных детей и глаз с выцветшими зрачками. Вначале они его смущали, он старался вынимать сигареты и не обращать на них внимания, однако уже спустя года два картинки собрались в коллекцию. Егор не уставал хвастаться ею перед друзьями и знакомыми. Это увлечение находили специфичным, но Егор пропускал комментарии мимо ушей. Он боялся потерять статус первого шутника в компании, а насмешники над нездоровым образом жизни закрепляли его за ним. Чем сильнее зависимость, тем тоньше юмор того, кто в нее угодил.

После первых затяжек наступило облегчение, валун откатился от груди. Пожелтевшая листва будто бы ярче засветилась, рев моторов прекратил резать слух, и Егор забыл о своих переживаниях. Он почувствовал себя успешным IT-специалистом, а не отчисленным из-за задолженностей студентом, представил, что на карте у него лежит шестизначное, а не трехзначное число. Всякий раз, когда нужно было оплачивать кофе переводом,

Егор отворачивал экран от бариста, чтобы те ненароком не увидели, какая сумма лежит у него на банковском счете.

Приходили к нему мысли и о жилье. Он думал о своей мягкой кровати и теплом, тяжелом одеяле, потягивался и сладко зевал. Неважно, что в действительности у него не было дома и последние две недели он делил комнату в хостеле с тремя людьми. Первый сосед работал за компьютером без наушников, второй имел привычку уходить в шесть часов утра на кухню и возвращаться в шесть тридцать с кастрюлей, полной гречки. Аромат заполнял не только комнату, но и чуть ли не весь коридор. Третий сожитель не выходил из дома и выводил из себя всем, что бы ни делал. Егор практически обитал в метро, фудкортах и парках. Иногда он совмещал: доезжал на метро до фудкорта, заказывал что-нибудь и шел в парк.

Осенью, чтобы не окоченеть от ветра, ему приходилось вооружаться термосом с горячим растворимым кофе. Он присаживался на лавочку, открывал книгу и забрасывал ее на второй странице, увлекаясь происходящим вокруг. На ветках деревьев дрожали листья, они, сперва сворачиваясь в трубочки, а затем разворачиваясь, отрывались от деревьев и улетали в небо. Некоторые вращались над головами прохожих и медленно опускались, а некоторые опадали топором. Егору никогда не нравилась осень, она рождала ассоциации со школой, насморком и вечно перепачканными подошвами ботинок. В этом году что-то изменилось.

Однажды он вышел из дома и обнаружил, что улицы покрасились в желтый цвет. Осень заявляла о себе падающей температурой и частыми дождями, но Егор понял, что время года сменилось именно тогда, в то утро. В груди сладко заныло, и он вспомнил, как несколько лет назад, еще будучи учеником 8Б класса, он шел домой и доставал измазанными синей пастой пальцами мякиш из хрустящей буханки. Под ногами еще ничего не шелестело. Для того чтобы насладиться шуршанием

листьев, нужно было свернуть с асфальтированной дорожки и пройти бордюр. Запас листьев, еще скудный, хранился непосредственно под стволами. Егор знал, что мама останется недовольна его исследовательской деятельностью, но он не справился с тягой к пестрой горке. Под его весом горка распалась на множество частичек с рваными краями.

Егор купил в ближайшей пекарне хлеб, и, хотя он ни вкусом, ни запахом не напоминал тот самый, на душе стало спокойнее. Деньги на оплату хостела закончились, он не знал, где проведет ночь и что делать с несколькими сумками и чемоданом, но был уверен: свежеиспеченный хлеб может хотя бы ненадолго избавить от чувства тревоги и растерянности.

На витринном стекле висело объявление о вакансии кондитера без опыта работы. Егор решил, что полузабытые воспоминания всплыли вовремя. К тому же он мог не переживать о совмещении работы с учебой. Экран смартфона залился белым светом, к электронным заметкам прибавилась еще одна.

С чемоданом, с закинутым на плечи рюкзаком и сумками наперевес он плелся мимо уличных музыкантов. Они хрипели в микрофон, и этот шум как нельзя точнее передавал состояние Егора. Вернее, то, каким оно было несколько минут назад, ведь сейчас он выковыривал мякоть из свежей, теплой буханки и готовился позвонить потенциальному работодателю. Дело оставалось за малым — найти горку из листьев и раздавить ее ногой.

ОН И

За окном падал снег. Он перекрашивал крыши домов и машин, улицы и прохожих в белый. Игорь наблюдал за черной собачкой, одетой в вязаный костюм с узорами. Она вздрагивала, отбегала от своей хозяйки и возвращалась к ней, потому что даже если бы хотела сбежать с концами, на ней был ошейник, а к нему крепился поводок.

На Игоре не было ошейника, никто не тянул его за поводок, да и людей, в компании которых он проводил этот декабрьский вечер, вряд ли можно было назвать хозяевами. Они не заботились о нем, не кормили и даже выпивкой не соизволили угостить. Если собачка питала к девушке в зеленом пуховике нежные чувства, то Игорь был равнодушен к собравшимся. Он называл их друзьями, потому что этого требовали от него правила приличия. В книгах по психологии было написано черным по белому: «некомфортно — уходи», однако Игорь не прислушивался. Мысли об одиночестве пугали, а перспективы новых знакомств казались и того страшней. Пришлось бы заново представляться, заново радоваться чужим достижениям, заново помогать в сложных ситуациях, а сейчас, в нынешнем кругу отношения поддерживались сами по себе, не нужно было ни слов поддержки, ни поступков.

Яна, короткостриженная блондинка, чьей отличительной чертой считались почти что черные круги под глазами, рассказывала о своей поездке в Штаты:

— И он меня пригласил! Нет, вы представляете, пригласил! Понял мой ужасный говор, простил бомжеватый вид...

Игорь не слышал начала истории, конец тоже мало его заинтересовал. Яна разговаривала на английском на уровне, близком к уровню носителей, одевалась так, будто сбежала с показа мод, из чего следовало, что все эти «ужасный говор» и «бомжеватый вид» были нацелены на переубеждение. Игорь знал, как продолжится разговор: Дима спросит: «Бомжеватый?», Лера разведет руками: «Акцент не мешает пониманию», а Вероника начнет подлизываться: «Да что ты! Ты королева, что ты тут рассказываешь!» Яна улыбнется и найдет сто и одну причину, чтобы поспорить.

Раньше в этом сборище Игорь занимал почетное место клоуна, однако со временем он от него отказался, и ребята стали в разы меньше смеяться. Он по привычке называл их друзьями,

а они по привычке продолжали звать его на встречи. Первое время его угрюмый вид порождал вопросы о настроении, но постепенно к этому привыкли и перестали обращать внимание. Он был живым доказательством милосердия тех, кто не получал ни малейшего удовольствия от лицемерия его скривленной мины.

Должно быть, на всех находило то же отчаяние при мысли об обновлении окружения. Яне было комфортно ловить на себе восхищенные взгляды, Лере доставляло удовольствие отпускать едкости, Дима с энтузиазмом оказывал психологические услуги, а Вероника добивалась признания посредством признания других.

Почему у этих страшных в своей уродливости людей жизни складывались удачно, а у него нет? Игорь не летал в Штаты, он не был даже в Турции. Его спектакли не шли на московских сценах, как Лерины, он не работал в крупной компании с развитой корпоративной культурой, как Денис, и не умел готовить рассыпчатые торты с приторным кремом, как Ника. Главным своим достижением Игорь считал умение находить общий язык с животными, но это было частью его профессии. Как ветеринар он не имел права терять контакт с пациентами.

Игорь знал, что, забинтовывая лапки собак, он приносит пользу миру, но не чувствовал этого. В городе работали сотни тысяч таких же специалистов, как и он, и многие из них были более компетентны и опытны. Та же неуверенность мучила его вне профессиональной деятельности: был ли он хорошим человеком? Если да, то для всех и ни для кого в частности или для кого-то в частности, но не в целом?

Стрелки часов перемещались по циферблату, Лера ушла домой, сославшись на ранний подъем, Ника с Димой полушепотом обсуждали свадьбу их общих знакомых, а Яна потягивала из трубочки коктейль. Белый свет от экрана смартфона падал ей на лицо, из-за чего ее черты искажались: тень под носом визуально увеличивала ноздри, а круги под глазами разрастались

до носогубной складки. Периодически Яна ухмылялась, и Игорь становилось не по себе.

Чтобы хоть как-нибудь скрасить вечер, он обратился к Яне:

— Ян, эт, слушай, а тебе с нашими комфортно?

— Если б не было, вряд ли общалась б семь лет, — девушка как листала ленту, так и продолжала, даже взгляд не удосужилась поднять. Внимание в дружбе так и проявляется. — А откуда такие вопросы? Димка тебе что-то наплел?

Игорь пробормотал еле разборчивое «да нет» и начал отбивать пальцами такт звучащей из динамиков музыки. Дима с Никой, несколько минут назад оторвавшиеся от беседы, покачивались на танцполе. Ника прикрывала глаза, ее руки чертили в воздухе круговые движения, она то полуприседала и выпрямлялась, то вращала головой и изредка смеялась. Дима топтался рядом и не сводил глаз с обтянутых флисовой юбкой бедер.

— Да не, мы с Димой чет даже не общались сегодня. Это так, мысли просто. Ты, кстати, как думаешь, где заканчивается дружба и начинается что-то большее?

— Ну пока кто-нибудь в кого-нибудь не влюбится, дружба она дружбой и остается. Целоваться там или еще чего, — это нормально, мне кажется, это привилегии просто. Все мы люди, все можем дать слабину. Общение прекращать из-за этого, что ли? Биологические процессы все эти переоценены. Я тебе так скажу, перепихон — это пустяковина, а вот влюбленность — дело дружное. Можно с десятью враз спать, а любить одиннадцатого.

Алкоголь развязывал Яне язык, она говорила с чувством, щеки ее краснели. Дима обвил талию Ники руками, она опустила голову на его плечо, и Игорь задался вопросом: что сейчас зарождается между ними — пустяковина или влюбленность?

— Вот есть, допустим, два друга, парень и девушка, они все про друг друга знают, вместе живут, и однажды этот парень заходит в комнату, а там его подруга переодевается. Она, предположим, красивая, и кровь у него, естественно, отливает от мозгов.

Будем ли мы осуждать его? Нет и нет! Он ведь человек, при-ми-ти-вно-е существо, понимаешь?

Игорь не понимал, причем непонимание это распространялось не столько на парня из истории, сколько на Яну. Игорь вспомнил, как они познакомились в приемной комиссии и как на его глазах неуверенная в себе студентка-первокурсница превращалась в человека, который живет без оглядки на мнение окружающих. Он пропустил момент, когда независимость превратилась в эгоизм. Трансформация Яны повлекла за собой разочарование и множество вопросов: как она могла огрубеть и перестать сочувствовать окружающим, когда пять лет назад сама нуждалась в дружеском плече? Почему разговоры об очередном мужике волновали ее больше искусства? Игорь всегда считал, что Яна — это луч в темном царстве, что ей, одной из многих из его круга общения, удастся сохранить невинность души и любовь к жизни. Видимо, он ошибался. Видимо, протекающее из отношений в отношения пренебрежительное отношение убедило ее в том, что она не достойна любви и видит мир искаженно. Ему хотелось бы передать подруге свой взгляд на мир и вернуть ей веру в то, что она замечательна, если напомним себе об этом, однако сделать это было невозможно, да и права на «вправку мозгов» Игорь лишился. У них больше не получалось смеяться до онемения скул и доверять друг другу все, что их беспокоило, даже если это было что-то странное, вроде вопроса «А почему самоедских лаек так называют?»

То же произошло и с Димой, с которым они могли до трех часов ночи обсуждать какой-нибудь фильм шестидесятых или девяностых, остаться при своих мнениях, но получить удовольствие от трепета во время озвучивания чужих аргументов, когда так и рвешься перебить и начать обосновывать собственную точку зрения.

То же произошло с Лерой: Игорь уважал ее как самого здравомыслящего в компании человека, но именно это уважение

и мешало ему открыться. Он не до конца понимал, как студентка ГИТИСа затесалась в круг вполне себе обычных ребят, ветеринаров-переводчиков-кондитеров-менеджеров? Вернее, почему она осталась с теми, кто стоял с ней на пороге школьного выпуска, хотя могла окружить себя более образованными и талантливыми? Игорь думал об этом, а интуиция подсказывала ответ: она не могла, потому что хотела оставаться особенной. Если ты всю жизнь растешь, убежденный в собственной уникальности, а потом встречаешь кого-то такого же, принять это сложно, особенно если из одной и той же сферы. Лера слыла самым жестоким критиком на курсе, но эта критика, хотя она и была обоснованной, шла не от досконального понимания театра, а от желания посильнее уколоть однокурсников и посеять в них сомнения. Игорь разгадал сущность Леры в один из походов в театр, когда она, разбирая по полочкам спектакль одного из своих коллег, добавила: «Я бы смогла лучше». Она и в самом деле смогла бы, но холод в Игоре от этого не растаял. Он ценил людей за человечность, а не за талант.

Как ни странно, но то же произошло и с Никой. Ника, человек, готовый перенести все дела на другой день ради встречи с близким, пошла за большинством и стала воспринимать Игоря как статуэтку — вещь существующую, но ненужную. Он надеялся, что она будет краснеть в его присутствии или захочет видиться один на один, но такого не произошло. Ника не скорбела о нем как о потерянном друге, она словно забыла, как когда-то они распивали облепиховый чай в квартире ее бабушки. Хотел бы и Игорь забыть об этом, не только о чае, но и о поездке в Калининград, о бессонных ночах в поезде и неумелом пении под гитару, об играх в карты на желание и о желаниях без игр и карт, о слезах и объятиях, о горячем молоке с медом и рассказах о детстве.

Игорь вздохнул, попрощался с Яной и попросил передать то же Диме с Никой. Снег на улице подтаял: пушистые сугробы

превратились в бесформенную грязь. Игорь накинул на голову капюшон и пошагал в сторону дома. Идти ему было около часа, если не больше, но долгая дорога и пустынные улицы были тем самым лекарством, которое могло починить расштатавшиеся нервы. Возможно, он не раз отправится в Калининград, но никогда не испытает той же радости, которая охватывала его пять лет назад. Возможно, он испытывает к Лере ту же самую зависть, за которую он ее осудил. Возможно, Дима с Никой через несколько часов будут у Ники, и уж точно не для того, чтобы пить облепиховый чай. Возможно, с утра у Яны разболится голова, но она будет вспоминать о вечере с удовольствием, потому что за вечер к ней подойдут трое мужчин, один из которых окажется симпатичным.

Игоря подташнивало от того, что жизнь бывает такой обыденно ранящей. Ни он сам, никто из ребят не совершали преступлений, не рушили жизней, а чувство, что все идет неправильно, все равно царапалось. Единственная надежда теплилась в осознании: если Игорь все понимал, то и исправить мог. Когда-нибудь однажды.

НЕЗВАННЫЙ ГОСТЬ

Солнышко взошло над кронами деревьев и осветило горницу мягким майским светом. Я, токмо глаза открывши, потянулася да зевнула, что даже челюсть болью свело.

Из сеней доносилось сонное мурлыканье, за окном — весеннее щебетание, и все было как обычно. Вдруг я услышала надрывное: «Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!»

Избушка моя, не привыкшая отзываться на приказанья кого ни попадя, естественно, поворачиваться и не подумала. Но упрямства незваному гостю было не занимать, он снова, немного гнусаво, но зато отчетливо и громко, прокричал:

— Избушка, избушка, повернись ко мне передом, к лесу задом!

Опасаясь, что это чудо перебудит мне всю лесную нечисть, накинула парчовый халатик и, щелкнув пальцами, заставила избушку отозваться на мое указанье, а не его приказанье.

— Получилось! — радостно воскликнул стоявший на земле паренек. Показался он мне смутно знакомым, но я никак не могла вспомнить, где ж его раньше видала?

— Это не у тебя получилось, это я смилостивилась, — буркнула. — Чего тебе надобно с утра пораньше? — спросила, представ перед гостем в неглиже, то есть в виде совершенно непотребном и непозволительном для юной девицы, коей я внешне и являюсь. Именно поэтому молодец, увидавши красну девицу почти нагой (сорочка шелковая да халатик парчовый на мне все же были), дар речи потерял поначалу,

но потом, в себя немного придя, спросил, во все очи меня рассматривая:

— А ты кто?

Ну вот, дожили, Бабу-ягу не признал!

— А кого ты здесь увидеть ожидал?

— Ягу, — пролепетал паренек, еле слышно добавив: — Костяную ногу.

— Если костяную ногу, то припоздал ты на пару годков, милоч, — оповестила я, вовремя поймав на излете слова «на пару десятков весен». — Если костяная, то это бабка моя была, да померла уж давненько.

На самом деле бабке моей надоело со всеми этими просителями возиться, так что отписала она мне свою избушку да умотала за тридевять земель, чтоб ни слуху ни духу ее тут не было. Говорят, с Лихом одноглазым поселилась, народ пугают. Но я не знаю, писем от нее уж лет пять как не было.

— А како же теперь, что же мне делать? — тем временем пригорюнился добрый молодец... тьфу ты, гость незванный.

— Топиться, — услышался мягкий мурлыкающий голос, и из окошка сначала показалась черная морда, а потом явился и весь кот, усевшийся на подоконнике.

Черный прохвост научился как-то сам окошко лапой открывать, так что теперь он у меня кот, который гуляет сам по себе.

— Ой, ежкин кот! — восторженно вскрикнул смутно знакомый незнакомец.

— Меня Баюном величают, — оскорбился тот и начал показательно лизать правую лапу.

— Вот это да-а-а, — продолжал восхищаться парнишка. — Так ты Баба-яга? Настоящая?

— Нет, искусственная, — не преминул сострить кот.

— Настоящая, настоящая, — заверила я гостя, начиная опасаться, что по всем поверьям Бабе-яге еще полагается гостя домой пригласить, накормить, напоить да спать уложить. Потом

полагалось еще в печи запечь, но человечинку я никогда не любила, да и приглашать в свою только вчера прибранную избушку мальчика не хотела: от одного взгляда на его сапоги мне поплохело. Оставалось только гадать, сколько он по лесу плутал, если обувка его вся в засохшей грязи, а дождя уже дней пять как не было.

— Значит, ты мне поможешь? — просиял паренек.

— Это чем же? — хмуро спросила я, плотнее укутываясь в халатик парчовый, дабы скрыть все свои прелести от пронизывающего ветерка весеннего.

— Тако мне ж надо царство Кашеево отыскать! — как само собой разумеющееся сказал он.

— Пра-а-авда? — отозвалась, пытаюсь изобразить восторженное удивление, а сама думаю, как бы избавиться от гостя поскорей. — А ты сам кто таков и откуда будешь? И зачем тебе Кашей понадобился?

— Так сын я царя Гороха, что в Тридесятом царстве властвует, Иван-царевич. Отправил нас, трех сыновей своих, царь-батюшка свет посмотреть, славу заслужить, богатство добыть. Вот я и решил к Кашею наведаться! Говорят, у него золота видимо-невидимо, — царевич широко развел руки и уставился в небо. Наверное, он так себе представлял несметные Кашеевы богатства.

Я поняла, почему этот малец мне знакомым показался. Я ж на свадьбе его батюшки была, мед-пиво пила.

— А ко мне зачем пришел? — решила уточнить я, не совсем понимая свою роль в его славных намерениях.

— Тако же ты одна ж мне дорогу подсказать можешь, разве ж не так?

— А-а-а... — снова задумчиво протянула я.

— Так ты ж меня вроде должна в избушку пустить, — царевич сделал маленький шаг в мою сторону.

— А знаешь! — я расставила руки, преграждая ему путь, хотя, чтобы оказаться внутри, ему бы сначала пришлось забраться

на порог, избушка-то моя не простая, а на курьих ножках, которые только меня одну слушаются. — Я тебе помогу. Только в путь тебе нужно отправляться немедленно!

— Экая срочность? — удивился царевич.

— Просто... — я пыталась придумать правдоподобный сказ. — Заходил ко мне тут один, тоже к Кашею собрался.

— Кто? — тут же напрягся Иванушка.

— Ну, такой... такой...

— Здоровый такой, кудрявый, глаза синие, кудри золотые?

— Да! — уверенно кивнула я.

— Так это ж мой брат старшой, Семён! — воскликнул Иван. — А говорил, что за жар-птицею в Ирий отправится. И ты указала ему путь к Кашею?

— Д-да, но! — поспешила утешить я поникшего царского отпрыска. — Он от клубочка путеводного отказался, а с клубочком оно вернее будет, не заблудишься, да и дорогу он кратчайшую кажет.

— Так с клубочком твоим я его еще опередить могу? — обрадовался Иванушка. — Давай же скорей клубочек!

Я взмахнула рукой, и в ладони появился маленький серенький клубок шерстяных ниток. Эх, четвертый за этот год!

— Он тебя до верстового камня проводит, а оттуда правильный путь укажет, ты не сворачивай с него и выйдешь точненько к царству Кашееву.

— Ой, спасибо тебе, бабуш... то есть, девица красная, век не забуду, всю жизнь помнить буду!

— Хорошо, хорошо, ступай, — тороплю я царевича, слыша за спиной подозрительные звуки.

— И куда ж ты, мать, его отправила? — любопытствовал кот, когда Иванушка уже не мог нас слышать. — Неужто и правда к Кашею?

— Бог с тобой, Бая, — отмахнулась я. — Разве ж могу я царское дитячко посылать на погибель верную? Кашей молодой

же — норовистый, он же его пальцем прихлопнет, пяткой при-
топнет! К Кашею, скажешь тоже! — передернула я плечами,
натянув халатик чуть ли не на нос: майское утро все же прохлад-
ное еще, кабы не простудиться.

— Ты как хочешь, а я в избу. Холодно, — простучала зубами
я, когда спина царевича перестала мелькать между деревья-
ми. — Окно за собой закрой, а то сквозняк опять будет!

Не распахивая дверь, а лишь тихонько ее приоткрыв, чтобы
не выпустить тепло на улицу, я протиснулась внутрь. Представшая
моим глазам картина была воистину прекрасна. Босиком, в одних
штанах, посреди горницы на корточках сидел Кашей Бессмертный
и пытался разжечь огонь в печке. Получалось у него плохо (в его-
то замке одни каминьы, ни одной печи нет), но он старался.

— А, это ты, — обернулся он, услышав, как я вошла. — Кто
это был с утра пораньше?

— Да так, — отмахнулась я, умиленно глядя на любимого. —
Иванушка-дурачок.

НЕ ГЕРОИНЯ

«Бойтесь своих желаний — они имеют свойство сбываться», —
сказал кто-то умный, то ли Булгаков, то ли Шехерезада. Давно
мечтала целыми днями лежать и ничего не делать. Не мытьем,
так катаньем — добилась. Лежу, ничего не делаю. В больнице.
По иронии судьбы, в палате номер шесть. Коек, правда, пять.

Одну, рядом со мной, занимает очень живенькая мадам, моя
тезка. У нее вроде как гипертонический криз, но она из нас
самая активная. И вечно открывает окно нараспашку. Мне
дует в левое ухо, но я молчу, хоть и не могу укрыться или от-
вернуться — капельница.

Люблю корейские диковинные сериалы, но всегда поражаюсь,
как корейцы легко сами себе втыкают иголки с физраствором,

разгуливают с капельницей по больнице, а потом, чуть что, картинно иглу даже не выдергивают — вырывают из руки!

Лично мне медсестра сказала не двигаться, так что кажется, если я выдерну иглу, непременно умру от потери крови. Поэтому не доверяйте фильмам, мой вам совет.

Напротив меня, у самой стены в углу, бабушка со склерозом. Мне кажется, она никогда не спит, а ждет, что ее заберет брат Павлик. Сегодня к ней приходил сын, но не забрал. А жаль, от нее пахнет мочой, и она слишком часто говорит о Павлике. Рядом с ней койка пустовала, поэтому я безумно рада, что меня положили не туда. У окна же лежала... ну, явно женщина, палата же женская, но я не видела ее ни разу. Она не встает, не разговаривает, словно вообще даже и не дышит. Вся укутана в многослойные одеяла. Оказалось, к ней приходит сиделка, а раз в неделю ее моют санитарки прямо в палате. Про последнее я узнала сегодня рано утром, когда проснулась от запаха... неприятного запаха. Пришлось укрываться с головой, но это спасало недолго: через десять минут мне поставили капельницу и приказали не двигаться.

Я лежала всего один день, но уже поняла, что мою мечту исполнял какой-то джинн-разгильдяй!

Единственным утешением было то, что левая рука уже немного начинала слушаться, а то ж три дня поднять ее не могла. Будто неродная. Видимо, джинн все-таки одну часть недавнего желания услышал. Но фильмам все равно не доверяйте. Врут они все. И мультики тоже.

Самое страшное для меня — иглы в моем теле. С детства боюсь уколов, прямо до обмороков и визга. А тут никого мои фобии не волнуют: вот лекарство, вот капельница, вот игла, вот вена — лежать, бояться.

На завтрак я не пошла. Не смогла встать. Я, собственно, из-за этого сюда и попала: не могла говорить и ходить. Для девицы моего возраста и телосложения бледность, сравнимая с зомби, и хрипение, будто после грандиозной пьянки, были явлением

весьма необычным. В поликлинике, куда папа привез меня на растерзание всевозможным лекарям, исцелять меня наотрез отказались. Для приличия померили давление. Оказалось, меня хоть в космос, а я ни стоять, ни говорить не могу, какой же из меня космонавт?

И вот теперь тут прохлаждаюсь. Незапланированный отпуск по непонятным причинам.

Врачебный обход нашей палаты начался с меня, горемычной.

— Рассказывайте, — велела женщина-доктор, а позади нее интерны послушно заглядывали мне в рот: авось, открою тайну своего нахождения в отделении, куда раньше пятидесяти не попадают.

Рассказывать я люблю, но только при наличии голоса. А тут такая оказия. Пришлось коротко и по существу.

— Да, загадка... — обнадежила доктор. — А какие-нибудь стрессы у вас были?

Кивнула и протянула ей телефон: на заставке стояла моя фотография с братом.

— Брат умер.

По всем законам жанра в палате должно было стать тихо-тихо, чтобы посочувствовать моему горю. Но нет, интерны продолжали что-то записывать, соседка напротив бубнила про Павлика, а от окна все так же слышались стоны.

Я специально показала фотографию брата. Ведь никто не может понять, какой он был замечательный, как я его обожала.

— Близнецы? — с видимым сочувствием спросила врач.

— Нет, а похожи? — удивилась я.

— Очень. Старший?

— Нет. Ровесник.

Вот тут все замолчали.

— Мы двоюродные.

— А-а-а... — сухо отозвалась она. — А от чего?

— Обширный инфаркт.

— А сколько ему было?

— Мы ровесники. Двадцать два.

— А когда это случилось?

— В мае.

— Так четыре месяца прошло!..

— Да.

Она так недоверчиво на меня посмотрела, что я даже разозлилась. Неужели она не видит, какой он у меня был? Лучший брат на свете...

— А в ближайшее время был какой-нибудь стресс? В течение одной-двух недель?

Признаваться мне не хотелось. В первую очередь самой себе. Как может мое состояние быть связано с чем-то, кроме смерти брата? Нет. Я ведь не героиня романтической мелодрамы! Я не могу заболеть только потому, что человек, за которого я собиралась замуж, женился на другой.

— Нет, — отвечаю я твердо.

— Ну, отдыхай. Будем думать, что с тобой делать.

Думайте. А я пока полежу. Главное, чтобы тараканов нигде не было. Но это же больница, откуда им тут взяться?!

Первая сволочь взялась в ящике рядом с моей кроватью. У меня там лежала зарядка. Сейчас она лежит под подушкой. Второй гад — в санузле. Теперь, прежде чем туда войти, я сначала включаю свет и жду, пока за дверью все разбегутся. Больше не хочу здесь лежать! Я отдохнула, хочу на работу! Где взять джинна или крестную фею?

Ах, да, я же не верю в сказки.

* * *

— Ребенок! Иди завтракать!

Так меня называет милая повариха необъятных размеров. Она наливает мне больше манной каши, чем положено, и накладывает в полтора раза больше пюре. Приносит мне шиповник

в палату, если я не могу прийти из-за капельницы, и угощает яблоками и печеньем.

Иногда очень приятно почувствовать себя снова ребенком, даже если не происходит чудес.

— Так вы хорошо подумали, точно не происходило никаких стрессов в недавнем времени? — настаивала врач.

— Ну...

— Можете не говорить, что именно, просто да или нет?

— Да.

— Личного характера?

— Личного.

— Ясно. Ну, отдохните.

Ясно? Что тут ясного? Мне вот ничего не ясно! Это только в кино можно умереть от любви и сойти с ума из-за предательства! Но я же не героиня шекспировской трагедии, я же живу в двадцать первом веке, работаю и не страдаю от любовных недугов. Что тут ясного?!

Если бы были силы и голос, я бы возмутилась вслух, но я по-прежнему сипела, ходила по стеночке и забывала слова.

Дни тянутся густым киселем, хоть и заняты процедурами и обследованиями. Мне проверили сердце и голову, взяли все возможные анализы, сколько раз протыкали вену — страшно представить, вся левая рука была синяя. Для того, кто панически боится иголок, я держалась молодцом и даже почти привыкла.

Диагноз мне поставили какой-то страшный, который я не могла даже выговорить. А если по-русски — нервный срыв.

Для человека с расшатанными нервами я проявляла чудеса терпимости к ближним, и через несколько дней мне поручили нашу склерозницу: ее отправляли на обследования вместе со мной, я следила, чтобы по ночам она не уходила на другой этаж, объясняла ей, что брат Павлик далеко, а за ней приедет ее сын Витя.

В общем, могла бы уже сиделкой подрабатывать, да только все еще была пациенткой.

* * *

«Филологическое образование — это зло», — подумала я, уже битый час с ужасом смотря на надпись на двери кабинета ЭКГ: «При входе одевайте бахилы».

— Вы приедете ко мне в субботу? Привезите, пожалуйста, маркер! — попросила я своего преподавателя.

«При входе НАдевайте бахилы», — гласили теперь не повордовски ровные, но зато большие и четкие буквы.

— Ну и как это называется? — строго спросила Еленочка Санна.

— Надеть одежду, одеть Надежду, — пожала плечами я. — Элементарно.

— Шерлок, я спрашиваю про сам факт твоего нахождения здесь.

— Ну...

И меня прорвало. Даже голос прорезался, так я ненавидела брата и того, второго, который предал меня еще хуже.

Хотя нет, брат его переплюнул. Камиль просто взял и женился, а Влад умер и оставил меня одну.

— Понимаете, два самых близких мужчины бросили меня, предали, оставили! Как они могли?!

Елена Александровна что-то мне говорила, убеждала, успокаивала, но я не слышала, не хотела слушать, не хотела прощать никого из этих двоих. Я их так сильно ненавидела, что сама хотела умереть, чтобы не слышать эту боль.

Но я же не героиня фильма. От любви еще никто не умер.

* * *

Сердце мое работало как часы, давление — на зависть спортсменам, что-то не так было с сосудами, ведь нервные срывы, на поверку оказавшиеся инсультами, просто так не случаются, но все эти мелочи не могли остановить меня, и я жаждала выписки в мамин день рождения.

Я ходила за Верой Ивановной по этажу и просила выписать меня в пятницу. Ведь я уже разговариваю, рука слушается и не капризничает, а что голова кружится — так дома и стены лечат!

— Значит так, — наконец повернулась ко мне доктор. — Еще не пришли все результаты. Я не могу пока ничего обещать. Ты ж у нас филолог? Вот и лежи, книжки читай.

И зашла в мужскую палату.

— Ребенок! Иди обедать!

Книжки читать я была рада, да только в палате долго находиться не могла. Днем от койки у окна раздавались стоны, а из угла — бубнеж про Павлика. Тезка, что лежала рядом, уже выписалась, на ее место положили еще одну неходячую (тоже, кстати, тезку), и теперь у нас в палате постоянно слышался еле уловимый запах мочи и прочих жизненных процессов. По ночам же хоровое храпенье на разный мотив не давало заснуть, и тогда в голову начинали лезть мысли.

Очень нехорошие мысли.

* * *

— Ты знаешь, что ты на Руслана похожа больше, чем на родную сестру? — спросил меня Камиль, когда мы сидели среди самых дальних стеллажей в библиотеке и пытались склеить ветхий фолиант.

— Во-первых, не я на Руслана, а он на меня, я на целый месяц старше. А во-вторых, не Руслан, а Влад.

— Это для вас он Влад, а для нас — Руслан.

— Когда вы успели ему имя свое дать?

— Когда дядя первый раз привез его в Дагестан и сказал, что он теперь его сын. Так что он теперь Руслан Алиханов.

— Владислав Алиханов тоже красиво. Алиханов Владислав Зубаирович, — продекламировала я.

— Звучней и не придумаешь, — согласился он.

Вроде хотелось смеяться, но не получалось. Объединять нас должен был Рустам — общий двоюродный брат, мне по материнской, ему — по отцовской линии. Но родство почему-то мы чувствовали через Влада. Или Руслана. Только он знал о наших отношениях, только он покрывал нас, когда мы прятались в библиотеке, только он придумывал отговорки для родителей, чтобы мы могли погулять подольше.

— Это знак, — уверенно заявил Камиль.

— Что еще за знак? — от неожиданности я неловко дернула скотч, и страница порвалась еще больше. — Не говори под руку!

— Вы с Русланом как близнецы. А он, между прочим, мусульманин...

— Так во-о-от куда ты клонишь, — протянула я, пытаюсь соединить оторванный краешек ровно. — Не получится. Это ты с Владом пробуй. А меня ты на слабо не возьмешь.

— Чего? На какое слабо?

— Я не приму мусульманство, и не проси.

В тишине мне работалось споро, но непривычно. Я подняла взгляд.

Камиль смотрел прямо перед собой, не моргая.

— И?

— Ты не понимаешь...

— Так объясни.

Он молчал долго, словно подбирал слова. Глубоко вдохнув полный книжной пыли воздух, сначала откашлялся, а потом произнес:

— Я — единственный сын в семье. Я должен продлить род. Поэтому, когда мы поженимся...

— Эм... Стоп, — перебила я. — Это ты мне сейчас предложение делаешь, что ли?

— Я пытаюсь тебе объяснить...

— А, ну ладно, это я так... Продолжай, — махнула в знак того, что слушаю дальше, и снова занялась книгой.

— Ты издеваешься? — разозлился он.

— Нет же! — искренне отозвалась. — Я слушаю!

— Ты не понимаешь, насколько это важно для меня. Я не смогу жениться на тебе, если ты будешь не моей веры. Мне родители не позволят, мне религия моя не позволит!

— Твой дядя женился на моей тете, и ему религия позволила даже ее ребенка усыновить, и вы его приняли в свою семью и даже имя ему свое дали.

— И он принял мусульманство!

— А она не приняла!

— Значит, дядя так может, а я — нет! — почти со злостью выкрикнул он.

— Почему ты хочешь на мне жениться?

Он долго смотрел мне в глаза, решаясь.

— Потому что люблю.

— Любишь такую, да? — я указала на себя: в старом сарафане, со сломанными ногтями, лохматыми волосами, всю в пыли и с черными от этой пыли пальцами.

— Да. Именно такую.

— И заметь, религия тебе не мешает.

Кажется, он зарычал. Или мне послышалось. Вскочил на ноги и начал метаться туда-сюда. Но отступить я все равно не собиралась.

— Мы же не должны жениться прямо сейчас, верно? — уточнила я.

Он лишь хмуро на меня посмотрел.

— Так давай подумаем об этом тогда, когда придет время?

— Ты даже понять не хочешь, что по нашим законам я не имею права тебя любить! — навис он надо мной.

— Но любишь же? — спросила я, глядя на него снизу вверх. Молчание означало согласие.

* * *

Обследования показали все то же самое, что соответствует диагнозу «ишемический удар». Мне надлежало наблюдаться у невролога по месту прописки, не нервничать и не перенапрягаться. Я была согласна на все, хоть на консультации с психиатром, лишь бы сбежать отсюда.

Больничный мне подписывали два дня. Для получения нужной печати интерн должен был сходить в соседний корпус, но он предпочел сначала сделать порученный ему обход, и, гордый от возложенной на него миссии, уверенно заявил, что у меня пониженное давление.

— Не может быть! — возмутилась почти уже выписанная пациентка. — Я же космонавт!

— В смысле? — растерялся юный целитель.

— Ну, в том смысле, что у меня всегда сто двадцать на восемьдесят. Это вы что-то не то намерили!

Я никому бы не позволила отсрочить мою выписку, так что заставила его сходить за еще одним аппаратом и померить давление заново. Оказалось, и правда — космонавт.

— Поставьте, пожалуйста, печать мне на больничном, — взмолилась я. — Пожалуйста!

К обеду я получила желаемую зеленую бумажку в руки. И тут же вызвала такси.

В лифте ехала с медсестрой с верхнего этажа.

— Как такая молоденькая, и сюда попала? — удивилась она.

— Ну... все бывает, — уклончиво ответила я.

— Из-за парня, что ли? О-о-о! Милая! Да сколько тех парней у тебя еще будет! Не стоят они того, поверь! Не более больше и сюда никогда не попадай! — стандартное, но от этого не менее милое напутствие.

— Не буду.

Такси ждало около центрального входа. Я сначала закинула сумку, потом плюхнулась на заднее сиденье сама.

— Едем? — спросил водитель.

— Едем! — ответила я. — И побыстрее!

Пиликнул телефон. Уведомление о новом сообщении.

«Ты в больнице? Что случилось? Как ты себя чувствуешь?» — с удаленного, но такого знакомого номера.

«Уже еду домой. Чувствую себя хорошо. Не пиши мне больше. Меня для тебя больше нет».

Прямо как в книжках. Но я совсем не героиня романа. И не хочу ею быть.

ВЕРОЧКА

Верочка сдала сессию на отлично. Последний экзамен был особенно сложным, но преподаватель неожиданно подозвал ее к себе и сказал:

— Я вам ставлю «пять», если не согласны, можете отвечать.

Первая мысль, пришедшая в голову, была «Не согласна? А что, можно ответить на “шесть”?», но, хвала небесам, озвучить ее Верочка не успела — преподаватель уже поставил в ее зачетку оценку и указал на дверь (мол, иди, не отвлекай остальных).

Остальные проводили ее с тоской и завистью во взгляде, но возмущаться и не подумали: все знали, что с Бочковым лучше не связываться, а еще лучше — никогда не встречаться.

Такой удачи на последнем экзамене Верочка не ожидала. Возвращаться домой в Электроугли было рано: вечером оттуда должен был приехать племянник, которого нужно было отвезти на вокзал. Пришлось ждать однокурсников.

Счастливицков оказалось немного, всего девять человек. Остальных ждала пересдача. Но никто не расстроился, ведь все знали: у Бочкова с первого раза больше десяти человек экзамен не сдают.

Новообразовавшийся хвост никак не повлиял на общую эйфорию окончания сессии и предновогоднее настроение, и вся группа радостно завалилась в ближайший ресторан отметить это дело.

Верочка вообще пить не любила, потому что пить не умела. Стоило ей немного перебрать, как мысли покрывались туманом, а здравый смысл старосты-отличницы прятался в глубинах сознания. Но не отметить «пятерку» было грешно. И она отметила. Сначала бокалом шампанского, потом мартини, а закончила отмечать разбавленным виски.

В какой-то момент кто-то решил за Верочкой поухаживать, но она поманила его указательным пальцем и доверительно прошептала на ухо:

— Не отстанешь, я мужу расскажу.

— А кто у нас муж? — неудачно пошутил «поклонник».

— Не волшебник, но звездочки перед глазами обеспечить может, — и она показала обручальное кольцо на пальце.

— Предупреждать надо, — буркнул несостоявшийся ухажер и вернулся за свой столик под хохот Верочкиных однокурсников.

— Мишенька! — спохватилась Верочка. — Про Мишеньку забыли!

Мишеньку вызвался провожать весь курс. Щуплый четырнадцатилетний Миша еще никогда не садился в поезд под дружный нестройный хор студентов истфака. Во всей этой какофонии звуков, глядя из окна уходящего поезда, он смог различить голос своей тетушки, отделившейся от столба, к которому ее благоразумно приставили, чтобы не упала:

— Мишенька! — побежала она за поездом, еле переставляя ноги и то и дело поскальзываясь. — Щетка! Ты не забыл зубную щетку?

Мишенька был уверен, что не забыл, но после такого вопроса вдруг засомневался и полез проверять. Когда он опять выглянул в окно, Верочка была слишком далеко, чтобы до нее докричаться.

Свою шатающуюся старосту под ее громкие протесты на платформе и угрозы ее мужа по телефону посадили в первую электричку, следующую по направлению Москва — Петушки, где Верочка благополучно заснула.

— Девушка, — через некоторое время начал тормозить пассажирку какой-то субъект. — Девушка, поезд дальше не идет. Это конечная.

Субъект оказался странным, но картинка за окном — еще страннее. Тихо кружащиеся и сверкающие в свете фонарных столбов снежинки; маленький обветшалый домик, запорошенный снегом и служащий местным железнодорожным вокзалом; узкая платформа и огромный мост, ведущий к другим путям. В общем, не Электроугли. Эту станцию Верочка проезжала постоянно, но название упрямо не хотело вспоминаться.

Вставать с теплого насиженного места и вылезать на трескучий мороз не хотелось, но ехать в тупик в пустой электричке не хотелось еще больше.

Верочка плохо помнила, как оказалась на улице, но возвышающийся над станцией мост, наполовину утопающий в нетронutom снеге, выглядел непреодолимой преградой к вожделенной следующей электричке, которая должна была прийти на соседнюю платформу.

Странный субъект, тоже не совсем трезвый, шатался рядом. Ему мост тоже категорически не нравился.

Помедитировав еще немного на уходящие ввысь ступеньки, Верочка и субъект дружно перевели взгляд на рельсы. До них было значительно ближе.

— Прыгаем? — спросил чуть осипшим голосом субъект.

Верочка тяжело вздохнула:

— Прыгаем.

И прыгнули.

Приземлились мягко: за последние несколько часов успело выпасть столько снега, что упасть удалось как на подушку.

Ситуация была настолько забавная, что захотелось петь. Ничего лучше «А я по шпалам иду домой по привычке» в голову не лезло, поэтому Верочка заголосила эту песню в полный голос. Слова она знала плохо, зато отлично помнила мотив. Слуха у нее не было никогда, и она старалась взять громкостью исполнения, да такой, что ковыляющий рядом субъект в ужасе зашипел и попытался ее урезонить, но это оказалось делом не столько нелегким, сколько неблагодарным: как только Верочка замолчала, сразу начала икать и чихать, чем тормозила процесс преодоления шпал и рельсов вдвое.

Достигнув-таки цели, нужно было забраться на платформу. Каким-то уголком сознания Верочка понимала, что никогда забраться наверх не сможет, но подстегнутая алкоголем уверенность в собственных силах заставила Верочку взять платформу штурмом.

Если бы на следующее утро Верочке рассказали, какой путь она преодолела, чтобы добраться до скамейки у стенда с расписанием электричек, она бы усомнилась в здравом уме горе-рассказчика. Сейчас же она представила себя Троянским конем перед неприступной Троей и таки забралась наверх, в качестве трамплина используя спину своего спутника.

Желанная скамейка оказалась холодной и твердой, но это лучше, чем стоять у столба в ожидании электрички.

Только Верочка устроилась с максимальным комфортом, как заметила идущего в ее сторону здорового мужика. Первые секунды пятнадцать она еще надеялась, что он пройдет мимо. Но через двадцать поняла, что надежда эта тщетна: мужик шел не сворачивая, с каждым шагом становясь все больше и страшнее. Ей поплохело.

Помолившись всем богам, которых смогла вспомнить, Верочка зажмурилась и вся сжалась, то ли пытаясь уменьшиться в размере, то ли пытаясь вовсе исчезнуть.

Шаги раздавались все ближе, все сильнее ее колотила дрожь и стучали зубы, как вдруг:

— Ве-е-ер... — позвал смутно знакомый голос, и кто-то больно ткнул ее пальцем в плечо. — Вера, что с тобой?

Открыв глаза, она увидела возвышающегося над собой и отбрасывающего жуткую тень на снежную платформу собственного мужа.

— Лёня? — осторожно спросила она.

— Вы ее муж? — возник откуда-то субъект.

— Да.

— Заберите ее, пожалуйста, — взмолился он, потирая поясницу.

— Любимый!.. — тем временем возопила Верочка и рванула к нему так, словно это ей на спину забирались всякие подвыпившие личности. — Представляешь...

Лёня повел жену к другому пути, придерживая за плечи.

— Только пусть не поет!.. — крикнул вдогонку субъект, но было поздно: тишину подмосковной станции пронзила «Винювата ли я»...

АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК

— Как же так получилось? — решила я все-таки спросить.

— Гулял во дворе, увидел бутылку с оранжевой жидкостью и выпил. Сок апельсиновый любит.

— А в бутылке?..

— Щелочь.

И пищевода как не бывало. Стенки желудка обожжены. Месяц в махачкалинской больнице, пока дядя не забил тревогу и не выбил квоту на лечение в московской больнице. Но чтобы здесь об этой квоте узнали, пришлось побегать уже мне. Другой конец города, оббегала пять корпусов, отсидела два часа, но врач

меня принял. Правда, чтобы он посмотрел документы, тоже пришлось постараться. Сначала выслушать жалобы а-ля «мест нет, а больных много», потом подключить обаяние несчастной девушки, у которой серьезно болен любимый братик (и неважно, что я его никогда в глаза не видела), и вуаля — документы рассмотрены, разрешение получено, привозите ребенка.

Рейс задерживали. Мы сидели в кафе в аэропорту, ждали самолет. Камиль приехал вчера. Он изменился за те два года, что мы не виделись. Жена, видать, откормила, не такой худой, бреется, а не изображает ваххабита под прикрытием, спортивные штаны и вечная красная футболка сменились на джинсы и рубашку, а вместо сандалий теперь кожаные туфли. Только вот глаза не улыбаются, как тогда, когда в парке он держал меня за руку...

— Вы в этом году во Владик едете? — полюбопытствовал он.

— Как всегда, — пожала я плечами, делая маленький глоток кофе.

Мы никогда не сидели с ним просто так, открыто, ни от кого не прячась. У нас никогда не было настоящего свидания, зато были незабываемые встречи за углом дома и у второй скамейки в парке.

— А к нам на недельку? Как тогда?

— Да, тогда было хорошо, — улыбнулась я.

Шесть лет назад я первый раз попала в Дагестан, первый раз увидела море, пускай и не совсем это было море, но оно штормило, соленая вода держала, и я впервые «сгорела» на пляже.

— Съездим в Гуниб, там очень хорошо, — продолжал заманивать он, положив руки на стол так, что его ладони оказались рядом с моими.

Я тяжело вздохнула, откидываясь назад. Там действительно было хорошо. Маленький городок на отрогах гор, весь утопает в зелени. Чуть ниже — горная речка перекликается с бляением и кудахтаньем домашней живности. Чуть выше — горы. Все

цвета зеленого радуют глаз, а если забраться на один из склонов, то огромные зеленые плато кажутся ступенями для великана. А вот та гора-седло, наверное, его дом. Хотя я прекрасно знала, что это именно на той горе раскидано село Куяда, откуда родом все Алихановы. Когда-то я мечтала там побывать, познакомиться с возможными будущими родственниками...

— Помнишь, пока твой дядя изображал альпиниста-экстремала, за нами с соседней горы орел наблюдал, — спросила я, делая вид, что не заметила его разочарованного взгляда.

— А мы наблюдали, как наши сворачиваются и уезжают, — усмехнулся он, глядя на меня с упреком.

— Да, рыба тогда протухла, зато мясо промариновалось на славу!

Мы предались воспоминаниям. Несмотря на холеный внешний вид, под глазами у Камиля залегли тени, а рукой он постоянно проводил по лицу и стучал пальцами по столу, будто от нетерпения.

— Как давно это было, — сказал он, глядя мне в глаза.

Я ничего не ответила. Общие воспоминания были прекрасными и болезненными одновременно. С той поры прошло столько времени, и казалось — за столом сидят совсем другие люди. Теперешние мы никогда бы не сбежали в лес, чтобы там гулять до заката. Мы бы никогда не передавали друг другу под столом записки и не обменивались короткими осторожными взглядами. И уж тем более не думали, не заметят ли нас, когда мы целуемся за крыльцом.

Самолет прилетел в четыре часа, пассажиры выходили к встречающим в самом дальнем от центрального входа терминале. Я никогда не видела Ильнару раньше, и радовалась, что должна их встречать не одна.

А потом поняла, что никогда бы не перепутала. Потому что женщина с маленьким ребенком в инвалидном кресле была одна.

Медпункт отказался заранее вызывать скорую, заявляя, что сначала должны посмотреть на больного. Вдруг мы неадекватно оцениваем его состояние и можно спокойно доехать на такси. Когда Камиль побежал забирать у Ильнары сумки, а я поспешила открыть дверь в медпункт, меня пробил озноб.

Я видела Шамиля на фотографиях с его отцом, мне присылал Камиль. Я видела красивого рыжего мальчика, висящего на голове у папы, улыбающегося и жующего конфету. Это был маленький ангелок, случайно оказавшийся в одном из домов людей. Разве мог тот ребенок быть сейчас тем, кто сидел в кресле?

Кости, обтянутые кожей. Волосы, уже не такие рыжие, скорее русые, топорщились в разные стороны, придавая и так непропорционально большой голове еще объема. Непонятно, как эта шея держала на себе эту голову. Маленькие худые ручки вцепились в подлокотники, так что побелели костяшки пальцев. Трубки торчали из таких мест, откуда в принципе не может ничего торчать, если предварительно не сделать для них отверстия — из шеи, из живота, из-под ключицы. Говорить он не мог, только хрипел. Из носа текло, а самое страшное — кресло было кожаное, и ребенок медленно сползал по нему вниз, уже наполовину лежа. Ножки не доставали до нижней подставки, он не мог оттолкнуться, а сил подтянуться, чтобы сесть удобней, у него не было.

— Его приподнять надо, а то ему так больно, — устало попросила Ильнара.

Камиль осторожно начал его приподнимать. Мальчик закричал. Мужчина застыл, но потом, причитая и уговаривая, одним рывком посадил, чтобы ему было удобней. Я стояла сзади и боялась, что мать или ребенок увидят мое лицо, полное ужаса.

— Ну что тут у нас? — в коридор вышел врач аэропорта.

Взглянул на ребенка, перевел взгляд на нас.

— В какую больницу?

— Вот все документы, — протянул Камиль папку.

— Пойдемте, отправим заявку.

— Аня, там в сумке носочки, надень на него, — попросила Ильнара, и все ушли, оставив меня одну.

Надеть носочки? Я боялась к нему прикоснуться, боялась подходить близко и дышать в его сторону, а тут «надень носочки»! Благо, носочки нашлись быстро. Ребенок смотрел на меня безразлично. Наверное, за то время, что он провел в больнице, он видел столько незнакомых людей, и плюс-минус еще одна странная тетя его уже не удивляла.

Слезы у него еще не высохли. Я достала бумажные платки и вытерла ему глаза и нос. Заметив, что он снова сползает, начала придерживать его за пояс, больше всего на свете боясь, что самой придется его приподнимать. Попеременно вытирая нос и приговаривая что-то ободряющее, я то и дело кидала взгляды на дверь, за которой скрылись остальные.

— Ты кто? — вдруг спросил мальчик.

— Аня.

— Ты будешь тут с нами?

— Да.

— Когда я буду опять здоровым, — шмыгая, прошептал он будто по секрету, — мама купит мне чипсы.

— Чипсы — это вкусно, — согласилась я, снова вытирая ему нос.

— А мама говорит, они вредные, — пожаловался он.

— Вредные, но вкусные, — подмигнула ему. — Тебе удобно?

— Мне больно.

— Ну, ты же у нас терпеливый. Такой маленький, а уже на самолете полетал. Сейчас на большой машине поедешь, с мигалкой. А потом будешь самым здоровым и будешь есть все, что захочешь! — пообещала я, не зная, будет это правдой или нет. Сейчас казалось, ребенок долго не протянет.

— Ну как тут наш джигит? — к нам вышел Камиль.

Пока с Шамилькой возились родные, я вышла из медпункта, отошла подальше, спряталась за колонну и разрыдалась. Плакала

навзрыд, не обращая внимания на проходящих мимо озабоченных моим состоянием людей. Позвонила маме и кричала в трубку, что не могу смотреть на такого ребенка, не могу понять, как такое вообще возможно, не могу слышать, как он хрипит и кричит от боли, не могу видеть, как он сползает по креслу вниз, не в состоянии сам приподняться.

— Ты должна успокоиться, взять себя в руки и вернуться к ним, — говорила в трубку мама. — Им и так тяжело, ты еще добавляешь. Зайди в туалет, умойся холодной водой. И не вздумай подавать вида, что ты не можешь. Ты сейчас единственная, кто может им помочь. Ты же знаешь, они на тебя рассчитывают.

Врачи приехавшей через полтора часа скорой помощи долго заполняли кучу бланков, прежде чем, наконец-то, мы пошли к машине. Слышать, как ребенок кричит, когда его перекалывают из кресла на каталку, было еще невыносимей. Я отвернулась. Камиль смело приобнял меня за плечи, а я уткнулась ему в грудь, чтобы Ильнара не видела опять выступивших слез. Сама она уже давно не плакала.

Благо, аэропорт Внуково располагался не так далеко от нужной нам больницы, но все равно мы застряли в пробке. (Потом Шамильчик из всего своего московского приключения вспоминал, как его везла большая машина с мигалкой и сиреной.)

Приехав на место, оказавшись в приемном отделении, мы получили еще кипу бумаг. Мне, как самой образованной и единственной москвичке, вручили документы и попросили все заполнить. Я смело взяла ручку и...

— Камиль, — позвала я. — А почему здесь написано, что она Мадина?

— А, — улыбнулся он. — Потому что по паспорту она Мадина.

Вряд ли меня мог удовлетворить подобный ответ, но времени на объяснения не было: от меня требовалось писать быстро, без вопросов и без ошибок.

Мать с ребенком забрал врач приемного, мы остались ждать в холле.

— Так почему ее зовут Мадина, а мы зовем ее Ильнарой? — снова поинтересовалась я.

— Потому что у нас есть обычай: если ребенку при рождении дают имя, а он в течение трех месяцев болеет, значит, оно ему не подходит, и тогда имя ему меняют.

Я смотрела на него во все глаза, не веря своим ушам.

— Как это, имя меняют?

— Ну вот так, я тоже на самом деле не Камиль, все мы тут конспираторы, — он достал свой паспорт и протянул мне.

В графе «Имя» значилось «Нурула». Вот так вышла бы замуж за Камиля Алиханова, думая, что у детей будет красивое отчество, а потом бы выяснились шокирующие подробности.

— Это обычное дело, — пожал плечами Камиль, беря мою ладонь в свою руку. — Я два года не держал тебя за руку.

— Ты два года женат.

Я осторожно высвободила руку, дверь открылась, и вышла Ильнара с врачом.

* * *

Камиль уехал на следующий день, его ждала беременная жена. Учеба и работа не позволяли мне часто навещать в больницу, но я выбиралась туда по мере сил.

Отделение, в котором лежали Ильнара с Шамилькой, изобиловало детьми с разными повреждениями внутренних органов. Кто-то проглотил батарейку, и она сожгла ему стенки пищевода. Кто-то съел лампочку, и теперь из желудка нужно было извлечь осколки. Кто-то, как наш малыш, что-то не то выпил.

Шамильчику все откладывали и откладывали операцию, потому что он был слишком худой. Врачи недоумевали, почему махачкалинская больница так затянула с отправкой ребенка

в Москву, ведь отделение не было переполнено, они могли бы принять его еще месяц назад.

Чтобы у четырехлетнего ребенка не пропал жевательный рефлекс, ему давали жевать вату и рассасывать маленькие конфетки, а он ужасно хотел чипсов. Первый раз, собравшись их навестить, я была в замешательстве, что привезти тому, кому нельзя есть? Повезла дивиди-проигрыватель и несколько дисков с мультфильмами. Оказалось, угадала.

Шамилька со временем стал ждать моего приезда, особенно после того, как я пообещала обязательно сводить его посмотреть на танки и вертолеты и поест чипсов, когда он поправится. Еще он знал про «Макдоналдсы» и хотел картошку фри. Для этого нужно было набрать еще немного веса, и тогда ему разрешат понемногу кушать жидкую пищу.

Операцию сделали только через четыре месяца — Шамилька умудрился заболеть. В больнице объявили карантин, и мне пришлось на время прекратить свои посещения.

После операции мальчик становился все крепче, и на пару месяцев им разрешили уехать домой. Когда я приехала в больницу, чтобы их проводить в аэропорт, Шамилька повис на моей шее, а потом уселся ко мне на колени, пока Ильнара бегала по палатам и собирала их вещи, оказывающиеся в самых разных местах.

Уже неделю они лежали в палате не одни. С ними был мальчик, у которого с рождения не было желудка. Он не разговаривал и не мог самостоятельно дышать. Организм не выдерживал нагрузки из-за лекарств и постоянных операций, а сам ребенок в свои четырнадцать выглядел лет на восемь-десять. Был как раз час обхода, и в нашей палате устроили чуть ли не консилиум, разговаривая непонятными и страшными словами, глядя на несчастного, не сводящего взгляда с потолка.

Потом я узнала, что жить ему оставалось не больше месяца.

В аэропорт мы приехали неожиданно быстро. Шамилька окреп настолько, что бегал вокруг нас и упрямо хотел поиграть

в прятки между чемоданами. Мне пришлось подчиниться, поймать его один раз, а потом взять на руки, чтобы никуда больше не убежал. Самым страшным было случайно задеть трубку в желудке, тогда он начинал плакать и кричать от боли. Кушать ему по-прежнему было нельзя. Ильнара вводила питательные растворы в сам желудок. Зато можно было рассасывать чипсы, чем мы и занимались те полчаса, пока ждали объявления на посадку.

Прощание было недолгим, но трогательным. Я обнимала малыша и обещала, что скоро увидимся, ведь нам еще предстояло покататься на танке, посмотреть на вертолеты и полакомиться картошкой фри в «Макдоналдсе». Он пообещал выздороветь быстро-быстро, и тогда ему разрешат кушать.

— Увидимся через два месяца, — улынулась Ильнара. — Мы тебе очень благодарны.

— Да я-то что, все сделал Камиль, я лишь помогла с документами, — обняла я женщину. За последние месяцы она стала спокойней, синяки под глазами исчезли, а глаза уже не смотрели на ребенка со страхом и виной.

— Он не хотел жениться, — вдруг сказала она.

— Знаю, — кивнула я, целуя ее на прощанье.

ПЛЮС НА МИНУС



У меня появился мужчина. И не просто появился, а вошел в мою жизнь настолько прочно, что теперь я могла считаться почти замужней дамой и участвовать в разговорах подруг на тему: «А мой вчера...».

Безусловно, от этого была польза. Теперь за мою уютную однушку мы платили вдвоем, что, несомненно, положительно сказалось на моем бюджете. На питание теперь тоже уходило

намного меньше денег, потому что любимый никогда не приходил домой с пустыми руками.

Нет, зарабатывала я прилично, на жизнь хватало. Несколько раз даже писала сценарии для бесчисленных мини-сериалов. Поначалу думала, что никогда не буду заниматься подобной ерундой, но когда увидела, какой за эту ерунду предлагают гонорар, поняла, что уважать высокую литературу, конечно, хорошо, но отказываться — совсем не уважать себя.

Теперь же я, после ночи корпения над диалогами, получала завтрак в постель. В холодильнике всегда было полно еды, так что я могла на улицу не выходить сутками, поскольку работа у меня была на дому, а общения хватало с любимым.



Квартирка была уютная и маленькая. Самое то для молодой пары, только начинающей совместную жизнь.

Конечно, ей пришлось немного потесниться, чтобы в шкафу теперь были и мои вещи, в ванной на полочке помещались не только женские принадлежности, но и моя бритва, а в комнате хватало места и для ее письменного стола, и для моих занятий.

Я был рад тратить на нее деньги, готовить по утрам завтрак, ездить с ней по праздникам к родителям. Моя карьера шла в гору, так что уже пора было задуматься о семье и детях, хотя о последних она пока слышать ничего не хотела.

Ее было сложно вытащить куда-нибудь прогуляться, но зато, если она не садилась писать, то мы могли говорить часами напролет, не уставая друг от друга.



На день рождения он подарил мне подарочное издание «Отверженных», о котором я так давно мечтала. Неделю

я просидела, не отрываясь от гладких страниц, поглаживая бархатную обложку и любясь золотистым тиснением. За такой подарок я готова была месяц баловать его гастрономическими изысками, хотя готовить не любила, но в принципе умела.



На нашу годовщину она подарила мне дорожные струны, которые я так давно искал. Уж не знаю, как она узнала, что именно они мне нужны, но это был лучший подарок за все время наших отношений. По такому случаю я согласился в десятый раз пересмотреть «Гарри Поттера» и даже прослезился на моменте, когда убили Добби.



Когда мы отправились в горы, его пришлось долго уговаривать на авантюрную ночную поездку на Бермамыт, чтобы встретить там рассвет. И хоть розово-голубой Эльбрус, скользящие между расщелин молочные облака и сверкающие бриллиантовой росой альпийские луга произвели на него неизгладимое впечатление, он еще долго дулся на меня из-за того, что я с проводником полезла на жертвенный камень, расположенный на отроге скалы над двухсотметровой пропастью.



Во время отпуска в Испании мы долго составляли тур, чтобы удовлетворить запросы каждого из нас. Но когда она в четырехбалльный шторм решила поплыть до буйков и мы еле доплыли обратно до берега, я зарекся ездить с ней на море не в сезон.



У него был домашний любимец. Довольно нетипичный. Из-за аллергии на шерсть он не смог ужиться с моим кроликом, поэтому Степка переехал к родителям, а у нас на кухне теперь обитал карликовый крокодил, привезенный им из Южной Кореи. Звали его Гена, как бы это банально ни звучало.



Моего крокодила она кормить отказывалась наотрез, аргументируя это боязнью лишиться пальцев. Гена совершенно безобидный, но она уверяла, что он на нее косо смотрит и только ждет момента, чтобы укусить. Зато каждый день звонила родителям и спрашивала, как там ее кролик.



Мужчина мой был музыкантом. Вы не подумайте, я люблю музыку, и познакомились мы с ним на одном из концертных вечеров, на который я попала по случайно доставшемуся билету от знакомой. К слову, он оказался скрипачом. А я никогда раньше не имела дел со скрипачами. Да и ни с какими другими представителями музыкальных профессий тоже. Поэтому писать под нескончаемые репетиции концертов, симфоний, сонат и кантат оказалось делом если не тяжелым, то как минимум напрягающим. Вы можете себе представить звучание скрипки без аккомпанемента?

Я заметила, что все герои, отличающиеся занудством, у меня теперь обязательно играли на скрипке. Даже тексты на перевод мне стали попадаться все больше на музыкальную тему. Или же это я подсознательно начала такие выбирать, потому что уже могла на слух отличить Вивальди от Штрауса, стаккато от легато и даже от нон-легато, при этом знала, что диез — это

повышение на полтона, бемоль — понижение, а бекар отменяет оба предыдущих знака.



Моя милая оказалась не совсем обычной девушкой. Например, она любила футбол. Причем не просто смотрела крупные чемпионаты и фанатела по Криштиану Роналду, как это обычно бывает у представительниц прекрасного пола.

Теперь я узнал, что Ибрагимович во всех своих клубах становился чемпионом в национальном первенстве, Хамес Родригес забил самый красивый гол на чемпионате мира, а Давид Луис является самым дорогим защитником Европы.

Она знала все правила, всех игроков и все клубы. Могла сходу назвать, какие будут замены, частенько предугадывала счет. И даже я теперь знал, что такое офсайд, когда пробивается угловой и кто такой нападающий полузащитник.



Еще я заметила, что возлюбленный обязательно вспомнит, что по «Культуре» сейчас идет концерт Рахманинова, если вдруг я сяду смотреть футбол по «Спорту». «Пер Гюнт», обосновавшийся в моем плейлисте давным-давно и успешно сосуществующий с рок-группами и корейской музыкой, сейчас вынужден был разделить ношу представителя классики в моем телефоне с «Временами года», «Щелкунчиком», «Князем Игорем» и «Снегурочкой».

Нижние книжные полки, на которых главенствовали Фицджеральд, Сапковский, Остен, Гюго и Пушкин, освободились, потому что ноты открывались намного чаще, а я могла обойтись планшетом. И мои бумажные любимцы переехали на полки повыше, потеснив О'Генри, Думбадзе, Толкина и Булгакова.



Если она включала телевизор, это значило, что сегодня мы будем смотреть футбол. Если она включала музыку, то играл либо рок, либо какая-то азиатская попса. Из нормальной музыки в ее плейлисте был только «Танец горных троллей», и то только потому, что когда-то в школе она писала сочинение по «Пер Гюнту». Я решил заняться ее музыкальным образованием, хотя встретила она это без энтузиазма.

Пока я не отвоевал место для моих нот на нижней книжной полке, они кочевали от стула к стулу, из кухни в комнату и обратно, пару раз я находил их даже в прихожей. Когда место было завоевано, часть книг переехала наверх, и все это сопровождалось сетованиями на тему того, что ее крошкам там будет тесно.



Холодильник теперь всегда был полон полезной, но не всегда вкусной едой, а я уже забыла, когда последний раз ела сосиски.

Мое замечание, что у нас во дворе стоит целая спортивная площадка, было проигнорировано, и в кухонном дверном проеме появился турник. Даром, что пользовались им раз в два месяца, и то на спор.

Но хуже всего дело обстояло с датами. Он помнил их все. День знакомства, годовщина четвертого свидания, разговор по телефону на наш первый Новый год, его первые гастроли, когда мы уже встречались, мой сданный сценарий после того, как стали жить вместе. И даже день, когда я купила первый тест на беременность.

Подарок мне на день рождения начинал обсуждаться за полгода до самого этого во всех смыслах многозначительного дня.



Ее же поразительная неряшливость ставила иногда в тупик. По всей квартире разбросано нижнее белье, в комнате армия чашек, в которых зарождались новые миры бактерий, пока я их не помою.

Она могла постирать полотенца с носками и искренне удивиться, почему меня это не устраивает. Вентилятор служил вешалкой, по назначению используясь настолько редко, что при включении долго думал, прежде чем начинать крутиться.

Книжные полки занимали в комнате две стены от середины до потолка, при том что читала она в основном только на планшете, а покупала чуть ли не каждую вторую книгу на бумаге.



Я просила не играть, хотя бы когда пишу или перевожу, но в ответ лишь получала, что завтра, послезавтра, на следующей неделе у него важный концерт, от которого зависит его карьера. Почему-то моя карьера не могла зависеть от детально проработанного текста, а вот ему необходимо было играть одно и то же по десять раз на дню.

Как-то незаметно в комнате появился синтезатор, который больше использовался как пюпитр для нот.



Именно тогда, когда я решал немного порепетировать, она садилась писать. Писать тогда, когда я был на работе, конечно, нельзя. Видите ли, вдохновение приходит внезапно. А это ее извечное увлечение деталями, как будто так важно, поет ли цикада в мае, как будет на латыни цветик-семицветик и почему дельфины выбрасываются на берег.



Эта его педантичность, проявляющаяся чуть ли не в каждом чихе, выводила из себя. Он скрупулезно подписывал все коробки из-под обуви, чтобы потом не забыть, где зимние сапоги, а где сланцы для пляжа.

Он особо тщательно следил за моими носками. Малейшая дырочка, и все мои гольфы отправлялись в мусор, а мне выдавались деньги, чтобы я купила себе новые.



Ее несобранность поражала. Чтобы откопать какую-нибудь блузку, она переворачивала весь шкаф, кричала, что никогда ничего не лежит на месте, и вообще, ей нечего надеть.

Ее стол — это отдельная тема. Такого творческого, как она его называла, беспорядка я не видел даже в общежитии. Книжки, тетради, бумажки, ручки, карандаши, стикеры, чашки, тарелки — все это помещалось и поразительным образом уживалось на ее столе вместе с ноутбуком и принтером, на которые не раз было разлито содержимое чашек, бутылок из-под йогурта, сока или ряженки.



Его поразительное миролюбие доводило меня до исступления. Когда моя бурная женская натура жаждала скандала, он старался говорить тихо или вовсе сменить тему, чтобы избежать выяснения отношений.

И в итоге поругались мы единственный раз. Это была наша первая и последняя ссора.



Однажды, когда я был на гастролях, сутки не мог до нее дозвониться. Она целый день валялась в постели в плохом настроении,

потому что национальная сборная проиграла матч и не вышла в плей-офф то ли чемпионата мира, то ли чемпионата Европы.

Именно в тот раз мы сильно поссорились и решили, что стоит сделать перерыв в отношениях.



После расставания я почувствовала свободу. Никто не требовал приготовить зеленый чай с жасмином, а носки можно было зашивать, пока дырка на пальце не соединится с дыркой на пятке. Теперь я могла писать в любое время дня и ночи, не отвлекаясь на концерты Прокофьева по «Культуре». Фицджеральд, Сапковский, Остен, Гюго и Пушкин снова перебрались на нижнюю полку, а синтезатор теперь служил еще одной вешалкой на пару с вентилятором.

На весь дом у меня опять играла не соната Моцарта, а песня Scorpions. И я снова могла есть сосиски с дошираком столько, сколько хотела.

Он продолжал поздравлять меня с праздниками, изредка интересовался, как мои дела, приглашал на свои концерты. Родители до сих пор думали, что мы вместе, и уже ждали внуков, поэтому на годовщину их свадьбы, о которой мне всегда напоминал он, и в этот раз, кстати, тоже, пришлось ехать вместе.

И я дописала свою книгу.



Я снова репетировал все ночи напролет, и по квартире не были разбросаны вещи. Я начал ходить в спортзал, а дома всегда была полезная еда, никакого фастфуда. Теперь я не кидался в комнату, услышав будоражащий душу крик, который оказывался празднованием гола.

Она приходила на мои выступления и даже посетила юбилейный концерт нашего оркестра, чтобы поздравить с завоеванием международной премии. А я тогда поздравил ее с победой «Реала» в Лиге чемпионов.

Однажды, когда я был в отъезде, она каждый день в течение недели ездила домой к моему отцу и даже пару раз оставалась ночевать, потому что у него поднималось давление.

На годовщину свадьбы ее родителей мы поехали вместе, потому что она пока не хотела говорить, что мы расстались.

И я прочитал ее книгу...

ПЕТУХ ПРОПЕЛ ТРИЖДЫ

Солнце еще не успело полностью скрыться за горизонтом, закатной полосой день никак не желал уступать право первенства летним сумеркам, когда из-за густых перистых облаков начал подниматься белесый округлый купол. Он все поднимался и поднимался, пока на уже потускневшем, но все еще голубом небе свой лик не показала полная, каких-то необъятных размеров луна. Даже фонари терялись на ее фоне, стыдливо отбрасывая желтоватый неловкий свет в разных концах улицы.

«Полнолуние», — подумал Митька, честно попытался настроиться на сказочный лад, но местонахождение Серёжки его волновало намного больше.

Друзья разошлись часа два назад, договорившись встретиться на условленном перекрестке, гордо именуемом деревенскими Главным, даром что был единственным. Отсюда было недалеко до моста через один из рукавчиков Мокши, а там две дороги в их родную деревню Кемляй.

— Се-э-эры-ый! — не выдержал Митька и заорал что есть мочи.

Сумерки уже полностью опутали деревеньку, а до дома было без малого девять с лишком верст, и это если коротким путем через лес.

— Се-э-эры-ый! — еще отчаянней закричал Митька, не понимая, куда мог деться друг, а если куда-то и делся, то каким образом?

Ждать дольше было нельзя, да и комары одолели. Пришлось топтать одному, то и дело гоня желание чертыхнуться, чего на ночь глядя в дороге, да еще и в полнолуние, делать было никак нельзя.

Идти через лес в одиночку Митька не решился: на волков, может быть, не напорется, но лиса или кабан вполне могут встретиться. Пришлось выбирать длинный путь через поле. Он казался более безопасным, но не менее устрашающим, потому как лежал через кладбище.

И все-таки не ругать Серёжку не получалось. Сначала Митьке на прошлой неделе крепко досталось от мальчишек из соседней деревни. Друзья могли бы дать хулиганам отпор, но тех было в три раза больше, они были старше, так что теперь ту деревню приходилось обходить стороной, чтобы не возвращаться домой с тумакками.

Здесь же, по другую сторону озер, каждый год образующихся из-за разлива реки, деревенька дружелюбно встречала огромными пастбищами, а в окрестностях манил строящимися стенами и колокольными перезвонами монастырь.

После достопамятной драки мальчишки не рисковали связываться с местными ребятами, зато напали на укромное рыболовное местечко. Если не знать, то никогда не догадаешься, что между камышами чуть выше воды спрятан мостик, как раз там, где можно наловить рыбы. Митька уже давно смирился с тем, что рыба лучше клюет у Серёжки, поэтому просто получал удовольствие от самой рыбалки, нежели от величины улова.

Один раз, закинув удочку, он крючком зацепил кувшинку, да так сильно, что никак не мог выдернуть обратно. Уже наполовину перегнувшись через бортик мостика, Митька изо всех сил дернул, кувшинка недовольно заскакала по воде, но крючок отпустила. Сам же мальчик, приложив слишком много силы, не удержал равновесия и плюхнулся в воду вслед за удочкой. Место было не очень глубокое, но и Митька ростом был еще не слишком высок, так что до дна не доставал, а потому рассчитывал на помощь друга. Но Серёжке было не до него. Он покачивался со смеху, да так, что мостик не выдержал, громко треснул и провалился прямо посередине. Досмеивались мальчики уже в воде вдвоем.

Увы, больше с этого укромного рыбного места ничего они не ловили, за неимением умело скрытого мостика. Убежав с места преступления, они туда не возвращались.

Но Серёжка на этом успокоиться не мог. Следующей под его необузданной тягой к приключениям пала пастушья лодка. Она с течью была давно, но худо-бедно справлялась со своими обязанностями, пока, со словами «Да не бойсь, я умею грести!» ее не увел Серёжка. Тогда с ними вместе гулял Ванечка, совсем еще маленький, но смысленый мальчик, которому и была доверена ответственная миссия по вычерпыванию воды из лодки. В какое именно мгновение ребенок решил, что намного веселей воду в лодку, наоборот, зачерпывать, друзья не уловили, но вытаскивали они ее из реки уже без помощи Ванечки.

Сегодня друзья решили разделиться: Серёжка отправился к родственникам, Митька же побежал в монастырь, куда в прошлый раз его звал настоятель. На условленное место встречи Серёжка так и не явился. Пришлось Митьке топтать одному: в отличие от друга, его дома хватятся, и от бабушки потом крепко достанется.

Редкое облачко осторожно пробиралось по иссиня-черному небу, словно пытаясь спрятаться от огромного лунного ока,

но все равно попадаясь ему на глаза и от этого будто стремясь ускорить свой полет. Тишина стояла такая, что в ушах звенело, изредка допуская в поле легкий ветерок. Ориентиром был старый дуб, раскинувшийся на другой стороне. От него недалеко было до кладбища, а там рукой подать до дома.

«Не буду на кладбище заходить», — думал Митька, хотя этот путь был самый короткий. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», — почему-то прицепилась фразочка из детского фильма. «Но я-то не в гору, я-то вокруг кладбища, ночью сам бог велел...» — продолжал спорить сам с собой Митька.

Дуб приближался, а потому идти становилось уже не так страшно, как вдруг...

— Ка-а-а-а-а-арrrrrrrr!

— А-а-а-а-а! — Митька упал в траву и скукожился в маленький комок.

Над головой тяжело захлопали крылья, волосы на затылке зашевелились то ли со страху, то ли от случайно заблудшего ветерка.

— Кар, — прозвучало уже не так раскатисто.

— У-у-у! Старый полуночник! — в сердцах выругался Митька, поднимаясь и отряхиваясь.

Всем было известно, что на старом дубе живет древний ворон, кажется, еще со времен войны. Его уважали и подкармливали, считая хранителем местного кладбища, где было много безымянных могил.

Сейчас ворон чернел среди полусухих веток, напоминая очертания горгульи или, того хуже, черта. Митька огляделся по сторонам. Никого. Видать, ворон приветствовал именно его. Стоял август, и небо нет-нет да и прочерчивали падающие звезды. Митька насчитал штук шесть, прежде чем двинуться дальше.

Подойдя к калитке кладбища, он заглянул между прутьями. Тихо. Даже слишком. Посмотрел назад. Ворон сидел все так

же неподвижно, будто каменное изваяние, и, как показалось Митьке, смотрел на него.

«Глупости! Это просто птица, а не колдун какой. Вот не испугаюсь!» — смело подумал он и уверенно пролез через прутья калитки.

Старое деревенское кладбище — последнее пристанище многих поколений местных жителей. В некоторых могилах лежали уже семьями. Здесь кресты на свежих могилах соседствовали рядом с крестами, полусгнившими от времени. Еще блестящие в лунном свете памятники виднелись среди памятников полуразрушенных. У каких-то могил покосились калитки, а у каких-то их вовсе не было.

Митька, кажется, задержал дыхание, когда поравнялся с первой могилой, и забыл, как дышать. Шел, стараясь не оглядываться, не тревожить мертвых, а уж тем более — живых. Он помнил, где-то здесь могила дедушки. Вдруг захотелось навестить. Чуть левее, между двумя оградами, под засохшим кустом облепихи, справа от испепеленной молнией елью. Могила, на которую часто ходит бабушка. Должна быть там, но почему-то не похожа. Вроде раньше она казалась меньше, или поменяли надгробие? Что за силуэт?..

— Ка-а-аррр! — взмах исполинскими крыльями.

Митька упал и попытался отползти на четвереньках, но страх сковал, а ворон продолжал бесноваться, будто в него кто вселился. Резко взлетев, вдруг спикировал, Митька прижался к земле, закрывая голову руками и пытаясь вспомнить слова молитвы, которую сегодня учил в келье отца-настоятеля. Макушки легко коснулся ветерок от взмаха крыла. Ворон еще раз оглушительно каркнул и улетел к своему дому, в поле...

— ...Нет, я тебя спрашиваю, ты где вчера был?! — требовательно вопрошал Митька, тряся Серёжку за плечо.

— За мной, покажу! — махнул друг, и снова путь в соседнюю деревню по другую сторону озер.

— Прикинь! Ждал тебя, нет и нет, — начал рассказывать Серёжка. — Смотрю, сеновал, двухэтажный такой. Ну я наверх — и задремал. Просыпаюсь, вылезаю — полдень, хозяин на меня смотрит, будто черта увидел. А я так спокойненько потянулся, зевнул и домой пошел. Во! Тут!

Сеновал всегда слишком уютный и теплый, чтобы в него не залезть. Особенно в чужом дворе. Особенно в сумерки.

— Да, мне обязательно домой надо, а то от матери влетит, — забеспокоился Митька.

— Немного поваляемся и пойдем обратно, — предложил Серёжка.

Со всего маху мальчишки плюхнулись на сено, и Митька обо что-то больно ударился.

— Слушай, подо мной что-то есть, — опасливо прошептал он.

— Да небось деревяшка какая, — отмахнулся Серёжка, сладко потягиваясь и расслабляясь.

«Кажется, это крест...»

— Серый, а гробовщик же в этой деревне живет?

— В этой...

«Кажется, это все-таки крест», — мелькнула осторожная мысль, но затерялась где-то в сонном сознании...

* * *

...Надо уходить, а то мозг снова начинает биться о черепную коробку, грозясь окончательно лишиться рассудка. А в больницу больше не хотелось. Полгода возбужденной апатии двенадцать лет назад ему хватило...

Хватило настолько, что до сих пор засыпать получалось, только если выпить таблетку. Врачи вежливо кивали на вопрос «Можно ли сняться с учета?», но упрямо твердили «Давайте еще через годик».

Снова раздается крик. Излюбленное действие — зайти в ванную, чтобы кричать оттуда. Соседи снизу и сверху каждый день оповещаются о том, что он — псих ненормальный, состоит на учете. А потом в лифте протягивают ладонь для рукопожатия и растягивают губы с той же вежливой улыбкой, что и врачи в диспансере.

Невозможно найти ни футболку, ни куртку, мать опять перепрятала. Казалось бы, что можно спрятать в московской однушке? Но у матери это всегда получается. Где лежит купленный десять лет назад ноутбук — одному богу известно. Воспользоваться им так и не удалось.

Иногда ему казалось, что из хлама скоро полезут трупы. Тогда, двенадцать лет назад, именно поэтому он убежал из дома: из какой-то кучи на него смотрели глаза покойной бабушки. Он ее очень любил, но винил не меньше матери. Это она, видя, что творится в квартире, приезжала на зиму из деревни, привозила травы и коренья, часть продавала, а часть оставляла в доме. Навечно. Теперь же эту труху нельзя было тронуть, иначе скандал и обвинения: «Ты хочешь выбросить память о бабушке?!»

Тогда, двенадцать лет назад, стены начали сжиматься. Голова разламывалась, хотелось курить, а мать продолжала кричать, продолжала винить в предательстве. Предал, потому что полюбил. Предал, потому что гулял, пока мать лежала в больнице. Предал, потому что ей было плохо, а ему хорошо. Подлый, неблагодарный сын.

За прошедшие годы его вина возросла. Об этом он временами слышал от ее подруг. Они звонили и по-матерински журили его: «Как же так, мать тебя содержит, а ты ей сел на шею, еще и грубишь. Почему ты такой неблагодарный? За что ты так с ней?»

У них была интересная дружба. Созванивались раз в полгода, чтобы пожаловаться на сыновей. Или на дочерей, по обстоятельствам. Обычно люди хвастаются достижениями, его же

мать хвасталась недостатками. И делала это с болезненным удовольствием.

— Ты идиот! Шизофра ты последняя, будешь учить меня жить?! — кричала она, отнимала ключи, выдавала линияющую футболку, старые джинсы и стоптанные туфли и провожала сына на работу, где он зарабатывал копейки.

Увы, старшему преподавателю математики в одном из столичных вузов действительно платили копейки. Однажды ему предложили должность учителя в школе и оклад в три раза выше, чем в институте. В общем, сделали предложение, от которого нельзя отказаться.

Он отказался. Нужна была справка из диспансера, что не состоишь на учете. Он состоял уже двенадцать лет.

...Опять крик, в голове начинает стучать, руки трясутся. Мать всегда говорила, что закончит он либо в тюрьме, либо в психушке. Он же думал о монастыре. Ему казалось это лучшей альтернативой. Он чувствовал, что скоро перейдет грань реальности, в которой можно хоть как-то жить, и тогда точно уйдет. Куда-нибудь. А пока всего лишь на улицу.

День был яркий и теплый, один из немногих за эту весну. Ноги шли сами, гул в голове постепенно стихал, а впереди маячила желтая куртка. Пружинистая походка, любопытные взгляды по сторонам, глубокое дыхание апрельской свежестью, пляшущая по спине косичка. Девушка свернула на аллею и присела на лавочку.

— Чудесный сегодня день, — как-то отважился он. — Вам так не кажется?

— Кажется, — улыбнулась она. Глаз не было видно за солнечными очками, но, кажется, вокруг них появляются складочки, такие же, как около губ.

Весна наконец-то. Лишь бы тепло задержалось. Почки набухли. Разговор ни о чем и обо всем сразу. Она любит Достоевского и Мопассана.

— Я влюбилась в тебя еще тогда, на скамейке, после фразы «Я недавно прочитал „Господ Головлевых“, — призналась она несколько месяцев спустя. — А ты, чтобы произвести впечатление, повел знакомиться меня с твоей мамой и показывать новую квартиру.

В голосе звучала обида, но не обвинение. И даже обида эта звучала совсем иначе. Печальная грусть: он не почувствовал, что он ей стал нужен еще тогда, при первой встрече. И было даже стыдно, ведь она ему стала необходима лишь после третьей.

«Ты должен с ней расстаться, она тебе не пара! — снова крики и требования. — Она не работает, будет сидеть на твоей шее! Вы собираетесь вместе в отпуск, а что потом?! Неужели ты не видишь, что она увидела квартиру?! Она тебя обманет, бросит, зачем ты ей нужен! Что ты ей там о себе наговорил?»

Наговорил он на самом деле многое. И о больнице, и о доме, и вообще о себе в целом. Она была вроде седьмой в его жизни, а казалось, будто первая и единственная. Совсем еще ребенок, хрупкая и невинная. Застенчивая улыбка, сияющие глаза и детская задорность. До нее было так много девушек, и сейчас он жалел о каждой из них.

— Почему я не встретил тебя, когда учился в аспирантуре? Ты тогда мне была так нужна!

— Я была совсем ребенком. Вряд ли тогда я смогла бы тебя понять...

И все же он сожалел, хотя в том не было ничьей вины.

Пришел домой поздно. Дверь на задвижке. Ключом не открыть. Приходится нажимать на звонок. «Предатель и подлец, — привычные эпитеты. — Сколько еще мне из-за тебя не спать?!»

...Ушел. Опять. В этот раз окончательно. Без вещей, без ключей, без денег. Только с паспортом, чтобы подать заявление.

Все новое: квартира, одежда, даже еда. Новые родственники приняли как сына, без упреков, не задали ни одного вопроса.

Накупили вещей, возили за город отдыхать. Голова не трещала, руки не тряслись. Пару ночей даже стало возможно спать без таблеток. Тишина и спокойствие. С любимой. словно попал в рай. Но каждую ночь снился дом. Мать, сидящая одна на кухне. Или спящая там же на топчане из газет. Захламленная комната, своя кровать в углу. По воскресеньям он просыпался и думал, что надо заняться стиркой. И только потом вспоминал, что здесь есть стиральная машина, да и вообще его вещи, уже чистые, лежат аккуратной стопочкой на полке, которую освободили для него.

Тишина угнетала, спокойствие душило. Как душила и тревога за мать. Каждое утро снились кошмары, один другого ярче.

— Я тебя совсем измучил, — повинно склонял он голову.

— Ты измучил себя в первую очередь. Ты можешь не звонить и не отвечать на звонки? Возьми паузу...

— Ты не понимаешь, она моя мать...

Одни и те же разговоры о матери, о доме, о его состоянии. Внешне он поправился и даже похорошел. На работе зашептались: «Женился? Да неужели!..»

А по ночам был ад. Засыпать в объятиях любимой, просыпаться в холодном поту из-за тоски по дому. Клясться «Я не могу без тебя дышать» и понимать, что без матери жить тоже не может.

Слишком затянутое детство, слишком большая зависимость, слишком болезненная любовь. Все слишком.

—...То есть, свой день рождения ты будешь отмечать не со мной?..

— Она же моя мать, это и ее праздник тоже.

К ней он в тот день не вернулся.

Остался ночевать дома.

— ...Как ты?

— Обыкновенно.

— Я тогда вечером зайду?

— *Зайдешь?*

— Да... нам надо поговорить.

— Понятно. Ты решил вернуться?

— Да...

— Тогда *заходи*, забирай свои вещи, уходи и забудь обо мне.

— Зачем ты так?

— Затем, что строить семью — пожалуйста, со мной. Губить свою жизнь — пожалуйста, без меня.

— Я же для нас стараюсь...

— Нет, ты стараешься для себя. И думаешь только о себе. Ты ни разу обо мне не подумал...

— Подумал...

— Нет, не подумал. Если ты вернешься и сейчас, тебя не поймет никто. Если ты откажешься от меня, вряд ли сможешь построить жизнь с кем-нибудь вообще.

— Почему мы должны расстаться?

— Потому что и у меня есть гордость.

...Уходил из дома он много раз. И каждый раз возвращался. И каждый раз думал, что вот теперь будет все по-другому. Теперь они заживут нормальной жизнью, в которой можно будет избавиться от хлама в доме и в голове. Начнется жизнь, в которой он будет для матери лучшим сыном.

Он ошибался тогда. Ошибся и сейчас. Только теперь он вдруг понял: это не надолго — это навсегда.

— Я говорила, она тебя бросит! — слышал он, а вспоминал другие слова: «Почему мы должны расстаться? — Потому что и у меня есть гордость».

А о стены комнаты эхом отбивался визг: «Никогда ты не женишься! Кому ты нужен, ненормальный! Говорила тебе, закончишь либо в психушке, либо в тюрьме!..»

Из-под газет на подоконнике торчал нож, купленный по скидке в супермаркете.

«Закончишь в психушке или в тюрьме!..» — раздавалось эхом в воспаленном мозгу.

В психушке или в тюрьме.

Говорила.

И оказалась права.

* * *

Снова кладбище, только слишком светло. Словно на небе не одна луна-лампочка, а целая люстра. Кресты покосились еще больше, надгробия потрескались и обсыпались. Митька в самом сердце мира мертвых, стоит на прогалине между двумя древними могилами, еще со времен революции. Имен не видно, только цифры «1896–1919» и «1895–1919». Он хочет пройти к дедушке, оборачивается — на надгробии ворон. Вправо — тоже черный силуэт. Влево — еще один. Митька озирается по сторонам. Слишком много, целая стая. Откуда они взялись?

Хочется кричать, но голос не пробивается, а вороны все вместе захлопали крыльями, закаркали и взлетели...

* * *

...На рассвете сон самый тяжелый. Он липкий, вязкий, похож на правду. Сон, в котором ты знаешь, что спишь, но от этого он не становится менее правдивым. Это страшный сон.

Только первый раз подал голос петух, Митька вскочил. Тряхнул головой, чтобы сбросить остатки сна. Такого странного, но такого настоящего. В холодном поту начал ощупывать место, где спал. Если это и правда крест для могил, то хоть остаток времени на нем не спать, а после восхода солнца будет не так страшно.

Еще один петушиный крик — и Митька судорожно пытался разглядеть хоть что-нибудь.

Пальцы нащупали две скрещенные деревянные перекладины. «Неужели и правда крест?» — с ужасом подумал он, а потом нащупал что-то еще. И еще.

Рама. Оконная рама.

Петух пропел трижды.

ЛЕТАРГИЯ

Я приехала в свой маленький городок два года спустя. Раньше приезжала каждое лето. Год или два — неважно, время здесь остановилось лет десять назад. О том, что город все-таки жил, говорили лишь обновленный единственный кинотеатр да наконец-то закопанная в главном городском парке яма за фонтаном, где когда-то собирались строить церковь. Строить ее собирались лет тридцать назад, но за последние годы туда попадало и покалечилось столько детей, а денег на строительство так и не нашли — и закопали. Что сделали с иконой, что стояла там последние лет пятнадцать на месте будущего алтаря, никто не знал.

Еще о прошедшем времени говорил сколотый угол памятника у вечного огня. Огонь горел скорее из упрямства, нежели из памяти, пламя было слабенькое, еле синеватое, совсем не похожее на огонь, но горело несмотря ни на что.

В моем детстве парк худо-бедно работал: иногда включали карусели, можно было прокатиться в вагончике, рельсы которого частично заходили на территорию главного рынка. Я даже помню времена, когда работал большой, десять на пять метров, фонтан. Его включали каждый день до обеда, мы бегали, пытались поймать брызги и специально прыгали в воду, чтобы всем было видно: мы не боимся намокнуть и можем выбраться наверх. Раньше здесь подстригали кусты и высаживали клумбы, а библиотека в конце парка всегда была полна народу. Или мне

так казалось, потому что мы проводили в ней почти все свободное время, которого так много летом. У меня там работала бабушка и тетя, там я полюбила читать.

Сейчас все будто спало. Иногда казалось, что где-то стоит замок, в котором принцесса уколола палец о веретено, и вместе с ней в сон погрузился весь город. Отгремели его лучшие дни, когда заводы и фабрики обеспечивали всю республику; прошли урожайные годы, когда торговали зерном и фруктами; ушли в небытие страшные дни, когда город отходил от двух терактов подряд. Жизнь вроде и текла своим чередом, но делала это нехотя, не спеша, будто ее заставляли, рутинка никуда не денется, а Терек так и продолжит бурлить на окраине города, раз в год угрожая разлиться и снова затопить улицы.

Город спал, и пробуждение его все откладывалось, плавно переходя в летаргический сон.

Мне сказали, что почистили городской пляж. Конечно, пляжем его называли только местные да такие, как я, кто учился плавать именно здесь, когда всей семьей или же в компании друзей с утра пораньше спешили купаться, чтобы занять место в теньке под деревом. В роще, что рядом с пляжем, говорят, открылся ресторан, у нас во дворе оттуда слышна вечерняя музыка. Когда-то мы там катались на велосипедах, а еще именно там случилось мое первое в жизни свидание, когда гуляешь по парку, держась за руки, стесняешься смотреть друг другу в глаза и страшно, если вдруг кто увидит из знакомых, ведь их так много в маленьком городе.

Такси проехало мимо здания пятиэтажки на Садовой. Мы называли этот дом просто «пятый этаж», потому что когда-то там жили, и с балкона в ясную погоду можно было рассмотреть двуглавую вершину Эльбруса. С моим плохим зрением я ее никогда не видела, но верила, что говорили братья.

Попыталась рассмотреть знакомые окна, но не узнала рамы. Квартиру давно продали, теперь там живут военные. А вот

поворот во двор узнала, и на меня вдруг накатил порыв: попросила туда заехать. Таксист растерялся, но успел затормозить и повернуть.

Двор я помнила разным: в далеком детстве мне он казался огромным, с большими качелями, что на земле не стояли твердо, а от того нам запрещали на них качаться, боясь, что они перевернутся, но разве дети когда-нибудь слушают взрослых? Потом мы переехали ближе к Тереку, а сюда приходили к тете в гости, уже выходя гулять с маленьким братом, теперь сами запрещали ему и еще нескольким мелким приближаться к опасным железякам.

А еще я помнила двор с балкона, когда смотрела вниз, сидя на коленях любимого и слушая музыку из кафе неподалеку, на стройке которого он как раз работал. Под нашими окнами всегда росли огромные цветы и до второго этажа стены и окна были обвиты виноградом. Солнце сюда не проникало, потому ягоды были кислые и мелкие, но зато все утопало в зелени. На скамейках перед двумя подъездами всегда кто-то сидел: перешептывался, незлобиво переругивался и рассказывал последние сплетни.

Сейчас цветов я не видела. Баба Женя давно умерла, именно она смотрела за клумбой. Качелей тоже не было. Наверное, они все-таки перевернулись, и от них решили избавиться. На скамейке перед первым подъездом сидела Света. Я ее еле узнала, а ведь она была старше меня всего на пару лет. Сидела она одна, глядя в одну точку, туда, где раньше был виноград. И только, кажется, кафе продолжало все так же работать: у заднего входа стояло два грузовика, сновали грузчики, лениво переругиваясь и передавая друг другу ящики и коробки.

Я тяжело вздохнула, будто оторвала от души кусок. Таксист спросил, можно ли ехать дальше.

А дальше по дороге до больницы, оттуда поворот на Кирова, где на перекрестке колонна с названием, гербом и годом

основания города сообщает, что рада приветствовать вас тут. Двухсотпятидесятилетие, насколько я знаю, так и не отметили, денег у администрации не хватило.

Мимо маленького рынка, мимо цветочных палаток, кинотеатра и магазина, мимо нескольких кафе, которых в городе теперь столько, будто строят на каждого жителя по отдельности. Мимо парка Пушкина, бильярдной и прокуратуры, перед полицией свернуть направо. Теперь мимо рощи, библиотеки и улицы Братской, с которой когда-то компания из двадцати одного человека уехала на две недели в горы. Мне было тогда двенадцать, а Эльбрус оказался любовью на всю жизнь.

Мимо заброшенного еще во время строительства дома престарелых, мимо заросшего футбольного поля, маленький кусочек хорошего асфальта, а потом снова по ямам и колодцам. И вот любимые ворота, в детстве голубые, теперь же то ли персиковые, то ли бледно-оранжевые, уже давно выгоревшие на горячем тропическом солнце, а за острыми зубчиками виднеется крыльцо. Окна дома затемненные, сверху — козырек крыши, частенько на него у нас залетал воланчик.

Таксист вытащил мой чемодан, получил деньги и быстро уехал, я же подошла к воротам, дернула за ручку. Закрыто. Всмотрелась в зубчик слева, там обычно можно было заметить веревку с ключом. Но в этот раз я ничего не увидела. Постучалась.

Дядя семенял по двору, своим шарканьем напоминая деда. С возрастом он все больше становился на него похож.

Меня ждали осетинские пироги, салат из огурцов-помидоров, назуки. Шашлык и хоровац обещались завтра. Во дворе за два года ничего особенно не изменилось, только кран на улице еще больше покосился да на веранде второго нашего дома прибавилось старой рухляди.

Я прошла в летнюю кухню, с опаской поглядывая в сторону окна, но подходить к нему не хотела. Я знала: огород засыпали,

теперь там только несколько клумб да деревьев — дядя присылал видео и фото. Но мне казалось, если не вижу этого лично, то пока можно верить, что ничего не изменилось, можно верить, что все осталось так же, как в детстве, когда деда пропадал в огороде часами, а мы бегали туда купаться в огромной ванне, казавшейся нам целым бассейном.

Странное чувство: я хотела, чтобы город проснулся и снова зажил, ведь время идет вперед, а он словно пятится. Я хотела, чтобы после долгой спячки снова заработали заводы, открылись фабрики, появилась работа для горожан. Но как же я не хотела, чтобы что-то менялось в доме, в котором я выросла. Как же мне не хотелось, чтобы огород сравнивали с землей, подняв его уровень до дамбы Терека. И хоть я знала: участок постоянно затоплен во время паводков, воду сложно откачивать, урожай погибает, надо было что-то менять, но именно этих изменений я боялась больше всего.

Возвращаясь сюда каждое лето, я возвращалась в детство. Сейчас же, подойдя к окну и не увидев дедовых грядок, я поняла: детство закончилось.

ПОЭЗИЯ

КСЕНИЯ АКСЁНОВА

ЗВУЧНЕЕ, ЧЕМ КОЛОКОЛ

* * *

...и нам когда-нибудь случится
узнать, что время шло насквозь.
Покажет пойманная птица
пустую горсть
тому, кто жадно дышит прошлым,
кого отчаянно несет
в такую оторопь, что можно
забыть про все.

* * *

Посевная песня пахаря
об утраченной любви
говорит: любовь не сахарна,
хоть и сладкая на вид.
Говорит, что делать нечего,
раз такие вот дела —
мимолетно, незамеченно
страсть взяла, да и вошла
в землю, свежую и жаркую,
пеплом, горечью благой,
жадно птицы в небе каркали
над распаханной тоской,
и плыла полупрозрачная
песня, долгая, как сон,
о весне, вчера утраченной,
и о том, кто не спасен.

ПОЭЗИЯ

* * *

Человек я, вечный или увечный,
в темноте плыву, ничего не вижу,
только сон невнятный, слепой, бесстыжий,
словно целовалась я с первым встречным.

И во сне не стыла в стыду, в котором
покраснеют птицы, цветы и звери.
Я осознавала, по крайней мере,
что слова начнутся еще нескоро.

Если будет сниться другой прохожий,
перезрелый шепот и лепет дикий,
захлебнусь в руках городского крика,
но найду, чем прошлое подытожить.

* * *

В тесноте прошедшего и пустого
приглушенным светом былых обид
я полна, как прежде, и я готова
ничего не помнить и не любить,
не любить и прыгнуть как можно выше,
затерявшись в омуте облаков,
словно обезумевший летчик вышел
в оголенный космос — и был таков.

* * *

Неизвестно, откуда берется
этот гул предпоследней воды —
из какого глухого колодца,
из какой неземной мерзлоты.

Он идет из притихших колосьев
к берегам ненадежных вещей,
в первобытное многоголосье,
в первобытность воды вообще.
Он поет, ни о ком не смолкая,
задыхаясь, смеется навзрыд,
словно мертвая рыба морская
с пересохшей рекой говорит.

* * *

Я хочу, как водомерка,
тоненькая вся,
ничего не исковеркать,
бережно скользя —
по пруду твоей тревоги,
утешенья для
буду бегать быстроного
и легко петлять.
Отвлечёшься — заглядишься...
Но пойдешь за той,
чье манящее затишье —
берег золотой.

* * *

Звучнее, чем колокол, — слово,
которого след не простыл,
моя вековая основа —
безмолвный и пламенный тыл,
где рой мотыльков однокрылых
парит у забытой реки.
Пока голова не остыла,
лечу с ним всему вопреки.

ПОЭЗИЯ

* * *

Я лежу щекой на скатерти,
наблюдаю за окном.
За окном — сплошная статика —
только небо в основном.
На ветвистых сухожилиях
вот уже который день
птица спит тяжелокрылая,
не отбрасывая тень.
Первый снег не опускается —
остается в вышине,
жизнь, веселая красавица,
улыбается не мне.
В общем, как-то все неласково —
нужных слов не подобрать.
Бог, тяни меня, вытаскивай,
запиши в Свою тетрадь.

* * *

Говорю, говорю в глухоту безответного эха,
молодая земля полноводно горит подо мной.
Мне хотелось отсюда надолго, навечно уехать
в недосказанность дня, в многословие боли ночной.
Где беспамяты спит,
притворившись убитым медведем,
где забытое время несется, как метеорит.
Хорошо бы уехать. Но кто же тогда не уедет
и останется здесь в глухоту говорить, говорить...

ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

ГОЛУБИКА

* * *

И я к тебе испытываю страх,
как мошकारа в электропроводах,
но выдох-вдох — и гаснут разговоры.
Был робок снег, тепла его кровать,
латиняне готовились страдать,
диванные войска хранили Форум.

Но что мне до, когда нелепа мгла,
когда в тебе шевелится игла —
расплескивает солнце по винилу.
Игрушечный бездарный режиссер,
смотрю на эту музыку в упор,
не замечая конников Аттилы.

Когда мы превратимся в имена,
от пены дней останется слюна,
от цезаря — салат или могила.
У наших храмов призраки звенят,
расстрелянных приводят октябрят,
но смерти не бывает — я спросила.

* * *

Я жалкое животное.
Прости меня, прости.

Веду глазами потными
чужих детей крестить.

Злорадствую, завидую,
как трактор, барахлю.
Я тварь в тебе убитую —
дрожашую — люблю.

То смертное, то робкое,
то голос ножевой.
Я жалкая, я крохкая.
Останешься со мной?

Лакать из плошки варево,
лизать луны пятак,
как жимолость-Цветаева,
сурепка-Пастернак.

ПЕРЕЕЗД

Жизнь уместилась в 14–20 коробок.
(Грузчики выпьют, но только когда привезут.)
Так комсомолки цветастых боятся колготок,
так остывает души пережженный мазут.

Лампа (сгорела?), фонарик (поломан? потерян?).
Тени как зебу, к луне холодильник прибит.
Под одеялом уснули стеклянные двери.
Зеркалу странно, когда отражение болит.

Сон непрерывен,
смотри, как сугробы накрыло.

Им хорошо,
их снежинки влюбленные ждут.
Снится сугробам, что в ямах межзвездного ила
люди плывут — и коробки за ними плывут.

ВИНОГРАД

Вот мы стоим на каменном мосту
соленой виноградиной во рту
куда ни глядь чернильная водица

на волосах краситель а в ногах
мешается мускатное и страх
и некому с дежурства возвратиться

здесь столько места столько ерунды
мы можем заговаривать цветы
касаться тела обнимать заборчик

язык прохладен разум пустоват
и кажется приносит виноград
спокойный древнегреческий уборщик

здесь можно бывших жен упоминать
считать веснушки кожу омывать
и можно над водой играть в гляделки

а если кто-то в воду упадет
то ничего то смерть его найдет
она идет она уже несет
домашнее печенье на тарелке

ПОЭЗИЯ

* * *

Помолчи со мной, пожалуйста.
Я заплачу — ты уйдешь.
Ложь, похожая на жалобу,
жизнь, похожая на дождь.

Горевали помаленечку,
проясняется с трудом:
завели котята птенчика,
получилась птица-гром.

Как из тела желтоперого
проявляется вина?
Пожалей больную голову,
цыпе лишняя она.

В голове играет тум-бала
лайки светятся во тьме.
Я не думала, не думала,
я не думала, я не.

РОДОСЛОВНАЯ

Один погиб, другой расстрелян,
седьмой за хлеба воровство
пострижен наголо. В постели
не причащали никого.

Татары, русские, евреи
рыдают, охают, скрипят.
Бредет по матушке Емеля
глазами в ад.

А я тут что? Хромой излишек?
Меня не ездили плетьюми,
не жгли допросами. Кто выжил,
тот обзаводится детьми.

И вот я существую. Хрупкий
неразговорчивый тростник —
ловлю в стакане сухофрукты,
давлю гармонию из книг.

И вот я женщина (морщины),
я еду к тридцати шести.
Какой остаток звездной тины
мне полагается смести?

* * *

Ажурного дня собирается пена
у леса Верлена, у поля Верлена,
у синей избушки в седых камышах.
А ты не умеешь землицей шуршать.

А ты не умеешь похрустывать сердцем.
Не тронь колокольцы, им видится Герцен.
Они научились звонить ни о ком,
как будто в небесный стучатся райком.

Все пенится, мнится, кряхтит, остается
синицей во рту, журавлем у колодца,
а ты посторонним киваешь во мгле.
Какие все мертвые, милый Верлен.

Как искренне вдыхает человек
пар тонкорунных, временных акаций,
когда, тридцатилетен, робок, пег,
идет к прудам водою наддышаться.

Когда осознает, что он разбит
лебяжьим небом, говором синичьим,
и все, что он неслышимо хранит,
вторично, одинаково, вторично.

Вот он дрожал, вот обнимаем был,
вот тер лопатки синим полотенцем.
Все ждал, и ждал, и жаждал, что есть сил,
какого-то нездешнего сюжетца.

Какого-то прохладного огня,
какого-то необщего рисунка.
Но не нашел и вышел, полупьян
от августа, с собакой на прогулку.

Пойдет ли он за чипсами в «Фасоль»?
возьмет ли овощей (морковь, горошек)?
Он чувствует, что вымышлен и зол,
но ничего почувствовать не может.

Как искренне не жалко никого.
Купить ли замороженную клюкву?
Идет домой простое существо,
бестрепетно привязанное к буквам.

ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

ПОЛУДЕННИЦА

— Что за холмик на картоне?
нарисован как?

— Это леший пни хоронит
в юбках сосняка.

Как схоронит, на поляну
вынырнут свои —
дятлы, иволги, жуланы,
сойки, соловьи.

Как запляшут для потехи,
как возьмут в полет...
Плащ полуденницы ветхий
огоньком мелькнет.

Выйдет в косах, выйдет в белых,
поцелует в лоб.
И останется от тела
кожаный сугроб.

* * *

Поезд дальше не поедет.
Просьба выйти из вагона.
Чай, не маленькая. Чаю!
С медом, с мятой, с молоком.
Черепна моя коробка.
Тяжела моя попона.
Кто там щелкает грозою?

Кто хрустит дождевиком?
Кто мелькает в сиплых тучах,
притворившись гражданином
с нижней лестничной площадки?
Или, скажешь, не похож?
Поезд дальше не поедет.
Забирай свое, рванина.
И вот этого Ивана,
И Степановну — под дождь.

И пошли они отрядом,
кто с пакетами, кто с внуком,
кто с тележкой продуктовой,
кто с ровесником вдвоем.
И остались только пятна.
И осталась сетка с луком.
И остался тихий поезд
под невидимым дождем.

* * *

Я вот все думаю: сосны ли солнце казнят?
Кровь или краска дрожит на зеленых заборах?
Матушка-хвоя, возьми мое тело назад,
плечи укутай в коричневый шелест и шорох.

Элином дивным воспрянь над моей пустотой,
слизывай глину с ногтей одичавших пожарищ...
Кем бы ты ни был, деревья придут за тобой.
Что, кроме плоти, ты нежному лесу подарить?

Бронза и укус, художники и корабли...
Все исчезают, хотя заслужили иное.

Я вот все думаю — долго ли, коротко ли.
Не отвечает медовая матушка-хвоя.

* * *

Мы не были близки, пока чума
не заперла на прутики дома,
не выловила душу из вещей,
не спряталась в Бордо или в борще.

Мы собирали мелочь, дневники,
плели для периодики стихи,
пшеницей угощали в Рождество
и не подозревали никого.

* * *

А стоило держать,
дрожать/удерживать, пока не съела ржа
ни наших тел пустые корабли,
ни пепел убаюканной земли.

* * *

Где золотое, там и белое.
Надеть все чистое, уйти
туда, где бабы загорелые
не разбираются в IT.

И над судьбой своей наморщиться,
и тронуть кедами прибор.
Весна, патлатая уборщица,
не пощадила никого.

И вот июль уже разделали,
и август звездами прибит.
Где золотое, там и белое
кипит, и жалит, и кипит.

Лечу ли аистом над крышами,
пытаюсь тенью рисковать —
лишь золотистой пылью вышиты
на белом воздухе слова.

ТИХИЕ ДНИ В МОСКВЕ

Любим любимой тихо говорил,
что не хватает в номере чернил.
Ну, как тут не повеситься Любиму?
Такие дни стоят, что хоть в Клиши,
хоть в Лобне о незнаемом пиши.
Пищи, покуда часть неотделима
от целого.

Как выдумать закат,
когда лишь снег, хитер и ноздреват,
является за мартовской зарплатой?
Не вымечтать тропическую чушь.
Здесь тихо так, что даже чересчур.
Не поискать ли в небе виноватых?

Не спиться ли, не спятить ли, не спеть.
Мне кажется, я снежная на треть,
на две другие — сахар и поэмка.
Осталось подождать, авось вернет
брильянтовую зелень белый йод,
авось отыщет в женщине ребенка.

* * *

То выйдет рифма скверная,
то схватят за бочок...
Отжил свое, наверное,
но просишься еще.

То мяч тебе не скинули,
то дергает щека.
Как тяжело быть глиною
в горшочке мясника.

Свистелками-сопелками
укутываешь мрак,
пылишь делами мелкими,
без этого никак.

Потом, вконец измотанный,
уляжешься на щит...
И понимаешь: вот оно,
и гибель не страшит.

* * *

На рукавице вымышленной руки
вышит кентавр, зяблики, мотыльки,

вышито все, что словом нельзя сберечь:
воздух, земля, дыхание, речка-речь.

Я так люблюсь вышивкой, так боюсь
сердце добавить к прозрачному шитью,

что отпускаю — рыбкой пускай плывет,
маленький Данте околородных вод.

Из хлорофитов тесную колыбель,
может, совет себе, может, нырнет к тебе.

Как серебрится дикий его плавник.
Если отыщешь, дафниями корми.

А затоскуешь — боже не приведи —
слушай, как бьется возле твоей груди.

* * *

Несоответствия зимы,
ее пронзительная прелесть,
в пересечении прямых
под снегоборческую ересь,

в натертом дочиста окне,
в непротивлении грязице,
в ботинок хриплой болтовне
с неопалимой голубицей,

в коротких встречах, в огоньках,
в морозной памяти подъезда,
в снежинках, снятых с языка,
не успевающих исчезнуть,

в таком немислимом, простом,
в таком забытом, изначальном,
как будто перепутал дом,
а там встречаются.

* * *

Что будет, если я тебе скажу,
мол, катится сентябрь по этажу,
в капрон скрывая ласточки лодыжек?
Тепло уходит, мало ли нам бед,
зато приходит маленький сосед,
раскутывает маленькие лыжи.

Консьержка заменяет сухой
на астры, в их строении простом
присутствует желание пробиться.
А я, скорее, бархатец. В дожди
я погибаю с легкостью в груди
подобно миллионам чернобривцев.

Отставить меланхолию зовут
день города, день выборов, салют.
Оставим их для грусти разрешенной.
Что будет, если я тебе солгу,
мол, солнце не останется в долгу
и вытеплит ложбинку для влюбленных?

* * *

Переводи меня на свет,
на снег и воду.
Так паучок слюною лет
плетет свободу.
Так улыбаются киты,
когда их будят.
Так персонажами Толстых
выходят в люди.
Переводи меня на слух.

ПОЭЗИЯ

Из школы в школу.
Так водят маленьких старух
за корвалолом.
Так замирает над гудком
автоответчик.
Переводи меня тайком
на человечесий.

* * *

В желании сродниться есть тоска,
недвижная, как тело языка,
когда его касаются стрихнином.
Так ледоколы мнут рубашку льдин,
так ищут дочь, так нерожденный сын
скользит над миром пухом тополиным.

Мне так невыносимо, так светло,
я так роняю каждое «алло»,
что, кажется, прошу Антониони
заснять все это: кухню, стол, постель,
засохший хлеб, молочную форель
ко мне не прикоснувшейся ладони.

И если говорить начистоту,
то я скорее пламя украду,
отравленную выберу тунику,
чем буду улыбаться и смотреть,
как мальчишки, идущие на смерть,
на небе собирают голубику.

ДМИТРИЙ ВИЛКОВ

ПУТИ НЕБЕСНЫЕ

* * *

М. Л.

Настроив телескоп картонный,
На небо смотрит астроном.
А небо темное бездонно
Молчит, не ведая о том,

Как я настраиваю слово
На тонкий лад, небесный звон,
И отправляю в полвторого
Сквозь ломкий безнадежный сон.

Летят слова, летят, не тая,
Летят, не сбившись ни на гран,
А жизнь течет непрожитая.
Невстреча, средоточье ран...

Мой стих затихнет на сетчатке,
Увы, невидимый вдвойне,
Не доберется до тетрадки,
Но ты узнаешь обо мне.

* * *

время мерить шагами
пятнистый от луж петербургский асфальт

время носить активированный уголь
 мокрой сентябрьской ночью
 когтем блестящим черным
 Медузы Горгоны
 Прижимая
 коробочку с едва различимым рисунком
 ты заболела
 лето мое
 жар камень тусклое свечение внутреннего накала
 кто бросит камень
 кто
 кто кроме тебя самой способен
 добраться до круглосуточной аптеки прошлого
 киоска настоящего
 гипермаркета настоящего
 галереи будущего искусства
 музея современного искусства
 два последних места естественно
 в эти mala horas закрыты
 как твое сердце удаленное из моего

ТАМАНЬ

Уже прочерчены дороги,
 Пробиты наши колеи,
 Космические недотроги —
 Кометы — жгут хвосты свои,
 Касясь жарких звезд по-лисьи;
 Планетам — взмах исподтишка,
 Следящим: мы не добрались ли
 До шва судьбы воротника,
 До тонкого вселенной горла,
 Горнила, бьющего за край

Протуберанцев: речь замерзла,
Звучи, звучи, не умирай!
Не повторяйся: жив Печорин,
Страницей канувший в ночи,
Когда разносится над морем:
Не умирай, звучи, звучи!

И в море, как частицы свыше,
Огни на рейде дышат, ждут,
Грохочет порт далекий, слышишь,
И колеи туда ведут,

Дай только руку.

* * *

Мой отец давным-давно писал стихи,
Нет, конечно, стихи — слишком громко сказано
Про эти короткие, едва рифмованные строчки,
Выведенные не слишком ровным почерком
С орфографическими, речевыми, грамматическими
И прочими ошибками,
И, в довершение всех несчастий,
Со смешными рисунками на свободном
пространстве полей

Общей тетради
В плотно-ребристом коричневом переплете
(Таких теперь наша промышленность
Отчего-то не изготавливает).

Они, напоминающие колыбельные
(Некоторые и вправду были колыбельными),
Продолжают сниться мне и теперь;

Они всегда звучат отцовским голосом
В дверном проеме между прихожей и кухней
В квартире, которой уже нет.
А отец, не замечая этого, продолжает чтение
Вслух,
А я снова тянусь, пытаюсь
Увидеть, какие сокровища рассыпаны
За обложкой общей тетради
В знакомом коричневом переплете...

Возможно, это был не самый полезный талант
Для оператора дробемета,
Для рабочего кораблестроительного завода,
Для моего отца,
Из рук которого выходили корабли,
Встречающие теперь своими стальными лицами
Арктические ледовые поля
И дымящиеся миражи Персидского залива.

2014

программы искрясь превращаются в числа
и крик тепловоза коверкает тьму
пока между нами вся жизнь не зависла
невнятная тайна письмо никому

ты мой адресат обернешься оркестром
прощанье славянки закат как павлин
прощание вслед за последним семестром
и падает сердце как *наш* цеппелин

мы снова сближаемся гул парохода
затем чтоб расстаться бумажный комок

наш Крым исчезает но плещет свобода
ложится волна как смола на песок

а дальше что дальше не помню Россия
теряется тонет в багровом дыму
за век все погибнет останется в силе
невнятная тайна письмо никому

* * *

Спускаясь в недра перехода
Под вокзалом
Я находил бивни мамонтов
Зубы динозавров
Пещерную живопись нового палеолита

Подумаешь какая Альтамира
Сказала бы ты
Но ты ни разу не была в Испании
Заграничный паспорт я так и не получил

А получив верно начну записывать в нем
Сны — стихами
Рисовать звезды и планеты
Диковинное зверье зодиака
Столпотворение богинь и героев
Тебя конечно же тебя

Даже Сальвадору не снилось такое
Время уплетает на завтрак пространство
Световые года макая в черные дыры
Вселенная поворачивает вспять
Подчиняясь прихоти кисти в руке художника

И вот наконец
Осталось мне вспомнить
Как однажды вышагну из звездолета
Самара — Москва
Антарес — Кассиопея
И на платформе не увижу
Тебя конечно же тебя

* * *

В твоей душе бродить лесами,
На дне неведомых озер
Лежать, раскрыв глаза, часами
И зажигать во тьме костер.

Пусть рядом мокрые поленья,
Трясина страсти, лес в дыму,
И тонут лучшие стремленья, —
Тебя я, как себя, приму.

И отраженья тянут время:
Который вечно в мире час?
Ты слышишь, мы забыты всеми,
А наш костер почти погас.

ГОЛОС ПРОПАЛ

Голос ушел, как поезд, и ни к чему билеты,
Где-то он мчит в пространствах,
в стоге из звезд игла,
Тонет с яйцом и птицей на переправе Леты,
Прячущей отраженья: только что ты была.

ДМИТРИЙ ВИЛКОВ

Голос — почти что поезд. Только что он уехал,
Дверь запирая глухо, сдвинув души засов,
Но на краю Вселенной все же дробится эхо,
И отраженье бьется в тысячах голосов.

ДИНА ДАБРИШЮТЕ

ВЫДОХ

* * *

1
рыба во сне к болезни
ты говорила
приснилась большая рыба
которая ела рыбу
ты умерла

2
теперь у меня
нет ничего
только собственный голос
мой ли?

* * *

Сохраняю слова, повисшие в воздухе.
Собираю в сундук, чтобы потом
переплавить в свинцовый спасательный круг.
Прыгну с ним внутрь воды.
Это и есть запасный выход.

* * *

Если бы в детстве я
была автобусным хулиганом,
то выцарапывала на поручнях циркулем слова,
знала каждый миллиметр общественного пространства,

признавала автобусы в лицо
по лобовому стеклу.

* * *

Круглые волны катера
Обручем воду держат.
Август висит. И платье
тебе хорошо, как прежде.
Солнце щекочет облако
Розовыми когтями.
Цапля летит, комкает
Крыльями горизонт.
С нами
это хорошее лето
Идет по воде кругами,
Режет велосипедным
диском дороги фронт.

* * *

здесь барокко хочет пролиться
клавесинный елочный воздух
будет сниться пока будет длиться
септаккорд под твердой рукой

тотал грей выходи из зала
на пороге жд вокзала
сохрани мою тень на луже
и магнолии острый цветок

возникают стираются лица
без закладки на важном месте

ПОЭЗИЯ

перевернутая страница
и незагнутый уголок

* * *

вселенная и мир молчит а я наоборот
зайду в московское метро
ты куришь под дождем
о здесь четыре колеса не проросли травой
останкинские небеса из прошлого долой

* * *

игры в съедобное/несъедобное
футбол и тренировки с собакой
закончены
сду(а)вшийся мячик
под окном
жду снега
кусок резины
весной найдет дворник
сметет с остат(н)ками прошлого

ВЫДОХ

Вот этот свет, помноженный на снег,
положенный на руки и предметы.
Сквозь темное летят на смерть кометы,
на светлое кружит по ветру снег.

МАКСИМ КАШЕВАРОВ

ЩЕКОЙ НА СКАТЕРТИ

ОТРАЖЕНИЕ

I

Это лето не было знойным
да и не знаю я вовсе
было ли — лето.
Было ли — это
или просто приснилось.
Может не волны бились
может стаканы бились
бутылки бились
капли стучали
по крыше, плитке, затылку.

Я сидел на бордюре,
открывал свое пиво,
и смеялся над прошлым,
которое было,
и которое стало
моим настоящим.

Если через примету
место
можно вывести с помощью двух, трех соборов,
то мне хватит табличек
выбитых возле парадных:
родился — вот в этом
арестован — в таком-то

расстрелян — тогда-то
реабилитирован — после.

Небо врезано в крыши, небо врезано в арки,
небо вырезано на миллиметровой бумаге,
но я прячусь от неба под тяжелым мостом,
но я прячу зрачки под свинцовым дождем.

Только тихое эхо шагов раздается,
когда ночью крадется за мной
то ли память,
то ли гул поездов,
на которую я
оглянусь, опоздаю,
рассмеюсь и заплачу,
пока стуком колес
сменяются кадры:
и между вагонов
я вижу на фоне цистерн и угля
всех друзей
всех родных
всех любимых
всех, кого я забуду
всех, кого не вместит кинохроника
моего черепа.

II

Зеркало
над раковиной
жиром покрытое
тоненьким слоем
таким серо-желто-оранжевым,
свет сквозь окно

через спину
лицо заставляет
темнее видеться,
и лица-то тут не останется,
а останутся только точки,
две такие черные точки
в дырах белесых
с тонкими капиллярами.

Да и нет тут лица совсем,
только слиться с белесостью стен,
только порами жир нащупывать
и из лиц проходимцев щупленьких
составлена карта местности:
плита, чайник, пепельница, за стеклами
крест проводов колышется
крест проводов — пустой пока;
где-то щепотка соли брошена,
где-то луковица забыта за шкафчиком,
где-то десятки судеб задушены,
где-то
где-то
где-то
где патетика отражения
покрывается жиром и ржавчиной,
где лица не остается,
только кадр чуть смазанный.

III

О болота понтийские,
О болота балтийские,
О болота полесские,
Облака с перелесками.

И задушенный леской — я
 все смотрю в солнце красное,
 все смотрю в солнце дикое,
 все смотрю и дыхание
 паром, облаком — стелется,
 и в тумане мне видится
 не какая-то девица,
 и в ушах моих слышится
 не протяжная песенка,
 и в ладонях не давится
 мох сырой — только пальчики,
 только тонкие, белые косточки
 от ладоней моих по плечам,
 да от плеч моих вдоль по шее:
 и на речи наречий речных
 отзывается гулом и клекотом,
 перемолотым воплем из опыта
 и эзопов язык не останется,
 речь же — та же вода
 все растает, раскается.

Меня душат, но что же
 ответить мне ей
 прохрипеть
 на одном из тех языков,
 что ушли — и вернулись другими
 улетев — и вернувшись птенцом,
 Уроборос свернулся отцом
 в темных точках орбит роговицы
 и ни ластиком, ни алмазным песком
 не стереть мне его из глазниц

но
где-то шепот ее
выводит на глине:
палочка-палочка-елочка-палочка
боженька-боженька-Отец-Вседержитель
небо ли — богу ли
богу ли — небо ли
не были боги ли
небом над небом и
лили все с неба
по капле на небо
и оставались
с нами лишь понемногу.

* * *

Из дыма вырастает дым
Пейзажи — наводнение — пейзажи
река и чувство déjà vu
и пальцы по апрелю долго
в
н
и резко вверх
з

— Ты знаешь, я люблю когда на бис
Они не улыбаются
а плачут —

Проводят в такт ударам сердца
не иначе

как был февраль
семь лет тому назад
сады цвели в начале мая

Я уехал
и Израиль
был также сер
как весь Союз
ведь там
как там
тебя не знаю

Ты снова пишешь буковки
А Чарльзу хватало одного стакана с виски
и вот стихотворение

В — в — в
Стакане осталась пара капель
тех трех пинт
что я взял для нас
А еще
На-на-на
Стекле
вечно будет твое отражение
пока сигарета становится дымом

и так по кругу
из дыма
в дым
я говорю другим

— Знаешь, я писатель

МАКСИМ КАШЕВАРОВ

* * *

в мире
полном Надежды
нет ничего кроме
вечного возвращения

НАДЕЖДА КЕЛАРЕВА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

* * *

Оказалось, мы спали на одуванчиках.
Они, полные нежного майского солнца,
Щекотали нас
И умирали под нами.
Какие горькие теперь пальцы,
Какие горькие теперь губы,
Сколько ни пей — не перебьешь, не смоешь.
«Горько?» — спрашивали стебельки.
«Горько!» — отвечала земля.
И небо
Не успевало задуть последний цветок,
Никогда не белый.

* * *

Любить — за здоровье,
Хранить — за упокой.
Останешься случайною строкой,
И будущее белою рукой
Из шапки времени ее достанет фантом.
К чему сейчас для «после» варианты?
Зачем ты там, когда пока что — здесь,
И жметя снег, подтаявший, к подошвам.
Ты — лес и голос — видишь знак «Не лезь»,
Но все равно киваешь тем, кто в прошлом.

* * *

И далее по тексту. И под текст.
За текст, за стол.
Звучим! Но пьяным тостом.
Почти что тост, практически протест.
Над текстом — облака.
Вне текста — просто.
Там тихо мать-и-мачеха цветет,
И мама говорит: «Вот обормот», —
На место дырки пришивая лоскут.

* * *

Дворец культуры. Тесно за кулисами.

— Ну, скоро?
— Пятые?
— Твои в каком ряду?
Остались мы.
Фломастером написано
В две тысячи каком-то там году.

На сцене между досок шпильки наши,
И в холле выцветшие фотоснимки наши.
Все об ушедшем или о пропавшем
О ком ушедшем и о чем пропавшем?

Там так же пахнет лаком для волос,
И полный зал, и педагог усталый.
Ну как, ну как, ну как я станцевала?
Сама себе я задаю вопрос.

* * *

А земли под ногами не было.
Вся земля — внутри моей груди,
Внутри моего живота.
А снаружи — вопросы,
Каркающие оголтело:
«Как теперь, как теперь, как теперь
Просыпаться?»»

* * *

Все, кем мы стали и кем не стали,
Выбелит эта зима,
Переставит,
Переверстает.
Выдохнем,
Перелистнем,
А весною растаем,
Если переживем

* * *

Меня метелью перекрестит небо,
Растает небо прямо на щеке.
Тебя найти бы
Где бы
Где бы
Где бы?
Здесь только небо.
Небо-небо-небо.
И тихий свет,
И счастье — вдалеке.

В поле скитаться странникам.

В сосны катиться солнышку.

Ночь виновато пятится, смотрит, как сирота.

Где ты Ива-Иванушка, — кличет Але-Аленушка,
Кличет Але-Аленушка, не открывая рта.

Бродит Ива-Иванушка, ищет в деревьях солнышко,
Тянутся руки к прошлому, ноги — ведут в овраг.
Длинная ночь полынная. Все хорошо, Аленушка,
Все хорошо, Аленушка, я возвращусь с утра.

Светит рубаха белая ярче, чем в полдень солнышко,
Ты обо мне, пожалуйста, слезы не лей, сестра.
Где ты Ива-Иванушка? — кличет Але-Аленушка.
Здесь я — разносят по полю,
Здесь я — разносят по лесу,
Здесь я — разносят по небу
Северные ветра.

ЛЕНЕ

В пятом классе упали в сугроб,
Чтобы остались только звезды.
Остались только звезды и мы — остались
Между паром, выходящим изо рта, и купальником,
сохнувшим на веревке,
Между ленточкой «Выпускник» и дорожной сумкой,
Между снегом и небом.
Ночью на первое января.
Там, то есть здесь,
Нет ничего, кроме синего морозного света.
Вероятно, Новый год, наступая, переступил через нас.

А обратно — не переступил.
Значит, не вырастем, не разъедемся,
не расстанемся.

* * *

За пределами нас
Только лес.
Да висит, словно тюль, мороз.
Все простилось,
Не все сбылось.

От меня
Меня
Занавесь
Белым холодом.

Окунуть
В ледяную утра купель
И душой босой пробегушь
По лесной тропе.

* * *

Медленно тает «спасибо»
Горячим шепотом,
Хорошо, что так.
Хорошо
Этот день, удивительно ясный,
Простой, как валенок,
Благодарить
Да замаливать.

ПОЭЗИЯ

А вокруг только сосны и ели,
В сугробы вросшие,
Вдруг покажется, будто случилось
Одно хорошее.
И бывает
Одно хорошее.

АННА КОВАЛЁВА

ТОЧКА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

СОЗВЕЗДИЕ

Да будет так.
Немые облака
заденут подоконник плавниками.
Качнется воробей,
и прочерк ветки
не станет измерительной линейкой.
Она качнется тоже и изменит
расклад фигур в калейдоскопе сонном.
Все перестанет быть, как мне хотелось.
Последний бледный призрак потанцует
и растворится в воздухе при свете.

Да будет так,
когда потянет ветер
и свой клинок небесный меченосец
вонзит в медузу мятой занавески.

Да будет так!
Никто не знает тайны,
что под кроватью мирно спит
Созвездие
и тычет острым и лучистым носом
в укромную сиреневую пыль.

ПОЭЗИЯ

* * *

ищи меня нигде.
ищи меня во сне.
там, где нет ничего, —
душой все выдуло,
памятью стерло.
вон такое место хорошее!
вата игрушечного медведя
вынута, брошена.
а ты сядь в него и смотри во все пуговицы.
во все мое детство.

комната уже проснулась,
уже светится.
еще немного
и сердце вздохнет.
тапок подбитый в солнечной луже хмурится,
кренится маленький пароход.

свет ныряет в зрачок
и не помнит, каким он был.
вижу тонкий лучик наискосок.
золотая пыль
на ладони.

* * *

В доме только воздух прочный.
Шкаф хрустит пальцами,
прячет их в дальнем ящике,
достает ночью. Это нервное.

Цветочный горшок плачет.
Наутро покрывается плесенью.
В нем ничего не растет.
Наверное, прочность воздуха ему нравится.
Держит форму.
Мне весело.
Воздух во мне, как мед,
еще не застыл.
Как полет, еще длится.

* * *

небо похоже на химическую реакцию.
помешай в колбе.
точка эквивалентности вот-вот, смотри, —
розовый сменится нежно-голубым,
свет наводнит поля.
деревья сойдутся в ряд,
развернутся шеренгой —
пропустят первый луч.
и серая шерсть бездомных собак на переезде
станет золотой.

вижу красный зрачок солнца на горизонте.
в нем мелькают черные силуэты
деревьев, крыш, водонапорных башен.
глаз не моргает, смотрит пристально.
очень важный момент.
автобус потряхивает.

да не автобус, а колбу, ну.

Она говорила:
«Хрустальный
Светлый свет».
И теперь ее нет

или

я видела как она продает
шерстяные стельки в переходе
собирает деньги в стаканчик
не поднимая лица
пар тихонько кружится значит
дыхание значит я почему-то прохожу мимо
и собака рядом спит укрытая старым свитером
живая вроде
и я дрожу больше нее
поэтому я прохожу мимо
потому что в тонких колготках
потому что мелочи не нашла
потому что шла и шла
и больше не видела

или

я хочу вернуться и рассказать
как синие вечерние облака в ноябре
провисают над полями
словно одеяло выпросталось
хочется потянуться и
подоткнуть на место
тянешься тянешься а там все то же

сухо
холодно
пусто

* * *

Снег падает радостно и легко,
кружится, светится,
быстро тает на щеке.

Пальцы мерзнут у музыкантов возле Театра кукол.
Пальцы мерзнут у школьницы,
собирающей снежок с пушистой скамейки.
Мерзнут сухие ладони женщины с маленьким внуком.
Мерзнут, но отдают тепло.
А мои пальцы уже ничего не...
А вот, кольнуло.

Хочется превратиться в пар,
белый шар тепла.
Несколько секунд сохранять форму.

Эти несколько секунд я забуду.

Белые хлопья
падают и не тают
на носу Белого Бима.

* * *

Я иду. Снег идет. Жизнь идет. Ну идем, идем.
Идет Мертвец Джармуша в кинотеатрах.
А в нем все тоже куда-то идут. Друг за другом.

А первый друг — Джонни Депп — идет медленнее всех,
но никто его не догонит.

Что самое странное — осень идет!
Сквозь декабрь тащится под снегом.
Сквозь меня тычется в какого-то
древнего прапрадеда всех понедельников.

Ну
Что там? Время выйдет сегодня?

Ой
Да вышло оно уже.
Приходи в следующий раз.

В черном участке мостовой, влажном, бесснежном,
я вижу —
лист упал
белой изнанкой вверх.

* * *

Когда-то давным-давно
записала несколько строк.
То ли что-то случилось такое,
то ли сон,
а за ним протянулся вихревой след других.
Но они растворились.
Как грустно мне было,
как жаль их.
Я боялась забыть
этот миг.
Записала спросонья

в темноте, в спешке,
в жизни, которой нет теперь.
И вот сейчас смотрю

и

происходит

тонкий контур чернильной впадины
лассо зачеркивания захлестывает
заглавная К цепляется за невидимый край
за бумажный воздух но некому подать руку
и во мне шевелится воспоминание
то самое

но оно не происходит

потому что происходит буква Б!
завиток ошибки внутри кружка
притаился
хорошо я тут тихо
наклон острых букв меняется
быстрее крика строка убегает по склону
острые ветки гнутся упруго
под дирижаблем размером больше
всего — это уже совсем другие буквы спускаются
и происходят
бесшумные безъязыкие
идут по кругу

только свет бумаги
стреноженный
тычется между проволок и частоколов
смотрит оттуда на птицу
в моем окне

ПОЭЗИЯ

только одинокая змейка в кружочке б
спит и видит во сне
что там по другую сторону страницы
на белой беззвучной земле
она замерзает

ЛАРИСА МОРЕЕВА

НО — ЭТО ОКНО

* * *

Адам ходил, давал имена вещам.
Всем зверям и деревьям дал,
перешел к фруктам и овощам.
Вертит в руках краснобокий и спелый плод,
думает: вот.
Хороший какой, радует нос и глаз,
я для него и имя как раз припас.
Простая у Адама задача, как ее не понять,
но тут появляется Ева и начинает все усложнять.
Смотри, Ева, говорит ей Адам, как плод этот красен и спел,
назову его...
А она ему: ты его хоть ел?
Адам с испугу чуть плод свой не уронил,
сжал в ладонях, туго,
словно уши ему закрывая от Евиной болтовни.
Думает про себя: не остерегусь, так меня ведь уговорят.
Хитра, как мангуст, и речи свои выплетает, как шелкопряд.
Буркает: что мне, грызть теперь все подряд?
Думает: а вдруг там мед? вдруг там змеиный яд?
Ева ему: ты спец у нас по плодам, и прав ты со всех сторон.
Да и кто я тебе, Адам? разговорившееся ребро.
Я и не лезла в твои лекала,
пока ты тут разбирался с птицами и скотом,
но у тебя что, и мысли не возникало,
что вещь бывает и то, и то?

Адам стоит, смотрит ей вслед, замерши в столбняке,
 слово какое-то сверлит в его виске.
 Хочет сказать его... и ощущает потребность
 в раздвоенном языке.

* * *

Эхо любви несется над пепелищем,
 превращая пепелинки в лепестки,
 которыми они были прежде.
 Лепестки цветика-семицветика,
 улетевшие через Восток на Запад.
 Лепестки четных ромашек,
 оторванные языки, которыми цветы говорили мне,
 что надежда четна.
 Оторванные языки гонцов, приносящих плохие вести.
 Эхо любви гудит, как колокол, беснующийся на башне,
 словно собака, вылизывающая сама себя.
 Слишком высоко, чтобы я могла вырвать язык и ему.
 Колокол созывает всех на молитву в пустую церковь.
 Это Бог, который есть Любовь?
 Он умер и воскрес?
 Не верьте Богу-зомби, который вернулся,
 чтобы сожрать ваш мозг.
 Не приносите больше жертв на алтарь его,
 кровь на нем давно остыла.
 Почему же крик последнего принесенного в жертву зверя
 еще звучит в опустевшем храме,
 как гул океана, доносящийся из ракушки,
 как свет звезды, давно погасшей.
 Этот звук, не верьте ему, это кровь шумит
 у вас в ушах, а вовсе не океан,
 этот свет — свист созвездия Рака на небесной горе.

Само время законсервировало его,
как кусок янтаря консервирует солнце.
Как желчь консервирует бабочек в животе.
Целая коллекция сухих бабочек в моем животе.
Мертвых бабочек.
Так откуда это шевеление крыл?
Это иллюзия.
Это просто при свете погасшей звезды
заплясала пыльца на крыльях.
Пыльца, заставляющая летать.
Это просто кони всадников Апокалипсиса,
ставшие карусельными скакунами,
встрепенулись, слышав трубный глас,
как старая полковая лошадь.
Портреты на стенах дворца отвернулись,
являя свою изнанку.
Это бывший король, бывший король!
Эхо любви слышится в чеканном шаге
оловянных солдатиков, марширующих на плацу.
Эхо любви заставляет их спотыкаться о новенькие протезы.
Эхо любви колеблет соляные столбы,
поддерживающие своды слез.
Они готовы рухнуть.
Кто предал нас?
Кто пронес в деревянном коне поцелуй Иуды,
громыхающий там, словно взрывающиеся
кукурузные зерна.
Это Бог-зомби готовит поп-корн
в ожидании начала фильма.
Он уже слышит первые звуки знакомой музыки.
Эхо любви.
Это треск погремушки на кончике хвоста гремучей змеи,
не давайте ей укусить себя за хвост.

Мало кто знает, что змеи ненавидят свою новую кожу.
Выключите звук,
но губы на экране принимают форму имени,
форму слов старой песни, которую лучше не петь.
Не повторяйте их, иначе эхо любви
перестанет быть лишь эхом.
Закопайте их, как радиоактивные отходы,
в своем саду, под старым вишневым деревом.
Но весной оно расцветет, мертвые бабочки опылят его,
а потом на нем покраснеют вишни.
Похожие на губы, которые будут все
говорить и говорить с тобой.

* * *

Поэт, не верящий в любовь, —
Как священник, не верящий в Бога.
Кажется парадоксом,
но
встречается чаще, чем можно себе представить.

* * *

Роза, подаренная тобой,
стоит на окне так долго,
невероятно долго,
словно она пластмассовая.
Ты всегда умел выбирать цветы.
Я не могу понять, почему я смотрю на нее и хочу,
чтобы она умирала быстрее.
Какой-то анти-Андерсен.

Так живой соловей
поет все одну и ту же песенку,
будто заевшая пластинка.
Давно известно: не скрипка инструмент Дьявола,
но шарманка.
Я позаботилась, чтобы вода была очень холодной.
Казалось бы, роза сосет этот лед сквозь свою рану:
она давно должна была превратиться
в тот цветок, нарисованный на стекле
влюбленным в нее январем,
как мы подражаем своим портретам.
Но нет —
краешки лепестков чуть завернулись
от жара,
словно крайняя плоть свитков.
Я поддеваю их пальцем, чтобы узнать,
что написано внутри.
Если я отрублю ей голову твоей гильотиной для сигар,
если я буду использовать ее тело, как свирель,
если сыграю «вперед, к лучшей земле, к милой Фракии»,
двинется ли на приступ
пророщенная картошка
и жухлый салат из веганского магазина?
Если я буду использовать ее тело, как соломинку,
если я буду пить воду, в которой она стояла,
буду ли я ощущать привкус крови?
превращусь ли я в розу?

Недавно прочитала, что, оказывается,
нельзя вешать зеркала в клетку с попугаями:
они от этого сходят с ума.

* * *

Мир становится больше.
 Звезды разлетаются от нас
 прочь, словно шутихи фейерверков.
 Однажды они улетят слишком далеко
 и скроются за горизонтом событий.
 Так муравей,
 сидящий в сердце одуванчика,
 смотрит, как кто-то сдувает с него шапку.
 Остается только закон.

* * *

Вот идет стищок —
 у него сто щек.
 Он стозевен и лаяй: ав!
 Кто пойдет за ним — прав.
 Кто не пойдет — будет среди Варавв.

А вот женщина на столе, и плод ее так велик,
 что лекарь, подумав, резать ее велит.
 Женщина стонет и ждет звезду,
 и повторяет в бреду:
 «Нет царя, кроме кесаря».

А вот ты оказался среди зануд
 и думаешь: полноте, пусть клянут,
 второй же раз не распнут.
 Распнут и второй, и третий, и стодвадцатый,
 сколько бы ни пришел,
 сколько бы ни воскрес,
 и никогда им не надоест.

«Моим стихам, — сказала она, —
как драгоценным винам...»
И оказалась права — так нас учат
на уроках литературы.
Интуиция, свойственная только большим поэтам.
Чувство предназначения, мессианства.
Но почему-то мы ничего не знаем
о тех, кто писали то же —
и были неправы.
Ошибка выжившего.
Точно так же
мы ничего не знаем о тех дельфинах,
что толкали тонущих прочь от берега,
на середину моря.
Поэтому, дети Марфы, ищите детей Марии.
Бесславной Марии, беспутной Марии,
святой Марии.
Ищите их под ногами и под камнями.
Бог не нашел их — идите его шагами.
Идите и по воде, без страха, если придется.
Идите, словно вы сами Боги.
Но, вот что важно, — идите и дальше.
Ищите, дети Марфы, детей Марии.
Ищите среди забытых, с креста не снятых.
Ищите среди не дождавшихся воскресенья.
Докапывайтесь до дна болячек и язв проказных,
и гной выгребайте оттуда —
там их найдете.
Там они, погребенные,
к ним войдите
и молвите: «Встаньте и говорите».

ПОЭЗИЯ

* * *

И, наконец, я беру слово «нет»,
оружие последнего шанса.
Но «нет» превращается в тенета,
пропускающие лишь все, от чего я надеялась защититься.
Мне хочется обмануть язык, предающий меня,
«нет» превращается в по — и по этому но,
как по мосту, перебегают пропасть маленькие надежды.
Но — это окно,
в которое они пролезают.
Дно, от которого они отталкиваются.
Зерно, в котором они переживают холода.
Но — это свист бича, оставляющий на теле
борозды для этих зерен.
Понукание прорасти.

СОФЬЯ ОРШАТНИК

СКОРОГОВОРОТ

* * *

...И остается лишь *diminuendo*
Единственной асфальтовой дороги.
/ Когда приложишь раковину к уху,
Там не бывает моря, но моторы
Шумят исправно, / соглашаясь с кем-то,
Что лето будет долгим и пологим;
Отец и сын от яблочного духа
Отстирывают клетчатые шторы.

/ Когда волна споткнется о волну же,
Случится пена. А когда споткнется
Дорога о дорогу, в этом месте —
Да, в этом месте будет перекресток. /
Отец и сын так неуклюжи, ну же, —
В чужом саду они — первопроходцы:
Люцерновые листья масти крести,
Подсолнух человеческого роста...

/ По ком шумят шестерки и семерки,
Пронесутся пятнашки и девятки?
О сколько лет (и зим) чужой тревоги... /
Сын говорит: в киоске у больницы
Есть шоколадка в золотой обертке.
Но дело — нет, совсем не в шоколадке.
/ Единственной асфальтовой дороге
В ракушке не живется и не спится. /

* * *

У нас что ни день, то подарки:
 вот черная крыса в углярке,
 вот ноги свиные в прихожей
 синеют мороженой кожей,
 вот страшная рыба в пакете,
 блестящем на солнечном свете, —
 какие-то зимние смерти,
 как ртуть на сметанном десерте —
 а нам бы сухую чайнку,
 упавшую на пол коринку.
 Зачем нам чудовища эти,
 когда мы хорошие дети,
 бегущие утром по рынку?

* * *

Мне показалось, будто бы иду
 по городу с пакетом апельсинов,
 потом стою в автобусном чаду,
 который прорезинен и бензинов.
 На перекрестке или на кольце
 ковчег Кузбасс пошатывает вьюга —
 нет, это время движется по кругу:
 в омеловом венце,
 в мужском лице —
 и мы случайно падаем друг в друга:
 не поцелуй — удар на букву «ц».
 Не нужен мне — ни сердцу, ни уму —
 твой полушубок, настезь отворенный,
 но припадаю, падаю к нему —
 у лукоморья бродит дуб зеленый,
 и дуб, и цепь, и цепь на дубе том,

серебряная или золотая —
 раскрытый полушубок — снежный ком —
 и эту грудь никто не залатает.
 Вот остановка — скажем, Верх-Егос,
 и воздух здесь неотличим от снега.
 А ты к нему — а он к тебе прирос,
 зачем же он выходит из ковчега
 автобуса? — и дальше ничего,
 через одну и я ступлю наружу,
 там гололед, там дерево мертво,
 фонарь глядится в дышащую стужу.
 К чему молчать? Свирепствуй и воркуй
 в чужих садах, метель-императрица.
 А дома дверь примерзла к косяку,
 никак она не может отвориться.

* * *

— поведай честно мне отец
 а как ты борешься со хтонью
 — я ем на завтрак холодец
 и вытираю рот ладонью
 развоплощенность ног свинных
 в тугих желеистых волокнах
 мне помогает о живых
 и мертвых думать как об окнах
 открытых и закрытых в мир
 из некоторых окон дует
 здесь каждый — гость и пассажир
 земных / подземных сабантуев
 о холодцы чужих могил
 о эти окна в черных ставнях
 — отец я предал и забыл

слова стихов своих недавних
пейзаж без края и конца
к стеклу оконному приколот
— нет ни отца ни холодца
здесь существует только холод

* * *

Они приносят скороговородку,
А если проще — водку с курагой.
Кирпичный жар, танцующий чечетку,
Все ближе подбирается к желудку,
Но выше — нет, и к сердцу ни ногой.
Мы выпиваем в скороговороте,
В котором я болею и живу.
И почему-то повелось в народе:
Чтоб закусить, по грядкам щиплют люди
Скорогорепы горькую ботву.
Когда сочтутся корешки с вершками,
Земля с травой, а не наоборот,
Я перестану гнить в компостной яме,
Усердно слушать сказанное ими,
Усердно пить, пока не проберет.
Когда споткнется эта речь хромая
Скороговорным привкусом во рту,
Я лягу спать, покрепче прижимая
Себя к себе, как ватку спиртовую
Плаксивый школьник прижимал к манту.
Я упаду в подземную кроватьку,
Как землеройка, крыса или крот.
Пускай от страха делается шатко,
Пускай приносят скороговородку —
Я не открою скороговорот.

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин:
Твой кот по имени Жиртрест
Мешает маме делать пилинг,
Твой синтетический халат
Навстречу мне открыл объятия,
И он бы рад меня умчать,
Умчать в свою страну халатью,
Но я стою — в семи утра,
Вдыхая запахи акаций,
Не чувствуя внутри нутра
Каких-то мощных дислокаций.
От майских праздников тошнит;
Достать февральскую миную
И у холодной батареи
Читать — вполсилы, ненавзрыд:
Случайнее, но не вернее.

РАЗРЕЗ

/ Любовь моя, прекрасен наш союз.
Поэзия необходима речи,
направленной на глупость, на авось. /
Сноха уже рассыпала овес,
но я не лгу, не плачу, не боюсь
под просторечьем угольной картечи.
/ Что говорить — мы родственники здесь
в оправе антрацитового субстрата —
когда осядет речевая взвесь,
я за руку возьму тебя — как брата. /
В полях дорог, в дорогах тополей
и на краю блестящего разреза,

чей львиный зев раскроется сильней,
дохнув в лицо холодностью железа.
Преображая всякий звук в слезу,
сбегу к обрыву по кровавым мальвам —
я, как Маковский, не люблю грозу,
но посреди холста меня не жаль вам.
Я здесь стою, и масляный разрез
как будто бы размазан мастихином.
/ Будь братом мне, пока не надоест,
а после будь хотя бы блудным сыном. /
За каждую слезинку по репью,
а дальше в нору юркнетмышь-полевка.
Я здесь стою — в разрезе краю
написанного сажей подмалевка.

БОРИС ПЕЙГИН

КРАСНЫЕ ВОРОТА

Я шагал,
Я шагал семипалой рукой,
Над Москвой,
Над Яузой над рекой
От высоты, сверкающей желтым,
Как зрелый фурункул —
Дай мне руку, пожалуйста,
Дай мне руку.

Мясо-красное мясо Красных ворот:
День ворочает ворот часов,
И Говядарь гадает по мясу стен:
Я ли выпот порфириковых пор,
Я ли шахматный пол,
Я ли след уходящих по
Обломкам планетных систем?

Я не ход,
Я не шах,
Я не шаг,
Я не в их числе:
Так затянут асфальтовый пояс,
Так вырастает молчаньем в зубы язык,
Так потеет вода от слюды до слезы,
Так мой голос бросается вскачь и вслед,
Прямо под синий поезд.

* * *

Я Кальвина не читал, но все было решено:
Это было давно, совсем не этой весной.
Подошла трясогузка в маске театра но,
И фонарный столб обернулся кривой сосной.

Я сидел, затаясь в стерне подмосковных дач,
Ты шла сквозь горелый лес в венериных башмачках,
Ожерелье порвалось, составы катились вскачь,
И сухая листва дымилась в минусовых очках.

А Москва-река в этом месте почти Сангарский пролив,
И на том берегу неба нет, и нет его сыновей.
Там в смущении Рея стоит, молоко пролив
По пути на вершину холма, где плещется суховей.

И на этом холме свой город построит Ил,
И озон предстоящих гроз в этом воздухе растворен.
Если бросишь камень в ручей — взбаламутишь ил.
Если бросишь за спину — то мы никогда не умрем.

* * *

...смех зазвенел и зазвякал:

— Лошадь упала! —

— Упала лошадь!..

В. Маяковский

1

...как наши волосы разъяли,
Вот так, без спецключа,
И как с конца высоковольтной магистрали,
С трех тысяч вольт, сорвавшихся на волю,

Как искры прыгали с плеча и до плеча,
И там не таяли и не сгорали?

Санкюлотиды едут на гастроли,
И из низин листвяжный дым повалит:
Под эстакадой,
На боковых путях, в ранжирном парке
Сидит на рельсах маневровый тепловоз,
Дыша и фыркая.
Погонщики толпились,
Харкали, каркали, дышали, нороя
Его задеть кривыми молотками,
И прободать гофрированный бок.

Я этого не видел, видит Бог,
Я в лиственном дыму, как в снежном коме,
Я в лиственном дыму, как в снежной коме,
Вгрызался пальцами в перила эстакады:
По ним плелись трехбуквенные коды,
Я знаю, по каким ведут дорогам
Тебя — по горкам, перегонам, виадукам,
Но это все чужие поезда.

...листва скрывала воду и события,
Включая те, которых не случилось,
Я помню — звонко, это было звонче
Трех тысяч вольт, сорвавшихся с металла,
Трех тысяч звезд в раскосых фонарях,
Но небо близко; птицы не парят
В его кудлатом подрессоренном подбрюшьи,
и слышно только этот тепловоз:
Как рыкнет дизель, нехотя, спросонья...

...и вот тогда-то, в летнем расписанье,
Огарки птиц святили водоем,
Покров лежал задолго до Покрова,
Мы шли в нечетном направлении, вдвоем;

Келейно — да,
Купейно — да,
Но все-таки не купно.
К примеру, вот:
Язык мой — гироскоп мой,
Но показатель степени так мал,
Что не сойти ни с рельсов, ни с ума.

Любимая, ты помнишь, как
Ранжировали нас в ранжирном парке,
Как составитель туго приковал
Друг к другу тормозные рукава
Чужих суставов?

И как хлысты, охочие до порки,
Обязывали нас молчать,
И стрелка механических часов,
Как пьяная, упала в полшестого.

Ты помнишь, как ранжировали нас,
Что все выдавший Чмуха-тепловоз
С досады охромел?
Трехгранный ключ раскачивал засов,
Пути сплетались в снежной бахrome.

II

...а я засну, тогда
Волокна разойдутся, как вода.

Я вязкость вяза,
Я липкость тополя,
Фрамуги вздрогнут,
И бордюры вздрогнут,
И пыль всклокочет по полю
От топота трех тысяч лошадей

От топота трех тысяч лошадей
Подраспеллись косицы проводов,
Хвосты Тифона.

Но подо мною узкая до боли
Знакомая плацкарта колыбели.

Я засыпаю
Под вой тифона.

* * *

А мы с тобой решим,
Что в этом камне — Бог,
А в этом будет смерть, а в этом будет сила;
Кинжальные слова вонзая прямо в бок,
Проси же их о том, о чем меня просила.

...обернутый плащом, стоял Давид с пращой,
Но что с того тому, кто в шлеме и с плюмажем,
Тому, кому прощать, тому, кто не прощен?
Но в этом камне Бог, и камень не промажет.

День — фиговый листок,
Но вдруг настанет день
— как лист календаря (я укрывался ими?) —

Ты извлечешь мою засушенную тень,
И камни на двоих одно запомнят имя.

Держи себя в руках, а зонтик надо мной:
Я в старости воды
Вдыхаю только сушу.
Вдоль штормовых ветров, вдоль кривизны земной
Бросай меня вперед, я камень, я не струшу.

Как кто-то мне сказал, молчанье — не порок.
Ты смотришь на меня, и я молчу — куда мне!
...вот это будешь ты, вот я, а вот порог,
И мы пойдем с тобой, разбрасывая камни.

* * *

На Юргу нашел полимерный дым:
Поездами пел и листвою кадил;
Равноночный день до слепой звезды
Словно поп с кадилом, вокруг ходил

Под холмом натянут, как нерв, Транссиб,
Кислоту дождей в хопперах трясет.
Я забыл, где можно поймать такси,
Я забыл так много, что даже все

Как трещал асфальт — коченелый труп,
Как ему я славно намял бока,
Как дышали органы котельных труб,
Надышали целые облака,

Как плясали черти на кочерге,
Где баранов своих позабыл Амос,

Как опорой косит от Юрги к Юрге
Над путями протянутый узкий мост:

Бог стоит у края того моста
И плюет в идущий внизу состав.

ДЕЦИМА XI

Ноябрь снился мне: с луной двурогой
На угольных дымах большой земли,
Примерзшие к причалам корабли,
К которым привела меня дорога.
Был день, когда я Тропик козерога
Сгибал в руках, как свежую лозу,
И снов не видел ни в одном глазу.
...из Палестин и прочих Абиссиний
Я помнил небо кобальтово-синим,
А сам нырнул в берлинскую лазурь.

ИЗ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО

[Она] говорит: «Я буду помнить, [я] не скажу
ничего [более, чтобы не сказать] лишнего».
[И я] не скажу ничего, [сам себя] не выдам.
Все было выбито в известняке —
Да живет она вечно, вековечно.

Я гранатовым деревом
пророс [у самого спуска] под землю,
где кончались прийденные [ею] дороги,
[и куда] ей не было хода.
Она молчала под сенью [моей].
Красные зерна созрели в кистях моих,

ПОЭЗИЯ

ни одного она не отведает, [поскольку]
не вернется назад.

[Чтобы она] не спускалась вниз,
Это я сбегу под землю
Рыжим котом,
Отсеку голову
Змею[-поезду],
И исторгнутся
Выпитые им воды,
Реки вернутся в свои берега.

СЕРГЕЙ СКУРАТОВСКИЙ

ЭТА ПЕЧАЛЬ ПРОСТА

* * *

Эта печаль проста, предельно проста:
Себя не учил наизусть, а читал с листа.
Теперь в моем доме зима, снежные простыни,
Все дети ушли, уснули, остались взрослые.
Ни крыши, ни стен, под ногами грязное месиво.
Мерзнут, ежатся, делают вид, что весело,
Потом тихонько, избрав благовидный предлог,
Выскальзывают за порог.
Вокруг не море, не пляж, не майами-ницца,
А лес индевелый, кормилец, детоубийца.
Чудеса свои скорбные он подарит тому,
Кто умеет падать снежинкой, вкручиваться во тьму.
Чтобы согреться, не хватит костра и меха,
Мне диктует меня мое охрипшее эхо:
Помнишь, как бабушка фотки называла чудно —
«фотоснимки»,
А ты, лежа в маминой спальне, на протертом ковре,
Считал парящие в воздухе солнечные пылинки,
Не удивляясь солнцу, живущему в декабре?..
Слова замерзают, как в сказке, вылетев из груди.
Так легче запомнить. Выучишь — приходи.

* * *

Если твой прохладен живот, значит, ты спишь на спине,
Тогда потолок — это стена. Тени ползут по стене.

* * *

он идет я иду ты идешь
все кто идут предо мною
превращаются в дождь
все кто идут под луною
превращаются в смерть
учись дорогая дышать спиною
молча на это смотреть

* * *

...Когда все грозы эти прогремят,
Впитает тишину дорога,
Ты снова ступишь в этот странный сад,
Где вишни принимают форму Бога.
Теряя навык речи и письма,
Ты будешь петь, и песни твои правы.
И травы осени, очнувшись ото сна,
Растут и вьются сквозь лады гитары.
Тогда во мне затихнут поезда,
Я тоже стану нем и невесом.
Мои стихи сидят на ветках птицей.
Наш сон продолжится и прекратит быть сном,
И Тот, кто нас пустил сюда,
К нам напрямую сможет обратиться.

* * *

Поезд качает. Ребенок глядит из окна,
Щурится от нагоняемого кондиционером ветра,
Нюхает пластик своего вакцинированного лета,
На стекле рисует лемурийские письма.

ЭЛЬВИРА ТОКАРЕВА

БАЛЛАДА О ПУСТОТЕ

В золоте дюн, не знавших дождей и грязи,
Волны песка баюкают свой оазис.
Солнечный город, что тебе нынче снилось?
Утренний луч прошепчет «Buenos días»
Крепкой лозе, что жадно в себя впитала
Каждый подарок горного терруара.
Пряный, богатый сорт с берегов Луары —
Как сувенир забытого ныне века.

Тает в руке тяжелая гроздь мальбека —
Терпкая плоть под иссиня-черной кожей.
Осень придет, разделит и подытожит
Меру тепла, танинов, воды и цвета
И заключит в фруктовых тонах букета
Приторный призрак лета.

Эта земля окрещена Новым Светом.
Здесь сговорились в диком священнодействе
Звоны мечей, воинственный клич индейцев,
Сказки арабов, жаркая речь испанцев,
Песнь тростника и ритмы игривых танцев:
Танго и самба, сальса, бачата, румба.
Эта земля не знала еще Колумба,
Эти моря не видели флот Гранады,
Но над водой уже возвышались Анды,
И в горизонт впивались земные дали.

* * *

Память веков искрится в твоём бокале
 Красным огнем. И если в тебе сольются
 Стоны эпох, шальные мечты безумцев,
 Хруст парусов в неведомых миру водах,
 Твердая поступь рыцарей в белых коттах —
 Кто ты теперь?

В плену костяных решеток
 Спрятан сосуд, вмещающий в тонких стенах
 Весь абсолют возникших в тебе вселенных.
 Выбор всегда сводился к союзу «или»:
 Стать ли песчинкой в рамках удобной были,
 Стать ли творцом, который объем осилит?
 Острые шпили пляшущей аритмии —
 Шрамы надежд. Они ли тебя клеймили?

* * *

Киль теплохода режет морские мили.
 Путь по воде — пунктиры на старых картах,
 И теплоход считает себя фрегатом —
 Тем, что ведом страшнейшим из всех пиратов.
 Снятся ему в намеченный час восхода
 Тонкие мачты быстрого галиота
 В алых одеждах. Важен один лишь принцип:
 Если поверить в чудо, оно случится.
 Пусть его остов выточен из металла,
 Жизни одной всегда будет слишком мало,
 Жизни, в которой курс неизменно ясен.

Струны заполнят звуком болотный ясень,
Как колыбель, где дремлют аккорды блюза.
Звук не прольется — автор не будет узнан.
Автор и сам — вместилище нотной дрожи.
Он — чистый лист. Он — краски. И он — художник.
Этот сосуд рожден, чтобы быть порожним,
Чтобы сплести гармонию слов и чувства.

Боль пустоты — родная сестра искусства.
Стоит ли врать, что мука была напрасна?
Странный недуг души безупречно ласков,
И потому не время искать лекарство.

Боль пустоты — во мне.
И она прекрасна.

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ

ЖУТЬ, С КОТОРОЙ ЖИТЬ

Бабу Иру, хоть соседка,
видел я довольно редко,
но при этом уважал.
Угощала в урожай
нас, детей, она малиной
золотой, альтернативной...
А потом ее сожгли
вместе с хатой недолюди.
Похоронные рубли –
их мотив. Нет жутче жути.

«Баба Ира, баба Ира,
выживите ради мира,
ради мира на Земле,
утопающей во зле!» —
я кричал. Изба горела,
обжигая перед тела.

Через годы лишь фундамент
и остался — местным память
волновать. А как-то раз
друг Руслан нашел запас
бабушки: грибы, варенье,
мед, тушенка... Без стеснения
Руся (бедность — не порок)
утащил в свое жилище

столько банок, сколько смог.
Прибежало много нищих.

Баба Ира — фронтовичка,
баба Ира — медсестричка,
раненых латала, да.
И исчезла без следа.

Эх... Теперь ее участок
обжит заново, к несчастью.
Вышел из тюрьмы Чебан,
человек авторитетный,
ладный дом поставил там,
там конкретно.

Он нашел жену моложе
лет на 20 или больше,
сделал сына, слег, сыграл
в ящик под вороний грай:

«Ка-рра! Ка-рра! Ка-рра! Ка-рра!»
Кара за игнор пожара.
Место помнит дым и треск
шифера, огонь и воду.
Разве нету *чистых* мест
в городке? Хватает вроде.
И хватало.

Все изложенное — было.
Есть у каждого могила —
у баб Иры, Чебана.
Постоянно голодна
смерть. Насытится едва ли.
Только б люди умирали.

И еще добавлю с болью,
завершив вещицу эту, —
Руся, что отрыл подполье,
канул и в Хилок, и в Лету.

ТОСКА ПО СЕБЕ, ИЛИ ЭГОЦЕНТРИЧНОЕ

Лагерь имени предателя отца.
Ни работы стылой, ни ковида
и на брюхе нету холодца.
Вот он — я, совсем еще пацан,
за засос едва заметный стыдно.

Дискотека (дрыгаясь, балдей).
Танец жизни. Позабыт макабр.
Выясняли, кто кого живеит
сорок или более детей,
а еще — кто здесь труслив, кто храбр.

Небо вдруг возьми и разразись.
Молнии и гром. «Пойдем-ка снова
под дождем топтать земную слизь —
Стрекозе я предложил. — Кажись,
начался...» Она была готова.

Пахло хвоей. Заиграл медляк.
Руки вверх? Quest Pistols? Не припомню.
Мы сцепились, мы сцепились так:
намертво. Дождь — афродизиак.
Вспоминать об этом хорошо мне.

Минуло, пожалуй, восемь лет.
Замужем она, нашел другую
я. И мой единственный секрет...
Догадались, думаете? Нет,
не по ней, а по себе тоскую.

СМОЛЯНОЕ

Зябко. Дорога ухабисто-грязная.
Ветви оттянуты книзу сосульками.
Шишку кедровую лузгаю. Лязгает
старый УАЗик, *родимая* булькает.

Час покоряем безумный хребет
мы — крайне ценных орехов добытчики.
Лязг... Но машина заткнется вот-вот.
Будем внимать только гомону птичьему.

Главное, нету во всем кедраче
связи, читай — обязательной привязи.

Забуксовал наш УАЗик в ключе.
Вывези, вывези, вывези, вывези!

Вывез. Окей, связь нужна иногда.
Мало ли что... Увидали лису. Лиса
перед прыжком замерла. «Это да,
шельма — дед буркнул, — рисуется».

Думаю часто: вот если бы нас
не было, как бы тогда хорошо жилось

флоре и фауне, но каждый раз
я осекаюсь. Виной моя молодость.

Шишка, УАЗик, безумный хребет,
музыка леса, лиса... Ай, сойдет.

ОХОТА НА МЫШЕЙ

Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?

Наше все

Снуют по крыше
злодейки-мыши,
точней мышата.
Мне мерзковато.
Беру подушку,
как вижу мышку
беру на мушку,
пиф-паф, под мышку —
ружье, за хвостик
и в печку — тельце,

в котором больше не бьется сердце,
точней сердечко
с зерно размером.
Сжигает печка
хвостатых, серых,
как крематорий...
Друзья, короче,
без аллегорий:
достали очень
меня мышата.

Я бог их, правда.
Я бог, я бог их
и дьявол вкупе —
малых, убогих,
вонючих, глупых,
заразных, разных
и в то же время
похожих. Тише на крыше, племя!
Пылает пламя,
алкая грешных.
Мышата, знамо,
грешны. Полешко
еще закину
и на охоту.
...Чу, дышит в спину,
огромный кто-то...

(звук выстрела)

ГИМН ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ

Вечная мерзлота —
нет ее непокорней.
Вечная мерзлота
не пропускает корни.
Вечная мерзлота —
гнется, скрипя, лопата.
Вечная мерзлота
мамонтами богата.
Ясно, что перегной
даже и не сравнится
с вечною мерзлотой.

ПОЭЗИЯ

Слышь, агроном-тупица,
нечего ждать плода
от неродящей тверди.
Вечная мерзлота —
это синоним смерти.
Окоченелых туш
тыщи. Покой их долог.
Землю хоть сколько рушь —
бивня найдешь осколок,
максимум. Навсегда
мамонтов поглотила
вечная мерзлота,
злая земная сила.
Кстати, пещерных львов
и носорогов тоже...
Сказано много слов,
надо бы подытожить.

Тленные господа,
дамы, ловите фразу:
вечная мерзлота —
смерть и бессмертье сразу.

ВАДИМ ШЕВЯКОВ

НЕМНОГОЭТАЖКИ

* * *

Ключ в замке задумчиво кручу.
Нелегко приходится ключу:
Он застрял в замочных потрохах,
Словно в самурае — кусунгóбу,
Словно неудобная строка —
В белизне бумажного сугроба.

Одолев заевший механизм,
Я на лифте опускаюсь вниз,
И гудит басовая струна
Дóтуга натянутого троса.
Электромагнитная волна
Вертит фрикционные колеса.

Если ход часов не обуздать,
Можно на работу опоздать.
Мерно проезжает этажи
Пассажир небесного трамвая.
Стрелочка минутная бежит,
А за ней плетется часовая.

Нелегко зевоту побороть.
Каждый день сюжетный поворот
Градусов на 360 —
Новизна сродни Полишинелю.
В воздухе удушливо висят
Ароматы шмали и «Шанели».

Покидаю заспанный подъезд
Не от тяги к перемене мест.
За углом, на правой полосе,
Вся набита человечьим салом,
Ждет меня обрюзглая Газель,
Четырехколесная Сансара.

* * *

Однажды мой будильник промолчит,
Не нарушая логику дремоты,
И я без уважительных причин
Просплю и опоздаю на работу.

По телефону что-нибудь соврав,
Пойму, что день какой-то нерабочий;
Пойду гулять и забреду в овраг,
Где мягкая податливая почва.

Затем, с подошвы счистив чернозем,
Вернусь назад. В попутном продуктивном
Возьму бутылку водки «Пять озер»
И к ней — контейнер с чем-нибудь готовым.

Приду домой. Отмою от мочи
Пустой лоток. Из миски воду вылью.
Однажды мой будильник замолчит,
Мой меховой, мой ласковый будильник.

* * *

Мы сидим вдвоем с котом,
Кот страдает животом,

Я играю тихий блюз,
Маюсь от тоски.
Все известно наперед —
Я умру и кот умрет;
У кота седеет ус,
У меня виски.

Предсказуемый финал —
Режиссер балду пинал,
Не искал апофеоз,
Только делал вид;
И сюжетный поворот
У кладбищенских ворот
Рассмешит меня до слез,
Но не удивит.

Хоть мяукай, хоть играй —
Нам не светят ад и рай,
Только *мы* уже давно
Ничего не ждем.
Приготовили попкорн
И сухой кошачий корм,
Смотрим грустное кино
С чеховским ружьем.

Мы с котом сидим вдвоем,
Пузо чешем, пиво пьем.
Гаснет вечер, тонет дом
В гробовой ночи.
А за мною по пятам
Призрак прошлого кота
Ходит, тычется в ладонь,
Ласково мурчит.

Она — из поколения вещей.
 Так воспитали. Не за что винить ее.
 Большой сервант. Хрустальные корытины
 Для оливье и прочих овощей,
Менажница... (зачем они вообще?)
 Своей эпохи преданная дочь,
 Она была ценителем вещей,
 Она была ревнителем вещей,
 Алкателем, стяжателем, хранителем.

Она была совсем немолода,
 Давно немолода. Порою кажется,
 Что бабушки — навечно. Навсегда.
 Но есть граница этого «всегда»,
 Потом — звонок, и в голосе — беда,
 Горит Москва, пылает Нотр-Дам,
 И остается чертова *менажница*,
 Дурацкая проклятая *менажница*.
 «Кому нужна злосчастная *менажница*?» —
 Ругаюсь, но попросят — не отдам,
 Поэтому надеюсь, что откажутся.

На новоселье нам подарок — грусть.
 На дюжину персон сервиз обеденный —
 Наивное, ненужное наследие,
 Для навесных шкафов нелегкий груз,
 Доставшийся по праву кровных уз.
 Из тех тарелок раза два поедено,
 Не больше. И у кофе странный вкус,
 Как будто в чашках растворилась грусть.
 В котлетах и салатах тоже грусть,
 И даже огурцом (отдельно) — хрусть! —

Навязнет на зубах печаль и грусть,
Тоска, как на уроке краеведенья;

Как на уроке алгебры, тоска.
Гора посуды в мойке высока,
Восход кровав, как бой троянцев с греками.
Бессонница. Засученный рукав.
Разделочная сушится доска.
Позвякивая грязными тарелками,
Услышу удаляющийся реквием,
Услышу приближающийся реквием,
Ни на секунду не смолкавший реквием;
Включу плейлист с веселенькими треками,
Но даже сквозь него услышу реквием.
Закрою кран. Откупорю вискарь.

* * *

Скисает молоко и плесневевает хлеб,
А я не менее неловок и нелеп,
Чем раньше — но иначе.
Давно не долговяз, вполне широкопуз,
И скован не стыдом — ассортиментом уз,
Бракованных и брачных.

И плесневевает хлеб, и киснет молоко,
И я опять Вадим, и снова Шевяков —
Ничто не изменилось,
Лишь ангелы иглу вогнали под ребро,
И выпал изо рта разжеванный «Дирол»,
В себя вбравший гнилость.

Герои моих строк все так же влюблены,
И молоко еще годится на блины,
И плесень можно срезать.
Но лезвие ножа вдруг причиняет боль —
Се плоть моя. И я давлюсь самим собой —
Попробуй тут побрезгуй.

«Надолго ли Вадим? Не зря ли Шевяков?» —
Под раковиной хор подгнивших кабачков,
Ликующая нечисть.
Ссыхается сырок, вздувается тунец.
Срок годности истек, но это не конец —
Дурная бесконечность.

* * *

Я рос в патриархальном городишке,
В котором угораздило родиться.
Мы собирали вкладыши и фишки
И слушали кассеты, позже — диски

(Да, точно, диски — это нулевые,
А вырос я скорее в девяностых),
С соседней стройки воровали доски —
Подгнившие, корявые, любые, —

И строили из них себе шалашик,
И жили там, как будто робинзоны,
Среди немного-, в общем-то, этажек
До самого холодного сезона.

Нас было трое: Шурик, я и Паша
(Давид пришел потом, о нем отдельно).

Вокруг каменноугольной котельной
Сугробы покрывались слоем сажи,
А мы, смеясь, сбивали корку наста
До белизны, а после шли на ужин.
Так незаметно стукнуло семнадцать,
И нас, как пробки, вышибло наружу.

Я приезжал, но словно понарошку,
Ныряя в память — стылый вязкий битум.
Глядел, как превращаются в «Магниты»
Знакомые разрушки и заброшки.

Котельная работает на газе,
Четыре джи работает местами.
Мой городишко стал благообразен,
Но больше он моим уже не станет.

И все же я вернусь — куда деваться? —
В то самое, взавправдашнее место.
На лестнице знакомого подъезда
Мне встретится сосед, Давид Ломтадзе,

В дурацкой шапке, с новеньким портфелем —
Совсем малой, не начинавший бриться.
И я пойму, что все на самом деле,
И выйду из подъезда в минус тридцать.

Среди сугробов, гарью закопченных,
Я упаду усталым бумерангом
И помашу руками — типа, ангел, —
Но снег под сажей тоже будет черным.

ДРАМАТУРГИЯ

ЛЮДМИЛА КОВАЛЁВА

НЕСЧАСТЬЯ. ДОРОГО

Пьеса

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Семён

Аня

Егор

Хозяйка

Маша

Иваныч

Надежда

Журналист

Помощница

Оператор

Сторож

Участники выпуска новостей

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

1

Небольшой городок, затерянный на картах и в пыльных степях. Раннее утро. По безлюдной улице идут Семён и Аня. Аня с большим усилием волочет по земле два огромных продолговатых чемодана (кажется, в каждом из них можно тайно провезти человека), Семён несет небольшой портфель, в другой руке — навигатор, с которым сверяет маршрут.

Аня (*останавливается, тяжело дышит*). А ты слышал, что здесь принято помогать женщинам? Они вроде как хрупкие и нежные существа. А, Семён?

Семён проверяет данные навигатора. Внимательно изучает дом, стоящий перед ними. На нем висит объявление «Жилье».

Семён. Не слышал. В любом случае, к тебе это не относится.

Аня. Это че это?

Семён. Ты не женщина. Ты зло. Во плоти.

Аня. Ух ты! Не больше, не меньше? А чего сразу не Люцифер?

Семён. Подожди. Скоро станешь.

Аня. Да ладно, ты до сих пор дуешься?

Семён. Я не понимаю, как ты можешь так спокойно все воспринимать?! Ты вообще соображаешь, что из-за тебя мы вылетим с работы?

Аня. Ну уж. Может быть, еще все обойдется.

Семён. А ты не слышала, что нам сказали? «Это ваш последний шанс». Последний! Если мы не справимся с этим заданием, нас переведут куда-нибудь, не знаю. Да хоть сюда! Ты соображаешь, что это значит?

Аня. Ну, да. Но, слушай. Даже если так, жизнь-то на этом не заканчивается. Ну перевод, да. Но и здесь же тоже как-то привыкают.

Семён. Ты издеваешься? Ты не понимаешь, что нас ждет? Я столько работал, столько жизней перелопатил, чтобы оказаться здесь? Да зачем я с тобой вообще связался! Тебе же ничего не надо. Ходишь со своей блаженной улыбкой и думаешь, хватит? А самой на всех наплевать!

Аня. Ну ладно тебе. Ну, Семён! Ну извини. Я не думала, что с тем человеком так получится. Кто же знал, что он все пропьет? Я как лучше хотела.

Семён. Хотела!

Аня. Ну извини меня! Была неправа. Каюсь. Исправлюсь. Только не дуйся, а? Вот обещаю тебе: больше ничего не сделаю без твоего разрешения! Ну, Семён! Хватит, а? Мир?

Семён. Перемирие.

Аня. Ну и отлично! Так что, здесь останавливаемся?

Семён. Похоже на то. По крайней мере нас сюда привели.

Аня. А что? Вполне себе миленько. Стучать?

Семён. Стучи.

Аня *(подходит к двери)*. Можно?

Семён. Можно.

Аня *(заносит кулак)*. Так?

Семён. Ты специально, да? *(Подходит к двери и колотит в нее со всей силы.)* И за что мне только, ты досталась? Были же нормальные.

Дверь открывает Егор, мужчина средних лет. Опираясь на косяк двери лениво грызет яблоко.

Егор. Для цивилизованных людей звонок давно придумали.

Семён. Извините. Мы тут жильё ищем. Вы сдаете?

Егор. Я — нет.

Семён. Но тут же вывеска?

Егор. И что? Ты веришь всему, что видишь?

Семён. Странно. Мы, наверное, ошиблись.

Собираются уходить.

Егор. Да шучу я. Куда собрались? Вот народ. Сдается тут комната. Только это вам к хозяйке надо. А я так тоже квартирую. Скучно тут жуть. *(Возвращается в дом.)*

Аня. Станный он какой-то. Может быть, другой дом поищем?

Семен *(смотрит в навигатор)*. Указано точно здесь. Значит, здесь. Давай хотя бы начнем по плану.

Из дома выходит Хозяйка — женщина лет пятидесяти.

Аня. Здравствуйте!

Хозяйка. Доброе утро. Вы комнату искали?

Семен. Да, сдадите?

Хозяйка. Молодожены?

Семен. Нет, что вы. *(Пренебрежительно машет на Аню рукой.)* Это так.

Аня. Мы служим вместе.

Хозяйка. Военные, че ли? Ну у нас только одна комната. Там диван, но можем раскладушку поставить.

Семен. Это не проблема.

Хозяйка. Ну ясно-ясно.

Семен. Только у нас один нюанс.

Хозяйка. Чего?

Семен. Знаете, мы хотели бы организовать небольшую лавку.

Хозяйка. Лавку? Алкашни мне тут еще не хватало! Тогда давайте идите, ребята. Это не ко мне.

Семен. Нет-нет! Не переживайте! Мы ничем не торгуем. К нам просто иногда будут заходить люди.

Хозяйка. Зачем?

Семен. Мы будем у них кое-что покупать.

Аня. Мож пока не надо?

Хозяйка. Что покупать?

Семён. Несчастья.

Хозяйка. Несчастья? Так вы сатанисты что ли? Еще лучше! А ну идите! Не злите меня!

Аня. Да что ты так сразу-то людей пугаешь! *(Хозяйке.)* Вы не волнуйтесь! Мы эти... ученые. Пишем работу о человеческом счастье. Какое оно, из чего состоит, ну и в этом роде. Но о счастье люди особо не любят говорить, а вот пожаловаться — всегда пожалуйста! Да, Семён? Вот мы и решили таким образом привлечь целевую аудиторию. Ну, чтобы люди нам немного помогли. Ничего в этом мистического нет. Просто научное исследование.

Хозяйка. Исследование?

Аня. Да-да. Хотите, можем документы из института показать. Семён!

Семён поспешно достает из портфеля два удостоверения научных сотрудников. Хозяйка надевает очки, до этого висевшие на шею, внимательно всматривается в документы.

Хозяйка. Ну так бы и сказали бы тогда. Зачем лавка? Покупать несчастья. Делать вам больше нечего.

Семён. Это, как его, маркетинговый ход. Да и если мы действительно встретим несчастного человека, то с удовольствием купим у него его историю. В научных целях.

Хозяйка. О! Этого добра у нас навалом! Завтра очередь будет!

Семён. Значит, можно нам у вас остановиться?

Хозяйка. Я в чужие дела не лезу. Платите и делайте что хотите. Только чтобы прилично все!

Семён. Большое спасибо.

Хозяйка. Заходите.

Хозяйка, Семён и Аня с чемоданами заходят комнату: диван, шкаф, стол, несколько стульев, окно на улицу. Дверь на улицу и дверь в дом.

Семён. Отлично. И вход рядом.

Хозяйка. Платить сейчас будете или по выезду? Вы надолго?

Семён. На пару дней. Как вызовут.

Хозяйка. Ну хорошо, там и посчитаемся. Обживайтесь.
(Кричит в сторону двери, ведущей в дом.) Машка! Белье неси!
У нас жильцы! (Семёну.) Сейчас дочка все принесет. Обживайтесь. (Уходит.)

Аня (открывает окно). Она милая.

Семён. Надо вывеску сделать.

Аня. Сделай.

Семён (открывает портфель и достает презентабельную вывеску «Покупаем несчастья. Дорого. Потерю близких не предлагать»). И как она там поместилась?). Пойдет?

Аня. Вполне.

В комнату входит Маша с постельным бельем в руках.

Всматривается в вывеску.

Маша. А почему потерю близких не предлагать? Ой, извините, здрасте.

Аня. Привет. Проходи.

Маша. Потерять родного — самое несчастье. Так ведь?
(Смущается от ледяного взгляда Семёна.) Я Маша. Дочка. Ну хозяйки, в смысле, дочка.

Семён. Мы поняли. Что-то еще?

Маша. Нет. Извините. (Кладет белье на диван и идет к выходу.)

Аня. Нет, постой. Подожди. Ты правильно спрашиваешь. Идем сюда. Я — Аня. Это — Семён. Не думай, он не на тебя злится, это он просто важный очень.

Семён пренебрежительно усмехается, достает из портфеля молоток и выходит на улицу. Примеряет вывеску к дому.

Что ты хотела узнать?

М а ш а . Если вам так нужны несчастные люди, почему вы просто не найдете кого-то, у кого кто-нибудь умер. Куда уж несчастней.

А н я . Ну да, с одной стороны. Только, как бы это сказать, это несчастье закономерно. Нет, дурацкое слово. Неотвратимо, понимаешь? Заложено природой. Его нельзя исправить.

М а ш а . А вы будете исправлять?

А н я . Как получится.

М а ш а . Прикольно. Такого у нас тут еще не было.

А н я . Надо же когда-то начинать. А на Семёна не обижайся. Он просто страшный зануда.

Семён слышит эти слова и со всей дури стучит молотком, прибывая вывеску к дому.

М а ш а . Ладно, я побегу. Мамке в огороде еще подсобить надо.

А н я . Увидимся.

Аня выглядывает из окна, улыбается, глядя на старания Семёна.

Смотри, насквозь дом не прошиби.

Семён *(с издевкой)*. Все? Закончила консультацию?

А н я . Семён, Семён. К людям подход нужен, а не твои формулы.

Семён . Ты и мне лекцию по теории прочтешь?

А н я . Нууу-дныыйй. Давай работать лучше. *(Высматривает кого-то, затем кричит прохожей.)* Женщина, доброе утро! Почему вы такая грустная? Заходите к нам! Мы купим ваше несчастье! Женщина! Не пугайтесь! Женщина. Ну ладно. Парень! Паренек! Куда спешишь? А? Фу, как грубо!

Семён . Перестань! Только испортишь все!

А н я . Мужчина! Заходите к нам! Уникальное предложение! Покупаем несчастья. Дорого! Несчастья! Есть у вас? Да-да, подходите!

К дому подходит Иваныч, коренастый мужичок в стареньком костюме и с тяжелыми хозяйственными сумками.

И в а н ы ч . Не понял я. Чевой вы покупаете?

А н я . Несчастья. Все, кроме потери близких.

И в а н ы ч . Это как так?

С е м ё н . Не переживайте, ничего страшного. Вы нам просто рассказываете свою историю, а мы платим.

И в а н ы ч . И сколько нонче за несчастья платят?

С е м ё н (*задумывается*). Десять тысяч.

И в а н ы ч . А?

А н я . Десять тысяч. Вас устроит?

Иваныч ставит сумки на землю, достает из пиджака платок, протирает лоб.

И в а н ы ч . За историю?

А н я . Да.

И в а н ы ч . А Валентина в курсе, чем вы тут занимаетесь?

С е м ё н . Хозяйка? Конечно. Все в рамках закона. Заходите.

И в а н ы ч . Мутные вы какие-то. Шарлатаны небось.

А н я . Да не переживайте! С вас история — с нас деньги.

И в а н ы ч . А деньги-то есть? Я вам сейчас на миллион историй набрехаю.

Аня ставит на подоконник портфель, достает из него стопку денег. Иваныч еще раз протирает лоб платочком.

С е м ё н . По рукам?

И в а н ы ч . Ну давай, коль не шутите.

А н я . Проходите!

Семён и Иваныч заходят в комнату. Иваныч настороженно осматривается по сторонам, ставит сумки у стола, садится рядом. Аня устраивается на диване, Семён достает из портфеля прибор, похожий на полицейский радар и ноутбук. Направляет на Иваныча радар.

И в а н ы ч . А это еще что за хреновина? Мы так не договаривались!

С е м ё н . Не волнуйтесь. Это прибор по измерению уровня счастья.

И в а н ы ч . Больно будет?

С е м ё н . Что вы!

Нажимает на кнопку, Иваныч зажмуривается, на экране высвечиваются цифры.

Вот и все.

И в а н ы ч . И чевоёй там у меня?

С е м ё н . 25 процентов. Отлично!

И в а н ы ч . О как! А давление оно мерит?

С е м ё н . Что? Зачем? Нет. Давайте к делу.

Садится за стол, открывает ноутбук и готовится записывать за Иванычем.

И в а н ы ч . И с чего начинать?

А н я . Как вам проще. Что вас беспокоит?

И в а н ы ч . Поджелудочная. Достала зараза.

Аня смеется, Семён кривится.

С е м ё н . Дорогой, кстати, как вас?

И в а н ы ч . Иваныч.

С е м ё н . Просто Иваныч?

И в а н ы ч . Ну хошь Михал Иваныч. Мне все равно. Все Иванычем кличут.

С е м ё н . Итак, Михаил Иванович. Почему вы считаете себя несчастным человеком? О, и да, кстати, подпишите здесь.

И в а н ы ч . Это че это?

С е м ё н . Стандартный договор на оказание услуг. Ну так в чем дело?

И в а н ы ч (*пытается разобрать, что написано в бумаге, но потом просто ее подписывает*). Да как? В чем? А разве нет? Вот сам посуди. Была у меня корова. Зорька. Так месяц назад пропала. Я говорю пастуху, ты где, сволочь... Ой, прости, дочка. Ты где, говорю, сволочь, ее потерял? Со стадом ушла, со стадом пришла. Куда дел? А он хлоп, хлоп. Стоит хлопает на меня своими бесстыжими зенками. И ведь никакой управы. Где милиция, где власть?

С е м ё н (*все записывает в ноутбук*). Так вы несчастны из-за коровы?

И в а н ы ч (*машет рукой*). Да что корова! Вот за что меня, спрашивается, с мелзавода выперли? А? Я что, воровал? Ну допустим. Но не я ж один. В каждый дом загляни — коробки мела. Ха! Все тащут, а выгнали меня. Несчастье? Несчастье? Вот теперь хожу на толкучку хламье продаю. Торгашом заделался, понимаешь? А какой я торгаш? Я в детстве вообще рисовать любил. Меня на выставки посылали!

А н я. А почему сейчас не рисуете?

И в а н ы ч. Да на что оно мне теперь, доча? Кто огород садить будет? Двор, курицы, утки, эти, козлы еще. Я, к слову, козла в честь директора мелзавода назвал. (*Смеется.*) Я ему — «Павел Игнатыч», а он мне «Бе!» (*Заливается смехом.*)

С е м ё н. Ну вот, смеетесь, значит, не все так плохо.

И в а н ы ч (*резко замолкает*). Не, ты меня не подлавливай! Пишешь? Пиши. С работы, значит, поперли, корову украли, крыша текет.

С е м ё н. Течет?

И в а н ы ч. И это тоже. Из помидор одна ботва выросла; сосед, скотина, яблоки ворует; пенсия во (*показывает кукиш*); да еще поджелудочная, а участковый, шарлатан, лечить не хочет. Кому мы, старики, сдались?

С е м ё н. Все?

И в а н ы ч. Ну, в общих чертах, так сказать. Где подписывать?

С е м ё н. Что?

И в а н ы ч . Накладную. Вы чеки выдаете?

С е м ё н . Подождите пока. Сейчас программа все проверит.

И в а н ы ч . Что?

С е м ё н . Насколько ваши истории правдивы.

И в а н ы ч . А как так? Ты думаешь я брешу? Так любого спроси — все подтвердят. Иваныч никогда брехлом не был! Корову украли? Украли. С работы выперли? Выперли!

С е м ё н . Дело не в том, было это или нет, а в том, из-за этого ли вы несчастны.

И в а н ы ч . А?

С е м ё н . Мы как договаривались?

И в а н ы ч . Как?

С е м ё н . Вы нам историю своего несчастья, мы вам — деньги. Так?

И в а н ы ч . Так?

С е м ё н . Вот программа сейчас и проверит, действительно ли 75 процентов вашего счастья испарились из-за всего того, что вы наговорили. Да и, честно говоря, и без этого видно, что платить вам не за что.

И в а н ы ч . Это как так? Ты мне тут не мути!

С е м ё н . Ну судите сами. Несчастье номер один. Пропала корова. Виноват пастух. Так?

И в а н ы ч . А кто ж еще? Спит, сволочь, весь день, а коровы шатаются.

С е м ё н . Отлично. Несчастье номер два. Увольнение. Виноват начальник. Так?

И в а н ы ч . А то!

С е м ё н . Ага. Несчастье номер три. Протекает крыша. Кто виноват? Вы?

И в а н ы ч . Ага! Еще чего! Это кровельщик, ворье на ворье. Я ему говорил, внимательней ложь! А он тяп-ляп, бестолочь.

С е м ё н . Ну и так же по остальным пунктам. Сосед, участковый врач, пенсионный фонд, полиция. Верно?

И в а н ы ч . Верно! Жулики на жулике!

С е м ё н *(делает расчеты на ноутбуке)*. Итого получатели средств за ваше несчастье пять физических и два юридических лица.

И в а н ы ч . Это как так? Это что это?

С е м ё н . Все по-честному. Оплата за несчастье производится производителю несчастья. Товар, так сказать, их.

И в а н ы ч . А?

С е м ё н . Переведем равными долями.

Аня хихикает, пораженно глядя на Семёна, Иваныч смотрит на нее в полном недоумении.

И в а н ы ч . Я маялся, а деньги им? Ну уж шиш! Открывай свою машинку. Пиши! Пишешь? В пропаже коровы виноват я. Был подшофе, не встретил, она и ушла. Записал?

С е м ё н . Записал.

И в а н ы ч . В увольнении виноват я. Зря про козла всем растрепался. Ага? Крышу давно перекрывать надо, яблоки сами на соседов двор падают. Что там еще?

С е м ё н . Поджелудочная.

И в а н ы ч . Пить опять же меньше надо. Пенсией доволен, милицию люблю как мать родную. Записал?

С е м ё н . Записал.

И в а н ы ч . Выкладай заработок.

С е м ё н . Простите. Опять не могу. Программа проанализировала ваши истории. В статусе «Несчастье» отказано по всем пунктам.

И в а н ы ч . Да ты издеваешься, ирод? Это не несчастья? Да ты с мое поживи, помучься!

С е м ё н . Простите, а из-за чего вы, собственно мучитесь? Из-за своего пьянства, вранья, воровства?

И в а н ы ч . Да ты, да ты... Жулики. Жулики! Милиция! Грабят!

Семён. Успокойтесь, пожалуйста. Никто вас не грабит. Мы как договорились?

Иваныч. Как?

Семён. Вы нам рассказываете о своем несчастье, мы вам — деньги. Так?

Иваныч. Так! Так!

Семён. Да только где несчастье у вас? Михаил Иванович? То, что вы по своей слабости к алкоголю сами свою жизнь порушили? Так это не несчастье называется. Вы думаете, мне денег жалко? Не жалко. Хотите — забирайте.

Иваныч резко тянется за деньгами, но Семён убирает их дальше.

Только на что они пойдут? Вот знаете, случай недавно был. Аня вот не даст соврать, да? Нашел как-то мужичишка, ну вроде вас, пятьсот рублей на дороге. Случай! Здорово, да?

Иваныч. А то!

Семён. И нашел-то где? У киоска с лотереей. Ну вот бы взять ему и купить одну. Почему бы нет? Давно мечтал. А он что?

Иваныч. Что?

Семён. Пошел и на все деньги водки купил, да и спился до смерти. Вот тебе и случай. И ведь у вас сколько таких случаев было, да? Любили рисовать, говорите? Так вспомните, почему мы в училище не пошли, хотя там для вас уже место держали?

Иваныч. Да на кой оно мне художником быть? Разве ж это работа?

Семён. А вы представьте, что пошли бы, а? И вот, к примеру, сегодня были бы главным художником города.

Иваныч. Какого? Ты уж брещи, брещи да не забрехивайся!

Семён. Ну вот о чем и говорю. Все ваша лень, Михаил Иванович.

Иваныч. Да ты чего разошелся? Ты мне зубы не заговаривай, давай! Издевается над старым больным человеком!

Я из-за вас на толкучку не пошел! Это как его прибыль упущена! Гони деньги!

Иваныч вскакивает и с кулаками идет на Семёна, но его перехватывает Аня. Она кладет Иванычу руки на плечи, улыбается и спокойным голосом успокаивает его.

А н я . Иваныч, миленький. Ты же не такой. Ты добрый. Не будь хуже, чем ты есть. Ты добрый.

И в а н ы ч *(словно под гипнозом)*. Добрый.

Аня отходит от него, Иваныч будто мучительно вспоминает что-то, берет свои сумки, идет к выходу.

И в а н ы ч . А управу я на вас все равно найду!

Иваныч уходит. Семён устало падает на стул.

А н я . Ого. Вот это проповедь. А ты юморист, оказывается. А? Семён? Недооценивала я тебя. Довел бедного мужичка. Ты чего? 25 процентов — то что нужно!

С е м ё н . Да ну его. Знаю я таких. «Какой же я несчастный», а сами... От этого толку мало будет. Провозимся весь день, а потом окажется, что он несчастлив, потому что боится, что рептилоиды власть в стране захватят. Что ты с этим делать будешь?

А н я . А мне его жалко.

С е м ё н . Жалко? Ну иди подбрось пятьсот рублей!

А н я . Дурачок ты, Семён. Книг начитался, а людей не понимаешь.

Семён хочет что-то ответить, но в комнату стучат со стороны дома и сразу же в дверях появляется Егор.

Е г о р . Здорово, молодежь. *(Скороговоркой спрашивает, не дожидаясь ответа.)* Чай будете? Нет? Ну ладно. *(Заходит в комнату, осматривается.)* Валентина говорит, вы у нас жильцы

не просто так перекантоваться, да? Лабораторию открыли какую-то. Лягушек режем?

Семён. Нет.

Егор по-хозяйски садится за стол, берет радар в руки.

Егор. А это что за аппарат? Промилле мерит?

Семён. Можно? *(Забирает прибор, убирает в портфель.)*

Нет, это для исследования.

Егор. И что исследуете? Мож я вам подсоблю?

Семён. Спасибо, мы как-нибудь сами.

Егор *(Ане)*. Че он у тебя злой такой? В завязке? Я вот когда в завязке был тоже на всех бесился.

Семён. Извините, но мы тут работаем.

Егор. О как! Работаем! Важный какой. А ты красавица, что расскажешь? Или тоже злюка, как этот?

Аня. А вы давно здесь живете?

Егор. Да не так чтобы. Приехал тут недавно. Туристом, знаешь.

Аня. Серьезно? А тут есть какие-то достопримечательности?

Егор. Ну насчет этого не ахти что, конечно. Но вот люди тут занятные. Только ради людей уже одних и стоит приезжать, да? Вы же тут тоже не на гипсового Ленина глядеть?

Аня. Мы проводим исследование человеческого счастья.

Егор. Ого. Не хило. И как? Наисследовали уже?

Семён. Если бы нам не мешали, может быть, уже и «наисследовали».

Егор. А ты че такой нервный, а, Семён? Бухтит, бухтит. Я что, рожей не вышел, что ты со мной так разговариваешь?

Аня. Вы не обижайтесь, пожалуйста. Мы просто с дороги и сразу к работе. Семён. Скажи что-нибудь.

Семён пожимает плечами, садится за ноутбук.

Егор. Важный ты гусь, Семён. А далеко не уплывешь. Как же ты будешь счастье оценивать, когда сам его в глаза и не видел? Это как глухому рецензию на оперу писать. Или слепому — на картину. Профанация.

Семён. А вы у нас, значит, о счастье все знаете?

Егор (*достает из кармана яблоко, смачно откусывает*). Именно так.

Семён. Ну тогда чего мы, Ань, ерундой страдаем? У нас тут эксперт. Можно работу-то и сворачивать.

Егор. А я о чем. Не на то поле вы, детки, зашли.

Семён. Ну что ж, поведайте дилетантам, я весь во внимании.

Егор. Пожалуйста. (*Принимает торжественную позу*.) Счастье — это... Хотя, что я тут перед тобой распинаюсь. Сбирал, собирал по крупицам, да вынь и положь теперь.

Семён пренебрежительно хмыкает и отворачивается.

Или сказать? Че, Ань? Сказать?

Аня. Ну скажите, заинтриговали.

Егор. Ну так вот. Счастье — это получение максимальной пользы от превращения чего-либо или кого-либо в собственность. И еще лучше, если при этом кто-нибудь другой будет страдать от отсутствия этого.

Аня (*после паузы*). Это как? Вы серьезно?

Егор. А ты скажи, нет?

Аня. Нет.

Егор. Да брось. Счастье человек только тогда по-настоящему испытывает, когда добудет его силой, отнимет, поборется. Человеку нужно стать его полноправным единоличным собственником. Держать его в руках, чтобы оно билось, пульсировало, вырывалось, да не могло. Если этого нет, то и в чем счастье?

Аня. Вы шутите?

Егор. Нет.

Семён. То есть счастье нужно присвоить, отнять, иначе это не счастье?

Егор. Именно так.

Аня (*улыбается*). Да нет же, вы шутите. Я же вижу, глаза смеются.

Егор пожимает плечами, грызет яблоко.

Семён. А счастье материнства? Оно тоже там пульсирует, вырывается?

Егор. Нашел пример. Это же собственничество чистой воды.

Аня. Да как так? Любовь матери. Какая в ней может быть корысть?

Егор. Ой ли? «Мы поели», «Мы проснулись»: ребенок собственность матери с первых минут. Только тогда он приносит ей счастье, когда является ее собственностью, которой можно управлять, направлять, исправлять.

Аня. Вы перевираете.

Егор пожимает плечами.

Ну это же не так! Счастье быть родителями, счастье быть здоровым, счастье любить!

Егор. Вы просто душка.

Семён. На кого ты распыляешься? Не видишь, он просто над тобой смеется.

Егор. Ну хорошо. Не нравится вам мой вариант, расскажите свой. Давай, Семён, атакуй!

Семён. Больно надо.

Егор. Да, собеседник из тебя никудышный. Особенно, когда ты знаешь, что не прав. (*Поднимается со стула.*)

Семён. Ну допустим. Счастье — это собственничество, обладание. Так?

Егор. Абсолютно верно.

Семён. А если человек, наоборот, что-то отдает, чем-то жертвует?

Егор. Зачем?

Семён. Донор отдал кровь, чтобы спасти чужого человека.

Егор. И счастлив.

Семён. Счастлив.

Егор. Потому что...

Семён. Потому что помог.

Егор. То есть стал спасителем. Получил статус донора. Плюс уважение окружающих.

Семён. Никто об этом не знал.

Егор. Хорошо. Плюс хорошую самооценку и ощущение важности, значимости. Пойдет?

Семён. Так все можно вывернуть.

Егор. Так в этом-то и суть. Приглядишься к любому маломальскому счастью и увидишь, что в основе его лежит именно обладание. А еще лучше — обладание через насилие. В той или иной форме. *(Ставит руку на стол.)* Померимся?

Семён. Что?

Егор. Вы же ученые, все через опыты, верно?

Аня. И что за опыты?

Егор. Давай руку. Или боишься проиграть?

Семён. Я вижу, к чему вы ведете.

Егор. Какой ты молодец. Давай, не заставляй девушку думать, что ты боишься.

Семён. Она так не думает.

Егор. Люблю самоуверенных. С ними забавней всего. Ну же. Что я тут как дурак, так и буду сидеть?

Семён. Сидите.

Егор. О! За это я вас и не люблю. Скучные вы, аж скулы сводит. Неужели не интересно? Ну, Семён. Побудь человеком.

Семён все же садится за стол, ставит руку, Егор сцепляет ее со своей.

Семён. Поехали.

Егор и Семён борются. Их лица вроде бы равнодушные, но видно, что Семёну эта борьба дается с трудом, одновременно с этим в нем просыпается азарт. Егор улыбается. Практически пригибает руку Семёна к столу, но потом резко расслабляет хватку, и Семён укладывает его руку на стол.

Семён. Ага!

Егор. Поздравляю.

Семён. И что?

Егор. Ничего. Ты отобрал мою победу и поменял ее на свое счастье. Ну же признай. Не сейчас, когда ты уже понял, в чем была уловка, но тогда на секунду ты наслаждался победой надо мной. Ты был счастлив.

Семён. Дешевый трюк.

Егор. Совсем с тобой скучно. Смотреть как Валентина огурцы колготками подвязывает и то забавнее. *(Идет к выходу, открывает дверь. Оттуда звучит музыка.)* О, слышите? Слышите? Обожаю эту мелодию. А вы любите музыку?

Аня пожимает плечами.

Ну тут уж грех усидеть. *(Подходит к Ане, протягивает руку.)*
Позвольте вас, мадам, на танец.

Аня. Что? Серьезно?

Егор. Не откажите старику. Слышите, какие прелестные звуки? Сто лет не танцевал с прекрасной дамой. Тем более клиентов у вас пока нет, Семён ушел в себя от обиды и разочарования, а жизнь так коротка!

Аня оглядывается на Семёна, нерешительно поднимается, протягивает Егору руку. Он тактично ее принимает, обнимает Аню и осторожно увлекает ее в неторопливый и, возможно,

старомодный танец. Семён копается в ноутбуке, делая вид, что не замечает этого действия.

А н я . А вы хорошо танцуете.

Е г о р . С такой партнершей грех испортить танец.

Делают несколько па. Семён бросает на них косой взгляд.

А вы когда-нибудь задумывались, что это все так похоже на жизнь?

А н я . Нет. Правда?

Е г о р . Чтобы она началась, тоже нужны двое. Нужна такая же страсть и плавность. А потом жизнь идет от фигуры к фигуре, скользящими движениями, да так, что забываешь, что она проносится. Ты мечешься в разные стороны, но рисунок твоего танца все равно один. Ты меняешь партнеров и попутчиков, ты отдаешься его музыке, ритму, пульсу, ты кружишься, кружишься, кружишься. Это выживание или инерция? Все ближе и ближе кульминация, все больше надрыва в твоих движениях, а потом резко, без предупреждения обрывается музыка, неважно, дотанцевал ты или на середине задуманного. Все. Резко. Замирает. Останавливается. Что это? Что это, Аня?

А н я . Смерть?

Е г о р . Смерть.

Семён смотрит на застывшую пару, на словно загнипнотизированную Аню, вскакивает, резко отводит ее от Егора и усаживает на диван.

С е м ё н . Хватит. Кажется, вы у нас задержались.

Е г о р . Действительно. Что это я. Такая бестактность. Но вы, Анечка, были бесподобны.

Егор уже идет к двери, ведущий в дом, как на пороге входной двери появляется Надежда. Сначала на ее лице робкое выражение.

Надежда. Извините, можно? Я увидела вашу вывеску. Я все правильно поняла? Вы покупаете несчастья?

Семён не успевает ответить, его опережает Егор.

Егор. Правильно-правильно, Надежда Богдановна, вы по адресу.

Лицо Надежды резко меняется. Она удивлена, потом в ее выражении появляется холодность и раздражение.

Надежда. Егор Константинович. Не ожидала. Какой сюрприз.

Егор. Я люблю сюрпризы, вы же знаете.

Надежда. Что же вы тут забыли?

Егор. Да так, путешествую. Знаете, убегаю от тоски и уныния. Недавно потерял двух прелестных (*задумывается*) щеночков. Кормил их кормил, выхаживал. С улицы буквально подобрал.

Аня. И что случилось?

Егор. Украли. Представляете? Нагло, бесцеремонно, из-под самого носа.

Аня. Как жалко.

Егор. И не говорите.

Надежда. И что же вы намерены делать? Здесь их ищете?

Егор. Ну с ними уже все понятно, к новому хозяину привыкли, а вот замену им найти можно было бы, как думаете? Говорят, здесь как раз заводчик один есть. Думаю обратиться.

Надежда. Не стоит.

Егор. Ну попытка не пытка. Тем более предложение у меня отличное. Авось и согласится. Ну что же. Не буду вам мешать. Мое почтение.

Уходит.

Семён. Вы с ним знакомы?

Надежда. Долго он с вами беседовал? Хотя неважно. Я здесь не по его душу.

Семен. Присаживайтесь. Увидели нашу вывеску?

Надежда. Да. *(К ней вновь возвращается растерянный вид.)*

Да. Очень вы меня заинтересовали.

Семен. Очень рад. Что же вы хотите рассказать?

Надежда. Да. Рассказать. Знаете, у меня есть племянник.

Семен. Так.

Надежда. Он очень несчастен.

Семен. Извините, вы хотите рассказать о его несчастье? Не о своем?

Надежда. Да-да. Так можно?

Семен. То есть, вы хотите продать его несчастье?

Надежда. Нет, не продать. Вы не думайте, я не из-за денег. Просто он очень гордый, понимаете? Он сам не придет к вам. А это очень-очень нужно!

Аня. А что с ним такое?

Надежда. Никак он свое счастье не найдет.

Семен. А что же он ищет?

Надежда. Сам не знает. Думает, что карьеру. Все в Москву хочет переехать, да не решается. Хотя разве в карьере-то счастье? Может быть, в семье, как вы думаете?

Семен. У кого как.

Надежда. Бывает, приду к нему, а он сидит один в квартире и в стену смотрит. Никого рядом нет. Хоть бы кошку завел. Сердце кровью обливается.

Семен. Но вы же понимаете, без его разрешения мы все равно ничего сделать на сможем?

Надежда. Да? А почему?

Аня. Свобода воли.

Надежда. Конечно-конечно. Но может быть, можно как-нибудь так, мягко. Как думаете? Попробуйте, пожалуйста. Мне кажется, ему сейчас нужно только чуть-чуть помочь, и он поймет,

что счастье рядом. Буквально рядом, понимаете? Я знаю, он даже если его в лоб увидит, не поймет. Да того и гляди, откажется. Подскажите ему, пожалуйста.

Семён. Ну, не знаю. Ань? Давайте. Ничего не обещаю, но мы попробуем. Где нам его найти?

Надежда. Он оператором работает на местном телеканале. Павлик. Вы его сразу узнаете.

Семён. Хорошо. Что-то еще?

Надежда. Нет-нет. Это все, что мне нужно. Спасибо, милые.

Подходит к двери.

А с соседом все-таки будьте осторожней. Так себе человек. Поверьте.

Аня. До свидания!

Надежда уходит.

Ну что? Еще один глухарь?

Семён. Думаешь?

Аня. Ладно раньше, когда мы не здесь работали. И то там был устный запрос. Какой-никакой. А так прийти и навязаться. Не знаю. Не нравится мне это.

Семён. Да ладно тебе, не видишь? Племянник несчастен, и она из-за этого тоже! Поработаем с ним, а она бонусом пойдет...

Аня. Ты серьезно думаешь, что прокатит? Два по цене одного?

Семён. А кто запрещал? Запрещали? Не запрещали. Экономим время и побыстрее отсюда свалим.

Аня. И что будем делать?

Семён. Надо теперь найти этого стеногляда и выяснить, в чем дело.

В комнате раздается звонок скайпа. Семён ошарашенно оглядывается, потом смотрит на экран ноутбука.

Семён. Это что?

А н я (*подходит ближе*). Видимо, она нам звонит.

С е м ё н. Куда звонит?

А н я. Ты когда здесь последний раз был-то? Не каменный век. (*Нажимает кнопку приема вызова, говорит, обращаясь к экрану.*) Добрый день!

Г о л о с (*женский с властными нотками*). Да смотрю, не такой уж и добрый. Упустили клиента.

С е м ё н. Мы. Это. Мы. Здравствуйте. Нет вот только что заключили договор. Хороший договор.

Г о л о с. Я в курсе. А дед вам чем не угодил?

С е м ё н. Он не подходит. Не подходит для наших целей.

Г о л о с. «Все они на одно лицо», да? Семён, Семён. Опять твоя гордыня.

С е м ё н. Ну почему? Эти же вот двое лучше деда?

Г о л о с. Ну смотри, Семён. Ваш выбор, конечно. Только учтите, что это последний шанс. Прямо последний, понимаете? И, ребята, неприятно это говорить, но ваше дело еще раз рассмотрели. И, в общем. Даже о переводе речи быть уже не может. Не справитесь — увольнение со всеми последствиями. Вы же знаете, какими?

С е м ё н. Подождите. Как увольнение? Вы же говорили только перевод!

А н я. Нас уволят? Навсегда?

Г о л о с. Извините, но я тут ничем помочь не могу. Обстоятельства изменились. Конкуренты.

С е м ё н. У вас конкуренты, а крайние мы? Это нормально вообще?

А н я. Успокойся, Сёма. (*Собеседнику.*) Все правда так серьезно?

Г о л о с. Да, простите, ребята. Это давняя история. Старые долги. Мне жаль, что это все на вас выпало. Поэтому или справляетесь и возвращаетесь к своим обязанностям, или нам придется с вами проститься. Навсегда.

Повисает тяжелая пауза.

Семён. Что-то еще изменилось или только это?

Голос. У вас 33 часа.

Семён. 33 часа? На три человека? Вы издеваетесь? Это невозможно.

Голос. Возможно. Я в вас верю. Вы отличные работники. Все получится. Удачи, ребята.

Слышится звук отключения. Семён, не мигая, смотрит в экран.

Аня. 33 часа не так уж и мало. Успеем. Семён? Семён? Ты чего? Не молчи, пожалуйста.

Семён. Это конец.

Аня. Да с чего ты взял? Времени еще уйма!

Семён. Очнись, Аня! 33 часа на три человека! Ты соображаешь? Как можно отработать трех человек за 33 часа? У нас тут что? Сеансы коллективного внушения? Или мы сейчас пойдём на людей кидаться и насильно их сюда тащить? Не знаешь?

Аня. Успокойся, пожалуйста. Своей паникой ты точно ничем не поможешь.

Семён. Какая же ты умная, аж страшно. Да если бы не ты, ничего бы этого вообще бы не было! Зачем ты ко мне привязалась?

Аня. Успокойся, Сёма. Не привязалась, ты сам меня к себе в группу взял вообще-то.

Семён. Как же я тебя... Как же...

Из портфеля раздаётся писк электронных часов. Аня с удивлением подходит к портфелю и достаёт из них часы.

Аня. Тут время. 33 часа запустилось.

Семён (*падает на стул*). Прекрасно. 33 часа до ада.

2

Телестудия. Вокруг Журналиста, сидящего за столом, суетится Помощница, настраивает камеру Оператор.

Помощница. Я уже не знаю, куда звонить! Его нигде нет!
Журналист. Звони куда хочешь, но чтобы через минуту он был здесь!

Помощница. Но я уже...

Журналист. Чтобы был здесь, Женя! Здесь.

Помощница. Поняла.

Журналист. Дурдом. Паша, что там?

Оператор. Рябишь. Ты зачем это нацепил? Галстука нет другого?

Журналист. Какого нахрен другого, Паша? Снимай, что есть.

Оператор. Рябить будешь, говорю. Иди, там в шкафу валяется парочка.

Журналист. Валяется! Не канал, а богадельня! Давно отсюда надо было свалить. *(Уходит искать галстук.)*

Оператор. Ну и валил бы. Звезда!

В студию заходит Семён. Осматривается.

Семён. Извините, Павел? Вы Павел?

Оператор. Например. Чего хотим?

Семён. Я хотел бы с вами поговорить. Есть очень важное дело.

Оператор. Не, не. Я завязал. Это больше не ко мне.

Семён. Что? Нет, я не. Я не знаю, о чем вы. У меня к вам деловое предложение. По работе.

Оператор. Свадьба? Тридцатка за восемь часов, сорок — за десять. Если без мордобоя.

Семён. Да нет, послушайте.

Семён замечает, что в студию зашла Маша.

А вы? Как вас там?

Маша. Маша.

Семён. Вы что тут делаете?

М а ш а . Извините. Просто я слышала, случайно, правда. Что вы сюда идете. А я тут работала когда-то. Думаю, вдруг помогу. Аня согласилась.

С е м ё н . Куда же без Ани! *(Оператору.)* Ну так вот.

В студию залетает Помощница, замечает Семёна и буквально цепляется в него.

П о м о щ н и ц а . Слава Богу, вы пришли! Мне на проходной сказали! Я уже думала все! Вы в этом будете? Вас попудрить?

С е м ё н . Вы о чем? Вы что вообще?

П о м о щ н и ц а . Это так здорово, что вы пришли! *(Ведет к дивану перед камерой, усаживает, вешает микрофон.)* Вы первый раз у нас? Не волнуйтесь, он профессионал. Он все сам спросит, что надо. А что не надо, не спросит. Удобно?

С е м ё н . В чем дело? Маша, вы ее знаете?

Заходит Журналист в новом галстуке.

П о м о щ н и ц а . Игорь Алексеевич! Психолог пришел! Он здесь! Я нашла!

Журналист жмет растерянному Семёну руку.

Ж у р н а л и с т . Вы вовремя. Я думал, буду один выкручиваться, как обычно. Чаю? Кофе? Нет? Женя свали из кадра.

Помощница отходит в сторону.

С е м ё н . Это ошибка, наверное. Я не психолог. Что тут происходит вообще?

Ж у р н а л и с т . Психиатр? Аппаратка, слышите, поправьте в титрах!

С е м ё н . Да нет же, я...

П о м о щ н и ц а . Пять секунд до эфира! Четыре, три, две, одна.

Звучит заставка передачи. Журналист лучезарно улыбается, ожидая, когда появится в кадре. Оператор дает отмашку.

Журналист. Добрый день! С вами Игорь Шпеньков и наша традиционная субботняя передача «Больной вопрос». Сегодня мы поговорим о печальной статистике нашего города — каждая вторая семейная пара распадается спустя несколько лет брака. В чем же причина? Ответить на этот больной вопрос нам сегодня поможет психолог, психиатр местной психологической консультации Иван Аркадиевич Шило. Иван Аркадиевич, так в чем дело?

Семён ерзает на стуле, ища глазами помощи у Маши.

Иван Аркадьевич? Может быть, люди несознательно идут на столь серьезный шаг — создание семьи?

Семён смотрит на него дикими глазами.

Да? Или социум.

Семён. Социум.

Журналист. Да, что социум?

Семён. Что социум?

Журналист (*приторно улыбается в камеру*). А мы напомним спонсора нашей программы.

Звук заставки. Журналист пододвигается к Семёну.

Ты чего, Аркадичь? Это прямой эфир! Его весь город смотрит! Раздупляйся уже в самом деле!

Семён. Да никакой я вам не Аркадичь! Вы хоть смотрите, кого в эфир тащите! Я вообще по другому делу пришел!

Журналист. Что? (*Помощнице.*) Это кто вообще, Женя? Что у нас за бардак опять?

Помощница. Но Игорь Алексеевич! Он сказал...

Журналист. Что он сказал? Свои мозги тебе на что? Есть там что-нибудь, а? Так все, хватит с меня этого идиотизма.

Бери своего психолога и выметайся вместе с ним! Слышишь? Что за богадельня, господи! Паша сколько у нас до эфира?

Оператор. Сорок секунд.

Журналист. Мужик, вали из кадра, не беси меня. И так уже идиотом выставил.

Семён смотрит на Женю, которая столбом стоит на месте и рыдает, глотая слезы. Маша прибнимает ее, пытаясь утешить. Семён вздыхает.

Семён. Ладно, стойте. Все в порядке. Не надо никого увольнять. Я это, пошутил так. Я — кто там вам нужен? Психолог. Шило.

Журналист. Не понял.

Семён. Я пошутил. Психологический прием для разрядки обстановки. Неудачно вышло, согласен. Я действительно психолог. Все нормально. Давайте, эфир, там, или что, снимаем!

Журналист дежурно смеется, оставаясь серьезным.

Журналист. Прием?

Семён кивает. Помощница с надеждой смотрит на него.

Ну смотри, мужик. Если и сейчас гнать будешь, я после эфира тебя просто урою. Понимаешь? Я реально не шучу. Это мой эфир, понимаешь?

Семён. Понимаю.

Журналист. Ну смотри. Аппаратка, мы готовы.

Оператор отсчитывает на пальцах время до эфира. Звучит заставка.

Журналист. А я напоминаю, что сегодня мы обсуждаем больной вопрос нашего города — невероятное количество разводов. Объяснить этот феномен нам поможет Иван Аркадьевич — психолог со стажем. Да, Иван Аркадьевич?

Семён. Да. Невероятное количество разводов в нашем городе. Невероятное. Да. И почему?

Журналист. Ну это мы у вас и хотели бы узнать.

Семён. А я вам скажу.

Журналист. Скажите.

Семён. Скажу.

Журналист. Ну так и?

Семён. Люди женятся, потом разводятся. Зачем? Почему бы им просто не жить вместе счастливо? Разве сложно? А все просто. Да, все просто. Вы все ждете, что кто-то должен вас сделать счастливыми. Не вы кого-то, а вас кто-то. Да? И женятся люди только поэтому, чтобы найти счастье там, в другом человеке.

Журналист. А искать надо...

Семён. В себе.

Журналист. Вот так вот, просто в себе.

Семён. А где еще? Не пробовали? Послушайте! А почему вообще кто-то должен делать вас счастливыми? Почему всегда какие-то костыли, подсказки? Кто-нибудь думал, что он и сам может постараться, нет? Но и это даже ладно. Вы ведь и помощь не принимаете! Причем так искренне молитесь, так просите, а когда вам эту помощь дают, разве возьмете? Нет, вам надо ее сначала разжевать, в рот положить, да захлопнуть. Только тогда. Вот даже теперь, да? Вот покупаем несчастья. Куда уж еще лучше? И кто идет? Одному этот виноват, другому — тот. Хоть бы один признался, что сам все испортил. Хоть бы один принял помощь!

Журналист. Подождите, что покупаете?

Семён. Несчастья. Несчастья, да. О! А много вас людей смотрит? Покупаем несчастья. В розницу. Только без потери близких и без вреда для других. Тут недалеко. Маша, какой адрес?

Журналист. То есть к вам можно прийти и продать свое несчастье? Как сапог? Или банку с помидорами?

Семён. Нет, немного сложнее. Поговорим сначала, все проверим, потом будем заключать договор.

Журналист. И все-таки я не понимаю. Можно вот так просто к вам прийти и избавиться, не знаю, от надоедливой тещи? Переехать в новый дом? Папой Римским стать?

Семён. Вряд ли кто-то из ваших земляков несчастен именно по этой причине. Но тут все надо проверить.

Журналист. Поразительно. Чем только нынешние психологи не промышляют. И много скупили?

Семён. Пока ни одного.

Журналист. Вот видите, друзья, как мы все хорошо живем, оказывается. Даже несчастья на продажу ни у кого не оказалось. Все в порядке. Так что не жалуйтесь.

Семён. Нет, я бы не сказал. Но пока да, не очень верят. Люди вообще мало во что верят.

Журналист. А потом вы куда их деваете? Складируете или на экспорт в более благополучные страны?

Семён. Это уже другая история. Продавцам знать не обязательно.

Журналист. Простите, но звучит, как что-то inferнальное. Кровью расписываться не надо?

Семён. Ничего сверхъестественного. Просто бизнес.

Свет в студии начинает бешено мигать, а затем резко гаснет.

Слышен умирающий звук выключившейся аппаратуры.

Оператор. Опа.

Журналист. Это что такое? Паша? Какого черта?

Оператор. А я-то тут при чем?

Журналист. Аппаратка! Женя! Что это за фокусы?

Женский голос по динамик. Кажись, свет отрубил. Шас ребята посмотрят.

Журналист. А эфир? Эфир что? Все?

Оператор. Накрылся медным тазом.

Журналист. Прекрасно! Просто прекрасно! Где я работаю, господа?

Слышно, как журналист пробирается куда-то в темноте, роняя предметы. Оператор включает фонарик на телефоне — освещает ему и Помощнице путь, выхватывая из света и Семёна, спокойно сидящего в кресле, и Машу, с ужасом озирающуюся по сторонам. В этот момент ее видит и Семён. Свет вместе со звуками отдаляется.

Семён. С вами все в порядке? Маша? Маша?

Маша. Да.

Семён. Вы что, боитесь темноты?

Маша. Нет.

Семён. Я слышу. Подождите. Я подойду.

Слышно, как Семён роется в портфеле и извлекает оттуда фонарик. Он освещает себе дорогу и подходит к Маше, впечатавшейся в стену.

Смотрите, ничего же страшного. Видите? Просто что-то сломалось.

Маша. Ага. Можно, возьму вас за руку?

Не дожидаясь ответа, Маша впивается в его руку, словно хватается за последнюю надежду спастись.

Семён. Ой, ого. Ну как? Лучше?

Маша. Я не знаю, почему так страшно, когда темно.

Семён. Неопределенность — ничего сверхъестественного.

Семён неловко, но нежно обнимает Машу. Она доверчиво смотрит на него.

Маша. А вы не боитесь темноты?

Семён. Боюсь, только не такой.

Маша. А какой?

Семён. Гораздо более масштабной и неисправимой.

Включаются рубильники. Свет возвращается. Маша и Семён смотрят друг на друга. Но когда Семён замечает, что Оператор подходит к камере, выключает, сматывает кабель, он оставляет Машу и бежит к нему.

Оператор. Все, капец эфиру. Игорек там в шоке пока валяется. Так что можно гулять.

Семён. Подождите. У меня все-таки к вам разговор.

Оператор. Че, реально? И мое несчастье решил купить?

Семён. Ну я хотел зайти в другой стороны, но если в лоб, то да.

Оператор. Нормалек. Почем брать будешь?

Семён. Десять тысяч.

Оператор. Налом?

Семён. И без налоговых отчислений.

Оператор. Вообще норм. И че делать надо?

Семён. Подпишите, пожалуйста, этот договор. А я пока что кое-что проверю.

Оператор. Не, я ниче подписывать не буду. Знаем мы таких. Тебе подпись, а ты повестку или еще какую гадость.

Семён. Ну как знаете, у меня, между прочим, было очень заманчивое предложение из Москвы.

Оператор. Какое?

Семён. Не могу сказать, пока не подпишете. Да вы почитайте, хотя бы. Там же все очень прозрачно.

Семён протягивает Оператору ручку и договор.

Оператор (*пробегает его глазами*). Ну допустим.

Семён. Подпишите?

Пока Оператор ставит подпись, Семён измеряет радаром уровень его счастья. Высвечивается 50 процентов.

На грани, но пойдет.

Оператор возвращает договор.

Оператор. И дальше че?

Се мён. У меня есть большие связи в столице. В том числе на различных телеканалах. Так вот на одном из них сегодня как раз освободилась должность старшего оператора.

Протягивает ему документ.

Оператор. Это че?

Се мён. Заявление о приеме на работу с подписью директора. На ваше имя. Позвоните сегодня и завтра можете паковать чемоданы.

Оператор. Чет как-то стремно. Ты этот, что ли? Сатана?

Свет в студии опять мигает.

Реально прям берут на работу? Не кинут?

Се мён. Звоните, хоть сейчас. Вас ждут.

Оператор. Охренеть.

Се мён. Ну как, вы счастливы?

Оператор. А то.

Се мён. Ну-ка.

Направляет на него радар. Высвечивается 65 процентов.

Не очень благодарно с вашей стороны, но ладно. Сойдет.

Оператор. Э, подожди, а деньги?

Се мён. Что?

Оператор. Ну деньги за несчастье-то?

Се мён. Ну да. Об этом люди не забывают.

Достает из портфеля деньги, передает оператору.

Удачи в столице.

Се мён жмет Оператору руку и уходит. За ним робко идет Маша.

Маша. Пока, Павлик!

Оператор. Слушай, Маш! А че, он правда так вот скупает несчастья? Мож я еще кого подгоню?

Маша. Да. Это такой ученый! Они у нас целую лавку открыли для экспериментов. Конечно, приводи, он только рад будет!

Оператор. А мне процент.

Маша. Ты в своем репертуаре!

Маша смеется и уходит. Оператор в очередной раз пересчитывает деньги, потом смотрит на документ, набирает номер. В этот момент к нему подходит Помощница. Перекладывает какой-то снимок из кармана в руку. Оглядывается по сторонам, затем жарко его обнимает.

Оператор. О, Женек, смотри, что выдали! В столицу перебираюсь!

Помощница. В смысле?

Оператор. Мозгоправ работу подогнал, представляешь? Да еще и налика подкинул!

Помощница. Ты уезжаешь? Когда? Насовсем?

Оператор. Совсем, конечно. Что я тут забыл?

Помощница. А я? Мы же с тобой хотели... Ты же обещал.

Оператор. Ну да. Это все клево было. Но, малыш, ты же понимаешь? Ты, конечно, давай подгребай через время. Только не сразу. Понимаешь, пока устроюсь, там связи, то се. Да? А ты тоже смотри, получится, давай. Пересечемся еще, договорились?

Помощница. Пересечемся?

Оператор. Ну. Только без обид, да? Все клево было, правда. Но такой шанс реально раз в жизни. Ты же понимаешь. Окей? Без обид? Без обид?

Помощница не реагирует.

Вот и хорошо. Умница. Я тебе звякну, как устроюсь. А щас извини, надо созвониться, пока не увели. Офигеть. Вот это сvezло!

Оператор уходит, набирая номер. Помощница смотрит ему вслед словно остекленевшим взглядом. Из ее руки выпадает снимок УЗИ.

3

Лавка. Аня сидит за столом, на диване с чашкой чая в руках — Хозяйка.

Х о з я й к а . И вот так всю жизнь, Анечка. Батрачишь, батрачишь и хоть бы кто слово доброе сказал. Хоть бы поблагодарил.

А н я . А как же Маша?

Х о з я й к а (*машет рукой*). Да что с нее взять? Я говорю — иди в техникум, чего год терять? Там стипендия какая-никакая. Парни опять же. Нет, готовится к институту своему. А кормить кто должен? Я!

А н я . И в этом ваше несчастье?

Х о з я й к а . Не железная я уже всех на себе тащить. Папаша ее, слава богу, с шеи слез, да убрался с дружками своими. Сын в городе пристроился. Только эта лошадь здоровая осталась. Хоть бы замуж вышла, что ли?

А н я . И есть кто на примете?

Х о з я й к а . Да мужиков куча. Но ей же прынца подавай. От всех нос воротит. Говорит, слишком земные. Представляешь? А я говорила, что толку от ее книжек не будет. Только голову забила себе дурью всякой. Ведь что от мужика надо?

А н я . Что?

Х о з я й к а . Чтоб не шибко пил и деньги в дом нес.

А н я . И все?

Х о з я й к а . А что еще? Или ты тоже из этих?

А н я . Каких?

Х о з я й к а . Феминисток? Тебе-то хорошо рассуждать — мужик уже под боком.

А н я . Кто? Семён что ли? (*Заливается смехом.*) Да уж, нашли парочку.

Хозяйка. Так если вы не вместе, чего живете тут в одной комнате? Или он из этих?

Аня. Феминисток?

Хозяйка. Нет, других.

Аня. Мы с ним просто коллеги. Да и терпеть он меня не может, кажется. Я ему карьеру испортила. А ему кроме нее ничего и не надо.

Хозяйка. И женщин?

Аня. Вообще ничего.

Хозяйка. Ну это дело наживное. Каждому мужику семья нужна. Без нее они это... как ты там недавно говорила? На «Д».

Аня. Деградируют.

Хозяйка. Во-во. Дегидрируют бог знает до чего, а потом уже лишь бы какую, да под бок.

Аня. Вы такая милая!

Хозяйка. Записала-то историю мою?

Аня. Записала.

Хозяйка. И что твоя ЭВМ выдает?

Аня. В чем-то другом ваше несчастье. Не в Машинном техникуме.

Хозяйка. А про батраченье записала?

Аня. Да. Тоже не подошло.

Хозяйка. Дрянь у тебя машина. Разве железяка человеческую душу поймет? Так и знала, что ерундой занимаетесь. Еще небось и БАДы толкаете, да?

Аня. Нет, мы тут только про счастье.

Хозяйка. Странные вы какие-то. Пахать на вас надо.

Настойчивый стук в дверь — это пришел Иваныч.

О, очередной страдалец. Ну принимай!

Аня. Подождите! А договор?

Хозяйка. Ой, дочка. Это без меня. Посмеялись и будет.

Хозяйка уходит. Аня открывает дверь, Иваныч стремительно входит в комнату.

Аня. Михаил Иванович! Я очень рада, что вы вернулись!
Иваныч. Рада! Я покажу вам! Рада! Вот! Меня защищает закон! Ясно вам? *(Трясет книжечкой в руке.)*

Аня. А что это?

Иваныч. Закон о правах потребителя! Я — потребитель!
И у меня есть права!

Аня. Хорошо, вы только успокойтесь, пожалуйста. Может быть, чаю?

Иваныч. Чаю? Ты мне тут не прикидывайся! Где этот жулик? Я на вашу шайку полицию натравлю! Решили, можно над старым больным человеком издеваться? А шиш вам! Я управу найду!

Аня. Михаил Иванович, вы абсолютно правы. Нельзя нам было так с вами поступать.

Иваныч. Правы! Конечно, правы! Жулики! Всю душу вывернули и выпихнули под зад! А я на толкучку не пошел! Упущено!

Аня. Пожалуйста, садитесь. Давайте поговорим!

Иваныч *(тяжело садится на стул)*. О чем мне с тобой говорить! Наехало. То браслеты магнитные продают, то пояса из шерсти. А ты им всем верь.

Аня. Вы расстроены, что не получили денег?

Иваныч. Ну а как? Вы же тут понаобещали, я всю душу! А вы. Жулики.

Аня. Поверьте, мы сами были бы рады заплатить, но для этого нам нужно знать настоящую причину вашего несчастья.

Иваныч. А то что было? Корову украли? Украли! С работы...

Аня. Да-да, я помню. Но, видите, наша программа говорит, что причина в другом.

Иваныч. Да как так можно? Чтобы компьютер какой-то за меня знал, что у меня болит! Если бы про внутренности

какие-то, я бы поверил еще. А про душу? Как она знает? Шарлатаны вы.

А н я . Это не простая программа. Она, как бы сказать? Немного волшебная.

И в а н ы ч . Тю! Детский сад. Еще про домовят мне тут расскажи.

А н я . Ну вот смотрите. *(Садится за ноутбук.)* Пишем. Михаил Иванович. 52 года. Выбираем пункт «Мечты». Вот. Забавно. Вы мечтаете спеть с Пугачевой?

И в а н ы ч . Еще чего! Где ты это там откопала? *(Роется в кармане, достает очки, надевает.)* Покажи!

А н я . Вот — видите? А еще тут написано, что в десять лет вы мечтали о лыжах с зайцем. А в семнадцать посетить Третьяковскую галерею.

И в а н ы ч *(пугливо отстраняется, потом шепотом)*. Так вы того? Этого? Из этих что ли? Структур?

А н я *(смеется)*. Нет. Просто мы знаем чуть-чуть больше, чем остальные.

И в а н ы ч *(с понимающим видом)*. Ну я так и понял. Понятно теперь. Хорошо. *(Оглядывается, что-то ищет, потом говорит в ноутбук.)* Претензий не имею. До свидания. *(Идет к выходу.)*

А н я . Подождите! А можно еще несколько минут с вами поговорить?

И в а н ы ч . О краже мела? *(Говорит в ноутбук.)* Я все верну!

А н я . Нет, о вас.

И в а н ы ч . А зачем обо мне? Учился, служил, не привлекался. Пока.

А н я . А почему вы все-таки больше не рисуете? Вы же иногда достаете холст, краски купили недавно. А нарисовать так и не решаетесь.

И в а н ы ч . А вы и это знаете? *(Садится.)* Не рисовать только. Писать. Художники не рисуют. Пишут. Да, тридцать пять лет я ничего не писал.

А н я . Почему?

И в а н ы ч . А зачем?

А н я . Красиво же было!

И в а н ы ч . И что? Одной картиной больше, другой меньше. Какая кому разница?

А н я . А раньше была кому-то?

И в а н ы ч . Да было как-то. Только что теперь ворошить? Можно я пойду?

А н я . А если бы сейчас этот человек был рядом? Вы бы рисовали?

И в а н ы ч . Человек? Человек. Да он и теперь недалеко. Только что толку? *(Смотрит в сторону двери в хозяйский дом.)*

А н я *(следит за его взглядом)*. А. Так значит... Подождите! *(Быстро печатает на ноутбуке.)*

И в а н ы ч . К картине с душой надо подходить. Когда в душе пусто, то и на холсте ерунда.

А н я *(смотрит в экран)*. Точно! Говорила же Семёну! *(Иванычу.)* А хотите, я вам помогу?

И в а н ы ч . В чем?

А н я . Вернуть вдохновение?

И в а н ы ч . На что оно мне? Ты лучше Зорьку верни. Больше проку.

А н я . Нет, ну давайте попробуем! Пожалуйста! Милый Иваныч! *(Обнимает его.)*

И в а н ы ч *(смущенно)*. А что? Опять приборами тыкать будете?

А н я . Нет-нет! Давайте просто поговорим! Закрывайте глаза!

И в а н ы ч . Зачем?

А н я . Закрывайте, не бойтесь.

И в а н ы ч *(закрывает глаза)*. Ну.

А н я *(говорит нежным вкрадчивым голосом и комната наполняется волшебным солнечным светом и образами из ее слов)*. Вспомните себя в семнадцать лет. Помните? У вас еще была

такая рубашка оранжевая в цветочек. Вы ее очень стеснялись. Но другой нарядной не было. Помните?

И в а н ы ч. Рубашка? Подожди. Ха! А действительно, помню! А ты откуда знаешь?

А н я. Не отвлекайтесь! Вернитесь туда! Лето! Теплый ветер. У вас в руках ромашки. Целый букет! Вы сорвали его на поле за бабушкиным домом. Вы недавно были у нее — помогали по хозяйству. А теперь идете домой. Чувствуете?

И в а н ы ч. Что?

А н я. Запах летнего поля? Летают бабочки, одна села на ваш букет. Желтые крылья.

И в а н ы ч. И черные пятнышки. Я ее смахнул, она и улетела.

А н я. А вы смотрели ей вслед. А вот вы уже возле дома. Этого дома. Вы стоите под окном и пытаетесь положить букет на подоконник. Но окно открывается и выглядывает...

И в а н ы ч. Валя.

А н я. Валя. У нее длинные темные волосы и огромные глаза. Она забирает букет из ваших рук, подносит его к лицу и смеется.

И в а н ы ч. Надо мной. Да.

А н я. Нет! Ей нравится букет. И нравитесь вы. Только вы почему-то смущаетесь и убегаете.

И в а н ы ч. Я испугался.

А н я. Почему вы убегаете?

И в а н ы ч. Я думал, она надо мной смеется.

А н я. Нет! Когда она нюхала цветы, бабочка села ей на нос.

И в а н ы ч. Бабочка?

А н я. Да! А Валя хочет с вами поговорить, но вы ушли. И потом все время ее избегали.

И в а н ы ч. А потом я в армию ушел. И картины забросил. Раньше только ее портреты и писал.

А н я. А они еще остались?

Волшебство заканчивается. Иваныч открывает глаза.

И в а н ы ч . Да. Помру. Кому они останутся? Мыши сгрызут, наверное.

А н я . А вы подарите их ей!

И в а н ы ч . Да ты шутишь, дочка? Мы с ней тридцать пять лет и не разговариваем. Так «здрате — здрасте» по праздникам. Куды я ей принесу?

А н я . А вы попробуйте! Вот увидите, она будет очень рада!

И в а н ы ч . *(встает)*. Нет, дочка. Это, конечно, все занято было. Но ты мне больше душу не трави. *(Молчит.)* Пошел я.

А н я . Но как же? Вы же ее так...

И в а н ы ч . Пошел я. *(Уходит.)*

А н я . Иваныч! Подождите, Иваныч! *(Разочарованно хлопает дверью.)* Господи, ну почему никто не хочет быть счастливым?

Аня в отчаянье падает на диван, затем подходит к своим дорожным чемоданам, нежно гладит один и он как будто откликается — что-то трепыхается внутри.

Мои хорошие. Мои милые. Простите меня. Я стараюсь! Я очень стараюсь!

Аня обнимает чемодан, но тут тишину в лавке нарушают безумно хлопающие ставни, слышен бешеный вой ветра, затем подключается тревожный звук сирены. В комнату забегают Хозяйка.

Х о з я й к а . Закрывай окна! Дверь! Дверь закрой!

А н я . Что это? Что за звук?

Х о з я й к а . Ураган! По радио сказали! Штормовое предупреждение! Господи! Где же Маша?

А н я . Подождите, там же на улице Иваныч!

Х о з я й к а . Кто?

А н я . Михаил Иванович. Его надо вернуть!

Х о з я й к а . Куда ты? Унесет!

Аня выбегает на улицу, где уже разыгрался нешуточный ветер.

Замечает Иванаыча, ухватившегося за дерево и беззащитно стоящего под порывами. Аня берет его за руку и заводит в дом. Запирает дверь. Иваныч не мигая смотрит на Хозяйку, которая пытается дозвониться до дочки по телефону.

И в а н ы ч . Я. Я пойду лучше.

А н я . Да вы что! Сядьте, пожалуйста!

Х о з я й к а . Не берет! Не берет телефон! Господи, да что это такое! Что с ней будет!

А н я . Не переживайте, с ней Семён. Она за ним на телестудию пошла. Все будет хорошо!

Х о з я й к а . Да откуда ты знаешь! А если их деревом прибьет! А если... *(Плачет.)*

Аня садится за ноутбук, что-то судорожно ищет. А Иваныч, кажется, вышел из ступора. Он подходит к Хозяйке, нежно берет ей за руки.

И в а н ы ч . Не волнуйся, Валюша. Я ее найду!

Иваныч целует руки Хозяйки и выбегает из дома навстречу стихии. Хозяйка бросается к двери, но Аня ее удерживает.

Х о з я й к а . Миша! Миша!

Они садятся на пол возле закрытой двери. Обнимаются. Свет мигает и постепенно угасает.

А н я . Господи, спаси и сохрани!

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

1

Скромная музыкальная школа. За стенами воет ветер. Тускло мигает свет. Сторож освещает путь фонариком и провожает Семёна и Машу по коридорам. Семён спотыкается о декорации.

Сторож. Не сломай. Это на праздник.

Маша. Еще раз спасибо, что разрешили нам у вас спрятаться.

Сторож. Давненько такого урагана не было. Даже и не припомню когда.

Семён *(вновь натывается на что-то)*. А это вообще что за здание? Склад?

Сторож. Сам ты склад. Музыкальная школа. Склад.

Заходят в актовый зал. На сцене множество инструментов, декорации какого-то спектакля, пюпитры и т. п.

Вот тут посидите.

Маша. Надо же. Ремонт так и не сделали. Я несколько лет здесь училась.

Семён. На чем?

Маша. Фортепиано. Три раза бросала. *(Садится за старенькое пианино на сцене.)*

Семён *(садится в первый ряд зрительного зала возле небольшого столика, видимо, поставленного для какого-то жюри)*. Так не нравилось?

Маша. Сначала маленькая была, не попевала за всеми. А потом не хотела учиться только потому, что брат выучился. Или еще что-то. Не помню.

Сторож. Там если хотите, я чай согрел.

Маша. Ой, было бы здорово! Спасибо!

Сторож уходит. В портфеле Семёна противно пищат часы.

Семён. Стойте!

Сторож. А?

Семён. Можно я? Я просто...

Семён быстро достает радар, направляет на ничего не понимающего Сторожа, который закрывается от него руками. Раздается писк. На экране бо процентов.

Сторож. Это чегой щас было?

Семён *(разочарованно)*. Ничего. Извините. Это так.

Маша. Это он температуру на расстоянии мерит.

Сторож. О! И у дочки такая фиговина есть. Ну и сколько?

Семён. 60.

Сторож. Градусов? Сломана че ли?

Семён молчит. Сторож пожимает плечами и выходит. Маша смотрит на поникшего Семёна.

Маша. А вы умеете играть на чем-нибудь?

Семён. Что?

Маша. Играете?

Семён. Нет.

Маша. А любите, когда играют?

Семён *(равнодушно пожимает плечами)*. У нас там много музыки.

Маша. Где?

Семён. Там. Где я работаю.

Маша. А вы давно работаете? Вам сколько? Двадцать семь? Тридцать? Ой, или это неприлично спрашивать? Или только у женщин неприлично?

Семён. Я на тридцать выгляжу? Ну и ладно. А работаю давно, да. Очень давно.

Маша. А почему решили стать ученым? Родители захотели? Или это вы сами?

Семён. У нас распределение.

Маша. Это как раньше? Мама рассказывала.

Семён. Почти.

Сторож *(заходит с двумя разномастными чашками чая, ставит на стол, роется в кармане)*. Вот у меня тут еще конфетки. Вкусные. *(Высыпает на столик, садится рядом с Семёном.)* Сыграешь что-нибудь, дочка? *(Берет одну чашку в руки, серпает.)*

Маша. Ой, да я уже, наверное, и не помню ничего.

Сторож. Да мы слушатели неприхотливые. Да, доктор?

Маша. Сейчас надо вспомнить. Вы пока на меня не смотрите, я попробую. *(Открывает крышку пианино и пытается вспомнить простенькую мелодию.)*

Сторож. Вот это ураган, да? Давно такого не было.

Семен. Он скоро пройдет.

Сторож. Дай бог.

Молчат.

Помню, на рыбалку как-то поехал. Злой, как собака. Дома с женой поцапались, удочку сломал. На небе — ни облачка. Полпути проехал, как налетит! Мать моя! Я под дерево большое такое сел. А ведь нельзя, да? Молния ударить может. Но дождь тогда быстро прошел. А ветер покрутил, покрутил, да и утих. Я из-под веток вылезая — там веток поналомало! Думаю, какое счастье, жив остался. И за рыбой не поехал. Приехал, жену сразу поцеловал. Вот как, да, интересно? Напугай человека, да ему и самая серая жизнь счастьем покажется. Расставаться с ней не захочет.

Семен. И что? По-вашему, в этом и счастье?

Сторож. Э, счастье. Думаешь, рецепт какой-то есть? Я когда молодой был, все денег хотел заработать побольше. Думал, накоплю, дом большой куплю, машину. Вот счастье и будет. Там работал. Сям работал. Все копил. Жене не давал тратить. Она платье новое просит, а я говорю — старое заштопай и носи. Плюшкин, одним словом. А вот года три как назад жена заболела, лежит, всю колотит. Июль на дворе, а ее колотун бьет. В шубе, варежках — все одно. Врачи руками разводят. Таблетки не помогают. Так я все эти деньги был готов тут же костром сжечь, чтобы ее согреть. Часами сидел, на ее руки дышал, как пес в ногах лежал — грел. Она меня по голове треплет, и вот мне и счастье. А сейчас бы не только деньги, всю жизнь свою отдал за эту ее улыбку, за минутку, когда в ногах ее лежал. *(Молчит.)*

А вот недавно внучок. Малюсенький совсем. Вот такой. Комочек. Ему родители, значит, пытаются надеть слуховой аппарат. Ну, глухенький, к несчастью, уродился. А он ревет бегулой. Не понимает ничего. Лезут чего-то к нему. Больно, может быть. Ушко. И вдруг все-таки надели, и он хотел опять кричать, но замер. Первый раз чего-то услышал, понимаешь? Они ему: «Сынок, сыночка», а он замер и вроде плакать хочет, а и любопытно. Что-то новое. Необычное. И слова такие теплые. Не понимает, конечно, ничего. Но голос родителей. Успокоил его, что ли. И вот разулыбался. Представляешь? Но так, от растерянности больше. Что-то новое он открыл. Как мир целый. И вот что? Осчастливили его? Или ему и так хорошо было, пока не понял, что чего-то не хватает? Как думаешь? Вот видишь. Сложно. Счастье. Откуда ж узнаешь. Оно в таких вот вещах. Не поймешь, в дело не прицепишь.

Маша подобрала свою мелодию и закончила красивым ярким аккордом.

М а ш а . Вам понравилось?

С т о р о ж . Молодец. Пианистка! Пей чай. Остыл почти.

Сторож забирает свою кружку и уходит. Семён сидит в задумчивости. Маша подбегает, берет чай, греет руки о кружку.

М а ш а . А вам понравилось?

С е м ё н . Что?

М а ш а . Как я играла.

С е м ё н . Да. Да, конечно. И все-таки, я не понимаю.

М а ш а . Чего?

С е м ё н . Вот он. Жену потерял, внук глухой, работает сторожем на пять тысяч. И счастлив. *(Поднимает голову.)* Это какая-то шутка?

М а ш а . О, вы все об этом? Честно говоря, смешной вы.

С е м ё н . Смешной?

Маша. Да, вы только не обижайтесь. Придумали себе работу какую-то важную — в чем человеческое счастье. Спрашиваете всех, приборами какими-то меряете. Расстраиваетесь вот.

Семен. Не понял. И что здесь смешного?

Маша. Да что все это уже давным-давно все известно.

Семен. Серьезно? Может быть, просветите?

Маша. Ну вот что вы у людей выспрашиваете? Почему они несчастны. Так?

Семен. Так.

Маша. Чтобы им это дать и они типа такие все сразу счастливые по радуге убежали. Да?

Семен. Вы утрируете.

Маша. Ну, так, в общих чертах же. И вот, значит, у вас волшебный чемоданчик — одному то, другому се. А ведь людям вообще все не это надо!

Семен. Да? И вы знаете, что же?

Маша. Ну вот смотрите. Кто-то очень одинок. *(Подбегает к скрипке, проводит смычком по струнам.)* Ему нужны друзья. Так? Кому-то нужны деньги. Чтобы сыпались, сыпались монетки. *(Играет на треугольнике.)* Кто-то хочет жить в блеске и славе. *(Играет на пианино.)* Еще один просит о карьере. *(Выдает несколько нот на контрабасе.)* И вы всем хотите дать, что они просят?

Семен. Если они станут от этого счастливыми.

Маша. А вот и нет.

Семен. Почему?

Маша. Потому что они не это просят. Или просят это, но для счастья им нужно не это. Понимаете? Нет? Все — и слава, и деньги, и здоровье — это партии в концерте. Но если не будет главного *(Маша берет в руки дирижерскую палочку)* — дирижера, все рассыпается. На отдельные ноты, аккорды.

Семен. И что же главное?

Маша. А вы послушайте! Слышите?

Все сыгранные Машей партии сливаются в одну красивую нежную мелодию. Маша дирижирует невидимым оркестром и кажется такой воздушной, невесомой. Она кружится в танце и затем увлекает за собой и Семёна. Он словно очарован этой музыкой и, наконец-то, отбрасывает свой серьезный рабочий образ. Музыка подходит к завершению, танец замедляется.

Семён. И кто же дирижер?

*Маша держит его за руки, смотрит в глаза и хочет ответить.
Но тут в зал забегают растрепанный Иваныч.*

Иваныч. Нашел! Нашел! Слава богу! Уф!

Иваныч пытается отдышаться и не замечает, какой волшебный момент он разрушил. Семён смущенно отходит от Маши. Она подбегает к Иванычу.

Маша. Что? Что такое? Что-то с мамой?

Иваныч. Нет, нет. Я тебя искал. Она так волновалась. Нашел. Ураган же. Ой. *(Падает на кресло.)* Думал, помру по дороге.

Маша. С нами все в порядке. А мама где? Дома?

Иваныч. Ой. Дома, дома. Там и ураган стих уже.

Семён. Отлично. Можем идти.

*Семён забирает свой портфель с кресла, смахивая на пол треугольник, который оставила Маша. Тот издает прощальный жалостливый «дзынь». Семён оглядывается на него, о чем-то задумывается на секунду, но потом спешно выходит из зала.
Маша помогает Иванычу встать.*

Маша. Да вы герой! *(Целует его в щеку.)*

Иваныч *(смущенно).* Да ладно, не надо. *(Задумывается.)*
Ты лучше мамке своей так Расскажи.

Уходят.

Новость на ТВ:

Ведущий. «Покупаем несчастья. Потерю близких не предлагать». Именно такая вывеска красуется на скромном доме в Березовом переулке. Но вопреки заявлениям предприниматели-филантропы не торопятся расставаться со своими деньгами. За все время работы осчастливить кого-то им так и не удалось. А началось все с того, что вчера их организатор ввел в заблуждение журналистов и появился в нашем эфире под видом психолога Ивана Аркадьевича Шило. Однако оказалось, что к этой затее уважаемый психотерапевт не имеет отношения.

Титр: Иван Шило, профессиональный психотерапевт

Какие несчастья? Это просто шарлатан. Ни один уважающий себя психолог не будет делать таких громких заявлений. Помощь пациенту — долгий, кропотливый труд. Нельзя дать ему пять рублей и избавить от проблемы.

Ведущий. Разобравшись в ситуации, люди выяснили адрес настоящего скупщика несчастий. Однако и здесь их не ждало избавление от всех проблем.

Титр: Олег Трубов

Я ему, ля, с горем своим, а он в меня трубкой, ля, тычет! А потом, ля, не подходит, говорит! Не сильно я несчастный, понимаешь? Да он бы, ля, с мое пережил!

Титр: Арина Кельева

Бардачье! Пенсионеров не пропускают. Через два часа еле влезла! А он мне — сама виновата. *(Плачет.)* Никого у меня нет, все бросили. А этот говорит — вы этим и радуетесь, что все сволочи. Вам же от этого и счастье. Куда смотрит мэр наш, а? Навезли Мавродей в город и наживаются на людях!

Ведущий. Как оказалось, даже таким необычным способом помочь всем не удастся. По нашим сведениям, ни один посетитель волшебной лавки так и не получил долгожданного счастья. Люди требуют справедливости и угрожают неприимчивым приезжим расправой. Несколько человек силой пробрались в дом и только подоспевший наряд полиции смог их обезвредить. На месте работает и наш корреспондент Игорь Шпеньков.

Прямое включение:

Журналист *(на фоне толпы)*. С самого утра толпа горожан штурмует дом, в котором некие приезжие предприниматели открыли лавку, где, по их заверениям, можно продать свое несчастье. Но так как чуда так и не произошло, сейчас вокруг дома собрались не столько те, кто пытается попасть на прием, сколько возмущенные и обманутые горожане. Опасаясь беспорядков, правоохранительные органы оцепили здание. Но люди не расходятся. Давайте узнаем, что они думают об этом.

Журналист подходит к одному из людей в толпе.

Здравствуйте. Представьтесь пожалуйста. *** Давно вы здесь стоите? *** Купили ли ваше несчастье? *** Как думаете, полиция должна как-то среагировать на эту ситуацию? *** Спасибо.

Подходит к другому участнику.

Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. *** Как вы думаете, зачем эти люди хотят скупить несчастья? *** А вы бы хотели им продать свое? *** Спасибо!

Любопытно, что среди митингующих есть и житель необычного дома — Егор Вода, который так же, как и горе-предприниматели, снимает здесь комнату. Егор Константинович, что вы можете сказать о своих необычных соседях?

Егор. Мутные ребята. Мутные.

Журналист. Вы общались с ними? Что они рассказывали о своей затее?

Егор. Якобы ученые они. Эксперимент проводят. Но я-то сразу смекнул что к чему.

Журналист. И чем же они, на ваш взгляд, занимаются?

Егор. Шпионы. По-любому. Зомбируют народ своими штуками, а потом вербуют на Америку.

Журналист. А вас они пытались завербовать?

Егор. Да только бы попробовали. У меня нюх на жулье, я к ним даже не подходил.

Журналист. А что, если они действительно хотят сделать нечто необычное и скупить у людей их горе?

Егор. Тогда чего к ним толпа ломится, а они ушами хлопают? Написали — «покупаем», покупайте! Я не против! Где вот мое счастье, например, да? Чего они мне его не дали? Эй! Жулье! Где счастье? Где счастье? Требуем счастья!

Егор начинает заводить толпу и скандирует вместе с ней.

Счастья! Счастья! Счастья!

Из дома, оцепленного полицией, выходит Семён.

Семён. Ну давайте! Давайте, берите счастье! Ну же? Вы тут все у нас побывали, да? И что? Не хотите признаться, что нет у вас никакого горя, кроме того, что нельзя исправить? Нет? Думаете, я бы вам не помог? Мы бы не помогли? Да быстрее, чтобы свалить от вас уже! Но, извините, виноват, что вы сами прекрасно справляетесь — даже самые жуткие вещи превращаете в свое счастье. Радуетесь, наслаждаетесь им. Жалость к себе, злоба, обида. Это ведь такой повод поманипулировать другими, да? И вот ваше счастье! Вот!

Зло срывает вывеску, бросает ее на землю и заходит в дом, хлопая дверью. Егор смотрит на это с торжеством. Затем обращается к толпе.

Егор. Вот так, ребятки, Кажись, пора по домам. Расходимся, расходимся.

Журналист. Как мы видим, после такого эмоционального выступления организатора лавки люди постепенно покидают переулочек. Мы будем следить за развитием событий. *(Камера выключается.)* А может быть, он не так уж и неправ? Как думаете?

Егор. Я думаю, что у твоего оператора была бы красивая дочка.

Журналист. Что?

Егор. Спасибо за работу!

Жмет Журналисту руку и идет в сторону дома.

Оператор *(собрав оборудование)*. Че он тебе зачесывал?

Журналист. Да маразматик. Пошли. Достала меня эта история уже, если честно. А ты когда, кстати, сваливаешь?

Оператор. В пятницу.

Журналист. Да, свезло.

3

Комната-лавка. Беспорядок, разбросанные вещи, мебель. Оглушительная тишина, лишь слышно, как неумолимо тикают часы. Аня сидит на диване. Семён недвижно на стуле, закрыв лицо руками.

Аня. Сем...

Семён. Не надо, Ань. Ты сама все знаешь.

Из чемоданов на полу раздаётся стук, будто кто-то хочет вырваться оттуда. Аня смотрит на Семёна, который никак не реагирует. Потом подходит к одному из чемоданов. Нежно гладит его.

Аня. Тише-тише, мои родные. Все будет хорошо. Все будет хорошо.

Заходит Егор.

Егор. Привет, молодежь! Че кислые такие? Такой кипеж вокруг вас! Мадонна позавидует! Вы видели, сколько народу было, да? Вот это встряхнули вы деревеньку.

Семён. Что вам нужно?

Егор. Да ничего. Так приободрить хотел по-отечески. А почему не вышло-то ничего, а? Реально, че ли, все счастьем пышут? Даже та бабка?

Семён молчит.

Аня. Это вообще непонятно. Ну правда, столько людей, а никто не подошел. Просто удивительно.

Егор. Говорил я вам, не то ищете. Всех и так уже все устраивает, все свое оттяпали. А хотите, я вам помогу?

Аня. Как?

Егор. Да есть у меня на примете несколько любопытных экземпляров. Вот им реально бы куда несчастье свое деть. Там все прям чин-чином. Прям несчастные на сто процентов.

Аня. Правда? Семён? Что думаешь? Семён? Сходим?

Семён. Нет.

Аня. Ты что. Реальный шанс же.

Семён. Три часа, Аня. Ты правда, думаешь, что за три часа мы что-то еще успеем?

Аня. А почему нет? Все же бывает!

Семён. За тридцать часов мы не смогли сделать ничего. А то, что сделали, оказалось пшиком. За тридцать часов мы не подписали ни одного путного договора. А те, кому мы могли бы помочь, отказываются это сделать. Тридцать часов, Аня.

Аня. Ну и что?

Егор. Семён явно потерял мотивацию. Мне даже кажется, что он уже сдался. Семён, вы меня расстраиваете. Столько огня и потенциала вначале — и такой бесславный конец.

Семён. Да идите вы!

Вскакивает и выходит из дома.

Егор. Ого. И часто с ним так?

Аня. Первый раз.

Егор. Ну а вы-то, Анечка, понимаете, что я вам дело предлагаю?

Аня. А откуда вы их знаете?

Егор. Старые знакомые. Ну что, сходим?

Аня *(колеблется)*. Хорошо. Да, давайте.

Собирает вещи в портфель и вместе с Егором выходит из дома, на улице, сталкиваясь в дверях с Иванычем, который несет в руках букет роз и небольшой запакованный сверток.

Иваныч. О, привет Анютка-незабудка. *(Егору.)* Зрасте.

Аня. Здравствуйте, Михал Иваныч. Извините только, я очень спешу.

Иваныч. Беги, беги, дочка. *(Егору.)* До свидания.

Егор. Старый черт.

Аня. Что?

Егор. Ничего, потом разберемся. Пошли.

Уходят. Иваныч осматривается по сторонам, потом неуверенно стучит в дверь, то и дело откашливаясь, как перед торжественной речью. Затем делает шаг к двери, ведущей в дом, но из нее как раз выходит Хозяйка. Иваныч застывает на месте, беззвучно шевелит губами. Потом еле хватает воздух.

Иваныч. Извините, ошибся дверью.

Разворачивается, чтобы уходить.

Хозяйка. А я смотрю, тридцать пять лет прошло, а все те же приемчики, Миша. Далеко бежишь?

И в а н ы ч . Я, да, ты не думай. Я вот. Розы! *(Деревянными руками протягивает Хозяйке букет.)*

Х о з ь я й к а . Спасибо. Что за повод?

И в а н ы ч . Это с моего огорода. *(Протягивает сверток.)*
И это тоже тебе.

Х о з ь я й к а . Тоже с огорода?

И в а н ы ч . Нет, это я сам.

Х о з ь я й к а . Чего это ты меня вспомнил? Вроде не именины, не юбилей. *(Открывает сверток и с удивлением смотрит на свой небольшой портрет.)*

И в а н ы ч . Это я давно уже. Если хочешь, сейчас тоже могу. Хотя ты не изменилась совсем. Зачем краски переводить, да? Как была, так и осталась такой. Неземная.

Х о з ь я й к а . Ты хряпнул с утра, что ли?

И в а н ы ч . Валентина. Валюша. Это. Уф. Я. Я такой дурак. Простишь идиота? Я же думал, ты надо мной смеешься, а ты бабочку, оказывается. И тридцать лет коту под хвост. Зачем? Что видел, а? Только ты меня на этом свете и держишь. Пройду мимо твоего дома, гляну, свет горит, уже хорошо. Спокойно. А теперь. Ну да, немолодые мы уже. Но ведь жизнь идет еще, а? Еще можно же для себя пожить, да?

Х о з ь я й к а . Ты о чем, Миша? Что за словоблудство, прости господи.

И в а н ы ч . Валентина! Я, торжественно. Вот, да. *(Забирает у нее обратно букет, с трудом, но встает на колени.)* Валентина, выходи за меня замуж!

Х о з ь я й к а . Ты чего, старый? Спятил? Какой замуж?

И в а н ы ч . Люблю я тебя, Валя. Прости за все идиота.

Иваныч протягивает букет и замирает, смотря в пол. Хозяйка смотрит на него с недоумением.

Господи, да скажи, хоть что-нибудь. Помру же сейчас на месте.

Хозяйка . Дурак. Столько лет, дурак, потеряли.

*Хозяйка также встает на колени, охватывает ладонями лицо
Иваныча, не веря, качает головой, но затем жарко обнимает его.
Цветы летят на землю.*

4

*Зеленый парк. Семён сидит под деревом, закрыв глаза. Глубоко
дышит. Оглядываясь по сторонам, появляется Маша. Замечает
Семёна, бежит к нему.*

М а ш а . А вы здесь! А я везде вас искала.

С е м ё н *(смотрит на нее устало, безразлично)*. Зачем?

М а ш а . Все так страшно было, да? Эти люди. Как с ума по-
сходили все.

С е м ё н . Извините, что принесли вам столько неудобств.

М а ш а . Да что вы. Я же не про это.

Молчат.

А что теперь? Вы уже закончили свой эксперимент?

С е м ё н . Видимо.

М а ш а . Вы уедете?

С е м ё н . Да.

Молчат.

М а ш а . Я так хотела, чтобы у вас все получилось. Я думала
получится. Это же вроде так просто, да? Помните? Вчера? Там?
В актовом зале?

С е м ё н . Помню. Мы танцевали еще. Что-то про дирижера.

М а ш а *(расплывается в улыбке)*. Помните. Да, танцевали.
Я вам еще говорила...

С е м ё н . А знаете, мне понравилось.

М а ш а . Что?

С е м ё н . Как мы танцевали. Я никогда не танцевал.

М а ш а . Да?

С е м ё н *(опять возвращается к грустным мыслям)*. Теперь не до танцев.

М а ш а . Ну почему же? Подумаешь, один проект не получился. Сколько их еще будет, да? Но надо же дальше жить. О себе подумать.

С е м ё н . У меня на это будет целая вечность.

М а ш а . А хотите? Прямо сейчас и станцуем? А?

С е м ё н . Что? Как это?

М а ш а . А что? Никого же нет. Вы стесняетесь?

С е м ё н . Да не знаю. Глупо как-то. И музыки нет.

М а ш а . Почему? Сейчас!

Достаёт из кармана телефон, быстро находит трек и включает красивую мелодию.

С е м ё н . Забавно. Это любимая песня вашей мамы.

М а ш а . Да! А вы откуда знаете?

С е м ё н . Иваныч сказал, ну то есть Михал Иваныч. Я ему забор помогал ставить после урагана. А вы знаете, что он в вашу маму влюблен?

М а ш а . Та еще новость. Да этого только они вдвоем и не знают. Мне даже бабушка про них рассказывала. Только зачем они это столько лет елозят? Смешные. Я вот думаю, зря.

С е м ё н . Не то слово.

М а ш а . Кстати! Аня говорила, мама никак не хотела согласия давать на вашу работу. Так я ее упростила! *(Достаёт из кармана бумагу, протягивает Семёну.)* Вот, она подписала договор! Вам это поможет?

С е м ё н . Уже нет. Но спасибо большое. *(Возвращает бумагу.)*

М а ш а . Ну тогда что? Станцуем? Белый танец?

С е м ё н *(смотрит на горизонт)*. Да что, в самом деле, давайте.

Семён неловко пытается встать в пару, Маша помогает ему, кладет его руку к себе на талию, вторую берет в свою. Медленно танцуют.

Знаете, а мне даже здесь понравилось.

М а ш а . У нас? Правда?

С е м ё н . Все, конечно, ужасно, но были хорошие моменты.

М а ш а . Какие?

С е м ё н . Ночь очень красивая отсюда. Звезды. Никогда их так не рассматривал. И цветы. У Иваныча во дворе такие яркие. Я раньше не замечал. И вчера, когда вы играли. И сейчас. Почему-то мне от всего этого очень тепло.

М а ш а *(расплывается в улыбке)*. А я всегда знала, что вы такой. Не знаю, как сказать. Как будто не отсюда. Я таких никогда не встречала. И за Женю вы так трогательно заступились. Я не сказала сразу, но... не знаю, не умею я говорить.

С е м ё н . Неважно. Слова не всегда лучший вариант общения. Давайте просто танцевать.

Семён и Маша танцуют еще некоторое время, потом медленно останавливаются, смотрят друг на друга. Маша с любовью и ожиданием, Семён со смешанным чувством, которое он не может понять. Но затем он бросает взгляд на горизонт. Вновь становится серьезным.

Радуга.

М а ш а . А? Где? Ой, а как это? Дождя же не было! Ну это к счастью! Загадывайте желание!

С е м ё н . К счастью, да. К счастью. Мне пора, Маша.

М а ш а . Вы куда? Домой?

С е м ё н . А где Аня? Она же не там, да? *(Прислушивается к себе.)* Ее там нет.

М а ш а . Что-то случилось?

С е м ё н . Плохо, плохо, плохо. Это очень плохо. Мне нужно ее забрать. Где же она? Где? *(Останавливается, глубоко дышит, закрыв глаза, потом словно что-то осознает.)* Это очень плохо.

Убегает.

М а ш а . Семён, вы куда? Семён.

Убегает за ним.

5

Телестудия. Никого нет. Заходят Егор и Аня.

А н я . Я не знала, что у вас здесь есть знакомые. Думала, вы приезжий.

Е г о р . У меня везде много хороших знакомых.

А н я . Мы кого-то ищем?

Е г о р . Они сами придут. *(Молчат.)* А почему ты вообще этим занимаешься?

А н я . Чем?

Е г о р . Пытаешься сделать людей счастливыми.

А н я . Ну, это моя работа.

Е г о р . Нравится?

А н я . Очень.

Е г о р . А разве это честно?

А н я . Что?

Е г о р . Помогать им. Упрощать жизнь. Разве люди не должны сами разобраться, как им быть счастливыми?

А н я . Всем иногда нужна помощь.

Е г о р . За помощь приходится расплачиваться.

А н я . Ну не всегда же.

Е г о р . Всегда, Анечка, всегда.

Входит Помощница с бумагами в руках. Направляется к столу ведущего, замечает Аню и Егора.

П о м о щ н и ц а . Вы кого-то ищете?

Е г о р . Доброго утра. Вас ищем, Женечка, вас.

П о м о щ н и ц а . Мы знакомы?

Е г о р . И да, и нет. Но разрешите представить вам мою спутницу — это Аня.

Девушки кивают друг другу в знак знакомства.

Недавно ее компаньон Семён сделал вашему знакомому предложение, от которого тот не смог отказаться.

Помощница. Вы о чем?

Егор. Работа в Москве. Припоминаете?

Помощница поджимает губы.

Помощница. И что?

Егор. Вы не думайте, он вовсе не хотел вас обидеть. Просто хотел как лучше. Кто же знал, что это и на вас так отразится.

Помощница. Извините, я не понимаю, о чем вы. Мне надо работать.

Уходит.

Егор. Хотите его вернуть?

Помощница останавливается.

Аня вам поможет. Прошлый раз вышло недоразумение. Им самим не на руку, что предложение Семёна сделало несчастной вас.

Аня. Так поэтому его не засчитали?

Егор делает жест «тише».

Помощница. И что вы хотите предложить?

Егор. Отправляйтесь вместе с ним.

Помощница. Куда? На какие деньги? Да и не нужна я ему там. Сам сказал.

Егор. А мы сделаем так, чтобы была нужна. И вам хорошо, и он счастлив, и Анечка довольна. Да, Анечка?

Аня. Я не совсем понимаю, что вы хотите.

Егор. Приворот. Банально. Пошловатенько. Но работает, зараза.

А н я . Вы что? Так нельзя. Это против воли.

П о м о щ н и ц а . Давайте.

Е г о р . Что?

П о м о щ н и ц а . Я согласна. Что нужно сделать? Сколько это стоит?

А н я . Нет, подождите. Нам нельзя так. Мы так не делаем.

Е г о р . Зато я делаю. И вас научу. Ну же, вам же так нужны эти два счастливых договора. А в итоге (*хлопает себя по животу, подмигивает*) три человека станут счастливыми. А? Я все сделаю сам, просто заключите с ней договор.

А н я . Но ребенок же. Он вообще ничего не знает. Против воли. Против. Кто вы?

Е г о р . Какая вы скучная. Вот и помогай. Не жалко тебе себя, пожалей Семёна. Разве он выдержит? Разве сможет жить, потеряв все?

П о м о щ н и ц а . Так что? Что делать?

Егор выжидающе смотрит на Аню. Она колеблется, но потом достает из портфеля договор.

А н я . Мы должны подписать договор. Это стандартная процедура. Вы продаете нам свое несчастье и делегируете право его исправить.

Е г о р . Фу, какая бюрократия у вас всегда.

Забирает договор из рук Ани, протягивает Помощнице.

Подчеркни здесь, а дальше мы сами.

Помощница ищет ручку, собирается подписать договор. В это время в студию забегают Семён и Маша.

С е м ё н . Стой! Стой! Стой!

Подбегает к Помощнице и выхватывает у нее документы.

П о м о щ н и ц а . Эй!

Семён. Аня, ты что делаешь? Ты вообще не соображаешь?

Аня стоит словно в трансе.

Семён. И ты, старый хрыч, здесь. Я так и знал, что это ты. Что тебе нельзя доверять. И как сразу просмотрел.

Егор. Ой, скукота. Я так понимаю, все всем довольны. Всех все устраивает, и к увольнению и ссылке (*изображает стремительный полет куда-то вниз*) чемоданы упакованы. Кстати, про чемоданы. Жалко, жалко чемоданы. Придется сжечь.

Аня. Семён, он же нам поможет! Три человека! Сразу! Времени почти нет!

Семён. Аня. Милая. Посмотри на меня. Посмотри. (*Берет ее за руки.*) Это не так. Он все врёт. Нас это не спасет, только сделает хуже. Да даже если бы и спасло. Ты бы хотела таким способом? Хотела?

Аня (*приходя в себя*). Нет. Извини, извини, пожалуйста.

Обнимает Семёна и плачет.

Помощница. А я как? Вы же обещали!

Егор. В другой раз, дорогая. Эти идиоты все испортили.

Семён. Мне, правда, очень жаль. Но все будет хорошо. Правда.

Помощница. Да идите вы! Это вы! Вы виноваты!

Убегает.

Егор. Два идиота. Выкручивайтесь теперь сами.

Уходит.

Семён. Аня, там радуга.

Аня. Пора?

Семён. Да.

Слышен звук таймера.

Лавка. Аня поднимает чемоданы, Семён достаёт из портфеля деньги, пересчитывает, оставляет на столе. Из дома в комнату заходит Иваныч.

И в а н ы ч . Ну что, ребятки, собрались?

Иваныч садится на диван.

Заглянете к нам еще как?

С е м ё н . Нет. Мы теперь надолго.

И в а н ы ч . Жалко. Прикипел я к вам. Да и не только я. Знаешь. Я тут Машутку встретил. Глаза на мокром месте. Не знаешь, чего?

Семён отводит взгляд.

А . Я думал, знаешь.

Молчат.

Не понравилось у нас, да? В другой город поедете?

С е м ё н . Куда отправят, туда и поедем.

И в а н ы ч . Ну ясно. Люди подневольные. У меня брат вот военный был. Тоже всю жизнь мотался туды-сюды. Там не обзавелся домом. Один и помер. Плохо одному-то, да?

С е м ё н . Не знаю. Никогда об этом не думал. Раньше.

И в а н ы ч . Жаль, жаль, что едете. Ну и на том спасибо. Вы же с Анюткой такое добро мне сделали!

С е м ё н . Подумаешь. Забор и есть забор.

И в а н ы ч . Да причем тут забор, голова ты. Я про Валюшку говорю мою. Не вы бы. Я бы так бобылем бы и помер.

С е м ё н . Не понял.

И в а н ы ч . Ну мы же теперь это, как его. Пара. Типа того.

С е м ё н . Вы вместе?

И в а н ы ч . Ага. Даже в загс пойти хотим. Правда, она говорит, что это на старости лет людей смешить. Но я настою. Так что жених я, вон че.

А н я . Я очень за вас рада.

Семён . Подождите. Получается, мы сделали вас счастливыми?

И в а н ы ч . Ну не вы, конечно. Валентина. Но и вам спасибо, что надоумили. Анечка, всю жизнь вспоминать буду.

Семён . И с вами мы подписали договор. И с ней. Два. Два человека.

А н я . Что?

Семён . Ты понимаешь? У нас получилось! Двое! Эти двое вместе! И договор есть! Значит, двое!

А н я . Она подписала? Когда? Но время же. Нам же уже!

Семён (*в возбуждении*). А если! Нет, нет, не то. Или нет? А! Еще бы немного времени!

И в а н ы ч . Ты чего, Сёма? На поезд не успеваете?

Семён бросается к ноутбуку, судорожно листает базу данных.

Семён . Ищи, ищи, Сёма! Должен быть еще кто-то! Должен! Ну хоть один из этой толпы! Хоть один!

Но вновь раздается звук часов. Аня выглядывает в окно.

В с е . Пора. Двойная уже. Мы не успеем.

Семён . Нет-нет-нет! А! (*Бросает ноутбук на пол.*) Это несправедливо! Несправедливо! (*Кричит, обращаясь куда-то вверх.*) Слышите, несправедливо!

На шум в комнату заходит Хозяйка, смотрит на них.

Х о з я й к а . Что тут опять?

А н я . Нам пора. Спасибо за все. Деньги вот. Пошли, Сёма.

Аня обнимает Хозяйку, Ивана.

Х о з я й к а . Счастливого пути. Заходите, если будете.

Семён молча берет чемоданы, выходит, за ним Аня с портфелем, забыв про радар на столе. Хозяйка машет им в окно, закрывает

его и с Иванычем уходят в дом. Аня и Семён понуро идут по дороге. Навстречу выбегает запыхавшаяся Маша.

Маша. Успела. Успела.

Аня. Уезжаем, Машутка. Не скучай! У тебя столько еще хорошего впереди! Ты бы знала!

Маша. Не уезжайте! Пожалуйста!

Аня. Нельзя, Маш. Нас ждут.

Маша подбегает к Семёну.

Маша. Пожалуйста! Вы же можете!

Семён. До свидания, Маша.

Маша. Нет! Нет! Не уезжайте!

Аня и Семён почти ушли. Маша смотрит им вслед, затем не выдерживает и кричит.

Я... Я люблю вас, понимаете?

Семён резко оборачивается.

Неужели вы такой дурак, что не видите? Вы же умный!
Я люблю вас!

Маша подбегает к ним, обнимает Семёна, но он не отвечает тем же.

Семён. Маша.

Аня. Маша, родная...

Семён. Ань, иди, я сейчас. Догоню тебя. Жди у реки.

Аня. Точно?

Семён. Иди. Ты должна успеть.

Аня нерешительно берет свой чемодан и уходит.

Семён. Маша. Идите сюда. Послушайте. Я не могу остаться. У меня такая работа, понимаете?

Маша качает головой.

М а ш а . Тогда возьмите меня с собой!

С е м ё н . Нет. Как? Это невозможно.

М а ш а . Мама поймет. Я взрослая уже. Я не обязана! Возьмите меня с собой!

С е м ё н . Нет. Вам еще рано.

М а ш а . Почему? Я сама могу за себя решить! Сама!

С е м ё н . Никак. И вообще. Перестаньте. Я вам не нужен! Понимаешь, нет! Ты ошибаешься! У тебя совсем другая судьба. Большая любовь.

М а ш а . Нет, перестань! Ты не можешь этого знать! Мне никто не нужен! Я не ошибаюсь!

С е м ё н . Я знаю. Это так. Неважно. В любом случае, я не могу здесь остаться. Мне нельзя.

М а ш а . Мы переедем! Куда захочешь! Поехали куда захочешь!

С е м ё н . Все, хватит! Ты ничего про меня не знаешь! Это глупо! Глупо!

М а ш а . Не бросай меня, пожалуйста!

С е м ё н . Так не бывает! Нет. Это все неправильно! Все! Иди! Уходи! Имей гордость!

Семён поднимает чемодан, уходит. Но его догоняет Маша, резко поворачивает к себе и целует.

М а ш а . Ты дурак! Дурак!

Вновь целует. Семён ошарашенно смотрит на нее, целует ее в ответ, но затем спешно убегает вслед за Аней. Маша падает на землю, плачет. Слышен гром. Начинается дождь. Маша с трудом поднимается на ноги. Идет в сторону дома. Ее встречает Хозяйка.

М а ш а . Мама.

Х о з я й к а (обнимает ее). Ничего, доча. Пройдет, пройдет. Потерпи немного. Все будет хорошо.

Они заходят в дом, садятся на диван. Хозяйка гладит Машу по голове.

Х о з я й к а . Недостойн он тебя, доча. Такую красоту не рассмотрел. Ну и пусть. Будет, дурак, всю жизнь себе локти кусать.

В комнату заглядывает Иваныч, кивком спрашивает, что случилось?

Хозяйка машет на него рукой, мол, уйди. Потом целует дочку.

Пошли, милая, Михал Иваныч чай заварил. Такой вкусный! Медовый! Пошли?

Маша отрицательно машет головой.

М а ш а . Я потом. Сейчас. Я сейчас.

Хозяйка вздыхает, гладит Машу по голове, затем уходит в дом. Маша неподвижно сидит, но потом замечает забытый на столе радар, хватает его и убегает, пытаясь догнать Семёна. Но только она выбегает из дома, как на дороге появляется Семён. Он запыхался, весь взъерошенный, и выглядит как-то иначе. Его одежда порвана на спине и коленях. Он бессильно падает на землю. Маша, увидев его, подбегает, падает на колени, обнимает.

Семён! Милый! Что с тобой случилось? Ты упал? Тебе больно?

С е м ё н . Я остался. Я остался, Маша. Мне разрешили остаться.

М а ш а . Кто разрешил? Кто, милый?

С е м ё н . Дирижер. Из твоего оркестра. Он разрешил мне остаться.

Маша гладит его волосы, покрывает лицо поцелуями. Семён останавливает ее, смотрит внимательно, а затем нежно целует. Радар пищит и показывает стопроцентное счастье. После этого звука последний раз срабатывает таймер, извещая, что время вышло.

7

На скамейке в парке сидит Надежда. Наслаждается солнечными лучами, такими нежными после дождя. К ней выходит и подсаживается Егор. Надежда не открывает глаз.

Егор. А ты у нас, оказывается, та еще мошенница.

Надежда. Умей проигрывать.

Егор. Да я-то выиграл. Только почему-то вместо них получил шиш в масле. Не знаешь почему?

Надежда. С чего ты взял, что выиграл?

Егор. Мы как договаривались? 33 часа, три человека. Так?

Надежда. Так.

Егор. Ну и.

Надежда. Ну и ты проиграл.

Егор. А как у вас, матушка, с математикой? Дед — раз, хозяйка — два. В итоге — ноль.

Надежда (*открывает глаза, потягивается, с улыбкой смотрит на Егора*). Дед — раз, хозяйка — два, Семён — три.

Егор. Семён?

Надежда. Семён.

Егор. Три человека. (*Делает акцент на последнем слове.*)

Надежда. Все по протоколу. Три человека. Дед — человек. Хозяйка — человек. Семён? Человек.

Егор. Чертовка. И как тебя еще из вашей богадельни не прогнали?

Надежда. Твоими молитвами.

Егор. Везет тебе. И моих увела, и своих отыграла.

Надежда. Не везет. Просто правда на моей стороне.

Егор. Как высокопарно! Это из твоего патетического словарика? А давай еще разок, а? Сыграем?

Надежда. Думаешь, мне заняться больше нечем?

Егор. Да ладно тебе, тебе же это тоже нравится, признайся. Счетов у нас много, сойдемся на чем-нибудь.

Надежда. А продуть не надоело?

Егор. Еще посмотрим, кто продует. Давай. Выбери!

Надежда. Может, в этот раз давай сложнее? А то уже, знаешь, как-то неудобно все время у тебя выигрывать. Как бы тебя к нам не отправили за содействие конкурирующей фирме.

ДРАМАТУРГИЯ

Егор. Еще и тщеславная. Я тебя обожаю. Нет, давай по старинке, на простого человека. Дай уж мне фору. Ну, кого хочешь?

Надежда и Егор внимательно всматриваются в прохожих.

Может быть этот? Или эта? Или вот этот? А! Все, выбираю ее!

Конец.

АНДРЕЙ МЯГКОВ

МОНИКА

Пьеса в одном действии

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Миша, 26 лет

Лена, 24 года

Сантехник, около 40 лет

День, обычная кухня обычной российской квартиры. Лена в шортиках сидит на обеденном столе и довольно болтает ногами. Миша, согнувшись, заглядывает под раковину — рядом на столе лежит маленький вантуз.

Миша. Какая же ты сучка.

Лена. Я думала, тебе это и нравилось.

Миша. Серьезно, без перчаток? Ты же знаешь, что это для меня...

Лена. Ну, ты сам согласился. Проиграл — ду ит.

Миша вздыхает.

Лена (беззлобно). Ой, только не вздыхай так. Честно говоря, всегда это бесило.

Миша. А еще что-нибудь бесило?

Лена. Ну, твоя жадность, например. Так что если хочешь, можешь вызвать сантехника, но пусть он тогда заодно ванную проверит. И, кстати, бачок в туалете...

Миша. Неси давай тазик.

Лена, довольная, убегает за тазиком. Миша становится на колени и начинает копать под раковиной. Лена возвращается с тазиком и передает его Мише. Пытается заглянуть под раковину через его голову. Раздается плеск воды, Миша вылезает из-под раковины вместе с сифоном, двигает к себе тазик и пытается вытряхнуть из сифона грязь и остатки еды.

Лена (морщась). Пальцами надо, Миш, так не получится.

Миша. Ага, пальцами.

Лена. Ага, пальцами.

Миша вздыхает и чистит пальцами. Пару раз отворачивается, как бы переводя дух.

Лена. Молодец какой.

Миша (сдавленно). Замолчи, пожалуйста.

Лена бьет себя по губам. Миша вкручивает сифон обратно и пробует, стекает ли вода. С усердием, несколько раз моет руки.

Лена. Нет, правда молодец. Даже я бы блеванула.

Миша. Не могу придумать шутку, прости. Где антисептик?

Лена берет со стола флакончик и кидает Мише, тот выливает себе на руки больше, чем нужно, и растирает.

Лена. Чистые уже, правда, хватит. Будешь есть?

Миша. Не знаю теперь.

Лена. Я картошку запеку.

Миша. Со сметаной?

Лена. Сметаны нет. Ты же не хочешь лишний раз в магазин выходить.

Миша. Ну да.

Лена. Ну, значит, без сметаны.

Миша. Да, да. *(Уходит.)*

2

День, обычная жилая комната обычной однокомнатной квартиры. Миша ходит от журнального столика, где мелкими кусочками нарезаны страницы книг и журналов, до самодельного мольберта, развернутого к окну — туда, обратно, туда, обратно. На ходу общается с другом аудиосообщениями.

Миша *(в телефон)*. Не-не, слушай. Мы с Леной типа в магазин вышли, а мимо полиция проезжает, причем на таком э-э-э... как бы вагончике с мороженым, как в ГТА «Вайс Сити». Знаешь, у которого типа рожок на крыше вертится. Вот-от, ну и машина останавливается, оттуда вылезают краснощекие такие, большие, как колобки, полицейские, и QR-код требуют. Я говорю — так мы ж в магазин, ну, типа не нужен. А они такие — вы ж не в магазин.

Л е н а *(кричит из кухни)*. Остывает!

М и ш а *(в телефон)*. Э-э-э... Я даже не спорю в общем, просто говорю: ладно, а вы-то че без масок? А они реально без масок. Ну и они начинают ржать, фургончик сигналит, и я, знаешь, понимаю — ну, типа как во сне бывает — что это кто-то головой об руль бьется, от смеха. И мент один такой — бах! — просто кидается и отгрызает мне руку, как клоун из «Оно». Вот такая фигня, бро. *(Отправляет сообщение и кричит Лене.)* Картошку ты еще даже не вынула, да?

Л е н а *(кричит из кухни)*. Все равно через полчаса придешь!

М и ш а . Ты бы подружилась с моей мамой!

Л е н а . Ой, это наверняка!

Какое-то время Миша только носит по одному клочку бумаги к мольберту и приклеивает. Приходит ответное аудиосообщение, Миша слушает, смеется.

М и ш а *(в телефон)*. Да не, не, нормально все у нас, бро, никто не собирается мышьяк в картошку пихать. Как говорил Смоки Мо, было и было. *(Усмехается.)* Не думаю, что мы снова... ну, ты понял. *(Отправляет первое сообщение, вздыхает и записывает второе.)* Да, посижу у нее, куда сейчас рыпаться. С отцом я так и не помирился, да и вообще, вдруг привезу им вирус. Плюс прикинь, как с моими загонами сейчас... В общем, сейчас самое разумное — просто сидеть на попе ровно. *(Отправляет и записывает следующее сообщение.)* Ты лучше расскажи, как у вас с мамой?

Л е н а *(кричит из кухни)*. А ты не боишься, что я в еду наплюю? Или грязными руками в твоей тарелке покопаюсь?

М и ш а . Ты, конечно, сучка, но не настолько.

Л е н а . Не знаю, удержусь ли.

М и ш а . Да, это к твоим сильным чертам не относится.

Снова приходит аудиосообщение, он слушает, перемешивая свободной рукой клочки и сбрасывая часть из них на пол. Тихо смеется и записывает ответ.

Миша. Да уж... Хреново, бро. Хреново, но смешно. Прикрути лучше стульчак, на всякий случай. Кроме шуток. Ну и подумайте пока, будете ее сдавать или нет?.. Понятно, что не сейчас, но это как раз пауза, чтобы подумать. Ну, готовы или нет. Потому что с ней жить... ну, сам понимаешь.

Лена (*заглядывает в комнату*). Я, конечно, не Дон Корлеоне, но прояви хоть каплю уважения.

3

День, кухня. Перед тем как начать есть, Миша тщательно протирает тарелку и приборы влажными салфетками.

Лена. Ты же знаешь, что это антибактериальные салфетки, вирусам на них насрать.

Миша. Знаю, конечно. Но ты же тоже знаешь, что мне так спокойнее.

Лена. Да, знаю.

Миша. И зачем тогда спрашиваешь?

Лена. Не знаю.

Миша. Вот и поговорили.

Лена (*смеясь*). Ну да. Пропеклась?

Миша. Типа нужно сказать, что вкусно? Я уже забыл.

Лена. Иф ю вонт. Но мне, конечно, приятно будет.

Миша пробует.

Миша. М-м-м. Делишес.

Лена. Переигрываешь, но спасибо.

Миша. Хочешь сказать, стоило почаще хвалить твою стряпню?

Лена. Ну, нам бы это вряд ли помогло.

Мише приходит на телефон сообщение, он читает, морщится и переворачивает телефон экраном вниз.

Миша. Думаешь?

Лена. Ага. Ты слишком зануда, чтобы перекрыть это комплиментами.

Миша. А ты слишком любишь трахаться.

Лена. Вот именно. Мне иногда казалось, что ты даже во время секса вздыхаешь, как дед.

Миша. То есть если бы я не вздыхал, у нас был бы шанс?

Лена. Мейби.

Миша вздыхает.

Лена (*смеется*). Ну слушай, если серьезно, то какая теперь разница. Но я правда рада, что ты согласился пересидеть у меня. Не только потому, что без тебя я бы не потянула аренду. Хотя и поэтому, конечно, тоже. (*Смеется.*)

Миша (*улыбается*). Какая же ты сучка.

Лена как будто смущается от комплимента. Сверху доносятся крики и ругань.

Лена. У них бывает. Не обращай внимания.

Миша. Ну ладно. Ты так и не сказала, чем теперь занимаешься.

Лена. Ну, до всего этого была администратором в школе английского, хотела скоро попробовать экскурсоводом в Лондон. А теперь зачем-то готовлю тебе картошку.

Миша. Очень вкусно.

Лена. Это потому что я туда немного грязи из-под ногтей сковырнула.

Миша. Серьезно?

Лена. Ага.

Миша (*отодвигает тарелку, сдавленно*). Ты долбанутая?

Лена. Тихо, тихо, шучу. Дыши. Правда шучу, дебильная шутка, признаю.

Миша. А если я весь стол заблую?

Лена. Ну, закажу пиццу. Как будто в первый раз.

Миша. Я просто в следующий раз не буду сдерживаться и на тебя блевану.

Лена. Все равно счет будет 2:1.

Миша. Приятного аппетита.

Лена. И тебе.

Мишин телефон, лежащий на столе, вибрирует.

Лена. Ты, я вижу, все такой же трудоголик.

Миша. Ага.

Лена. Ну, теперь я не против. *(Улыбается.)* Прости, ты правда молодец. Что в тебе всегда было офигенно, так это твоя деятельность. Ну, в смысле, что ты деятельный.

Миша. Я понял.

Лена. И то, что понятливый. Это просто офигенно.

Миша *(смеется)*. Ты меня почти склеила.

Лена. Ну, у меня же есть опыт. Удачный. До какого-то момента.

Молчат несколько секунд. Миша берет в руки телефон, вздыхает.

Лена. Как твоя Моника Белуччи?

Миша. Не клеится.

Лена. Смешно.

Миша. Это заготовочка.

Лена. Ты же ее уже фиг знает сколько...

Миша. Вот сейчас и хочу закончить. Все равно больше нечем заниматься. Ну, кроме работы.

Лена. Какой-то мужик, я видела, пытался за сумасшедшие деньги портрет Путина продать из клочков конституции.

Миша. Да-да, было. Но я не следил, чем там кончилось. Надеюсь, его не посадили. *(Встает.)* Ладно, Лен, надо работать.

Лена. Все-таки зануда.

Миша *(оборачиваясь на пороге)*. Кстати, у мамы Коляна опять обострение. Сняла с унитаза стульчак, надела на шею

и стала кричать, что это ее ожерелье. Два часа не давала никому снять.

Л е н а . О май гад. Она ж на таблетках, нет?

М и ш а . Закончились. Из-за пропусков не смогли доехать до аптеки, весь курс в жопу. Ладно, приятного.

Л е н а . Стой, слушай, а ты не видел бабушкин альбом?

М и ш а . Где фотки родителей?

Л е н а . Ага.

М и ш а . Я думал, ты его выкинула давно.

Л е н а . Ноу. Не решилась. То есть не видел?

М и ш а . Нет, где бы.

4

Ночь, комната. Горит неяркий нижний свет — бра, настольная лампа. Миша сидит в кресле, с ноутбуком на коленях, время от времени раздраженно запрокидывает голову. Лена, обильно ругаясь, играет в футбол на Playstation, сидя на полу на подушках. Иногда в окне дребезжат огни проезжающих мимо машин скорой помощи. Мише на телефон регулярно приходят сообщения.

М и ш а (*вздыхает, записывает аудиосообщение*). Не, бро, понятно — это супер, что сейчас в принципе есть работа. Только хреново, что работы стало овердофига, а зарплата — в два раза меньше.

Л е н а . Дебила кусок!

М и ш а . Сука, дизайнер от бога. Переделывай все...

Л е н а . Ну-ну-ну-ну-ну!

М и ш а (*тихо*). А-а-а-а... (*Слушает и записывает ответное аудиосообщение.*) Бро, э-э-э-э... слушай, даже не знаю. Давай я тебе завтра отвечу, голова совсем не варит.

Л е н а (*откидывает джойстик*). Да идите вы на фиг. (*Мише.*) Что-то у тебя сегодня совсем жесьть.

М и ш а . Что?

Л е н а . Жесьть у тебя сегодня, говорю.

Миша. А, да.

Лена. Не хочешь сыграть?

Миша. Э-э-э... Чтобы опять засор чистить? Не, спасибо.

Лена. Ну, необязательно на спор. Или можно на какое-нибудь пустяковое желание.

Миша. А?

Лена. Ну, не знаю. Откровенный ответ на любой вопрос. Или...

Миша. Не, Лен, надо работать.

Лена. Да ладно, не нарисуют они без тебя один сраный баннер? (*Поднимается, берет Мишу за руку и сажает вместе с собой рядом с телевизором.*) Растрясешься немного. Джойстик чистый.

Миша. Правда надо работать, Лен.

Лена. Ну один матч, давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай!

Миша вздыхает. У него опять вибрирует телефон. Лена пытается выхватить его, Миша убегает за спину, Лена наваливается на Мишу, практически садясь на него.

Лена. Отдай, он тебе мешает.

Миша. Это ты мне мешаешь, дурочка.

Лена. О, дурочка. Соу кьют.

Миша. Лена, правда, сегодня прям охренеть как надо поработать.

Лена. Поверь, это так...

Миша. Да слезь ты!

Миша несильно, но резко спихивает с себя Лену; она падает.

Лена. Что-то новенькое. Тебе даже немного идет.

Миша. Прости. Давай засчитаем, типа я проиграл. Спрашивай, что хотела.

Лена (*победно вскидывает руки*). Ву-ху! Ну ладно. Слушай, ты никогда не говорил об этом, но с твоими загонами насчет

чистоты и всего вот этого... Тебя во время секса это вообще сильно заботит? Анализируешь там, насколько все стерильно?

Миша (*вздыхает*). По-разному. Иногда прям коробит, да.

Лена. Ну что это за ответ. Ну а со мной, например? Коробило иногда?

Миша. С тобой я об этом вообще не думал.

Лена. Оу.

Миша. Я на кухне пойду поработаю.

5

Ночь, кухня. Свет выключен, в окне мелькают огни скорых. Миша сидит перед ноутбуком, положив голову на сгиб локтя; свободная кисть по-дурацки болтается над головой. На кухню заходит Лена.

Лена. Ты точно не брал альбом?

Миша (*сонно*). Ну а нафига он мне.

Лена начинает обыскивать кухню с включенным на телефоне фонариком.

Лена. Не знаю, Монику свою из него вылепить.

Миша. Я же не совсем поехавший.

Лена. От всего, что сейчас происходит, кукуха может и отлететь.

Миша. Ну сходи посмотри.

Лена. Да я уже.

Миша. Может, свет зажжешь?

Лена. Не, не хочу.

Миша. Оцифровала бы и загрузила на гугл диск. Кто сейчас фотки в альбомах хранит?

Лена. Ой, все.

Лена, порывшись в нескольких ящиках, садится за стол. Миша поднимает голову.

Миша. Радуйся, если не найдешь. Ты же хотела от всего этого избавиться.

Лена пожимает плечами.

Миша. Ты их ненавидишь?

Лена. Не знаю. Я же их никогда не видела.

Миша. Этого, по-моему, как раз достаточно.

Лена. Ну, это все-таки... ну, мое прошлое. Ну, не совсем мое, но... В любом случае, это было. Я как бы не придумала, что у меня были родители. Да? Сейчас особенно хочется это ощутить.

Миша. А бабушка, так и не рассказала почему они?..

Лена. Не. Ты же с ней успел познакомиться, зачем спрашиваешь.

Недолго молчат.

Миша. Может, зажжем все-таки свет?

Лена. Давай не будем. И так хорошо.

Миша. Ну ладно.

Лена. Я вообще рада, что бабушка умерла до всего этого. Не нужно теперь волноваться.

Миша. Да уж.

Лена. А ты за своих не волнуешься?

Миша. Волнуюсь, конечно.

Лена. У тебя их еще так много.

Миша. Типа не жалко, если кто-то...

Лена (*улыбается*). Дурак. Больше объема волнения. А ты меня с ними так и не познакомил.

Миша. Ну это и к лучшему, наверное, нет? Представляешь, привел бы маму, открыл дверь, сказал бы, «Знакомьтесь, это Лена...», а ты там между ними двумя...

Лена. Иди на фиг.

Миша смеется.

Лена. Ты-то, блин, всегда знаешь, как надо.

Миша. Я знаю, как не надо.

Лена. Вот именно. Ты, блин, идеальный.

Миша. Хочешь сказать, я виноват в том, что ты хватаешься за все члены, какие...

Лена хватается кружку и бросает в лицо Мише. Миша закрывается руками, кружка отлетает на пол и разбивается.

Миша. Больная, что ль?

Лена. Да-да, я, конечно, виновата. Что ни скажу, я буду виновата.

Миша. Поехавшая.

Лена. Ты хоть когда-нибудь слушаешь... слышишь, как там это, блин...

Миша. И что я должен был услышать?

Лена (*сдерживая слезы*). Какая теперь разница?

Миша. Не-не, ты скажи. Была какая-то конкретная причина, по которой ты...

Лена. А-у-у! Да какая разница? Я тебе снова попытаюсь рассказать, ты снова скажешь, что это хрень какая-то, и я опять почувствую себя говном.

Миша. То есть нет никакой рациональной причины?

Лена. Да нет ее, нет, нет, нет, нет! Отвали уже.

Лена встает из-за стола, делает шаг, с криком подскакивает на одной ноге и опускается на пол.

Миша (*поднимаясь*). Что такое?

Лена. Кружка, блин.

Миша. Черт. Где у тебя аптечка?

Лена. Здесь, в нижнем ящике.

Миша ногой сгребает осколки кружки в угол, зажигает свет и пытается найти аптечку. Лена подтягивает ногу, смотрит и отворачивается.

Лена. Боже.

Миша. Не трогай лучше, давай я. Здесь?

Лена. Ниже, ниже там.

Миша находит аптечку, хватает бумажные полотенца и опускается на пол рядом с Леной. Тщательно натирает свои руки антисептиком.

Лена. Ты ногу лучше дезинфицируй, чем свои руки.

Миша. Тише, сейчас. *(Заливает ногу антисептиком.)*

Лена. В обморок-то не упадешь? Сможешь вытащить?

Миша. Нормально, тут всего один осколок.

Лена. Держись, пожалуйста, а то совсем смешно получится.

Миша *(сдавленно)*. Чем его достать?

Лена. Не знаю, только не ножом.

Миша. Есть этот... пинцет? Щипчики для бровей.

Лена. Да, да.

Миша. Там, где вся косметика?

Лена. Да.

Миша. Я сейчас.

Миша убегает и возвращается на кухню с щипчиками, обрабатывает их, подстилает полотенце и пытается достать осколок.

Лена. Не думала, что ты когда-нибудь прикоснешься к моим ногам.

Миша. Норм, ты вся в антисептике.

Лена. Очень странные ощущения.

Миша. Не больно?

Лена. Так, больновато. Но бывало и больнее. Только давай без... *(Отдергивает ногу и начинает смеяться.)*

Щекотно, блин.

Миша. Где, вот здесь? *(Специально щекочет ступню.)*

Лена *(отдергивает ногу и брыкается, со смехом)*. Дурак!

Миша. Тише, тише, сейчас глубже загонишь.

Лена. Ну а чего ты.

Миша. Ну что, твоя очередь отвечать на мой вопрос?

Лена. Это... ай! шантаж?

Миша. Ну что-то вроде. *(Снова щекочет.)*

Лена *(брыкается)*. Если это тот же вопрос, который ты задавал, то иди ты...

Миша *(щекочет)*. Я еще не задал вопрос, а уже неправильный ответ.

Лена *(смеется)*. Хватит, дурак.

Миша. Нет, ты права, это неважно. Скажи лучше, что тебе в последний раз снилось?

Лена. Серьезно? Не помню. Честно. Редко что-то снится.

Миша. Ну что-то же снилось.

Лена. Да фигня какая-то. Дом у моря, прям совсем у моря, можно с крыльца ноги полоскать. Слюнявая собака. Инстаграм какой-то, в общем. Ты куда смотришь, все нормально?

Миша *(чуть пошатнувшись)*. Да, да. И ты там одна?

Лена. Во сне? Одна, да, одна-а-й!..

Миша *(достает осколок, вздыхает)*. Вот. *(Заклеивает ранку пластырем.)* И правда негусто.

Лена. Что?

Миша. Ну твои сны. Вообще странное ощущение, да? Мы тут сидим, и как будто раньше вообще ничего не было, с будущим ни фигя не понятно, и настоящее какое-то ненастоящее. Безвременье какое-то.

Лена. Как ты быстро перешел от режима медика к режиму философа.

Миша. Ну правда же?

Лена. Правда, правда. А еще у меня странное ощущение от того, что ты все это говоришь, держась за мою ногу.

Миша *(обращает на это внимание)*. Можно, знаешь, типа это штурвал. Вж-ж-ж!..

Лена (*смеется, отнимает ногу и поднимается*). Ты какой-то непривычно смешной стал к утру.

Миша (*поднимается*). Сама дойдешь?

Лена. Ну, рана вроде не страшная. Сенк ю, май докта.

Лена, хромая, уходит. Миша склоняется над раковиной и сдерживает рвотные позывы.

6

Утро, совмещенный санузел. Миша сидит на опущенной крышке унитаза, накрытой полотенцем, и мастурбирует — рядом в ванную льется вода. Закончив, он выкидывает полотенце в корзину с грязным бельем, протирает все вокруг антибактериальными салфетками, тщательно моет руки, включает воду и записывает аудиосообщение.

Миша. Утро, бро. Слушай, это полный ад. Ты звонил в какие-нибудь соцслужбы? Не может же быть такого, что эти таблетки нигде сейчас не достать. Ну реально, это ж тогда совсем край. Хорошо, что она корм есть стала, а не стиральный порошок. (*Записывает второе аудио.*) А мне сегодня какой-то отбитый сон снился. Короче, мы все на даче у Машки, как обычно, собрались в конце лета. Там много какой-то дичи было, но я уже ничего не помню, кроме одного момента. Девчонки типа пошли в баню, и в какой-то момент — бах! — оттуда Машка вылетает, полностью голая, и ныряет в траву. И лежит так, животом вниз, не двигается, типа мертвая. А все остальные девчонки выходят одетые в клоунские костюмы и как ни в чем не бывало мимо нее. Ну, я подхожу к Маше — без всякого сексуального подтекста, хочу заметить, хотя ты знаешь, какая она, — и переворачиваю. Типа узнать, все ли в порядке. А у нее там член. Ну, там, где и должен быть. Просто член, а так с ней все нормально. Она начинает смеяться, обнимает меня, и тут я вдруг падаю в какую-то яму с кучей использованных масок.

Меня, конечно, сразу начинает колотить, а они там все смеются. *(Миша подходит к ванной, заглядывает туда, морщится, вздыхает и записывает третье аудио.)* Вот такая фигня, бро. А еще у нас теперь ванна забилась.

7

День, кухня. Лена сидит за обеденным столом. На столе персики и прочий реквизит — Лена изображает «Девочку с персиками» Серова, Миша фотографирует.

Л е н а . Вообще, это действительно поразительно — когда бы мы еще такой фигней занимались?

М и ш а . И не говори.

Л е н а . Стыдно, конечно, заниматься такой фигней, а чем еще...

М и ш а . Да помолчи ты, блин.

Л е н а . Молчу-молчу-молчу.

Миша делает несколько снимков, после чего у него несколько раз монотонно вибрирует телефон.

Л е н а . А ты бы, кажется, с радостью позанимался фигней.

М и ш а . О да. Какой-то ад на самом деле. Нереальные объемы информации. Мир как будто остановился, а бессмысленная человеческая продуктивность — нет. Я скоро амишем стану.

Л е н а . Кем?

М и ш а . Ну, религиозная община такая. Они не принимают никакие технологии. Живут при свечах, ездят на лошадях, все такое.

Л е н а . Ну это уж перебор.

М и ш а . Ну да.

Л е н а . Сфоткаешь еще немного отсюда? Похоже хоть?

М и ш а . Похоже, похоже. Ты, кстати, знаешь, что эта девочка с персиками, которая позировала Серову, очень рано умерла?

Л е н а . Типун тебе, зануда.

Миша. Давай, еще пару минут и пойду работать.

Лена. Окей. Когда захочешь есть, разогрей там себе лазанью.

Миша. А у нас есть лазанья?

Лена. Ну, я сходила в магазин, пока ты мылся. И даже съела одну.

Миша. Это вот эта, с противным сыром сверху, который типа не сыр?

Лена. Она самая.

Миша. Я же ее ненавижу.

Лена. Ага. Зато она была со скидкой, как ты любишь.

Миша *(вздыхает)*. Сучка. Помыла же упаковки?

Лена. Да-да, с мылом. Рили. И сфоткай еще вот так пару раз. Отправлю Машке, то-то она возбудится.

Лена с ногами забирается на стол и в преувеличенно соблазнительной позе кусает персик.

8

День, ванная. Засорившаяся ванна, как крышкой, накрыта одеялом.

Миша достает белье из стиральной машины и развешивает.

Лена стоит сзади и мешает ему, иногда щипая.

Миша. Ну что за детская фигня, Лен.

Лена. Ничего не детская.

Миша. Некогда, Лен.

Лена. Тебе понравится, точно тебе говорю. Пожалуйста, один раз, не будь таким зану-у-дой.

Миша *(вздыхает)*. Блин, Лен, серьезно.

Лена *(передразнивает)*. Блин, Лен, серьезно...

Миша. Серьезно...

Лена. Серьезно...

Миша вздыхает. Лена заглядывает под одеяло, которым накрыта ванная, морщится.

Лена. Я, кстати, позвонила сантехнику.

Миша. Ага.

Лена. Ну плиз, один разок. Мне очень нужно, а то я с ума сойду.

Миша *(вздыхает)*. Ну ладно. Отсюда водить?

Лена *(радостно сжав кулачки)*. Давай отсюда, да. Минутку.

Лена выбегает из ванной и закрывает дверь.

Миша. Раз-два-три-четыре-пять, негде зайчику скакать, рядом ходит волк-волк, он зубами щелк-щелк, а мы спрячемся в кусты, прячься, зайнька, и ты... Ты-ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Кто не спрятался, я не виноват!

Миша выходит из ванной.

8,5

Вечер, кухня. Дверцы шкафчиков открыты, часть вещей вынута, беспорядок.

Миша *(кричит)*. Ле-ен, ну серьезно, вылезай. Я сдаюсь. *(Снова заглядывает за штору, кому-то звонит, из телефона слышно: «Абонент недоступен или находится вне...»)* Да ну блин, Лен. *(Записывает аудио.)* Без понятия, бро. Вся обувь на месте, куртка на месте, телефон выключен. Я реально в каждую щель залез. Мистика какая-то. *(Отправляет сообщение, наливает воду и ставит чайник.)* Ле-е-ена-а-а! Ну вылезай уже. *(Вытирает кружку антибактериальными салфетками, садится за стол и нервно вертит головой. Из комнаты раздается стук, голоса, Миша вскакивает и убегает в комнату.)* Ле-е-ена! Не смешно ни хрена. *(Снова раздается стук, как будто в ответ; Миша возвращается на кухню и записывает аудиосообщение.)* Еще и сраных соседей слышно со всех сторон. Бро, я даже проверил, закрыты ли окна. Стены начал простукивать. Всю руку себе уже исщипал. Это ж не сон, бро?

Телефон вибрирует. Миша читает сообщение и с размаху бьет ногой по мусорной корзине, которую он достал, когда искал Лену.

Миша. Не-е-ет. Не-не-не-не-не.

На пороге кухни появляется Лена.

Лена. У тебя все с головой в порядке? Это ж просто игра.

Миша (*резко выдыхает*). А-а-а-х. Ты где была?

Лена. Пряталась.

Миша. Четыре часа?

Лена. Какие четыре часа? Ты нормальный?

Миша подходит к Лене и берет ее за локоть. Лена слегка отстраняется.

Миша. Я тебя четыре часа искал.

Лена. Ты дурак? Я там минут 10 сидела.

Миша. Где сидела?

Лена. Так я тебе и сказала.

Миша. Ну скажи, чтобы я понял, что ты не врешь.

Лена. Ну нет, такое козырное место раскрывать.

Миша. Я тут все обрыл.

Лена. Может, и бабушкин альбом нашел?

Миша. Не переводи, я уже реально подумал, что свихнулся...

Миша замечает, что вокруг него разбросан мусор. Его передергивает.

Лена. Да я вижу. Надеюсь, ты не блеванешь, когда будешь это убирать.

9

Ночь, комната, тусклый свет; в окне дребезжат огни скорых. Миша нервно ходит по комнате. Лена сидит перед телевизором с джойстиком в руках, смотрит на него и смеется — почти каждую фразу она говорит со смехом.

Миша. Ну это же полный трындец. Ну ты подумай.

Лена. Это правда трындец.

Миша. Ну и чего ты ржешь тогда?

Лена. Ай донт ноу. Правда.

Миша (*протяжно, зло*). А-а-а-а! Ну как можно сейчас устраивать фестиваль? Это просто шутка какая-то. Из параллельной вселенной. Туда же, несмотря на все пропуска, куча народу придет, я уверен. Ты же понимаешь?

Лена. Понимаю, Миш.

Миша. Это же, блин, ответственность за жизни людей. И я должен им плакаты рисовать. Пошли они на фиг... Да не смейся ты, блин!

Лена. Все-все. Я стараюсь. Правда. Сорри.

Миша. Во всем мире все отменили...

Лена. Ну и хорошо.

Лена поднимается и, глотая смешки, пытается обнять Мишу, тот отбрыкивается.

Лена. Просто отвлекись. Полепи еще свою Монику. Смотри, какая она у тебя идеальная... (*Миша отталкивает мольберт, который разворачивает к нему Лена, картина падает.*) Или поиграй со мной в футбол. Давай.

Миша. Отстань, Лен.

Лена. Слушай, я правда понимаю, насколько это отстойно. И насколько это нереально выглядит. Но сейчас тебе надо...

Миша. Я просто правда не понимаю...

Лена. Просто давай сыграем. Я согласна взять кого-нибудь из Чемпионшипа. И Монику давай (*поднимает мольберт*) вернем на базу.

Миша. Какая-то долбаная беспомощность в квадрате.

Лена. Тихе, тихе. Ну давай. (*Ловит Мишу за руку и усаживает рядом с собой.*) Выбирай. Я тебе даже джойстик протру. (*Вытирает джойстик влажными салфетками.*)

Может, это и не так плохо, кстати. Хоть что-то где-то происходит.

Миша. Что?

Лена. Ну, хоть какое-то подтверждение, что жизнь продолжается.

Миша. А то, что потом неизвестно, сколько людей погибнет?

Лена. Так это их выбор будет, разве нет? Они выберут полноценную жизнь...

Миша. Да нифига это не их выбор. Они придут домой и перезаражают всех домашних.

Лена. Ну, люди в любом случае заражаются.

Миша. Но не в таких количествах. Типа цель карантина ведь — снизить нагрузку на систему здравоо...

Лена. Схему будешь менять?

Миша. Э-э-э... В общем, это просто безответственно. Идти туда — это фактически брать на себя ответственность за чью-то смерть, а уж организовывать...

Лена. Я запускаю. *(Начинается матч. Далее Миша и Лена разговаривают, играя в футбол на приставке; Лена иногда задерживается с ответом, сосредоточиваясь на игре.)* Ты все равно не сможешь заставить всех все соблюдать, маски носить и так далее.

Миша. Ну это же прям биологический терроризм. Это как стрелять на улице из автомата. Или сексом без презерватива заниматься.

Лена. Но миллионы людей занимаются сексом без презерватива.

Миша. И это хорошо, по-твоему?

Лена. Это просто факт, который лично ты никак не изменишь. Слушай, я в целом...

Миша. Так просто нельзя делать.

Лена *(смеется)*. А ты снова лучше всех знаешь, как надо. У тебя и с отцом то же самое.

Миша. То есть ты считаешь, нормально, что он руку на маму поднял?

Лена. Я считаю, что нужно быть снисходительнее. Нельзя учить других жить, Миш.

Миша. Если то, что они делают, стоит жизни окружающим, то можно, мне кажется.

Лена. Ну не тебе же решать, что стоит, а что нет. Может, ты преувеличиваешь...

Миша. Да это просто, блин, здравый смысл. Не зря же государство группами запрещает собираться, штрафы вводит за игнор масок...

Лена. Ага, и само проводит этот твой несчастный фестиваль.

Миша. Вот именно. Полнейший же абсурд.

Лена. Ты правда ищешь во всем этом здравый смысл?

Миша. Не, ну там точно какие-то рациональные причины есть, деньги-фигенги, но блин...

Лена (*забывает гол и победно вскидывает руки*). Ву-ху! Возможно, ты прав, но ты ведь все равно ничего тут не сделаешь.

Миша. Ну, я могу хотя бы не зазывать туда народ красивыми картинками.

Лена. И потерять работу?

Миша. Ну да.

Лена. Ты же все равно завтра нарисуешь, Миш.

Миша. С чего это?

Лена. Ну я тебя немного знаю.

Миша (*вздыхает*). Сучка.

Лена (*смеется*). Не обижайся. И не психуй. Рили, не стоит спасать мир.

Миша. А как насчет совести?

Лена. Ну... Не знаю, Миш. Слишком сложно. Мешаешь играть.

Миша вздыхает. Откуда-то сверху доносятся грохот, стоны, крики «Убью тебя, мразь», детские визги. Миша и Лена переглядываются.

Миша. Ну вот, сорвало. Позвоним в полицию?

Лена. Да я звонила уже. Она говорит, что никто ее не бил и вообще все тип-топ.

10

День, санузел. Миша стоит в респираторе и перчатках над сантехником, который склонился над ванной и копается в сливном отверстии. Из-за спины Миши иногда выглядывает Лена — в медицинской маске с эмблемой Барселоны. Миша сторонится сантехника, пытаясь по возможности к нему не приближаться.

Миша. ...и она перестала смываться.

Сантехник. Да, понятно, понятно. Вы когда в последний раз трубы чистили?

Миша. Лен, когда?

Лена. Не знаю. Я здесь год живу, за это время ни разу не чистили.

Сантехник. Ну, понятно, понятно. Я сейчас, конечно, попробую, но вам здесь по-хорошему надо другого мастера вызывать, с нормальным тросом. И вертушкой вот такой (*показывает*). Мой коротыш нормально вряд ли прочистит.

Миша. Ну прочистит же хоть как-то?

Сантехник. Как-то прочистит, это понятно.

Миша. Может, все-таки наденете маску?

Сантехник. Нет, спасибо. Верите, простите, в хрень какую-то!

Миша. Мне все-таки было бы спокойнее, если бы вы...

Сантехник. Не буду я надевать этот намордник, уж простите! Не раздражайте. Сами носите сколько влезет, а я скорее...

Миша (*вздыхает*). Ладно, ладно.

Сантехник. Вы хоть одного больного видели? Понятно. Вот и я не видел.

Лена. Может, чаю?

Сантехник. Вот! Вот это предложение! Спасибо, с радостью.

Лена. Черный, зеленый?

Сантехник. Черный без сахара. *(Благодарственно прикладывает руку к груди.)* Спасибо! О, вы и тазик приготовили.

Сантехник заглядывает под ванну, придвигает тазик и берется за работу. В процессе он все глубже забирается под ванну — так, что в какой-то момент остаются видны только его ноги — при этом под ванной он поместиться вроде бы не может.

Сантехник. Я вот сколько хожу по людям, такие разные люди. А все верят в какую-то чушь. Вот у вас бывало такое чувство, что что-то должно произойти? И оно происходит, как по часам?

Миша. Ну, бывало иногда.

Сантехник. Вот! Понятно же. В это и нужно верить. Все мы под Богом ходим. Чему быть, как говорится, того не миновать.

Лена и Миша переглядываются.

Сантехник. У меня какая история была: мать моя, царствие ей небесное, очень любила цирк, во всех его проявлениях: фотографии собирала, на Новый год вместо Дедушки Мороза клоуном наряжалась, щеки румянила, нос красный, самодельный, надевала, жонглировала там этими носами... Кошку, конечно, пыталась дрессировать. А она в селе почти всю жизнь прожила, сами понимаете, как на нее соседи... Ну и вот, однажды... Я сейчас трос подам, можете крутить по часовой? И так за мной — от себя немного, на себя, от себя, на себя. Понятно?

Миша брезгливо берется за трос и крутит.

Сантехник. Вот, и когда ей 90 лет исполнялось, к нам цирк зарубежный какой-то приехал. Дай, думаю, порадую мою старушенцию. Купил билет, съездил, привез ее в город, и дочка моя, внучка ее, повела бабку нашу в цирк. Та счастливая,

нарумянилась, улыбается во все зубы — хорошо, что зубы ей вставили на прошлый юбилей. И вот, пришли они туда, сели, места хорошие, недалеко от сцены, а дочка моя не уследила — то ли на гимнаста какого засмотрелась, то ли в телефон залипла, а потом смотрит — а бабка наша перелезает через заграждение. Непонятно вообще, как так получилось, там же охрана какая-то сидит... А старушка перелезла, бухнулась на арену, а там тигры, львы всякие бродят, через горящие кольца прыгают. И вот подошли к бабке нашей несколько львов, полизали ее... (*у сантехника восхищенно дергаются ноги*) и не тронули. Бабка их гладит, за усы дергает, дрессировщики сразу, конечно, подбегают, хлыстами щелк-щелк, вывели матушку мою, усадили обратно, а на ней, как понимаете, ни царапинки. Библейская история.

Миша. Вау.

Лена (*Мише на ухо*). Я и не думала, что туда можно с ногами залезть. Пойду чай посмотрю.

Сантехник. Понятно, как оно бывает? Поэтому, когда мне говорят про эту...

Лена (*с кухни*). Ой, тут вода из раковины пошла!

Сантехник. Это нормально! У вас просто разводка дурацкая. Мы сейчас засор поглубже протолкнули, может иногда забивать. Но вы тогда вантузом пошмякайте — там, тут. И все нормально будет. Сейчас уйдет.

Миша. Что?

Сантехник (*вылезает из-под ванной*). Ну а что непонятно?

Лена (*приходит*). Что?

Миша. Он говорит, что у нас теперь динамический засор. Может иногда забиваться.

Сантехник. Ну да.

Лена (*сантехнику*). И вы хотите, чтобы мы за это заплатили?

Сантехник. Понятное дело. Я прочистил, вы оплачиваете.

Лена. Так вы не прочистили ни фига.

Сантехник. Девушка, я что-то вас не понимаю...

Лена. Я говорю, мы не будем платить за засор, который вы не устранили.

Сантехник. Еще как будете.

Миша (*становится между ними*). Ну послушайте, вы правда...

Сантехник. Это вы меня послушайте. Я сразу сказал, чтобы полностью прочистить, вам нужно кого-нибудь другого вызывать.

Миша. Так вы не говорили, что...

Сантехник. Все я вам говорил.

Миша. Нет, послушайте. Это не называется прочищен...

Лена. Да он совсем охренел.

Сантехник. Девушка, вы сейчас переходите...

Миша. Послушайте меня. Пока не устраните засор, мы вам ничего не заплатим.

Сантехник. Еще как заплатите, понятно?

Сантехник подается головой вперед, краснеет.

Сантехник. Я приехал сюда на вызов, правильно? Потратил свое время, правильно? Сделал свою работу, да? Так какого черта вы меня оскорбляете и отказываетесь мне платить...

Лена. Я просто вызываю полицию.

Сантехник. Не вздумай. Я не уйду отсюда, пока вы мне...

Миша. За что вам платить, если вы не сделали свою работу?

Сантехник. Да как, блин, не сделал?

Миша. Ну так, не сделали.

Лена подносит трубку к уху.

Сантехник (*делает шаг вперед, хватается за разводной ключ, болтающийся в пояском кармане с инструментами*). Пусть твоя баба положит телефон, а то я...

Миша (*отнимает от уха Лены телефон*). Тише, Лен, правда. (*Сантехнику.*) Давайте успокоимся. Нам это все не нужно, да?

Сантехник. Нужно, чтобы вы просто заплатили.

Миша. За невыполненную работу?

Сантехник. Да где, блин, невыполненную?

Миша. Ну вы прочистили трубы наполовину, а хотите, чтобы мы вам целиком заплатили. Еще и угрожаете моей девушке. Давайте мы как-то спокойнее, по-божески...

Сантехник (*выдыхает*). Да, да... Господи, помоги.... Да, я был неправ. Это понятно. (*Лене.*) Простите, что проявил агрессию. (*Протягивает Мише руку.*) Давайте все забудем и начнем сначала.

*Миша немного колеблется, но снимает перчатку
и пожимает руку.*

Сантехник. Михаил.

Миша. Тоже Михаил.

Сантехник. Вот, видите, как хорошо. Да, я был неправ. За причиненные неудобства готов предоставить вам скидку двадцать процентов.

Миша (*вздыхает, поколебавшись*). Хорошо, давайте.

Сантехник. Спасибо вам. Восемьсот рублей.

Миша. Лен, дай ему восемьсот рублей.

Лена, немного поколебавшись, отдает.

Сантехник. Спасибо вам большое. От всей души. Простите, а чай там уже заварился?

*Лена и Миша переглядываются. Миша подталкивает Лену
на кухню, за чаем, она уходит и быстро возвращается.*

Сантехник. Вот спасибо! (*Выпивает чай одним залпом.*) А матушка моя, кстати, буквально через несколько часов представилась. Приезжаю я за ними на машине, дочка как будто

привидение увидела, а старушка счастли-и-вая такая, улыбается, мурлычет что-то. Поняла, говорит, вот теперь поняла. Села в машину и уснула, я даже отчитать ее не успел — поехали в больницу, вдруг там перелом или что. Приехали, будим ее, а она не просыпается, улыбается только. Сердце остановилось. Ну не чудо ли?

Миша. Да, иначе и не скажешь.

Сантехник. Да-а, чудно. Ну, я пойду.

Миша пропускает его, сантехник выходит из ванной и оборачивается.

Сантехник. Вы меня простите, правда, я...

Миша. Вы нас тоже простите, если что...

Сантехник делает шаг к Мише и обнимает его.

Сантехник. Спасибо, брат!

Отстраняется и кланяется до земли, делая одной рукой полный круг — так в старину кланялись на Руси.

Мира вашему дому, процветания, детишек здоровых. Храни вас Бог, Господи, храни вас Бог.

Миша. Взаимно.

Сантехник *(с широченной улыбкой)*. Принимается. *(Уходит, Миша закрывает дверь.)*

Лена. Боже, что это было.

Миша *(вздыхает)*. Надо помыться.

10,5

День, кухня. Миша стоит у раковины и обтирается антибактериальными салфетками. Лена в шортиках сидит на обеденном столе, скрестив ноги.

Лена. Не хочу, чтобы ты там закрывался.

Миша. Из-за него?

Лена кивает.

Миша. Успокойся, он же ушел.

Лена. Ну и что. Мне так спокойнее. Подойди, пожалуйста.

Миша подходит. Лена обхватывает его ногами и пытается поцеловать, Миша отстраняется, но не отходит.

Миша. Ну, ну, не перегибай.

Лена. Почему?

Миша. Не надо. Ты вся дрожишь.

Лена. Фраза из какого-то дурацкого фильма. Ты тоже дрожишь.

Миша (*смеется*). И я дрожу. Ты ж его видела, он раза в три больше меня.

Лена опять пытается поцеловать Мишу, тот опять отстраняется.

Миша. Зачем, Лена?

Лена. Не знаю. Просто хочу. Только не говори, что ты не думал об этом, когда ко мне вписался. Типа больше ни у кого не мог пересидеть.

Миша вздыхает.

Лена. Ну вот.

Миша. Тебе бывает брезгливо? Ты вообще что-нибудь чувствуешь?

Лена улыбается.

Миша. Иногда кажется, что ты меня просто ненавидишь. Ты же хотела, чтобы я вас тогда застал, да? Прямо втроем.

Лена. Не знаю. Сейчас точно нет. А ты?

Миша. Что?

Лена. Ну в целом.

Миша. Не понимаю.

Лена целует Мишу.

Ночь, тускло освещенная комната. Миша работает. Лена сидит рядом, не касаясь его — оба выглядят усталыми. В окно один за другим бьют сполохи машин скорой помощи, слышна гроза. У Миши от входящих сообщений безостановочно вибрирует телефон, но он на него не реагирует.

Л е н а . С логотипом хоть закончил?

М и ш а . Почти. Но сегодня, наверное, не закончу. Не могу.

Л е н а . Да, отдохни. *(Вздыхает.)* Это по работе?

М и ш а . Что?

Л е н а . Телефон разрывает.

М и ш а . Ну да. Еще Колян.

Л е н а . Что у него?

М и ш а . Не знаю. Может, что-то с мамой. Она у них недавно весь собачий корм в доме съела, я тебе не рассказывал?

Л е н а *(грустно)*. Неа. Не ответишь?

М и ш а . Не, не сейчас. Не могу.

Лена вдруг начинает плакать.

М и ш а . Ты чего?

Л е н а . Не знаю. Это там скорые или молнии? Я не пойму.

М и ш а . Не знаю.

Л е н а . Прикрой, пожалуйста. *(Толкает Мишу.)* Пожалуйста.

М и ш а *(встает)*. Сюр какой-то.

Миша прикрывает штору, резко осматривается по сторонам.

М и ш а . А где Моника?

Л е н а . Кто?

М и ш а . Ну портрет. Куда ты его запихнула?

Л е н а . Не знаю, не трогала я ничего.

М и ш а *(подходит к Лене, хватая ее за запястье)*. Лена, где?

Л е н а . Да не знаю я... Больно, ты чего...

М и ш а . Лена, серьезно, заканчивай с этим...

Л е н а . Какая я тебе Моника. Совсем свихнулся?

М и ш а . Лена...

Л е н а . Больно же, сука...

Лена кусает Мишу за руку, вырывается, спотыкается о журнальный стол и отползает в угол. Клочки бумаги рассыпаются, Миша склоняется над ними, перебирает рукой.

М и ш а . Это ты сюда фотки свои родительские накрошила?

Лена молча смотрит на Мишу.

М и ш а . Ты нормальная вообще?

**КРИТИКА
И ПУБЛИЦИСТИКА**

МАРИЯ ЛЕБЕДЕВА

ДВА РОМАНА С НЕОБЫЧНОЙ СТРУКТУРОЙ

В этой подборке — два новых и необычно устроенных романа, в которых невероятно смелые героини справляются с травмой, учатся заново доверять себе и обретают, наконец, долгожданную свободу: литературный сериал «Кожа» Евгении Некрасовой — о крепостной крестьянке и темнокожей американской рабыне, и мозаичный автобиографический «Дом иллюзий» Кармен Марии Мачадо — о том, как исподволь в отношения закрадывается насилие. Евгения Некрасова и Кармен Мария Мачадо не только ровесницы и не только писательницы, ставшие знаковыми фигурами для литературы последних лет. Сама их оптика во многом схожа — так и выглядит новое женское письмо, о котором сейчас говорят.

НЕКРАСОВА ЕВГЕНИЯ. КОЖА. — BOOKMATE ORIGINALS, 2021

«Кожа» — книжный сериал, изначально создававшийся в двух форматах параллельно, текстовом и аудио. Формат книжных сериалов, по сути своей, новая форма журнального романа с продолжением, вроде «Парижских тайн» Эжена Сю. И, как и в случае «Парижских тайн», на первый план выходит не собственно история, а проблема, стоящая за ней.

Потому что писательница Евгения Некрасова вновь продолжает разговор о насилии — тот же, что звучал на страницах первого романа «Калечина-малечина» (отметившегося в списках

всех крупных российских премий) или в сборнике рассказов «Сестромам».

История двух женщин, крепостной Домны и темнокожей рабыни Хоуп, научившихся вдруг меняться друг с другом собственной кожей — с той же легкостью, с какой могли дать поносить подруге платье, — конечно, буквализованная метафора. Но дело в том, что этот фантастический обмен сперва выглядит ненужным. Героини, поначалу находящиеся на разных концах света, переживают, в общем-то, одно и то же: разлуку с семьей, ежедневную тяжелую работу, одинаковые ситуации вроде первой влюбленности дочери хозяина или смерти дочери хозяина, избиение, унижения — и встречу друг с другом, открывшую путь к свободе. Все то, что чувствуют героини, знакомо и третьей героине, удаленной во времени от эпохи легального рабства — рассказчице, зовущейся тем же именем, что и значится на обложке книжного сериала, Евгенией Некрасовой, и Братцу Черепу, с ней беседующему. Кожа героинь-рабынь отмечена шрамами от наказаний, кожа рассказчицы хранит шрам как память о перенесенной операции, Братец Череп лишен кожи, а вместе с ней — шрамов и боли; наверное, потому он и самый веселый из всех. И все четверо говорят об одном, а главное — как говорят.

Первое, что отмечают в прозе Некрасовой всегда — неважно, как при том оценивая, — это язык. Перекаत्याющийся присказками, нанизывающий звук за звуком, позволяющий в «Калечине-малечине» написать о неприкаянной несчастной третьекласснице «Катя катится-колошматится» — и этим рефреном нагнетать ужас едва ли не больший, чем сценами буллинга или даже педофилии. В «Коже» язык несколько иной. Собственно фольклор здесь заменят тексты культуры, обработавшие его на свой лад — от песен АИГЕЛ (и саундтрек к сериалу, и музыка, под которую рассказчица танцует с Братцем Черепом) до «Сказок дядюшки Римуса». «Кожа» вобрала в себя, помимо мощной основы в виде литературы темнокожих

писательниц, вполне реальные факты. Байка о крепостных, окрашенных белым и игравшим роль античных статуй в парке по прихоти своего владельца, казалась бы фантастической в той же мере, что и обмен кожей — если бы не была описана в мемуарах барона Николая Врангеля. И потому язык, помимо прочего, становится еще отчасти языком протокола — фиксирующего реальность и не дающего ей никакой оценки. Это язык, не принадлежащий никому: он описывает происходящее настолько холодно и отстраненно, насколько это вообще возможно. Вне идеологии, национальности, даже вне понятия о человеческом — так могли бы рассказать о земном быте пришельцы, впервые увидевшие, как все устроено, или пользователи компьютерной игры, едва разобравшиеся в правилах. Вместо известных всем бранных слов в адрес Хоуп — «слова, обзывающие кожу»; и понятно, какие это слова, но именно из-за пояснения будто бы возвращается их изначальный смысл. Это взгляд одновременно изнутри — и все описываемое просто по той причине, что насилие буднично, приелось и вовсе не так ужасает, и извне — для говорения о насилии Евгении Некрасовой нужна именно та дистанция, с которой видна вся противоестественность происходящего, и все описываемое просто лишь потому, что наблюдатель лишен каких бы то ни было эмоций: он не совсем понимает правила игры, и лишь пересказывает увиденное. Язык подчеркивает — все, что описано здесь, как бы ненастоящая жизнь, симуляция. Потому что, будь она настоящей, можно сойти с ума и невозможно найти таких слов, какие бы ее описали.

МАЧАДО КАРМЕН МАРИЯ. ДОМ ИЛЛЮЗИЙ. — ПЕР. С АНГЛИЙСКОГО ЛЮБОВИ СУММ. — М. : МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР, 2021.

Кармен Марию Мачадо российские читатели знают по сборнику «Ее тело и другие» — одному из самых обсуждаемых в мире

литературных дебютов последних лет. Хрупкий, болезненно прекрасный роман «Дом иллюзий» автобиографичен и поэтичен одновременно — это и литература опыта говорения о собственной травме, и попытка ее осмыслить в культурном контексте, и попытка выстроить картину иллюзорного мира, где детали могут на первый взгляд противоречить друг другу, но в итоге все собирается в целое как в «Незримых городах» Итало Кальвино.

Это россыпь разновеликих глав, каждая из которых имеет название, начинающееся с «Дом иллюзий как...» (появление невесты, *deja vu*, классификация волшебных сказок, дневник, эпическое фэнтези, трудности перевода, как выстрел у Чехова, и т. д.), и оттого книга напоминает любую из игр, где нужно описывать слова и фразы. Предполагается, что читатель не знает о Доме иллюзий, и каждая из деталей описывает его, помогает найти отгадки.

Страшно становится в момент, когда понимаешь: ты отлично знаешь, о чем идет речь. Тебе знаком этот Дом — не то реальное место, где автогероиня Мачадо собиралась жить долгой и счастливой семейной жизнью, а проклятый Дом иллюзий из кошмаров, локация из путанного, выморочного сна, из которого никак не можешь вырваться.

Большую часть повествования автогероиня здесь будет зваться «ты»: ты говоришь, ты боишься, ты лихорадочно пытаешься найти выход, и это «ты» — одновременно и сторонний наблюдатель, и непосредственная участница событий. «Если тебе нужна эта книга, она — для тебя» — предупреждает эпиграф: потребность здесь складывается не из идентичности опыта, читатель — даже не обязательно именно тот, кто непосредственно сталкивался с абюзом, газлайтингом и увязал в большой иллюзии романтических — а на деле токсичных — отношений; все это в любом случае придется ему пережить на страницах этой книги. Читатель здесь — каждый, кто хоть раз усомнился в своей адекватности восприятия мира. Потому

что «Дом иллюзий» (кроме того, что это, несомненно, книга о психологическом насилии) — о том, как непрочно наше представление о реальности, и как легко угодить в тюрьму из навязанных образов. Уходя то в историю квир-культуры, то в воспоминания героини, то в рассуждения о сути насилия в отношениях, Кармен Мария Мачадо ни на шаг не отклоняется от основной идеи — тонко и точно описать кошмар, давно закончившийся в реальности, но прочно засеивший на подкорке и навсегда обостривший чувство опасности. Хотя бы и для того, чтобы засвидетельствовать: это точно случилось, это не выдумка. Не все раны видимы, и «Дом иллюзий» — желание обозначить явно хотя бы одну из таких ран, зафиксировать в реальности ускользающее и непрочное, но оставившее реальную боль.

ЗАЧЕМ СЖИГАТЬ КНИГИ В XXI ВЕКЕ

Книги горят хорошо.

Брэдбери предупреждал. В сожжении книги есть что-то фатальное, дикое, как в оскорблении святыни. Александр Полярный, автор формульной «Мятной сказки», самой продаваемой книги прошлого года, в сентябре взял и предал огню собственные романы.

Как сам утверждает — две тонны. На видео с места событий — от силы штук двадцать, но нас сейчас интересует не эта сторона авторской мифологии, а собственно факт *сожжения книг*.

В истории это символизировало борьбу с распространением нежелательных идей: от ереси до трактатов политических оппонентов, от церкви до цензуры.

Интересно, что Полярный называет свою повесть о синем монстрике Юпи «запрещенной книгой» и «второй Библией» — подразумевая, конечно, значимость этой истории для себя,

но неожиданно и здесь отсылая к Средним векам: вторая (не каноническая) Библия = ересь; *сожжение книги* — маркер *запретности*.

Одновременно с этой акцией Александр Полярный заявляет о завершении писательской карьеры. Книга здесь мыслится писательской плотью, а потому *сожжение книги* *сродни ритуальному самоубийству*.

Страшное гейневское «Там, где сжигают книги, в конце сжигают также и людей» раскрывается здесь не за счет реальной жертвы, а за счет символического переноса: (само)*сожжение как радикальная форма протеста против давления* (акции предшествует послание хейтерам: в адрес автора поступало много негатива после публичного шантажа суицидом в случае, если тираж новой книги не раскупят).

Пережитки Средневековья удивительно удачно накладываются на маркетинговые стратегии — от коммерциализации предрассудков до игры с ритуалом на грани эпатажа. Так, крошечное исландское издательство «Тунглид» выпускает по 69 экземпляров книг каждое полнолуние — и всю нераспроданную за сутки часть тиража предают огню, подпитанному французским коньяком. Сжигая тираж, они, по собственному утверждению, пытаются преодолеть иллюзорное постоянство книги (что близко к практике сожжения сутр в дзен-буддизме: вечна мудрость, но не ее символ). И в этом случае, и в случае Александра Полярного *сожжение книг становится маркетинговой акцией*.

С появлением печатного станка и последующим ростом тиражей акт сожжения книг прошел эволюцию от синонима полной утраты (записи китайских ученых, чьи труды предали огню по приказу Цинь Ши Хуаня в 221 году до н. э.) через показательную порку (сожжение книг в нацистской Германии) к исключительно символическому действию (неоднократное сожжение книг о Гарри Поттере). Понятно, что данный способ

уничтожения текста на 100% не работает в 2020 году: сгорает дотла бумажный носитель, книга продолжает жить во множестве своих электронных копий. Книга — в отличие от любого своего создателя — уже обрела цифровое бессмертие.

Сборник эротических новелл «В Лиссабоне. Одна» сожжен в 2014 году. При этом можно найти его электронную версию, уцелевший сборник хранится на полке Banned in Russian Калифорнийского университета, а несколько лет спустя книгу переиздали в Канаде — чем не история о воскрешении?

...Месяц спустя после завершения писательской карьеры Александр Полярный объявляет о выпуске новой книги.

Сожжение книги становится символом возрождения.

Книги горят хорошо, но теперь это фениксово пламя.

АЛЕКСАНДР МОСКВИН

ВОЛЯ И ФАТУМ: «ПУГАЧЕВСКАЯ» ТРИЛОГИЯ АЛЕКСАНДРА ЧИНЕНКОВА

Чиненков А. Форпост в степи. М. : Вече, 2018.

Чиненков А. На пороге великой смуты. М. : Вече, 2019.

Чиненков А. Сплетение судеб. М. : Вече, 2019.

В любом историческом романе за звоном сабель, топотом копыт и архаичной лексикой слышится биение пульса современности. Обращаясь к делам давно минувших дней, писатель не теряет связи с днем сегодняшним, стараясь отыскать если не источники нынешних кризисов и потрясений, то хотя бы созвучные им события. Особенно связь с текущим моментом ощущается, когда речь идет о смутных и переломных временах — каждая новая идеология меняет их трактовки, превращая вчерашних героев в злодеев и наоборот.

Одно из таких событий — пугачевское восстание. Тема доволна болезненная и неоднозначная для русской истории, зато основательно разработанная в русской литературе. Для современного писателя обратиться к временам пугачевщины означает бросить вызов самому себе. В пространстве отечественной прозы уже возвышаются «Капитанская дочка» Александра Пушкина и «Емельян Пугачев» Вячеслава Шишкова — на их фоне очень легко потеряться, но современный оренбургский прозаик Александр Чиненков в образующих единый цикл романах «Форпост в степи», «На пороге великой смуты», «Сплетение судеб» смело устремляется в уральские степи, охваченные русским бунтом. Беспощадным, но бессмысленным ли?..

Чиненкову не привыкать с казачьей удалью проноситься по просторам исторической беллетристики. Особенно его притягивают самые спорные и неоднозначные эпизоды прошлого. В книге «По ту сторону жизни» круговорот событий возникает на фоне сталинских репрессий. В романах «Христоверы» и «Агнцы Божии» к терзаниям революционного лихолетья примешиваются давние раскольничьи конфликты. В «Слове атамана Арапова» безудержность и безрассудство толкают вольных казаков на освоение новых земель — кстати, заглавного героя, реальную историческую личность, не раз помянут добрым словом старожилы станицы Сакмарской в трилогии, повествующей о пугачевском бунте (*«Не те казаки сейчас, и атаман не тот... Атаман Арапов, что орел был, а нынешний...»*).

Чиненков, ощущая себя продолжателем пугачевской темы в русской литературе, не следует за классикой, а лишь отталкивается от нее, прокладывая собственные маршруты во времени и пространстве. *«Пугачевщина не дает поводов для романтизма»*, — утверждает известный современный писатель Алексей Иванов в документальной книге «Вилы». Чиненков, явно не соглашаясь с такой точкой зрения, настолько выдерживает повествование в авантюрно-приключенческом духе, что порой уместнее параллели к Александру Дюма, чем к Пушкину и Шишкову.

«Скучный город скучной степи, / Самовласть гнусный стан, / У ворот — острог да цепи, / А внутри — иль хам, иль хан», — написал об Оренбурге и окрестностях поэт Аполлон Григорьев в середине позапрошлого века. В романах Чиненкова скуки нет (зато хамства и ханства в избытке): здесь гремят выстрелы, скрываются семейные тайны, кипят страсти, плетутся шпионские интриги, а любовь вспыхивает с первого взгляда и на всю жизнь. Впрочем, молодому казаку Архипу Сайкову, чтобы влюбиться в ханскую дочь, не потребовалось даже взгляда — хватило лишь ее голоса в темном подвале. И все

же сквозь неожиданные перемещения из грязи в князи, чудесные воскрешения и прочий развлекательный антураж Чиненков стремится донести свое видение истории, что сближает его со многими современными литераторами, разыскивающими в переменчивом прошлом шаткую опору для настоящего.

Роман «Форпост в степи» начинается с явным намеком на «Тихий Дон» Михаила Шолохова: казак Лука Барсуков из станицы Сакмарской после сватовства с местной девкой Авдошкой Комлевой отправляется в Оренбург, где с первого взгляда влюбляется в загадочную красавицу-цыганку. Впрочем, накала страстей в духе Григория, Натальи и Аксиньи не предвидится — чувства здесь расцветают не шолоховским придорожным дурнопыяном, а пластиковой розочкой клишированной мелодрамы. К тому же Луке довольно быстро предстоит уйти на вторые роли, выведя на первый план кузнеца Архипа Сайкова — работающего парня с добрым сердцем и загадочным прошлым.

Образ дюжего казака богатырского телосложения выписан с явной оглядкой на пушкинского Петра Гринева — конечно, не на физическом, а на смысловом уровне. Жизненный путь Архипа куда более извилист и ухабист — покушения, заточения, побег, разбитые сердца, но ближе к финалу общий вектор их биографий совпадает. Не предав своих идеалов, оба заслужат уважение Пугачёва, попадут под суд за содействие бунтовщикам и будут спасены вмешательством влиятельных персон. Более того, в любых ситуациях, например влюбляясь в ханскую дочь или помогая жителям лишившегося владелицы умета, Архип действует в соответствии с неким внутренним кодексом чести. Простой казак словно интуитивно осознает себя потомственным дворянином, каковым в итоге и окажется.

Если соображения чести сближают Архипа с Гриневым, то взаимоотношения с Пугачёвым отдаляют их друг от друга. Школьники извели немало чернил, расписывая в сочинениях, как бунтовщик не просто вывел пушкинского героя из бурана,

но и стал Вожатым в его жизни. Линия же будущего предводителя восстания в первых двух книгах трилогии Чиненкова вообще кажется лишней. Его скитания между Доном и Тереконикам никак не связаны с основными событиями, разворачивающимися в Оренбурге и станице Сакмарской. Пугачев у Чиненкова выглядит некой неприкаянной душой, бесцельно срывающейся с места на место. Даже в репликах постоянно сквозит просторечие «утекать» (в значении «убежать, исчезнуть, затеряться»). Столь текучий и неусидчивый персонаж, не лишенный гипнотической харизмы, производит впечатление конченого авантюриста. Для такого даже восстание, заставившее содрогнуться империю, — лишь очередной способ чем-то занять свою кипучую натуру.

Все знаковые для русской прозы обращения к образу Пугачёва — это попытки разгадать его тайну. Хотя, наверное, только Пушкин всерьез занимался поисками ответа. Именно поэтому его Пугачёв, вышедший из бурана и воплотивший природную мощь народной стихии, получился настолько завораживающим и всеобъемлющим (анализируя этот образ Марина Цветаева подмечает и «тайный жар», и «огневой фон», и зачарованность Пушкина своим героем). Вячеслав Шишков в «Емельяне Пугачёве» и Алексей Иванов в «Вилах» уже имеют готовое решение и просто подгоняют под него реальность. Первый исходит из марксистской логики противостояния угнетателей и угнетаемых, второй — из конфликта идентичностей.

Иванов, выступающий в качестве публициста, вынужден быть конкретным и прямолинейным. Шишков, не покидая пространства художественной прозы, действуют более мастеровито и изощренно. Конечно, писатель, будучи порождением культуры своего времени, волей-неволей осовременивает историческую личность. Пугачев Шишкова в духе сталинской эпохи наделен вполне большевицким мировоззрением. Живя

задолго до Маркса и Ленина, он словно интуитивно чувствует и призрак коммунизма, и диктатуру пролетариата, но действует соответствующими своей эпохе методами. Идеологической прямоте Шишков добавляет изящества, в первом томе выворачивая наизнанку гоголевские «Мертвые души»: пока еще безвестный казак предстает этаким анти-Чичиковым, путешествуя по деревням и слушая рассказы о загубленных помещиками крестьянах. Эти мертвые души станут первыми бойцами его армии, пока метафорической, но уже готовой помочь Пугачеву одержать первую победу — победу над самим собой.

Если на Пушкина Чиненков оглядывается в вопросах дворянской чести, то Шишков привлекает его эпическим размахом. Однако замахиваться на изображение всей Российской империи — от крестьянской бедноты до монарших особ — оренбургский прозаик не стремится, ограничиваясь провинцией. Самым высокопоставленным реальным историческим лицом, появившимся в романе (не считая, конечно, «мужицкого царя» Пугачёва), будет оренбургский губернатор Иван Рейнсдорп. Кстати, и в образе этого исторического персонажа прослеживается любопытная преемственность. Первое лицо края выглядит словно сошедшим со страниц детской повести советского писателя Сергея Алексеева «Жизнь и смерть Гришатки Соколова» — еще одного произведения о пугачевщине. Автор легкого исторического чтения для младшего школьного возраста изобразил Рейнсдорпа карикатурным самодуром-угнетателем. Чиненков эксплуататорскую сущность губернатора не обличает, но злую комичность выкручивает на максимум. Эксцентричный иностранец, смешно коверкающий слова и при любом удобном случае требующий изловить «Вильгельмьяна Пугатшоффа» выглядит настолько нелепым, что даже *«сам на себя не надеется»*.

Расхождение в масштабности изображаемых личностей компенсируется тягой к идеологической заряженности, но и тут

не обходится без противопоставлений. Шишков возводит конструкцию своей эпопеи на прочном фундаменте марксизма-ленинизма, Чиненков же вынужден опираться на топкую зыбь современной государственной телепропаганды, основанной не то на идеологическом вакууме, не то на мешанине взаимоисключающих идеологий. В книгах отчетливо звучит голос автора, отделенного от описываемых событий двумя с половиной столетиями. Ему недостаточно фиксировать и осмыслять происходящее с точки зрения персонажей, он хочет предложить и собственные трактовки — поспорить с версиями советских историков о поражении пугачевцев из-за отсутствия в те времена «пролетарита», всеведущим взглядом из далекого будущего оценить стратегию бунтовщиков и настроения среди приближенных самозванца.

От авантюрно-приключенческого романа было бы странно требовать исторической достоверности — никто же не станет изучать правление Людовика XIII по «Трем мушкетерам». Чиненков придумал вполне интригующий сюжетный ход, пусть и имеющий под собой очень шаткую историческую основу. Французский король Людовик XV отправил в Россию шпионов с солидным денежным запасом, чтобы те организовали восстание *«Наша миссия подготовить бунт и выплеснуть всю его мощь на Россию»*. С точки зрения истории — не самая правдоподобная версия (даже доктор исторических наук Петр Черкасов, на изыскания которого явно опирается Чиненков, приходит к выводу, что имеющиеся документальные свидетельства *«не дают прямых и убедительных доказательств французского участия в восстании Пугачёва»*), а вот с точки зрения принципов беллетристики — довольно любопытный сюжетный ход. Однако, если присмотреться, как Чиненков конструирует образ восстания и его спонсоров, то за художественными образами обнаружится токсичная риторика современной конспирологии, увлеченной поисками масштабных международных заговоров

и происков зарубежных спецслужб (хорошо если не рептилоидов). Живой исторический процесс превращается в механическое взаимодействие между сталью шпаги русского дворянства и золотом монет французской короны.

Опрокинутая в прошлое современная конспирология влечет за собой и другие модные веяния. Так, в трилогии Чиненкова еще до того, как начнутся первые сражения пугачевцев с правительственными войсками, разгораются своеобразные «битвы экстрасенсов». Юродивый Огрызок усматривает в молодом Пугачёве «самого Сатану», старая казачка Мариула предсказывает будущее, а уж цыганка Ляля и вовсе видит грядущее четче, чем настоящие да к тому же принимает все важные решения, исходя из своих озарений — даже ребенка зачинает не по любви, не по расчету, а потому что пришло время, когда это должно произойти. Такая концентрация провидцев была бы уместнее в фэнтези, а не в историко-приключенческом романе — здесь это даже иногда идет во вред интриге, когда в опасный момент персонажа спасает кто-то, оказавшийся в нужное время и в нужном месте только по велению своего экстрасенсорного дара. Постоянные прозрения задают гнетущую атмосферу предрешенности, запрограммированности всех последующих событий. Дух предопределенности присутствовал и у Шишкова, но там она носила марксистский характер: не пришло еще время сбросить оковы самодержавия и создать народное государство. У Чиненкова же постижение неизбежности происходит через нездоровый мистицизм.

Нависший над восстанием фатум плохо вяжется с духом казацкой вольницы. Воля всегда считалась одной из ключевых ценностей казачества. Конечно, понималась она не в духе западной индивидуалистической свободы, а как независимость и достоинство вкупе с ответственностью, отражение личной воли в воле Божьей и воле народа. Однако любая свобода начинается там, где есть выбор. История, какой ее изображает

Чиненков, альтернатив не предполагает. Все уже предсказано и предписано. Еще не появилась развилка, еще не прискакали гонцы с дурными вестями, а сведущий человек уже предупреждает, что *«Сатана... соблазнами умилять хотит»*. Предрешенность ослабляет трагедийный пафос повествования, превращая столкновение двух правд в очередную битву незапятнанного добра с карикатурным злом. Выбор в переломные моменты истории страшен неопределенностью последствий, неизвестностью будущего, но у Чиненкова не оставлено места для сомнений и исканий. Прозорливыми ясновидцами уже напророчен алгоритм на случай появления *«страшного человека, который будет называть себя Государем Российским»*: *«Проявишь себя достойно — жив останешься! Спасуешь и совесть свою переступишь — сгинешь с позором»*.

Чиненков мастерски работает с приключенческой прозой. Драки, перестрелки, неожиданные воскрешения он выдерживает на уровне. Несмотря на всю брутальность и маскулинность автора, ему удаются даже романтические эпизоды — взять хотя бы трогательную любовную историю лишившейся жениха сакмарской казачки Авдошки и слуги прибывшего из Петербурга графа Артемьева, кстати, куда более убедительную, чем сердечные драмы главного героя. Здорово у него получается работать и с образами отрицательных персонажей — «чертовка» Жаклин, вскружившая голову светскому обществу провинциального Оренбурга, хотя и прорисована по контурам Миледи Винтер из «Трех мушкетеров» (так и бродит призрак Дюма по роману о пугачевской вольнице!), вышла героиней вполне самостоятельной и интересной. Помимо поистине демонического очарования она привлекает внимание еще и удивительной, практически оксюморонной смесью силы и беззащитности.

А вот как бытописатель Чиненков допускает промашки. Провинциальный Оренбург, падкий на столичный или заграничный

лоск, кишашая разбойниками необъятная степь, степенная станица Сакмарская и ее колоритные обитатели изображены легкими штрихами. Этого вполне достаточно, чтобы создать фон для интриг и приключений, но более проблематично другое. В изображенном Чиненковым мире — фэнтезийности ему придают не только многочисленные провидцы — кажется, вообще нет причин даже для банального недовольства, чего уж говорить о масштабном восстании. Все несправедливости самодержавия и крепостничества выведены из поля зрения. Все тяготы, выпадающие на долю некоторых персонажей, обусловлены происками злодеев, а не несовершенством системы в целом.

Конечно, автору не обязательно сопровождать художественный текст социально-экономическим анализом эпохи, но игнорирование реалий времени лишает книгу достоверности как в историческом, так и в эстетическом плане. Например, Сергею Есенину понадобилось всего несколько строк, чтобы в поэме «Пугачёв» обрисовать положение обитателей яицких степей (*«И теперь по всем окраинам / Стонет Русь от цепких лапщ. / Воском жалоб сердце Каина / К состраданью не окапишь. / Всех связали, всех вневолчили, / С голоду хоть жри железо. / И течет заря над полем / С горла неба перерезанного»*) — лаконичная сводка ничуть не мешает разворачиваться метафорическому буйству стихотворного текста.

Столкновение воли и фатума у Чиненкова пронизывает не только художественный мир, но и саму конструкцию романа. Массовую литературу не зря называют формульной — развитие действия там подчинено строгим сюжетным схемам. Чиненков исправно следует этой предопределенности, но все равно пытается прорваться к свободным смыслам интеллектуальной прозы. Он насыщает повествование — с каждым томом все сильнее — своими историсофскими рассуждениями. Основанные не на реальных фактах, а на жанровых клише, они выглядят не слишком убедительными. Истолкование смыслов

пугачевского восстания Чиненков производит как самостоятельно в виде идеологических отступлений (лирическими их точно не назовешь) от сюжета, так и через споры и рассуждения персонажей графа.

«Как это безграмотные казаки планировали столь эффективные военные операции?» — вопрошает граф Артемьев — этакий образ идеализированного дворянина — в своем финальном монологе, разъясняя черни причины и следствия проспонсированного Францией восстания. Пытаясь *«оправдать русский народ, обманом втянутый в эту жестокую бойню»*, граф упирает на дремучесть, непросвещенность, пассивность населения Российской империи. Он не верит, что без внешнего управления бунтовщики могли поддерживать дисциплину, вербовать новых бойцов, отливать пушки. Здесь можно заметить интересный нюанс — он очевидно не закладывался автором умышленно, но явно пробивается сквозь идеологический пафос возвышенной речи. Чиненков строит монолог графа Артемьева с опорой на современную конспирологию, усматривающую в любом значительном событии проявления масштабного заговора. Рассматривая события XVIII века через линзу заблуждений XXI, автор, сам того не желая, фиксирует кризис конспирологического мышления. Оно явно находится не в ладах не только с объективной реальностью, но и с самим собой. Слишком увлекшись идеей зарубежного финансирования, оно превозносит мощь заграничных денег и принижает силу своего народа.

СОДЕРЖАНИЕ

От тревоги до надежды	5
ПРОЗА	7
Надя Алексеева	
ВАЛААМ	9
Самира Асадова	
ВЕСЕЛЫЕ ПРАЗДНИКИ ЧАУЧУ	51
Маргарита Гетман	
КРЫСОЛОВКА	76
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ	93
Анастасия Кальян	
СЛУХ	108
Надежда Куротченко	
ЦВЕТ ФУКСИИ	141
Дмитрий Лагутин	
ФРАНЦУЗ ПО ДЛИННОМУ БОРТУ	148
Александра Максимова	
РАЗГОВОРЫ	176
ТРАДИЦИЯ	186
СЧАСТЬЕ	195
ШУРИК	205
Антонина Малышева	
ПОБЕДА РАЗЫ	214
Ирина Михайлова	
К МОРЮ	222
Ольга Павлова	
ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГА	244
Ирина Родионова	
ИВАНЫЧ, МОТЯ И ГАЛЧОНОК	247

СОДЕРЖАНИЕ

Мargarита Ронжина	
ПИЖАМНАЯ ВЕЧЕРИНКА	277
Виктория Татур	
ТАНЮХА	290
ШИТИК	297
СЕРЁГА-ПАСТУХ	304
ОКСАНА	311
ВАЛЁКА	322
Мargarита Шилкина	
СБОРНИК СУДЕБ (рассказы)	335
Татьяна Шипилова	
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ	382
НЕ ГЕРОИНЯ	386
ВЕРОЧКА	396
АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК	400
ПЛЮС НА МИНУС	408
ПЕТУХ ПРОПЕЛ ТРИЖДЫ	417
ЛЕТАРГИЯ	429
ПОЭЗИЯ	435
Ксения Аксёнова	
ЗВУЧНЕЕ, ЧЕМ КОЛОКОЛ	437
Евгения Джен Баранова	
ГОЛУБИКА	441
Дмитрий Вилков	
ПУТИ НЕБЕСНЫЕ	455
Дина Дабришюте	
ВЫДОХ	462
Максим Кашеваров	
ЩЕКОЙ НА СКАТЕРТИ	465
Надежда Келарева	
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ	472
Анна Ковалёва	
ТОЧКА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ	479
Лариса Мореева	
НО — ЭТО ОКНО	487

СОДЕРЖАНИЕ

Софья Оршатник	
СКОРОГОВОРТ	495
Борис Пейгин	
КРАСНЫЕ ВОРОТА	501
Сергей Скуратовский	
ЭТА ПЕЧАЛЬ ПРОСТА	509
Эльвира Токарева	
БАЛЛАДА О ПУСТОТЕ	513
Александр Егоров	
ЖУТЬ, С КОТОРОЙ ЖИТЬ	516
ТОСКА ПО СЕБЕ, ИЛИ ЭГОЦЕНТРИЧНОЕ	518
СМОЛЯНОЕ	519
ОХОТА НА МЫШЕЙ	520
ГИМН ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ	521
Вадим Шевяков	
НЕМНОГОЭТАЖКИ	523
ДРАМАТУРГИЯ	531
Людмила Ковалёва	
НЕСЧАСТЬЯ. ДОРОГО	533
Андрей Мягков	
МОНИКА	603
КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА	635
Мария Лебедева	
ДВА РОМАНА С НЕОБЫЧНОЙ СТРУКТУРОЙ	637
Александр Москвин	
ВОЛЯ И ФАТУМ: «ПУГАЧЕВСКАЯ» ТРИЛОГИЯ	
АЛЕКСАНДРА ЧИНЕНКОВА	644

Литературно-художественное произведение

Мир литературы
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Сборник

Руководитель издательского проекта *Роман Косыгин*
Литературный редактор *Вадим Эрлихман*
Дизайн обложки *Александр Петриков*
Верстка *Елена Потапова*
Корректор *Римма Болдинова*

Подписано в печать 15.11.2022.
Формат 64 x 90^{1/16}. Гарнитура Charter.
Тираж 500 экз.
Заказ №

АСПИ
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 52/55, стр. 1

Отпечатано в АО «Т8 Издательские технологии»
109316, Россия, Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5
t8print.ru

16+